

Долгая
дорога домой

Василь БЫКОВ



Василь
БЫКОВ

# Долгая дорога домой

Мемуары

Василь
БЫКОВ

# Долгая дорога домой

Мемуары

МОСКВА МИНСК
АСТ ХАРВЕСТ
2005

**УДК 882.6**
**ББК 84(4Беи-Рус)**
**Б 95**

*Серия основана в 2000 году*

**Быков В.**

Б 95 Долгая дорога домой. Книга воспоминаний./ Предисловие автора; Пер. с бел. и послесловие В. Тараса.— М.: АСТ, Мн., : Харвест, 2005.— 448 с.: ил.— (Воспоминания. Мемуары).

ISBN 5-17-032152-X (АСТ).
ISBN 985-13-4015-4 (Харвест).

Василь Быков (1924—2003) — прозаик, драматург, киносценарист, литературный критик, публицист, общественный деятель. Народный писатель Беларуси, президент Белорусского ПЭН-Центра, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и БССР, многих престижных литературных премий.

Творческая судьба В.Быкова — непревзойденный образец гражданского мужества, нонконформизма, стоицизма. В советской литературе он явился первооткрывателем так называемой окопной правды о войне. Писатель — несомненный лидер мировой «военной» прозы второй половины XX века.

Эта книга — воспоминания писателя о пережитом почти за 80 лет его богатой событиями жизни. Василь Быков рассказывает о наиболее ярких страницах своей биографии, дает оценку общественно-политическим и культурным процессам, которые происходили на его глазах.

УДК 882.6
ББК 84(4Беи-Рус)

© Текст. В. Быков, 2005
© Перевод, послесловие. Валентин Тарас, 2005
© Оформление, издание. Харвест, 2005

ISBN 5-17-032152-X (АСТ)
ISBN 985-13-4015-4 (Харвест)

## ДНИ РОЖДЕНЬЯ ВАСИЛЯ БЫКОВА

Он родился 19 июня 1924 года в деревушке Бычки Ушачского района Витебской области в крестьянской семье. Но можно сказать, что он рожден в июне, июнем — дважды. В 1924-м — как хлопчик Василёк, любый мамин Василька, в 1941-м, 22 июня — как воин Великой Отечественной, что определило его послевоенную судьбу.

Он ушел на фронт семнадцатилетним юношей, вчерашним школьником. Воевал сперва рядовым, потом был направлен в Саратовское пехотное училище, по окончании которого стал командиром взвода автоматчиков, затем попал в полковую артиллерию, где тоже был взводным командиром. Со своими «сорокопяточками», маленькими противотанковыми пушечками, прошел через Украину, Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию, был дважды ранен, награжден двумя боевыми орденами, боевыми медалями. День Победы встретил с огромным, тяжелым, как сама война, багажом за плечами. Тогда он и сам еще не знал, что это за багаж, еще нужно было в нем разобраться, осмыслить свой опыт, понять войну и себя самого. И свое время. А в багаже том незримо лежали будущие повести «Журавлиный крик» и «Третья ракета», «Проклятая высота» и «Альпийская баллада», «Сотников» и «Мертвым не больно», «Круглянский мост» и «Знак беды», «Волчья стая» и «Дожить до рассвета», «Измена» и «Пойти и не вернуться» и многие другие.

Все эти повести завоевали огромную читательскую аудиторию, многие из них шагнули на киноэкран: художественными фильмами стали «Альпийская баллада», «Третья ракета», «Волчья стая», «Знак беды», «Сотников» (экранное название «Восхождение»), по «Альпийской балладе» был поставлен балет (музыка талантливого белорусского композитора Евгения Глебова), инсценировки ряда повестей ставили московские театры. Казалось бы, удачливая литературная судьба, мировая слава (произведения Быкова переведены

на все европейские языки, на многие языки народов других континентов), лавры в своем отечестве: две Государственные премии (за повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета», за повесть «Знак беды» — высшая советская государственная премия, Ленинская, к шестидесятилетию со дня рождения — звание Героя Социалистичсского труда. Но, к сожалению, или к счастью, его писательская жизнь была далеко не безоблачной. Потому что его писательским кредо была формула: «Клянусь говорить правду, всю правду, только правду, ничего, кроме правды». А правда, как известно, сама по себе глаза колет, вооруженная незаурядным талантом — тем более. Потому и был он неоднократно жестоко бит идейно припадочной партийной критикой, потому и пытались его задабривать госпремиями и высокими званиями. Дабы смирить. А он на это иронически улыбался. Когда присвоили ему звание героя соцтруда, сказал друзьям: «Ну вот, накинули на меня золотой поводок, думают, что уж с него-то не сорвусь». Не вышло!

При всех лаврах и регалиях Народный писатель Беларуси Василь Быков оставался самими собой — апостолом правды. И в советское время, и в постсоветской Беларуси. С новой властью, как и с советской, отношения у него тоже не сложились, когда твердо стал на позиции белорусского национального возрождения. Возобновилась старая травля, он вынужден был уехать из Беларуси, жил в Германии, недолгое время в Чехии, в Праге. На чужбине настигла его роковая болезнь...

Мне выпало счастье быть его другом почти полвека. Но мог ли я предугадать, что именно мне доведется перевести на русский язык его последнюю книгу!...Ту, которая перед вами, — «Долгая дорога домой». Это его воспоминания рассказ о собственной жизни. Как все у Быкова, честный, искренний, правдивый. (Белорусское издание вышло в Минске, в конце 2002 года, в издательстве «Кніга»). Весной 2003 Василь Владимирович вернулся в Минск, долечиваться в Боровлянах после перенесенной в Праге тяжелой операции. 26 мая я был у него дома — в последний раз при его жизни... В тот день он был бодр, оживлен, даже весел, и всех его близ-

ких и друзей была надежда, что все обойдется... В тот день он и попросил меня перевести «Доўгую дарогу дадому», вручил ее мне с дарственной надписью. И еще вручил тетрадь дополнений, свыше тридцати новых главок, пометил на страницах книги, куда эти главки надо вмонтировать (в белорусском издании их нет).

Менее чем через месяц его не стало — 22 июня 2003 года. Магия судьбы замкнула круг его жизни на этой дате — дате начала Великой Отечественной, мужественным солдатом которой он был четыре фронтовых года, о которой рассказал так много. Долгая дорога домой завершилась в вечности. Для него завершилась, а для нас — продолжается. Ведет нас к нему, к тому, во что он верил, что отстаивал своим пером: правду, справедливость, человеческое достоинство.

*Валентин Тарас*

## КОРОТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

*Прежде всего, хочу предупредить читателя, что эта книга — произведение очень личное, субъективное, одностороннее, какими, впрочем, почти всегда являются мемуары. В этом их сила, но одновременно и слабость, повод для претензий и несогласия с автором. В свое оправдание могу лишь сказать, что ни в коем случае не намеревался кого-то оскорбить, что-то исказить или представить в неадекватном свете.*

*Большинство упоминаемых в книге персон названы их подлинными именами и фамилиями. Лишь в отдельных случаях они изменены — из этических соображений, нежелания задеть человеческое достоинство кого бы то ни было. Да и в интересах автора.*

*Насколько это возможно, автор старался придерживаться хронологии, однако не всегда это удавалось. Особенно там, где разные по содержанию и характеру события не совмещались в одной логической цепочке, те выпадали из нее в отдельное повествование.*

*Приношу свои извинения тем, кого не упомянул здесь, о ком написал мало, а тем более не так, как они того заслуживают. Тем, кого огорчил обнародованными фактами или чрезмерно резкими характеристиками. Намеренно никого не хотел обидеть.*

*Василь Быков*

**Родные** мои места, по-видимому, не очень типичны для равнинного севера Беларуси: резко пересеченный рельеф, холмы и ложбины, овраги, болота и озера. Озер, пожалуй, даже излишек — посреди поля и лесных, круглых, овальных, с искривленной конфигурацией берегов, порой голых, а в большинстве заросших камышом. Ну и, конечно же, леса. Красных боров, правда, осталось мало: их вырубали — особенно после войны — на строительство, на дрова, на продажу. Поля почти повсюду тесные — лоскутки на пригорках, в низинах, часто изрезанные оврагами с олешником на склонах. На этих лоскутках возле леса, возле болота, по-над речками и озерами рассыпаны деревни — небольшие, с кривыми улицами, а то и без улиц, — от хаты к хате ведут тропинки. Не хутор и не село, но так, очевидно, сподручней было вести хозяйство, когда всё под рукой, вблизи хаты — и хлева, и амбар, и картофельные погреба, гумно с молотильным током, поветь и сарай для сена. Даже маленькая деревушка издали казалась большой застройкой. С течением времени строений оставалось всё меньше — горели, разрушались, переносились поближе к колхозным усадьбам, коровникам и конюшням. Меньше становилось и людей. Ныне в моих родных Бычках два десятка хат, половина из которых пустует. В остальных доживают свой век немощные пенсионеры.

Наш двор в деревне был крайний, дальше — поле и заросший олешником да орешником овраг. С этим оврагом, прежде всего, и связано мое раннее детство; в овраге, особенно летом, всё поражало маленького хлопчика, всё было чудом, манило к себе, вызывало острое любопытство. Там сливались два ручья, образуя у камней запруду, тропинка, ведущая к ней, была изрыта кротами — над входами в нору чернели холмики свежей земли; чуть подальше, на склоне оврага, зияла нора барсука; у подножья обрыва струилась из-под камней криничка.

Все довоенные годы мы брали из нее воду, хотя зимой тяжело было таскать ведра по крутым скользким тропкам. Но колодца во дворе хаты у нас не было, а криничная вода была чудесная — чистая, студеная даже в зной, вкусная, как говорила мама. В колодце такой не бывает.

С обрыва в овраг видны были в дали купы ельника — то место называлось Гаи, Ближние и Дальние, куда ребятня начинала ходить с Пасхи, как только подсыхали стежки. Там начинался уже совсем другой мир — лесной, сумрачный и таинственный. Зимой, на Филипповку, в трескучие морозы было слышно, как там воют волки, но логова их находились в другом месте, которое называлось Волковщиной, — это в стороне от Гаёв и довольно далеко, за другим, еще более глубоким оврагом. Чего-чего, а оврагов у нас хватало, все в густых зарослях кустарника, с головокружительными крутыми склонами.

Себя помню лет с пяти. И первые мои яркие впечатления об окружающем мире связаны с озером, овраг — это позже.

Мой друг Володя Головач, который был старше меня года на три, предложил однажды: «Пошли на озеро!» Конечно, это было очень заманчиво, но до озера километра два — для пятилетнего мальчонки чуть ли не кругосветное путешествие. Да еще самовольно, без разрешения родителей. И вот мы пошли. Сперва надо было перейти поле льна, затем перебраться через глубоченную, страшную овражину, затем взобраться на крутую горку. И уже с нее можно было увидеть озеро, которое неровной блестящей заплатой легло на лесной дол. Противоположный берег тоже был холмистый, крутой, поросший елями и дубами. Перед самым озером удобный пологий бережок, песчаная отмель, рядом огромная крутая горка, а на ней дубы. Впервые в жизни я видел такое чудо! (*Говорили, что на горе было когда-то языческое капище.*) Погода была тихая, ясная, и противоположный берег отражался в озере вниз головой. Это поражало.

Всё самое романтическое в моем детстве связано именно с этим озером. Там купались, удили рыбу, ловили раков — тогда их было много. Когда чуть подрос, охотился на раков со смоляным факелом, ночью. Помню, подожжешь факел, и раки, привлеченные светом, выползают на отмель, и столько их, что даже страшно становится. А то сунешь руку в подмытое корневище дерева, растущего из воды, а рак — цап за палец. Так его и вытаскиваешь. Чуть подальше от отмели, на

заболоченном берегу, жили в кустарнике бобры, строили свои хатки. Иногда можно было увидеть, как они плывут, доставляют что-то в свое жилье.

За время, которое прошло с момента первых моих впечатлений, связанных с озером, многое — если не всё — вокруг него изменилось. Не стало приозерных деревушек, разрушены были во время войны да так и не восстановились местечки, ушли в мир иной люди. А вот озеро нисколько не изменилось. Всё тот же берег, те же у него контуры, та же отмель и заросли камыша рядом с нею. И даже три старых ольхи на берегу как росли с начала прошлого столетия, так растут и поныне. И противоположный берег такой же крутой и лесистый, недоступный ни зимой, ни летом. Воистину, бессмертно и неизменно милое моему сердцу озерцо, которое я буду любить до конца своих дней. Озеро это называли Беляковским — по названию ближайшей, кстати, уцелевшей в годы войны, деревни. А историческое его название — Городень, очевидно, по имени языческого капища, о котором я упоминал выше. Беляковское озеро было связано небольшой речечкой с Комаровским. То озеро было побольше, с островком, Беляковское рядом с ним — как малое повторение своего собрата. А между озерами — над речечкой — был мостик, через который перебегала дорога. И вот, помню (*это было в двадцатые годы, когда еще единолично жили*), на какой-то праздник, кажется на Троицу, поехали мы всей семьей в Стайки на молебен. Говорили, что богослужение будет проводить архиерей. Когда дорога пошла под гору, коня понесло, и мне, малышу, показалась, что он несется прямо в озеро. Очень я испугался. Очевидно, благодаря этому перепугу запомнил и ту поездку, и озеро, и себя маленького. А Комаровское озеро тоже красивое; на островке минские археологи отыскали стоянку человека эпохи неолита. Так что места наши были обжиты тысячелетия назад.

Когда-то над озером, возле деревни Беляковщина, стояло имение пана Рудомина (*кстати, знаменитый род времен Великого княжества Литовского*), в котором несколько лет помещалась школа. Затем школу перевели в Двор-Слободку, а особняк Рудомина разобрали на бревна и перевезли

в Ушачи, построили из этих бревен здание райисполкома, который в этом здании и находился до самой войны. Озеро без постройки на берегу осиротело, хотя неподалеку были деревни — Савчёнки-дольние и Савчёнки-горяне. Теперь о них напоминают только обросшие малинником камни фундамента. Дальше — вниз по речке — стояла деревня Витово с мостом, греблей и каменной мельницей. Деревни этой и мельницы давно нет, а деревня Череповщина на горе покамест стоит, притулившись к одичалому саду и дому пана Малиновского. В 20-е годы это был еще чудный дом — с верандой, застекленной цветными витражами, а главное, с металлической винтовой лестницей, которая вела на второй этаж. И витражи, и лестница, весь этот панский дом восхищал детвору, мы часто бегали туда, чтобы полюбоваться зданием хотя бы снаружи. Внутрь не пускали, там находилось очень важное учреждение — сельсовет, на крыльце которого топтался милиционер с наганом на боку.

**О дедах-прадедах** не знаю почти ничего, очевидно, в памяти нашей семьи мало было о них преданий. Или, может, родители не считали нужным о них рассказывать. Да и нам самим, ребятне, поначалу это было неинтересно, а потом некому стало слушать. Знаю только, что один мой дед был потомственный рыбак, всю жизнь ловил рыбу. Передал это дело сыну, брату моей матери — Лявону, который тоже всю жизнь рыбачил. Другой дед был крестьянин-отходник, сезонно работал на промышленных предприятиях в Курляндии, к старости выбился в люди — стал управляющим кирпичным заводом, там же, в Курляндии. Бабка жила в деревне, рано умерла и особой памяти о себе не оставила. Мой отец, Владимир Федорович, в молодости немало поскитался по свету и только на старости лет осел в родной деревне. Когда смотрю теперь на его жизнь, на судьбу его поколения, думаю, что, наверное, это самое несчастное поколение, которое никогда доли не знало. Один разор, революции, войны. Да коллективизация. Да борьба с врагами народа... Голод, кровь, муки.

Земли было мало, как тогда говорили — два надела, поэтому отец каждое лето подавался на заработки — на кирпичные заводы в Латвию, затем прослужил четыре года в царской армии в Гродно, где, кстати, потом и мне довелось жить. Не успел отец вернуться со службы в армии — началась Первая мировая война, и его снова мобилизовали. Оказался в армии генерала Самсонова, где-то в Августовских лесах попал в плен и очутился в Германии. Работал у бауэра. В плену кому как повезло, в зависимости от того, на какие работы человек попал. На заводах и в шахтах приходилось туго, а в хозяйствах бауэров жизнь была вполне сносной. Разумеется, надо было вкалывать, но бауэры неплохо кормили, одевали, как-то заботились о работниках, не то, что было с ними годы спустя на родине, в колхозах. Отец часто поминал свой плен добрым словом, что у меня, вечно голодного подростка, вызывало недоумение и зависть.

Еще отец побывал на гражданской войне, наступал на Варшаву. А перед тем поляки наступали на нас, в околице нашей деревни шел бой, с обеих сторон было много убитых. То место, где лежали убитые, потом долго называлось Битой пажитью. Мама рассказывала, как некоторые крестьяне стаскивали с убитых сапоги, одежду. Рассказывала с осуждением, даже со страхом (*ведь это — великий грех*!). Показывала в углу хаты дырку, в которой застряла пуля, прилетевшая оттуда, с Битой пажити. Я тоже не любил ту пажить, но больше из-за колючей травы, которая там росла и больно колола босые ноги.

Однажды, когда отец рассказывал, как в Восточной Пруссии, в Августовских лесах, попал в немецкий плен, я поинтересовался: «А куда ты дел винтовку?» Отец сказал, что повесил ее в лесу на сук. И я сожалел: зачем он повесил ее на сук? Принес бы домой, я бы с ней играл. Было мне в ту пору лет пять.

Мать, Анна Григорьевна, была родом из деревни Заулок, которая оказалась по ту стороны границы, на территории Польши. За границей остался и ее брат, тот самый, что ловил рыбу. Мать всё время о нем горевала, наслушавшись агитаторов, которые говорили, что трудящиеся в Польше

лишены всех прав и мечтают о кусочке хлеба. Для нас, детей, это тоже было в какой-то степени драмой, слишком рано нам довелось ее постигать.

Я был старший. Правда, старше меня была моя сестра Антонина, но она умерла в пятнадцатилетнем возрасте... После меня родилась Валя, а в 1930 году — брат Николай (*умер в 2000-м*).

Что еще о родителях? Отец был по отношению к детям довольно строг, мы его побаивались. Мама, напротив, была очень мягкая и жалостливая, я никогда не слышал, чтобы она повышала голос, — всё ласково, по-доброму. И я считаю, что это плохо. Всё-таки жизнь — безжалостная вещь, готовясь к ней, еще в детстве надо закалить характер. Я же перенял от матери слишком много мягкости, уступчивости, что потом мне, так или иначе, вредило — на войне и после войны. Особенно в армии, где уважают звероватый характер.

Должно быть, стоит отметить и то, что деревня наша находилась в каких-нибудь двух километрах от границы, — обстоятельство, которое накладывало свой отпечаток на многое — на быт, политические воззрения, на самоощущение людей.

С границей у меня связано немало юношески романтичного и драматичного тоже. В Кубличах рядом со школой была пограничная комендатура, возле школьного двора — конюшня и тир, или стрельбище, где командиры-пограничники упражнялись в стрельбе из револьверов. По дороге в школу и из школы постоянно встречались конные пограничники, с винтовками и шашками, в красивых скрипучих седлах, куда-то они каждый день скакали группами или попарно. Командиры жили в местечке, а их жены были нашими учительницами в школе. Иногда пограничники показывали в деревнях кинофильмы, были как бы шефами. На какой-нибудь праздник устраивали на площади местечка джигитовку — всадники на всем скаку рубили шашками лозу. Всё это было интересно. А летом пограничники купали лошадей в Комаровском озере, мы им помогали. Не обходилось, разумеется, и без драматических событий. Помню, как однажды зимой примчалось в деревню начальство, всех му-

жиков погнали в засаду — подкарауливать нарушителей границы, и мужики целые сутки просидели в кустах, чтобы подать сигнал, если кого-либо заметят. В конце 20 — начале 30-х из Польши на нашу сторону переходило множество людей, в основном молодежь, после известного разгрома западно-белорусской компартии и комсомола. Хлопцы, перейдя границу, радовались, дальше шли веселые, даже с гармошками, — еще бы, ведь вырвались из-под панского гнета в новый мир. Мы видели, как утром их вели с заставы в комендатуру, и все они улыбались. А потом, возвращаясь из школы, мы видели, как их на грузовиках увозили куда-то дальше, и руки они держали за спиной, может, связаны были руки, и улыбок на лицах уже не было. Однажды на границе был убит пограничник, и его хоронили всем районом на ярмарочной площади в Кубличах. Как я теперь понимаю, убили его не обязательно поляки или нарушители границы, а, вполне возможно, свои в целях провокации, как это не раз бывало и раньше. Всё это окрашивало детство в неестественные, порой уродливые тона. Особенно если иметь в виду некоторые последующие события...

Школа в нашей деревне открылась на рубеже 30-х годов, сперва это была начальная школа в крестьянской хате. Та хата стоит и поныне, после войны в ней жил мой брат Микола. А когда создавалась школа, хозяева хаты отдали под нее большую комнату, а сами переселились в боковушку. В комнате поставили два длинных стола, собрали человек пятнадцать деревенской ребятни. Учителем был Антон Васильевич Авласенко из деревни Дорошковичи. Кстати, его дочка живет в Минске, замужем за старшим Машеровым.

Так сложилось, что все мои друзья были старше меня и пошли в школу раньше, а мне было только шесть лет. Сижу один дома, а в школе что-то интересное происходит, и я тоже туда хочу. И вот отец однажды взял меня за руку и повел к учителю. Поговорил с ним, и Антон Васильевич сказал: «Пусть ходит». Дал мне тетрадь и перо, а Володя Головач, с которым я путешествовал на озеро, сбегал со мной на замерзшее болото, аккуратно срезал ножичком камышинку и вставил в нее перо. И стал я учиться.

С той поры (*а может, немного раньше*) началось мое знакомство с художественной литературой. Читать я еще не умел, и первое художественное произведение мне прочел отец. Это был знаменитый «Гой» Михася Лынькова («И плакала Рива...»). А в школу учитель принес однажды несколько детских книжек, стал раздавать для прочтения — это тебе, это тебе... Мне досталась тоненькая книжечка, сказка «Царевна-лягушка», а Володе «Конек-горбунок». Это была первая моя школьная обида: не хотел я читать про «лягушку», хотел про конька-горбунка. Обделила судьба на первом же этапе.

Во втором классе я учился уже в другой деревне — в Двор-Слободке. Тамошняя школа была получше, в былой господской усадьбе. Под школу отвели половину господского дома с верандой, кафельной грубкой и большими окнами. Учил нас молодой учитель Степан Григорьевич Троцкий, а также его коллега Кротенок. Первый теперь на пенсии, долго работал в Браслове. Тогда, в Двор-Слободке, он был веселый человек, не злой, мы его любили. Он преподавал, кажется, одну зиму. Затем явился другой — Сергей Степанович Новиков, уроженец нашей деревни. Этот был противоположность прежнему: довольно суровый человек, партиец, он организовывал колхозы в нашей округе, в годы войны погиб в партизанах, во время знаменитого разгрома партизан Витебщины, названного потом «героическим прорывом». У него была своя, партийная система преподавания: очень он напирал не на язык или арифметику, а на обществоведение, а также на историю. В комнате, в которой мы учились, было сразу два класса — младший сидел на одном ряду парт, старший — на соседнем. Если в одном классе шел устный урок, то в другом — письменный, самостоятельный. И бывало так, что я свои задачки быстренько решу и сижу, слушаю, о чем идет речь в старшем классе. И не раз бывало, когда там никто не мог ответить на какой-то вопрос учителя (*один, помню, был о Парижской коммуне*), я подымал руку, и Сергей Степанович меня вызывал, а потом стыдил старшеклассников, что они не знают. Вот так я поактивничал несколько раз, и учитель говорит: «Нечего тебе там сидеть, перебирайся

сюда». Посреди учебного года он перевел меня в четвертый класс. Но это не пошло мне на пользу. Потому что окончил я четыре класса в десять лет, а что дальше? Средняя школа в Кубличах, за три километра, вот отец и говорит: «Куда тебе, малявке, так далеко ходить? Ступай снова в Слободку». И пошел я снова в четвертый класс, лишь бы учиться. Вот и вышло, что в третьем классе я проучился полгода, а в четвертом — два года. Позже стал ходить в Кубличи, в тамошней средней школе учились хлопцы и девчата всей округи.

Когда замерзало болото, в школу ходили напрямки — через олешник, пригорок и дальше болотом. На болоте надо было обойти островок олешника на трясине, заросший осокой, перебраться через заросшую аиром речушку и вскарабкаться на довольно крутой склон перед Кубличами. Путь был нелегкий, но интересный: на болоте попадались зайцы, можно было вспугнуть в осоке куропаток. Однажды в зимних сумерках мне повстречался волк, какое-то время мы с ним шли в одном направлении, я — по тропинке, а он — поодаль, по целине. Потом разошлись — каждый своей дорогой.

На болоте вблизи школы разлеглось небольшое озерцо, недоступное летом, зато захватывающе интересное осенью, когда покрывалось тонким прозрачным льдом. Ранним утром на нем можно было поскользить, исследовать илистое дно — глубина была небольшая. На дне, едва шевеля плавниками, дремали язи и щуки. Стоило тихонько продолбить маленькую лунку и направить на рыбину сделанную из толстой проволоки острогу, как язь или щука становились твоей волнующей добычей. Этим обычно занимались хлопцы постарше, ребятишкам разрешалось только смотреть.

Лето, летушко, летейко...

Его ждали, о нем мечтали, грезили... А оно всё медлило, весна продолжалась. Весна тоже неплохо, но ведь — школа! Испытания — экзамены — каждый год, за каждый класс. А еще — бесхлебица, щавель да крапива. Травица, от которой больно во рту.

Но вот наконец школа позади, учебники — на полку. Лес уже нарядился в листву, вокруг зелено. В школу ходить не надо, но плохо то, что вне школы нет книг, нечего читать.

Зато — воля. И — озеро. Снаряжаем удочки. Крючки раздобыли загодя, у некоторых есть ушко, а то теперь в магазине крючок с ушком не купишь — все только с плоскими кончиками. А такой крючок плохо держится на узелке самодельной «лески», плетенной из волосьев, выдернутых из хвоста белой кобылы. К сожалению, в колхозе только одна кобыла белая. Бригадир ругается... Хотя бригадир, Антон Стриженок, вовсе не злой дядька и бранит нас беззлобно.

На рыбалку я встаю на заре и сразу — на озеро. Конечно же, на Беляковское, как мы его называем. Чтобы не идти через Савчёнки, в которых мальчишки драчливые (*могут поколотить*), взбираюсь на горку возле Савчёнок-горних, оттуда по тропке через олешник к озеру. Червяки тут же, на берегу. Наступает великое бдение — кроме меня и поплавка ничего больше не существует. Первая поклевка, круги на воде. Но поклевка — еще не рыбина. Клев очень осторожный, пугливый. Солнце выкатывается над лесом, припекает плечи через рубашку, а у меня всего две плотвички. К обеду — штуки четыре. Меняю место, хожу туда-сюда по берегу. Рыбных мест тут, однако, не много — сплошь камыши, кувшинки. Беда, если оборвется крючок. Бывает, что он последний.

К полудню на берегу появляются какие-то люди из соседней деревни. Издали слышу разговор: «Кто это там удит?» — «Да Ладимера хлопец, из Бычков». Значит, знают меня. А я не знаю, хорошо это или плохо? Может, лучше бы не знали, потому что, говорят, удить рыбу запрещено, ловить ее могут только государственные рыбаки. Я же — негосударственный.

Штаны у меня намокли выше колен, и я выхожу из воды, закатываю мокрые штанины. Хочется есть. Улов мой — пять плотвичек и окунек. Отнесу маме, пусть зажарит.

Хорошо на озере, но завтра — на пастбище. Подошла моя очередь.

Пасти коров — самая постылая моя обязанность. А очередь подходит через каждые семь дней. Деревня небольшая, коров мало.

Обязанность эта донимает из года в год — с весны до поздней осени. Правда, во время школьных занятий только

после уроков, летом же — весь день. От зари до зари. Очень не хотелось вставать на рассвете, мама будила меня по нескольку раз. Наконец вылезал из сена в повети, сонный, выгонял нашу коровенку. Это была рябенькая, черно-белая коровенка, глаза ее окаймлялись кругами, как будто она в очках, в окулярах, — мы и звали ее Окуляркой. Она кормила семью лет десять. Окончила свой век во время войны, если не забрали ее на прокорм партизаны...

Пасти скот было негде — вся земля была под посевами. Оставались кустарники, овражки, перелески. Приходилось всё время быть на ногах, бегать и бегать за коровами, чтобы не разбрелись. Чуть полегче было, когда начиналась косовица и жатва — коровы паслись на стерне. Коровам что, а моим ногам доставалось — они были исколоты, изранены. По утрам (*под осень особенно*) донимали росы — студеные, едкие. От них на голенях появлялись болячки. Долго не заживали.

Летом скот в полдень гоняли на дойку. Это давало часа три передышки от полевого зноя. А затем — опять в поле, до захода солнца.

Родители в страду — оба в поле. Косьба, сушка, перевозка сена. Затем — жатва. Жали в основном серпами. Белые платочки баб — по всему полю. Снопы ставили в бабки, так досыхало жито. Возить сено на возах поручали парням постарше — это было интересно. Особенно сидеть высоко и смотреть на округу. Но дороги!.. Однажды и я поуправлял возом. Да на повороте с дороги на сельскую улицу круто повернул коня, и воз опрокинулся. Я очень испугался. Бригадир, правда, меня не бранил, только воз с сеном мне больше не поручал.

Летом — после пятого класса — я пас лошадей. Пасли вдвоем с Илюхой, моим двоюродным братом — мы днем, а его отец, мой дядя Степан, ночью. Опять приходилось рано вставать и гнать лошадей на далекое поле — за Гаи или в Мамоны, где по ночам паслись колхозные кони. Лошади, конечно, не коровы — спокойнее да и стреножены, однако каждая со своим норовом. Разбредутся — поищешь!.. А то, случалось, заедут на посевы, наделают потравы. Потрава — это

хуже всего, бригадир грозит штрафом, который взыщут с отца. Так что следи за конями! Но днем, когда пригреет солнце, можно посидеть в тенечке и почитать книжку. На полдник ездим с Илюхой по очереди, верхом на какой-нибудь молодой лошадке. Утром лошадей разбирают колхозники — в плуг, в борону, телегу тащить или воз с сеном. Кони худые, потому что пастбище скудное, за ночь не наешься. Мужчины курят и бранятся. Дядька Степка выговаривает мне, что опоздал на смену — пока я разыскал его в кустарниках, солнце уже поднялось довольно высоко...

После седьмого класса сторожил сад в Островщине.

Островщина — некогда помещичий фольварк — деревушка из шести дворов. (*Позже эти шесть хаток перевезли в Бычки, и Островщины не стало.*) Сад там был большой, старый — груши, яблони, вишни. Мне дали ружье без патронов, и я ходил вокруг сада и по саду — сторожил. Вокруг тихо, никого нет, и я забираюсь в укромное местечко под кленом, где соорудил потом шалашик, и — читаю. В полдень, когда колхозники шли на обед, кто-нибудь из них забегал в сад поживиться яблоками. А я на то и сторож, чтобы не давать их срывать. А как не дашь? Говорил: «Не рви, дядька, а то заявлю в контору!» А он отвечает: «Ну, если заявишь, то непременно нарву!» И рвал. Что мне было делать? Заявишь не заявишь — всё равно яблокам не сдобровать. А иной обещал снять с меня штаны и обстрекать красивой. Отвратное было дело — сторожить сад. Еле дождался конца лета.

Дома у нас тоже был сад — садочек, как мы его называли. Садочек я любил — и весенний, когда он был в цвету, и осенний, когда созревали яблоки и груши. Особенно восхищали груши — огромные фунтовки и спасовки (*спасовки созревали аккурат к Спасу*). Еще до того я примечал в кроне самую крупную, блестевшую на солнце синей кожурой, и, как только созреет, взбирался за ней на дерево. Вкусные были груши! Из яблок самыми вкусными были апорты (*только одна яблоня была этого сорта*), но апорты и прочие сорта созревали поздно. А самыми поздними были плоды одинокой дички, которая росла в уголке садочка. (*Говорили, дичку эту посадил мой дед, хотел прищепить к ней какой-то сорт,*

*да смерть помешала, дичка так и осталась без привоя.*) Каждый год она была усыпана меленькими, очень кислыми яблочками. Поздней осенью мы их снимали и ссыпали на чердаке, зимой их прихватывало морозом, и подмороженные они давали обильный сок. Мы добавляли в него соду, и получался чудесный шипучий напиток, который любила мама. Та яблонька, кажется, и ныне одиноко стоит на месте былого садочка — старенькая, скрюченная, изувеченная временем. Но всё еще родит, всё еще дает горстку памятных мне крохотных яблочек. Остальных деревьев давно уже нет.

Без хозяев сад живет недолго.

...В одну из зим — посреди учебного года, я заболел.

Конечно же — простуда. Ноги в дырявых ботинках постоянно мокрые, на плечах поверх нижней рубашки домотканая свитка, которая тепла не держит. Пока добежишь до Кублич — околеешь. Но и в школе не очень согреешься, в классах холодновато.

Сильно кашлял, особенно по ночам. Отец мне выговаривал: «Сказано было, не бегай никуда, сиди дома! Так нет же, тебе надо на лёд, снежками забавляться с мальчишками. Теперь кашляй!»

Я совсем расхворался, неделю не вставал с постели, и отец привез из Кублич фельдшера Дашкевича. Тот прослушал мою грудь стетоскопом, велел лежать, во двор не выходить. Пролежал я не меньше месяца. Ничего не болело, но кашель был жуткий, в груди хрипело. И совсем не хотелось есть. Да и нечего было есть — как раз в ту зиму не стало припасов, обезмолочилась корова. Ни молока в доме, ни мяса. Только бульба да капуста. Помню, подслушал утром разговор отца с матерью: «Надо, видно, зарезать овечку, иначе Васька не поправится, не ест ничего...» Я испугался, потому что любил ту овечку (*да и было их всего две*), и говорю: «Не надо резать, я и так поправлюсь».

Овечку не зарезали, но выздоравливал Васька очень медленно, еле-еле. Мама плакала, она ведь уже похоронила три года назад старшую дочку, Антонину, которая умерла от такой же, как у меня, простуды. Помню, как лежала шестнад-

цатилетняя девушка на столе, в подвенечном платье (*в этом платье когда-то венчалась мама*), и меня очень удивлял этот наряд. Все плакали. А я не плакал — был маленький и не понимал, что такое смерть...

Настоящий праздник воцарялся в школе, когда вдруг объявляли, что после третьего урока будут показывать кино.

К сожалению, случалось это редко, может раз за всю четверть, для всех классов. Как муравьи, веселые и дурашливые, мы высыпали во двор, строились в колонну и во главе с учителями радостно топали в ДСК (*Дом социалистической культуры*), усаживались на скамейки и нетерпеливо ожидали, когда застрекочет проектор. Какой фильм покажут, было известно заранее (*разумеется, почти все фильмы были про войну*). Кино еще было преимущественно «немое», речь заменяли титры, которых в немых фильмах было очень много, и надо было успевать схватывать титры и одновременно следить за событиями. Нравились все фильмы, «плохих» тогда не было. По дороге домой обсуждали фильм, спорили. Ночью какие-то эпизоды снились — кино продолжалось и во сне.

Я как раз болел, когда показывали картину «Чапаев», и ее пропустил, о чем жалел много лет — это была, пожалуй, самая большая обида, которую я пережил в школьное годы. Но кто виноват? Просто не суждено мне было тогда увидеть «Чапаева»...

Изредка, насколько помню, еще до колхозов, кино показывали в деревне, в чьей-либо хате. На простенок между окнами вешали белое рядно, ставили лавки посреди хаты. Позади их устанавливали проектор с двумя колесами, прилаживали к последней лавке динамо, ручку которого по очереди крутили молодые хлопцы. Малышня усаживалась вплотную к экрану и впивалась в него глазенками. Лента часто рвалась, киномеханики ковырялись в проекторе, отрезали от ленты куски, затем склеивали их, отдельные обрезки бросали на пол, и детвора тотчас их расхватывала. Потом мы рассматривали эти кусочки ленты на свету, что было не менее интересным, чем целый фильм.

**В пятом классе** — поздней осенью — ездил в Ушачи на слет учеников-ударников. Ехали втроем — я и еще двое учеников, в сопровождении учителя Жирнова. Ехали на телеге. Было холодно, я весь продрог в своей свитке (*не от того ли потом и заболел*?). Учитель смотрел на меня с жалостью, утешал: «Я тоже когда-то ехал в город в такой же свитке...» В Ушачах нас премировали — Меира Свердлова фотоаппаратом, а меня и еще одного мальчика — цветными карандашами в красивом пенале.

Это было первое мое путешествие за пределы деревни и Кублич. Второе состоялось летом — в пионерский лагерь в Стайках (*это под Лепелем*). Лагерь размещался в сельской школе. Мне сказали еще весной, что поеду в лагерь, и я с нетерпением ждал целый месяц. Из Кубличской школы в лагерь отобрали шесть учеников, среди которых был и мой знакомец, старшеклассник Меир Свердлов. До Ушачей нас везли на подводе, а оттуда до Лепеля на грузовике, в кузове. Дорога была очень красивая — лес, озера. И теплый ветер в лицо.

Лагерь не очень понравился — строгая дисциплина, линейки, физзарядки. Книг в лагере хватало, но читать их было некогда: сплошные мероприятия. Зато кормили хорошо. После сельской голодухи мы, деревенские, даже кашу ели с хлебом, над чем посмеивались «городские». И мне было стыдно.

Почему-то не запомнилось ничего радостного, связанного с лагерем, о котором я так мечтал. Разве что дорога т у д а. А обратной дороги не помню.

Постоянной тяжелой проблемой родителей (*да и нашей*), детей были одежда и обувь. Особенно обувь. Зимой, бывало, ранним утром слышу сквозь сон, как отец возится с моими ботинками — зашивает, подбивает. Ремонтирует. Когда ботинки уже не поддавались ремонту, я надевал деревянные колодки или драные опорки, чего отец очень стыдился. Но другой обуви не было. То же и с одеждой. Сшить новую рубашку или штаны было не из чего — в магазине не купишь, нету, и своего домотканого полотна тоже нету, не из чего его соткать — весь лён забирало государство. Помню, как-то под

осень мама сшила мне новую верхнюю рубашку из двух белых (*в крапинку*) женских головных платков с бахромой по краям. Бахрому она отрезала, но в одном месте полоска ее осталась и вылезла из-под шва, что заставляло меня мучительно конфузиться.

В седьмом классе мама справила мне пиджак, который пошила ее подруга из Кублич — Рива (*Ривочка*). Но сперва надо было остричь овец, расчесать шерсть (*чесали в Кубличах мы с мамой, я крутил чесальную машину*). Затем мама пряла, затем красила нитки, затем ткала сукно — кросны (*ткацкий станок*) у нас были свои, но давно уже стояли без дела у стены. В том пиджачке я ходил в школу два года, фотографировался в нем на паспорт. И снял только тогда, когда он стал совсем драным — прежде всего на локтях...

... Наш класс приняли в пионеры, вручили нам красные галстуки с красивыми металлическими застежками, которые очень нам нравились. Больше, чем галстуки. Но бабы в деревне над нами посмеивались, а некоторые и бранились: безбожники! Поэтому мы по дороге в школу, в Кубличи, прятали галстуки в карманах и надевали только у самой школы. После занятий тотчас снимали.

В Кубличах, как в каждом белорусском местечке, было много еврейских детей. В нашем классе половина учеников были евреи. Я дружил с братьями Свердловыми — Меиром и Лейбой. Меир был старше меня, опережал на два класса, а с Лейбой мы были одноклассники. Погиб мой Лейба-Лёва в 41-м году, расстрелян вместе со всеми кублическими евреями в Ушачах, а Меир жил в Москве, работал в каком-то закрытом «ящике», на секретном производстве. Как-то он приезжал в Минск, и мы вместе съездили в местечко нашего детства, где и следа не осталось от хаты Свердловых. Вообще, почти ничего не осталось от прежних Кубличей — всё разбомбили, сожгли, уничтожили во время войны. А когда-то это было славное старинное местечко, обозначенное на географических картах еще в XVI веке, со старинной православной церковью (*бывшей униатской*), — в этой церкви меня крестили, в ней принял первое причастие. В Кубличах родился Верига-Даревский, известный литератор, участник

восстания Кастуся Каликовского. Школа в Кубличах была с незапамятных времен, была синагога, аптека, кузница и даже пожарная каланча, рядом с церковью. Главное место, однако, занимало примыкавшее к ярмарочной площади кирпичное здание пограничной комендатуры. Со временем его огородили высоким дощатым забором, вкопали на изгибе, в углу забора, деревянный столб, который служил турелью ручного пулемета. В 30-е годы была построена новая неплохая школа, но тогда же сорвали кресты с церковных куполов, чтобы их нельзя было разглядеть с сопредельной стороны границы — а как же! Ведь кресты — это ориентиры для «мировой буржуазии», которой неймется разрушить Кубличи. Но разрушать их стали сами. Всё церковное имущество конфисковали или попросту разграбили воинствующие атеисты, которыми обязаны были быть все пионеры, комсомольцы, учителя, партийцы и беспартийные активисты. И мы — активисты-пионеры — таскали из церкви и рвали в клочки старинные фолианты, мастерили из церковных рукописных пергаментов воздушных змеев, запускали их в небо в ветреные дни. А районный быткомбинат пошил из церковных риз тюбетейки, в которых не один год ходили летом наши хлопцы.

В первый год войны всё еврейское население оккупанты согнали в Ушачи и расстреляли возле кладбища. Перед самым освобождением Кубличи беспощадно разбомбили и сожгли. Теперь это захудалая деревня с несколькими зданиями из силикатного кирпича, которые стоят при въезде в деревню.

Как это забыть? Христианские традиции искоренялись, церкви и костелы были закрыты, священников сажали в тюрьмы. Но неискоренимыми оказались старинные праздники и обряды — Коляды, Деды, Купалье. Особенно любили Купалье. В ночь на 7-е июля сельская молодежь, а молодежи тогда было куда больше, чем теперь, зажигала костер — огненный круг. Или зажигали смолистый корч, который привязывали к длинной жерди и втыкали ее в землю на пригорке за хатой Головачей. И тут же разбегались кто куда: из Кублич, увидев огонь, скакал конный пограничный наряд. Пограничники оп-

рокидывали жердь, гасили факел, ругались — зажигать огонь в Купальскую ночь запрещалось. На вопрос — почему, следовал лаконичный ответ — потому!..

За лесом (*зарослями кустарника*) находилось местечко Селищи, католический центр региона с большим костелом и монастырем; крыша монастыря была из белой блестящей жести, — эта крыша была видна аж с нашего поля. На селищанском католическом кладбище стояли очень красивые мраморные памятники с латинскими буквами, шумели сосны. Посреди кладбища стояло белое мраморное изваяние девушки в образе ангела, скорбящего над могилой. Мы, дети, почему-то очень этого памятника боялись. Ныне Селищи тоже превратились в захудалую деревню с разрушенным костелом и заброшенным кладбищем.

До войны Кубличи были центром сельсовета, а Ушачи — района. Но для меня это был настоящий город, далекий и заманчивый — там клуб, столовые и даже книжная лавка. В лавке висела известная картина Зайцева, репродукция, разумеется, — «Чапаев на коне». Герой был изображен в бурке, с блестящей саблей в опущенной руке. Небо и облака на картине были как настоящие (*тогда умели так писать*). Изредка бывая в Ушачах, я всякий раз заходил в книжную лавку полюбоваться Чапаевым.

**Кубличи!..** Как я уже говорил, там была новая, из тёса, школа со светлыми классами и спортивной площадкой во дворе.

И учителя были новые. Русский язык и литературу преподавала Клавдия Яковлевна Патута, молоденькая девушка, только-только окончившая Полоцкий педтехникум. Мы любили ее просто за молодость, хотя и учительница она была неплохая. И всё же белорусским детям русский язык давался с трудом, особенно диктанты и сочинения. Но я в ту пору пристрастился к чтению, причем мне было всё равно, на каком языке книжка — на белорусском или русском, поэтому на уроках по русскому особых проблем у меня не было.

Белорусский язык преподавал Андрей Демьянович Курченко — мрачноватый человек, учитель довольно суровый.

Свой предмет он знал превосходно и, поскольку был строг, мы учили белорусский основательно. Правда, мне он давался легко. Однако к урокам я готовился усердно, тоже побаивался Андрея Демьяновича, хотя вызывал он меня редко и никогда не давал ответить до конца. Только начну, как он говорит: «Садись!» И ставил «пять». (*Или — «отлично»? Я уже забыл, как тогда именовались оценки, система образования у нас перманентно меняется.*) Как бы там ни было, белорусскую грамматику (*«наркомовку», конечно*) я усвоил надолго и, кажется, только теперь начинаю ее забывать. Кроме Клавдии Яковлевны и Курченко, запомнились преподаватель физики Красинцев и учитель истории (*он же преподавал географию*) Жирнов. Оба славные были учителя, светлая им память.

Увлечение чтением стало для меня в те годы главным. Но где брать книги? Разумеется, в школьной библиотеке, которая была не очень богатой, однако классика в ней имелась, и белорусская, и русская, и кое-что из мировой. Прежде всего приключенческая литература — от Жюль Верна до нашего Янки Мавра, книги которого я очень любил. Большой популярностью пользовалась в те годы книга Николая Островского «Как закалялась сталь», ее читали по очереди всей школой.

Когда я заболел и долго не ходил на занятия, особенно много читал и перечитал всё, что было в Слободской школе, а это преимущественно русская классика. Одолел за время болезни «Войну и мир», три тома «Тихого Дона», многое из Гончарова, Тургенева, из белорусских авторов прочел книги Зарецкого, Гартного, Головача. Долго нигде не мог достать «Дрыгву» (*«Трясину»*) Якуба Колоса, о которой узнал из учебника по белорусской грамматике — отрывок текста из «Дрыгвы» приводился в учебнике в качестве примера по синтаксису. Проследил, что «Дрыгва» появилась в заготовительном магазине в Селищах. Но где мне было взять деньги? Летом деревенские ребята драли лыко лозы и крушины, высушивали их на солнце и сдавали в заготовительные конторы-магазины. И настал день, когда я, сдав заготовителям очередную изрядную охапку лозового лыка, смог приобрести «Дрыгву».

Когда всё, что имелось в школьной библиотеке, было прочитано, я стал добывать книги у друзей и знакомых. Как только прослышу, что у кого-то есть незнакомые мне книжки — прошу дать почитать. На пару дней, на одну ночь. Помню, в нашей школе был ученик Бобровский, кажется, из деревни Чамеречино. Его то ли отец, то ли дед был учителем еще в царское время и оставил после себя целый сундук книг. Вот это было сокровище! Зимой Бобровский приносил мне книги в школу, а летом я сам бегал за ними к нему домой. Читал в основном издания XIX века — Мамина-Сибиряка, Короленко, Станюковича, Помяловского, прочел несколько романов Шеллер-Михайлова. В том же сундуке нашел редкую по тем временам книгу Жюль Верна «Из пушки на Луну», которая мне очень понравилась. Узнав, что на белорусском языке этой книги нет, я перевел ее полностью и отправил перевод в Минск, в газету «Піянер Беларусі», чтобы там напечатали и познакомили белорусских детей с этим произведением. Наивно, конечно, но это было глубокое движение души — книжный мир стал для меня не менее реальным, чем тот, в котором я жил, однако влияние на формирование души книги оказывали более важное, нежели реальность. Тогда, в детстве...

Поэзия, в том числе и русская классическая, трогала мало. Немного позже, в юности, стал нравится Лермонтов. А почему — я понял, прочитав после войны у Бунина, что именно Лермонтов, а вовсе не Пушкин — первый поэт России.

Несколько лет подряд я сидел в школе за одной партой с Шуркой Андрейчиком. Это был тихий, задумчивый паренек, хорошо успевал по математике. Лучше меня. Но я лучше писал диктанты и сочинения. И вот мы договорились, образовали, так оказать, кооперацию: он мне помогал по математике, а я ему по грамматике и литературе. Со временем я совсем обнаглел и на уроках математики читал, положив книгу на колени. Продолжалось это долго, пока однажды директор школы Слимборский, который преподавал математику, не поймал меня с поличным и не поставил «двойку». Пришлось исправляться. Стыдно стало, потому что по всем остальным предметам у меня были пятерки.

Не могу не сказать еще об одном моем увлечении в школьные годы — о рисовании. Рисовать стал рано, пожалуй, в третьем или четвертом классе — карандашом или акварельными красками делал рисунки для стенгазеты, рисовал всякие наглядные пособия — карты, схемы, диаграммы... Учиться искусству рисования было не у кого и не на чем — какое изобразительное искусство в деревне? Да всё же обнаружилось! В соседнем селе Островщина жил крестьянин по фамилии Бобрик, бедняк из бедняков. Этот Бобрик в годы гражданской войны был в Сибири, служил в доме у какого-то богатого дворянина, говорили, у самого губернатора.

Я узнал, что Бобрик привез на родину несколько картин, написанных маслом, маленькие такие этюдики. Еще он привез годовые подшивки журналов «Нива» и «Огонек», в переплете, за несколько лет. «Огонек» — номера с начала XX века, вплоть до 1916 года. В журналах было много репродукций — черно-белых и цветных тоже. Я брал у него эти подшивки, читал, разглядывал репродукции. Ну и, конечно, сам рисовал. Посылал на какие-то конкурсы свои рисунки, переписывался с Витебским, кажется, или Минским, точно не помню, домом пионеров. Там были методические кабинеты, оттуда мне присылали задания... Что до книг, то, думаю, многие из них надо читать в свое время, в определенном возрасте. Теперь жалею, что слишком рано прочел самые значительные книги, поэтому, будучи несмышленым, взял из них далеко не всё, что в них было заложено. Но, возможно, я ошибаюсь. Может, именно потому, что я читал их в раннем возрасте, они и смогли что-то затронуть глубоко в душе, а потом уже было не то. Потом жизнь формировала, комкала душу, а влияние литературы ослабло.

Достаточно долго мой рассказ на этих страницах идет о детстве, память выбирает лучшее, что в нем было, или нейтральное. Но жизнь на самом деле была другой, и память сохранила немало уродливых гримас той жизни, событий, происходивших в мире взрослых.

Вспоминается 1932-й, кажется, год, весна. В стране шла коллективизация, по сути — насильственная ликвидация крестьянства как класса. В сплошь крестьянской стране кресть-

ян ликвидировали как класс — классический геноцид, только по классовой принадлежности!.. Крестьян агитировали, что в колхозе будет лучше, а они, дурни, не верили и, тем самым создали конфликт с государством. А как этот конфликт выглядел на практике?

Был мал, но хорошо помню, как в деревне шло собрание — несколько дней подряд, мужиков уламывали вступать в колхоз. Те упирались, думали, будто что-то зависит от их согласия. Напрасно!

Помню, проснулся однажды рано утром от маминого плача. Я в детстве очень чутко улавливал мамино настроение и сразу сочувственно на него отзывался.

Но я никогда не видел, чтобы мама плакала. А тут просто причитает, как по покойнику. Рядом в углу, понурившись, сидит отец. Я подбежал к матери, спросил: «Ты чего?» А отец говорит: «Не трогай ее — организовался колхоз». Ну организовался, и пусть, но почему плачет мама? Оказывается, потому, что на рассвете приехала бригада и выгребла всё из кубышек, из мешков и сусеков. Вот с тех пор и началось. Известно, как в колхозах было — голод, подневольный труд, репрессии... Железной поступью шло раскулачивание. Раскулачили мужика, у которого была корова с телушкой. У всех по одной корове, а у этого — с телушкой. Другого раскулачили за то, что летом племянница помогала ему жать жито. А это — использование наемной силы. Третьего раскулачили как саботажника. Не хотел вступать в колхоз, упирался. Вывозили семьями. Помню хлопчика, с которым учился. Раскулачивали осенью, не помню, до организации колхоза или позже... И вот хлопчик этот не пришел в школу, и я побежал к нему узнать, что случилось. Вижу, возле его хаты уже грузят скарб на подводы, а мой одноклассник хвалится: «А мы в поезде поедем, ага!» И мне стало завидно — почему моего отца не раскулачили, и я бы в поезде поехал... Я ведь поезда даже не видел...

Создали колхоз, пришла весна, доели бульбочку, которая осталась после обобществления. Есть стало нечего. Ели мякину с травой, крапиву. И так продолжалось много лет, потому что в колхозе ничего не получали. Урожаи ежегодно

были плохие, всё, что вырастет, шло на государственные хлебозаготовки и в семенной фонд. Помню такие моменты... Отец пойдет осенью за окончательным расчетом и принесет годовой заработок — полторбы жита. И это всё, что мы заработали за год, работая в колхозе всей семьей. А ведь с нас еще и поставки: мясо, шерсть, яйца, молоко, а еще денежный налог, страховка, государственный займ — всё и не перечислить. Где взять деньги? Что продать, чтобы расплатиться? Когда были единоличниками, выручал лён, сами его обрабатывали, перерабатывали, в самотканое льняное полотно одевались. А теперь со льном стало очень строго — тоже обложили налогом. Взимали беспощадно.

То время запомнилось мне непривычной подавленностью отца. Стало обычным, что он приходил с работы в колхозе угрюмый, молча съедал какую-нибудь похлебку, которую мать ему подавала, и выходил из хаты, садился на колоду у дровяного сарая. Молча курил. Мать его в такие минуты не трогала, мы, дети, тоже молчали. Мне казалось, что отец рассержен — может, на меня? И я тоже на него обижался, злился, дурачок... Много позже понял причину подавленности отца — ему, как и всем крестьянам, жить стало невмоготу.

Помню (*это еще до колхозов было*), отец сидит вечером, расплетает путы, которыми лошадей стреноживают, чтобы сдать эти расплетенные путы в счет льна — путы ведь из льняной пряжи сделаны. А по деревне ходят сельские активисты, обыскивают хаты, ищут припрятанную пряжу. Обыски были повальные — пришли и к нам. А у нас во дворе была старая истопка с дырой в крыше, и дыру эту отец заткнул пуком соломы. И вот стали активисты обыскивать хату, искали, искали — ничего не нашли и у меня спрашивают: «Мальчик, где отец прячет лён?» А я говорю: «В истопке». Ну эти: «Иванов, давай туда!» А я... Не знаю, почему я такое сказал. Должно быть, из неприязни. Спросили, я и ответил, имея в виду тот пук соломы, которым была заткнута дыра. Ввалился тот Иванов в истопку, увидел, что его обманули, стал ругаться. А я убежал в овраг. Потом отец бранил меня: «Ну где ты видел там лён? Лён у нас в другом месте спрятан, век не найдут...» Да, лён... Но ведь надо было сдавать еще и

зерно. Чтобы мы его сами не мололи, а везли на мельницу, где его могли ополовинить, реквизировать, а то попросту украсть. Но у крестьян были свои мельницы — жернова. Почти у каждого они стояли в сенях или в истопке — эти нехитрые приспособления из двух плоских камней. Да и что там было везти на мельницу — какой-нибудь мешок жита? Отец молол сам. И вот однажды явились эти комбедовцы, сельские активисты и сняли верхний жернов. На углу хаты из фундамента выпячивался большой камень, и активисты кокнули об него жернов, который развалился на три куска. Ну вот и живем мы с зерном, но без хлеба. А эти приходят регулярно, проверяют, лежат ли в крапиве осколки. Тут отец и схитрил, взял однажды ночью те куски и скрепил их деревянным обручем. Подбил, подравнял и как-то молол помаленьку. Ночью смелет, а потом снимет обруч и опять эти куски — в крапиву, словно к ним никто и не притрагивался.

А позже, уже при колхозах, никакого зерна не стало, не нужны стали и жернова. Голодуха с весны. Ждем бульбочку. А бульбочка... Это теперь скороспелка и прочие ранние сорта благодаря институту картофелеводства, а тогда бульба была только одного сорта — позднего, осеннего.

Первая бульбочка! Уж как ей радовались, наголодавшись за лето! Копать, помню, начинали после Спаса, в последние августовские дни. Отчетливо вспоминается один из таких дней. Мама заранее заприметила борозду, где бульбочка должна быть наилучшей. Ботва ей это подсказала, глаз у мамы на такие приметы верный. Мама несет лукошко, у меня в руках лопата. И вот выворачиваю из земли первый куст — на корнях с десяток не очень крупных, но и не мелких розоватых картофелин. Мама бережно кладет их в лукошко, а я еще раз переворачиваю лопатой рыхлую землю, затем шарю в ней пальцами и нахожу еще пяток бульбинок. Так же основательно обхожусь и с очередным кустом. Картофелин под ним оказалось немного, и я хотел выкопать еще пару кустов, но мама воспротивилась: «Пусть подрастут, пока нам и этого хватит». Пришли домой, моя сестра Валя сразу принялась чистить бульбочку, тут же, во дворе, скоблила ее ножиком бережно, чтобы не соскрести лишнее. Шестилетний Микол-

ка принялся готовить костерок, принес хворосту и пару поленьев дров. Костерок развели на траве, у плетня, подальше от хлева, — там, у плетня, травка была чистая. Хворост и поленья положили на три плоских камня, вдвоем с Миколкой стали раздувать огонь. Когда пламя осело и образовались жаркие угли, мама поставила на них небольшой чугунок, полный бульбочки, накрыла крышкой. Варись, бульбочка!

Время от времени Миколка подкладывал в костерок сухие палочки, перестарался и чуть было не опрокинул чугунок. Мама испугалась: «Не трожь, я сама прослежу!..»

Сидели, ждали, когда закипит. И вот закипело, вода стала переливаться через края чугунка, зашипела на углях. Теперь надо было подкладывать поменьше.

Миколка нетерпеливо ерзал, то и дело спрашивал: «Уже сварилась?» Мама объяснила, что свежая, только что из земли бульбочка на костре варится долго — это ж не в печке!.. Бульбочка, и правда, долго варилась, а когда сварилась, мама не спешила ее сцеживать — ждала отца. Он был в поле, должен был вот-вот прийти к ужину. Кроме бульбочки был на ужин кувшин кислого молока. Не было только хлеба. Но ведь на то и бульбочка, чтоб его заменить!..

— Папа идет! — обрадованно крикнула Валя.

Отец был очень усталый, невеселый. Увидев костерок и свое семейство вокруг него, грустно улыбнулся: «Ты смотри, уже мы с бульбой! Я сейчас, только руки помою».

А у нас текли слюнки — так хотелось поскорей отведать пахучей, с дымком, долгожданной бульбочки.

— Ну, теперь не помрем, — сказал отец, садясь у костерка на табуреточку. — Коль уж бульбочки дождались...

И тяжело вздохнул.

Конечно, пока не было бульбочки, спасало молоко, но ведь подросткам и мужчинам хотелось и хлеба.

Вечной проблемой были одежда и обувь. Особенно обувь, она на мне просто «горела» — по грязи, по снегу каждый день за три километра в школу. Три туда, три обратно. А башмаки единственные. То же и с одеждой — ходил в обносках. В магазине же ничего не купишь. Помню, когда в

сельпо завозили мануфактуру, за ней была черт знает какая давка. Керосин отпускали по литру, а то и по пол-литра на месяц и только по книжке пайщика. Придешь домой из школы зимним вечером — в хате темно, лучина горит на припечке, и при ней надо готовить уроки. Правда, среди этой беспросветной нужды выпадали изредка и светлые минуты. Как-то осенью вызвал меня к себе директор, посмотрел на мои рваные, заляпанные грязью башмаки и говорит: «Сходи в сельмаг, примерь гамаши. Скажи, директор велел примерить». Сходил я, примерил, а потом директор мне эти гамаши купил. Всё-таки я был отличник, и, очевидно, это что-то значило. Уж как я берег-лелеял те гамашики!..

Как раз в это время отец взялся за строительство новой хаты, старая сгнила, жить в ней стало невозможно. Зимой отец сходил в сельсовет за разрешением спилить деляночку сосен, затем бревна надо было как-то привезти, просить у колхоза подводу. Уже в теплую пору отец закладывал фундамент, затем ставил сруб. И всё сам, один, а ведь от полевых работ в колхозе его никто не освобождал, работать приходилось и там, и тут. Придет, бывало, на полдник и сразу к срубу — тюк, тюк топором. Осенью перебрались в новую, еще недостроенную хату, без пола. Приятно пахли свежей древесиной стены, но не было печки — ее ставили уже в предзимье. Намерзлись, пока поставили...

Все мои друзья в деревне были старше меня, разве что Василь Паршенок был на год или на два младше. Все, конечно же, были разные, каждый со своим характером — у кого-то он был покладистый, отзывчивый, у кого-то не очень. Володя Головач хоть и был старше на три года, относился ко мне как к ровеснику, был настоящим товарищем, помогал, если была в том надобность. Это не удивительно — у него мать была очень хороший человек. Моя мама, помню, опекала ее, когда та осталась одна, без мужа. А Володя помогал мне рубить дрова, когда мой отец заболел тифом и лежал в больнице в Ушачах. Хорошим хлопцем был сын репрессированного Каля (*мы жили через хату*). Этот хлопец после войны на родину не вернулся, осел в Латвии. С его братом Мишей Змитраковым я подружился меньше, о нем говори-

ли: задавака! После войны он был директором школы в Кубличах, которую отстроили под его руководством. С Василем Паршенком, будущим киномехаником, мы, помню, катались зимой на лыжах; Василь лучше меня съезжал с самых крутых пригорков. Еще один из моих друзей той поры, мой двоюродный брат Микола, не вернулся с войны — вероятно, был убит при штурме рейхстага (*по свидетельству командира батальона, в котором служил брат, Неустроева*). А родной брат Миколы, Илья, был в партизанах, после войны где-то долго скитался, но под старость вернулся на родину и похоронен рядом с отцовскими могилами.

Вот я вспоминаю о друзьях детства и думаю, что дети всё же — жестокий народ. В чем-то даже по-звериному жестокий. Ну, естественно, это зависит от социальной среды, от воспитания, это само собой. Как у взрослых. Но у взрослого человека есть какое-то право на собственное достоинство. А у мальчишки? У него нет никаких прав, а то и представления о них. Он привык думать, что всё решает сила — сила взрослых, сила тех ребят, которые старше, сила власти... И всегда найдется среди тех, кто взрослее и сильнее, а то и с садистскими наклонностями, некто, диктующий свои законы. И часто младший не понимает, что это неправильно, несправедливо, что должно быть иначе. И не пожалуешься, потому что знаешь — никто тебя не защитит. И еще знаешь, что жаловаться — нехорошо, это внушено средой, а то и родителями. И учителями тоже.

Ростом я был не мал, но худенький и слабый, поэтому в разных стачках и потасовках никак не мог одержать победу. Побеждали другие — более сильные, а главное — более наглые. У меня не было наглости. Вот тут я и вспоминал мягкий мамин характер, который унаследовал от нее и который мне немало вредил. А еще в детстве я был очень чуток, остро переживал не только свои, но и чужие несчастья, и когда участились репрессии, когда сталинский «хапун» пришел в деревню, я стал дружить с теми ребятами, которые остались без родителей — другие от этих ребят отворачивались или презирали их: враги народа!.. В нашей деревне тогда было

дворов двенадцать (*потом к ним подселили хутора*), и вот из этих двенадцати дворов шестерых хозяев взяли. Темных колхозников, бывших бедняков. Взяли и Бобрика. Наверное, ему та «Нива» с портретами царей да графинь вылезла боком. А еще был такой Демьян Азевич, инвалид Первой мировой войны, рука у него была парализована и высохла — рука эта всегда была в черной перчатке. Зарабатывал он на хлеб ремонтом часов, их несли к нему со всей округи. И одной здоровой рукой он все эти часы ремонтировал — настенные, карманные, будильники. Любые. И даже стеклышки в них вставлял. А стеклышки где взять? Смекалка подсказала: Азевич покупал стекла для керосиновых ламп, из выпуклой части вырезал нужное ему по диаметру стеклышко и вставлял в наручные или карманные часики. Я, когда учился в школе, несколько лет приносил Азевичу требующие ремонта часы учителей. Спрячу в спичечный коробок и несу. Он починит, стеклышко вставит, и я назавтра отдаю часы владельцу. По дороге из школы несу Азевичу рубль за работу. Отдам, а мне в благодарность от Азевича — 20 копеек. И вот этого инвалида тоже взяли. А его сын, Демьян по имени, как и отец, служил в это время на Дальнем Востоке. Отслужив, вернулся домой, во время войны ушел в партизаны, потом был на фронте, воевал до самой победы. Воевал за советскую власть, которая уничтожила его отца. Но он на нее не обиделся, за что, как известно, детей репрессированных хвалили большевики: «Молодец, не озлобился!» Как будто и впрямь можно было не озлобиться!..

Летом бабы на лугу у речки сгребали сено. Под вечер возле мостика остановилась райкомовская «эмка», из которой вылез какой-то чиж в пиджаке и приказал бригадиру дядьке Антону собрать баб в кучу. Быстренько все собрались на пологом пригорке, стояли, устало опершись на грабли. Райкомовец развернул газету и стал читать вслух: «В Красной Армии орудовала группа вредителей и шпионов во главе с маршалом Тухачевским. Они подсыпали в еду красноармейцев отраву, битое стекло, выдавали иностранцам военные тайны. Верховная коллегия Военного трибунала

приговорила их всех к расстрелу и вчера приговор был приведен в исполнение. Славные советские чекисты не подвели и в этот раз!»

Бабы плакали — это ж надо, какие подлюги! «Хорошо, что их раскрыли, а то моему младшему осенью призываться, — отравили бы, загубили бы моего сыночка!» — плакала от радости одна баба из Слободки. «Ага, ага! — соглашалась другая. — Разве ж им жалко наших хлопцев! Зверюги этакие!»

Бригадир дядька Антон упорно молчал. Кто знает, о чем он думал. Но он был умный мужик, и мы, дети, его уважали. Только знать, о чем он молчит, мы тогда не могли...

Деревня наша в основном была православная, но из хуторов подселили несколько католиков. Помню фамилии: Левицкий, Блажевич, Корсак. Вот их и взяли в первую очередь. Взяли также нашего соседа Бориса. Арестовывал обычно районный оперуполномоченный НКВД Перетятькин. (*Он и после войны приезжал в нашу деревню, — потянуло, должно быть, на место преступления.*) Ну и пограничники старались — не столько охраняли границу, сколько хватали ночью сонных мужиков на своей стороне. Что пограничники, что НКВД — одна система. Никто из репрессированных не вернулся — все реабилитированы посмертно... Взяли тогда и нескольких учителей, в том числе и нашего директора школы Карчевского, который когда-то купил мне гамаши. Но и самих пограничников, включая командиров, тоже арестовывали. Так был арестован капитан Акулов, муж одной из наших учительниц. Любопытно, что в роли сексотов — стукачей — использовали учеников старших классов. Когда судили директора, одна из наших учениц была на суде свидетелем обвинения. Это в 15 лет!

И в каждой деревне были у них сексоты, где получше, где похуже, активные и не слишком. Нам в этом смысле не повезло. В сельскую общину влез чужак, пришлый человек, — после гражданской войны примостился к местной женщине. Не знаю, откуда он был родом, знаю только, что НКВД установило с ним очень тесный контакт. И он даже не скрывал этого, напротив, хвалился, что помогает чекистам.

Где-то в 50-е годы, когда я приезжал к отцу, тот приблуда без приглашения наведывался к нам в гости и за чаркой признавался, что хотел посадить отца, была причина, да пожалел. И отец был ему благодарен. Не знаю, что имелось в виду под «причиной». Может, мамин «контрабандный» переход границы?

Не могу не рассказать об этом «уголовно-политическом» мамином преступлении. Как я уже говорил, мама была родом из деревни, находившейся по ту сторону границы, и долгие годы ничего не знала о своем брате. Не знала даже, жив ли он. В тридцать девятом году, после воссоединения Западной Беларуси с БССР, появилась надежда получить от брата весточку. Но хотя новая граница была теперь аж за Белостоком, старую не ликвидировали. Охраняли по-прежнему бдительно, чтоб никто — ни туда, ни оттуда. И однажды, когда в доме было особенно голодно, мама решилась перейти границу тайком. Собралась и пошла — через лес, через болото, берегом озера. Уж дорогу-то она помнила с детства! И — прошла. И вернулась. И принесла голодным гостинцы: немного муки в мешочке и баранью голень. Оказалось, что мамин брат под панским гнетом жил всё же лучше, чем сестра, у которой месяцами не было на столе даже хлеба. И теперь — всё еще! — жил лучше.

Мама долго боялась, что кто-нибудь на нее донесет и ее посадят. Слава Богу, не посадили, и мы решили, что никто ничего не знает. Оказывается, кое-кто дознался...

**Летом я отправил** документы в Витебск, в художественное училище.

Теперь, по прошествии лет, не думаю, что это мое решение было внезапным, по всей вероятности, это было требование судьбы. Жизнь в колхозе стала невыносимой, голод и репрессии гнали людей прочь. Но взрослым бежать из колхоза было некуда, только молодежь и подростки могли найти какой-то выход.

Как раз в это время в школе появился новый пионервожатый, Виктор Кондрацкий, совсем молодой парень, кото-

рый женился на нашей «русице» Клавдии Яковлевне. Проработал он в школе недолго и неожиданно исчез. Оказалось, поступил в Витебское художественное училище. Однажды летом я встретил Виктора в Кубличах, и он рассказал мне об училище, показал свои студенческие рисунки. Сказал, что студентам предоставляют общежитие и даже платят стипендию — целых 60 рублей! Я рассказал об этом дома, и отец мне говорит: «Езжай и ты туда, потому что тут с голоду умрешь. А там тебе стипендию будут платить. 60 рублей — это ж ого какие деньги!» Правда, отцу не очень нравилось, что я буду учиться на художника, у него был практический крестьянский ум, и отец всё время вздыхал: «Лучше бы ты стал учителей да вступил в партию, как наш Новиков. В начальство выбился!..» К разочарованию отца, стать учителем и партийцем мне было не суждено... Как, впрочем, и стать художником...

На вступительные экзамены ехал поездом (*это был мой первый выход в большой мир*), с пересадкой в Полоцке, в котором раньше не бывал. К поезду на станцию выехали ранним утром, на телеге, по дороге нас прихватил дождь, вымокли до нитки. Обсыхал, гуляя по Полоцку. Деревенский паренек, который настоящего города никогда не видел, я был потрясен Полоцком, всё в нем было для меня необыкновенным. Узкие, кривые, мощеные улички, магазины... Витебск поразил многолюдьем и... трамваями. С некоторым страхом ехал в трамвае от вокзала в центр. На площади висели огромные цветные рекламы кинотеатров, неподалеку возвышались громадный собор и башня ратуши.

Училище находилось в добротном старом небольшом здании — вид у него был буржуазный. Удивил мозаичный пол в вестибюле, я такого никогда не видел. (*Кажется, теперь там музыкальная школа — здание уцелело во время войны.*)

Основным экзаменом был, разумеется, экзамен по живописи — мы писали акварелью натюрморт, какие-то горшки. Затем были экзамены по другим дисциплинам, которые я сдал успешно, и, вернувшись домой, вскоре получил уведомление, что принят в училище.

В общежитии училища на койках были голые матрасы, набитые ватой, которая свалялась в твердые комяки — спать на этих матрасах было неудобно, как на камнях. Одеяло надо было иметь свое, и я привез из дому пестрое одеяльце, которое мама достала из сундука, где хранила самые ценные вещи. Одеяльце было вытканo крестиками — черное с белым, и мои недоброжелательные друзья по общежитию увидели в нем подобие поповской ризы. От их насмешек мне было стыдно, и я укрывался одеяльцем только в самые холода, сверху набрасывал тужурку. Тужурка эта принадлежала когда-то первому маминому мужу. Перед революцией он был на заработках где-то в Курляндии, во время революции приехал, привез с собой необычный для деревни гардероб — тужурку, позолоченные запонки, целлулоидные воротнички и манжеты для рубашки. Сложил всё это в сундук и уехал в Петербург. Где и сгинул. Мама ждала его чуть ли не пять лет, а затем, сходив пешком в Полоцк поклониться святой Евфросинье Полоцкой, вышла замуж за своего соседа — вдовца Владимира Быкова.

Осенью начались занятия: живопись и рисунок, которые преподавал старый художник Лейтман (*впрочем, это тогда он казался мне старым*). Остальные предметы были те же, что и в обычной школе. Жил я поначалу в общежитии на Могилевской площади, теперь этого названия нет — Могилевскую переименовали в Советскую. Или в Центральную, точно не помню. Потом (*почему — тоже не помню*) меня и еще троих студентов поселили в частном доме на площади Смоленская ярмарка. Кажется, прежде эта площадь называлась Красной.

Некоторое время спустя в училище было создано скульптурное отделение, и я вместе с несколькими ребятами перешел туда. Скульптурные классы находились не в здании училища, а в другом, которое стояло в переулке неподалеку от бывшей ратуши и художественного музея. Преподавателем нашим была скульптор Анна Ивановна Беляева, кажется, родом из Киева. (*После войны ничего о ней не слыхал. Может, погибла.*) Директором училища был Иван Осипович Ахремчик. Его мастерская находилась в здании учили-

ща на первом этаже, окна мастерской выходили на улицу. Окна были громадные, как должно быть в мастерской художника. Иван Осипович вечером зажигал в мастерской яркий свет, но шторы не задергивал, и мы с улицы смотрели, как он работает. Помню огромный, во всю стену, холст, на котором неоконченные, полуэскизные фигуры Ленина и Сталина в зале какого-то партсъезда. (*Тогда эта тема была обязательной.*)

Скульптура, в общем, давалась мне легко, но нравилась меньше, чем живопись. Лепке мы учились на копировании фрагментов античных скульптур, микельанджеловского Давида, что входило в уроки постижения анатомии человеческого тела — мы лепили носы, уши, торсы. Это было нетрудно. Более сложно было с композициями — однофигурными и двухфигурными. Моей курсовой работой была фигура пограничника в шинели, с винтовкой и биноклем, прижатым к глазам. Преподавательница похвалила.

Глину для лепки в скульптурные классы откуда-то привозили, а краски для занятий по живописи надо было покупать. Мы пользовались дешевыми акварельными красками, масляные, о которых все мечтали, стоили дорого и купить их могли немногие. Маслом, помню, писал парень из Азербайджана, и мы с завистью смотрели, как щедро, лихо он «кладет мазок». Мы же бережливо размазюкивали свою акварель на небольших плотных листах ватманской бумаги. А когда отменили стипендии, и акварель стала недоступна.

Город по-прежнему восхищал, манил, удивлял громадными зданиями и витринами. Иногда я заходил в собор, в котором уже не было икон и прочего церковного убранства. Под куполом качался знаменитый маятник Фуко — как доказательство, что Бога нет и Земля вертится. Остальные соборы к тому времени уже были взорваны.

Вечно голодных студентов, однако, больше всего манили столовые. Но, чтобы зайти в столовую, требовалась смелость. Нас сковывала, даже как-то пугала непривычная обстановка, чистые белые скатерти, официантки в белых накрахмаленных передничках. Официантки смотрели на нас,

застенчивых деревенских подростков, с усмешкой, особенно, когда принимали наш стыдливый «заказ».

Питались в основном хлебом с кипятком — буханка хлеба в день. Стоило это 1 рубль. Однажды мы подделали пару рублей: нарисовали акварелью, потом хорошенько измяли бумажки, чтобы они выглядели как старые потертые купюры. И продавщица ничего не заметила. Но больше мы на это не отважились...

Витебск в ту пору еще сохранял славу города художников, каким слыл издавна. Кроме художественного музея, на улице Гоголя был музей знаменитого Пэна. Музей этот был открыт после трагической гибели художника — он был убит при загадочных обстоятельствах. В небольшой комнате и на стенах вдоль деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, в мастерскую Пэна, висели его работы, выполненные в манере добротного реализма: портреты старых евреев-ремесленников, изображения лошадей, виды старинных кварталов Витебска. О прославленном ученике Пэна Марке Шагале, который жил в эмиграции в Париже, в родном городе художника ничего не знали. Но времена меняются, и через много лет я был в числе тех, кто открывал на Покровской улице памятник знаменитому земляку.

Учился я в Витебске недолго. Осенью 1940 года объявили «радостную» новость: постановлением правительства стипендии отменяются, за все подручные материалы и учебники надо платить... Денег мне из дому не присылали, да я и не просил. Лишь однажды отец, собираясь в Витебск, чтобы повидаться со мной, заехал по дороге к дядьке Степану и взял у него взаймы три червонца. Червонцы эти я растягивал как мог. Тратил главным образом на хлеб — основное мое питание. Встанешь утречком, часов в 6, и бегом к хлебному магазину — занимать очередь. А очередь громадная. Хлебные карточки в то время уже отменили, поэтому за хлебом в город ринулись колхозники всех окрестных деревень, и не только окрестных. И когда в 8 часов открывался магазин, очередь превращалась в толпу, начиналась дикая давка.

На хлеб я тратил рубль в день, но ведь надо было покупать и краски. Да и обувка моя совсем прохудилась — из

брезентовых гамашей вылезали пальцы... Попытался я с хлопцами найти какой-нибудь заработок — на погрузочной станции, на щеточной фабрике. Какие-то гроши зарабатывали, кое-как перебивались...

В Витебске, как ни странно, до самой войны сохранился мелкий частный сектор. И однажды на какой-то улице мы приметили маленький магазинчик-мастерскую с неумелой надписью над входной дверью — «Головные уборы шью». Хозяин магазинчика, старый Абрам, сам шил и продавал шапки. И вот, помню, я и Шевчёнок, хлопец из полесской деревни, зашли в магазинчик. (*Шевчёнок потом тоже, как и я, бросил учёбу — не мог учиться дальше. Ботинок у него не было, в осеннюю распутицу ходил в рваных войлочных бурках.*) Договорились с хозяином сделать ему красивую вывеску, он пообещал заплатить нам за работу 15 рублей. Нашли мы кусок хорошей фанеры, загрунтовали, покрасили, написали по-белорусски «Галаўныя ўборы». На одном конце доски намалевали кепку, на другом — шляпу. Приносим заказ. Хозяин смотрел, смотрел и говорит: «А почему шляпа? Что я, шляпы делаю для буржуев?» И не взял вывеску, отказался. Видно еще со времен нэпа был напуган.

**Так накрылся** наш заработок. Еще какое-то время пошатавшись по городу и поисках хоть какого-нибудь заработка и ничего не найдя, я понял, что в училище мне не удержаться, с искусством придется кончать. Пошел в канцелярию за документами. Там был наш преподаватель литературы, кажется, Леванёнок по фамилии, который сочувственно сказал: «Жаль, Быков, мог бы учиться — у тебя способности...» Мне тоже было жаль, но как я могу учиться? Отнес в комиссионку последнюю рубашку, на полученные деньги купил билет до Полоцка и две булки, которые сразу и съел, присев на скамейку в скверике, в котором ныне стоит памятник Пушкину.

Приехал в свою деревню, вернулся в школу, в десятый класс. Оказалось, что в учебе здорово отстал. А еще новые порядки — учебники платные, надо покупать. Но и купить

негде, не хватает учебников. Дома прежняя нужда, в колхозе работа через пень-колоду, за трудодни не платят... Ни хлеба, ни дров.

Как раз в это время начался набор в новоорганизованные школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), и я вскоре вновь оказался в Витебске, стал фэзэушником. Что в Витебске — меня радовало. Знакомый уже город, любимые музеи. И воспоминания. Невеселые, однако, воспоминания... В школе ФЗО готовили каменщиков, бетонщиков, арматурщиков — всё очень далекое от искусства. Оно стало далеким и недоступный. Основная учеба фэзэушников — это работа под открытым небом, в любую погоду, на какой-нибудь стройке: класть кирпичи, замешивать раствор... Но тут кормили, давали койку в общежитии, позже стали одевать, выдавали фэзэушную форму. В художественное училище я не заходил, разве что вечером стоял иногда под окнами, смотрел поверх занавесок на прикрытые тряпками скульптуры. Было тягостно и больно...

Зима 1940—1941 годов была очень холодная, с ветрами и жгучими морозами. А мы учились, как я уже сказал, под открытым небом. Помню, шло строительство дома на Суражском шоссе, я выкладывал угол, для чего требуется сноровка, а главное — точный глазомер, чтобы не искривить кладку. Бегали греться в цех черепичной фабрики, которая находилась рядом со стройкой, — там был затишек. Мой угол не совсем мне удался, чуточку покосился, дал крен, и наш наставник Андрей Иванович был недоволен. Какое-то время я переживал по этому поводу. (*Зря, впрочем, переживал. Скоро от того дома останется груда щебня. А после войны не останется и следа — всё здесь зарастет бурьяном и крапивой...*)

В начале июня — выпуск. Нам объявили, что поедем работать на Украину, в город Шостка. До отъезда я попросил разрешения наведаться домой, в деревню. На то была особая причина.

Дело в том, что в Шостке жил мой дядя. Это тоже история — история судьбы. Дядя когда-то был активистом, вступил в партию и даже сделал карьеру, работал редактором га-

зеты где-то на Полесье. Но пока он служил там советской власти, дома эта власть раскулачила его родителей и брата, сослала их в Сибирь. Должно быть, худо пришлось моему дядьке, что он сбежал на Украину, в эту самую Шостку, подальше от родных мест, где все знают, что он сын репрессированного...

Приехал я домой, пошел к директору школы Слимборскому, рассказал о своем положении. Директор посочувствовал мне, огорчился, что у меня, отличника, всё так неудачно сложилось, и выдал мне табель моей успеваемости за 10-й класс (*аттестат он не мог выдать*), проставил в табеле надлежащие оценки. Табель мне был нужен, чтобы осуществить свой план: в Шостке я сдам экстерном экзамены за среднюю школу (*то, что я десятиклассник, подтвердит табель*) и поступлю в тамошний индустриальный институт, к которому мой дядя имеет какое-то отношение. Пригодится и то, что он и Слимборский были знакомы...

Погожим июньский утрой мы приехали на Украину...

Белые мазанки, тополя, непривычный для уха язык на станциях, гоголевские ассоциации — всё это перенесло в другой мир, романтичный и сказочный. Не думал тогда, что так много драматического и трагического будет связано у меня с этой страной.

Не успел осмотреться, узнать по-настоящему город и даже найти своего дядьку, как грянула война. Поначалу это, признаться, не очень испугало нас, молодых: были же совсем недавно финская война, перед нею — освободительный поход в Западную Белоруссию, всё окончилось триумфальными победами. Победим и теперь. Тем более, что нами руководит непобедимый товарищ Сталин. Но очень скоро стало тревожно, а затем и страшновато. Захотелось домой, в родные места. Да вот дороги туда уже не было. Когда германский вермахт занял Минск и Гомель, подступил к Киеву, военкомат мобилизовал нас. Сперва — на оборонные работы. Месяц, наверное, копали мы глубокий и далеко растянувшийся противотанковый ров, кажется, под Пироговкой, который так и оставили, не закончив, потому что немцы уже замыкали кольцо вокруг Киевского «котла»...

Тысячные колонны 17—18-летних юнцов потянулись по пыльным дорогам на восток. Стояла невыносимая жара. В селах и городках, которые мы проходили, нас провожали женщины и девушка, выносили еду, угощали фруктами, махали платками. Некоторые плакали. А мы бодрились, шутили. Кучку белорусов никто не оплакивал, наши плакальщицы были не здесь. Но и украинки жалели нас. На окраине древнего Глухова девушка с черной косой подбежала ко мне и поцеловала — то был первый в моей жизни волнующий девичий поцелуй. Ночевали обычно в гумнах, коровниках, опустевших уже школах. Хлопцы-украинцы очень хорошо пели. Как ни уставали они за день, всё равно в темноте звездной летней ночи где-нибудь на краю села долго звучала их самая любимая песня: «Распрагайтэ, хлопці, коней та лягайтэ спачываць, а я пійду ў сад зэлэній, та крынычэньку копать!» Чуть рассветет — подъем и снова в путь, жарким и пыльным шляхом, пока не появятся в небе немецкие коршуны.

Едим что и где придется. Мы в основном на подножном корме. К счастью, в то лето уродило много яблок и овощей. Забегаем в придорожные лавки, в которых, однако, почти ничего нет. Всё расхватали до нас. В Белгороде я решил купить фруктового чаю, чтоб поесть, когда прижмет, но был зажат толпою, сгрудившейся у прилавка, и долго не мог выбраться из нее. Из-за этого отстал от колонны, а потом вообще потерял ее. Пока бегал по забитым войсками улицам, настала ночь. Я зашел в полуразрушенный бомбой дом и, утомленный, уснул. Разбудили меня патрули. Отвели в комендатуру. Там — ночной допрос: кто такой? почему отстал? с какой целью? Обыскали, отобрали документы. Нашли в моей сумке карту — вырванный из учебника лист, на котором я, грамотей, отмечал положение на фронтах. Этот лист едва не погубил меня. Лейтенант в синей фуражке, приступивший к допросу, после первых же слов дал мне в ухо и почти сразу — в другое: «Почему скрывался?» Я попробовал было объяснить, что отстал от команды, что иду из Сумской области. А он на это: «Все так говорят. Грубо работают ваши фашисты, по шаблону. Но мы выбьем из тебя всё, что требуется, японский городовой! Понял?»

Такую угрожающую брань я слышал впервые и запомнил на всю жизнь.

Правда, больше меня не били и, злобно костеря, отвели в подвал. В камере было темно, но чувствовалось, что там есть люди. Не видя их, я присел у двери. Вскоре, присветив фонариком, в камеру сунули кого-то еще, и мне пришлось отодвинуться подальше. Я прислонился к стене и, кажется, ненадолго задремал.

Едва занялось утро, проснулся. При слабом свете разглядел своих соседей, их было человек восемь. Один лежал на боку, вытянув длинные ноги в высоко намотанных обмотках. Другой сидел рядом, на голове у него была фуражка со звездой. А еще один, в белой вышитой рубашке, ворочался, заложив руки за спину. Я увидел, что они связаны и невольно подался к нему, чтобы развязать. Но человек этот судорожно дернулся и простонал: «Не трогай, застрелят!» И я отвернулся.

К моему удивлению, из камеры до полудня никого не выводили, а добавили еще троих. Все молчали, только один из новичков вдруг заплакал. Но на него кто-то резко прикрикнул: «Стихни! Разнюнился...» Все чего-то ждали и прислушивались к тому, что происходит наверху. А там действительно происходило что-то непонятное — рычали машины, раздавались громкие крики, звучали отрывистые команды.

В полдень началась жуткая бомбежка, и наше узилище так затряслось, что с потолка посыпались какие-то ошметки. Где-то строчили пулеметы, но зениток не было слышно. Это сдержанно отметил мой сосед в обмотках.

Под вечер несколько человек вывели из камеры. В ней стало посвободнее. А наверху по-прежнему было шумно: невдалеке глухо бухали пушки. Несмотря на это, я снова уснул. И открыл глаза лишь тогда, когда меня окатило волною свежего воздуха. Дверь была распахнута, и в ней стояли военные в плащ-палатках. Ударами кирзачей разбудили они тех, кто лежал поближе, и приказали им выходить.

Через некоторое время в другом конце здания послышались выстрелы. «Четыре...» — в испуге сказал кто-то в камере (*именно столько увели*). Лицо моего соседа в вышитой

рубашке сделалось таким белым, будто его обсыпали мукой. А дверь начала открываться всё чаще, из камеры выводили одного за другим. Усилившаяся перестрелка не могла заглушить доносившихся до нас одиночных выстрелов, которые, как я мог различить, раздавались совсем близко. В очередной раз пришли двое — молодой в синей фуражка и пожилой усатый красноармеец с винтовкой. Усатый скомандовал мне: «На выход!» — и я послушно поднялся. Плохо помню, как вышли мы из-под нависшего свода, как, пройдя через мощеный двор и завернув за угол каменного здания, оказались на вытоптанных огородных грядках. Там, под старым дощатым забором, увидел я в крапиве длинные ноги в высоко намотанных обмотках. И не выдержал — слезы ручьями потекли из глаз. Красноармеец остановился, видно, удивленный моим безмолв ным плачем, и неожиданно бросил: «Беги, пацан! Бы-ыстро!»

Из всех сил рванул я по картофельный грядам к пролому в заборе, с дрожью ожидая, что усатый вот-вот выстрелит в спину. И он действительно выстрелил. Но — в воздух. Это я понял на бегу, чувствуя, что жив, и не решаясь даже на миг обернуться.

Миновав забор, не дал себе передохнуть, а продолжал бежать — через какие-то огороды, сквозь проволочную изгородь, пока за покосившимися сарайчиками не попал в переулок, заросший колючим репейником. Военных там не было, лишь испуганная тетка с ведром высунулась из-за угла. Я пробежал мимо нее и остановился перед открывшейся мне «железкой». Куда податься — направо или налево? Решил: пойду налево — подальше от водокачки, что высилась неподалеку. Навстречу мне попался немолодой железнодорожник с жестяным чемоданчиком в руке. Я спросил его, в какой стороне Харьков? Железнодорожник подозрительно оглядел меня и молча показал — там. Я и пошел в указанном им направлении.

Все дороги были забиты войсками, обозами, беженцами, что топали пешком и ехали на повозках. Поэтому я шпарил по шпалам, рассчитывая, что так быстрее доберусь до Волчанска — городка под Харьковом, где, как я слышал раньше

ше, формировались запасные части. Команда, от которой я отстал, должна была прибыть именно туда. Но где был тот Волчанск? И действительно ли он под Харьковом? И в нужную ли сторону направил меня железнодорожник? Спросить об этом было не у кого. Да я и боялся спрашивать.

Но мне невероятно повезло. В лесопосадке, раскинувшейся около железнодорожного полотна, я случайно обнаружил свою команду. Нужно ли говорить, как обрадовался? Я почувствовал себя почти счастливым. Но у меня не было ни одного документа, все остались в Белгородской комендатуре. Хорошо, что командиры не стали придираться — не до того было, да и хлопцы подтвердили — наш.

Именно тогда я в первый раз ощутил радостное единение с людьми, преимущество этого единения перед мучительной жизнью и тяготами одиночки. Про то, что случилось со мною в Белгороде, долго никому не рассказывал, о документах позднее написал, что потеряны в начале войны. Без лишних подробностей.

Из нас сформировали новую команду, обмундировали — правда, в б/у (*т. е. бывшее в употреблении*), а вместо оружия вручили лопаты. Было объявлено — с этого дня мы входим в состав армейского инженерного батальона. И во главе с новым начальством двинулись на север от Харькова копать траншеи. Через несколько дней нам выдали винтовки — по одной на десять человек, и мы почувствовали себя бойцами непобедимой Красной Армии. Но когда фронт стремительно приблизился, началась катавасия — участились бомбежки, немецкие прорывы, воздушные десанты. Десантников надлежало вылавливать и немедленно уничтожать. Однако в большинстве случаев, оказавшись почти без оружия, мы сами от них удирали. Однажды нас бросили прикрывать контратаку кавалерийской части. И в тот день я по-настоящему ощутил весь ужас войны.

Ночью на краю кукурузного поля мы отрыли неглубокие окопчики. Перед нами было свекловичное поле, а за ним — большое украинское село. Еще вчера мы шли через него. А после нас шла кавалерия — много кавалерии. И сейчас перед моими глазами — утомленные всадники и кони, и пыль,

пыль на них и за ними. На украинских дорогах летом не продохнуть от пыли...

Кавалеристы, видимо, ехали издалека, днем над ними висела немецкая авиация и почти непрерывно бомбила, да так, что рвалось и горело всё вокруг. А они ничего не могли сделать. У них были только карабины, шашки, противогазы да переметные сумки. Мне почему-то особенно запомнились конские противогазы. Большая сумка, из нее вылезает похожая на кишку гофрированная трубка с маской, которая надевается на лошадиную морду в момент газовой атаки. Но газы немцы в войну не применяли. А вот конники на рассвете пошли в атаку на занятое немцами село, на их танки. Те подпустили скачущих всадников довольно близко и, открыв огонь из пулеметов, устроили такое, что не дай Бог увидеть еще раз. Через какие-нибудь десять минут конная лава отхлынула назад. Вижу: бежит конь в пене, без седока, а у другого коня — седок свисает с седла вниз головой. Конь падает, бьется в судорогах, из его брюха вываливаются внутренности да тянется вместе с ними окровавленная противогазная кишка... Около наших окопчиков всё посечено пулеметными очередями. Атака захлебнулась. Все поспешно драпаем — и конные, и пешие — в ближайший лес. А немецкие танки двигаются дальше.

Таким же бессмысленным и нелепым было и то, что произошло с нами впоследствии. Сначала строительство командного пункта для маршала Буденного — того самого КП, на котором Семен Михайлович чуть не попал в плен. А потом — снова драп. На Старый и Новый Оскол, по раскисшим уже дорогам... Осенью — кажется, в октябре — остатки нашей армии вывели под Воронеж: они были уже небоеспособны.

**На станции Грязи** началась переформировка. И тут оказалось, что по закону юноши 23-го года призываются, а 24-го — еще нет.

Всех нас, кто родился в 24-м, собрали вместе. Нужно сказать, что таких набралось немного, так как украинцы, не будь дураками, не захотели далеко уходить от родных мест, и

очень многие вернулись домой. Ну, а куда мог вернуться я? До Беларуси тысяча километров — не дойдешь. И я остался со своими одногодками. Из нас сформировали команду, каждому выдали по три буханки хлеба и прямо в чем мы были — в грязных изношенных ватниках и пилотках (*хоть уже приближалась зима*), отправили в тыл, приставив к нам каких-то подполковников, чтобы не разбежались.

Наш путь лежал в Саратовскую область. И опять на подножном корме. В тех краях, которые мы проходили, у многих сыновья, мужья, родичи были на фронте, и люди от души сочувствовали служивым, особенно таким, как мы, желторотым. Хотя, смотря где. На станциях, давно обобранных подчистую, нам не перепадало почти ничего, а вот в селах кое-чем еще подкармливали. Пока пешим порядком дотопали до Саратовщины, все обносились и обезножили. Ботинки мои прохудились, и из них стали вылезать портянки. А тут еще начались холода. Из теплых вещей у меня был только вязаный шерстяной шарфик, подаренный какой-то сердобольной женщиной. Отчаянно мерзли, но всякая дорога когда-нибудь кончается — в конце 41-го мы добрели до станции Салтыковка. Там нашу оголодавшую братию распределили по колхозам. Мы с Лешкой Орловым, моим земляком (*он был из Ушачей*), попали в колхоз имени Коминтерна.

Село было большое (*странно, что забыл, как оно называлось*), к югу от Салтыковки, в степи. Мы с Лешкой жили неподалеку друг от друга, но встречались редко: у тамошних хозяев было не принято, чтобы постояльцы приглашали гостей. Я весь день, съездив утром в степь за мерзлыми колючками для печки, сидел дома. Делать было нечего, читать тоже. Хозяйки не только со мной, но и друг с другом почти не разговаривали (*невестка враждовала со свекровью*), хозяин был на работе. Но была в доме маленькая, лет шести, девочка — милое, ласковое создание. Она не отходила от меня целыми днями, требовала, чтобы я ей что-нибудь рассказывал. Я пересказал ей все сказки, какие знал, рассказал про Беларусь — какие у нас леса, звери, птицы. А девочка требовала новых рассказов. Тогда я одолжил у соседей тол-

стый том академика Тарле — про Наполеона. И стал читать его девочке. Удивительно, но она внимательно слушала!..

В «Коминтерне» мы пробыли чуть ли не всю зиму 1942 года. В колхозе нам давали по килограмму проса на неделю. Это просо нужно было ободрать на тёрке, чтобы получить пшено. Я жил в семье комбайнера, который имел бронь, и престарелая бабуля — светлая ей память! — варила мне кашу. Хозяева, естественно, ели отдельно, а я довольствовался пшенкой, что по тем временам было не так уж плохо. У нас она считалась деликатесом. Помнится, в Витебске тарелка пшенной каши с чайной ложечкой масла сверху стоила 60 копеек. Здесь масла не было. Но хоть каша... А вообще-то жил голодновато, всегда хотелось есть... Молодой же был.

Та зима выдалась затяжной и студеной, а главное — тяготило одиночество, оторванность от всего привычного, от родины, которая оказалась под немцем. Разве что с Лешкой перемолвишься словом. Он жил у соседей, через дорогу. Нашей обязанностью было обеспечивать хозяев топливом. Для этого надо было собирать будыли подсолнухов, оставшиеся под снегом. Для вылазок туда была пара хозяйских бурок на двоих. И вот раза два-три в неделю идешь в степь, волоча за собою санки, одолеваешь заснеженный яр и, наломав мерзлых будылей, везешь их в село. С нагруженными санками взбираться по крутым скатам было непросто — кишки надорвешь. А как вылезешь из яра, весь мокрый от пота, посмотришь на багровый от мороза закат, на запад, туда, где далеко-далеко — родимая сторонка, и слезы сами текут. И не надо удерживаться: здесь, в ледяной степи, их никто не увидит, можно не стыдиться. Одиночество, острое ощущение сиротства — то, чего никогда не приходилось испытывать прежде, до боли бередили душу. В первый и в далеко не последний раз было у меня такое...

Не скажу, что к нам относились не так, как к другим. Однако со временем жить стало невмоготу, и мы с Лешкой решили сбежать. Беларусь была оккупирована, но ведь там действовали партизаны. Да и на фронт хотелось попасть, ужасы его, испытанные в 41-м, стали мало-помалу забывать-

ся. Вот мы и рванули. Но ушли совсем недалеко. Нас, наивных беглецов, задержали на первом же железнодорожном мосту и доставили в районный отдел НКВД в Ртищеве. Там повторилось то же, что было в Белгороде. У нас стали выпытывать: кто послал к мосту? с каким заданием? Никто не хотел верить, что мы бежали на фронт, и лишь зло кривились, слыша наши сбивчивые слова. Чекистам, очевидно, нужно было наше признанием: мол, появились в районе моста с какой-то определенной целью.

Трудно сказать, чем бы кончился этот допрос, но тут возникло одно неожиданное обстоятельство. Ночью в отдел привели здоровенного дядьку, явного уголовника. Он тут же, в комнате дежурного, учинил драку... Очень сильный, перевернул всю мебель и кинулся к начальнику. Все, кто был в комнате, набросились на него. А мы с Лешкой, воспользовавшись поднявшейся суматохой, тихонько выскользнули в дверь и подались в степь. Немного позже, как ни в чем не бывало, вернулись к прежним хозяевам, которым что-то не очень складно наврали о своей отлучке. Поверили они нам или нет — не знаю.

**Так дожили** до весны. А в апреле в колхоз пришла разнарядка: требовалось послать несколько молодых парней на учебу в ФЗО.

Своих, понятно, было жаль, и поэтому послали нас. А нам только это и было нужно. ФЗО находилось поблизости, в Аткарске, и очень скоро мы с Лешкой прибыли туда. Кстати, нелишне сказать: многим из будущих призывников эти самые ФЗО-ФЗУ дали хлеб и пристанище, стали для них, так сказать, профессиональной академией, последним островком мирной жизни. Вскоре затем следовали призыв, фронт и для стольких — конец всему.

Из железнодорожного училища в Аткарске мне предстояло выйти путейцем: ремонт пути, подбивка шпал, разводка... Была первая половина лета 42-го года. Донимала жара, такая, какой в наших краях никогда не бывает. А тут еще непосильные нагрузки: от кувалды и лопаты сразу образова-

лись на ладонях кровавые мозоли. Зато кормили! А это было важнее всего.

Но путейцем стать не довелось. В августе 42-го меня и всех моих одногодков призвали, и мы стали рядовыми запасного полка под Татищевом.

Тысячи солдат жили в землянках, обучение проходили в поле. Дисциплина была железная, командиры — еще ворошиловско-тимошенковской школы — все от сержантов до полковников. Муштра с утра до вечера: шагистика, ползание попластунски, окапывание. И постоянные переклички, проверки — все ли на месте, не дезертировал ли кто-либо. А дезертирства случались — вчера стоял солдат в строю, а сегодня его нету. И никто не знает, куда пропал.

Винтовок нам не выдали; в подразделении были только учебные винтовки, затворы которых мы учились разбирать и собирать. Жаловаться на условия запрещалось, на командиров тоже. Политруки следили за дисциплиной, за настроениями и пичкали нас политинформацией о положении на фронтах. А там было худо: немцы прорвали Донской фронт и перли на Сталинград.

В полку было много местных, саратовских, и мы с Лешкой чувствовали себя среди них чужими. Вскоре нас разлучили: меня — в Саратов, Лешку — в Вольск. Больше я его не видел и ничего не слышал о нем. По всей вероятности, он попал в сталинградскую мясорубку...

В начале сентября меня направили в Саратовское пехотное училище.

Там мне досталось так, как до того не доставалось нигде и никогда. Каждый день — десять часов занятий, редко в классах, больше на плацу и в поле — в жару, в дождь и мороз. С полной выкладкой и в шинельках на «рыбьем меху». Кроме того, оборонные работы под городом: немцы уже приближались к Саратову и бомбили его каждую ночь. Целили они в основном в комбайновый завод, который в то время выпускал самолеты, и в нефтеперегонные крекинговые установки. Наша рота по ночам дежурила на бывшем комбайновом, который продолжал работать и под бомбами. Мы должны были ликвидировать пожары, если немцы попадут

зажигательными. Едва начинало темнеть, звучал сигнал воздушной тревоги, и очень скоро появлялись немецкие самолеты. Они сбрасывали осветительные бомбы. На земле от них — как от солнца, а в небе — не видать ни зги. Затем с высоты летели уже фугаски и зажигательные. От взрывов земля ходила ходуном. Но мы сидели в щелях и выпрыгивали из них лишь тогда, когда где-нибудь вспыхивал пожар или нужно было срочно выкатывать из цехов самолеты. Конечно, были у нас потери. Но они не шли ни в какое сравнение с теми, что несли курсантские подразделения, дежурившие на крекинговых установках, около которых находились огромные нефтехранилища. Там после бомбежек всё полыхало и ночью, и днем. И хлопцы сгорали заживо — нечего было хоронить. Целые отделения и взводы не возвращались из этого чудовищного пекла. Так продолжалось почти до самой зимы, до тех пор, пока немцев не окружили под Сталинградом.

Однажды осенью 42-го наш курсантский батальон подняли по тревоге и бросили туда. Пешим маршем дошли мы до Камышина. Там, однако, нас рассортировали: половину каждой роты отправили в Сталинград, а другую вернули назад, в Саратов. Среди возвратившихся был и я. А мой друг из Беларуси, Коля Иванов, попал в сталинградскую мясорубку и погиб в ней. После войны я попробовал найти его родных. Но, увы, Ивановых у нас так много. А в Саратове и в дальнейшем было немало случаев, когда нас неожиданно выстраивали и зачитывали списки тех, кто в составе очередной маршевой роты должен был идти на фронт.

Теперь, с высоты военного опыта и прожитых лет, нельзя не удивляться, чему и как нас тогда учили. Главной дисциплиной, как, наверное, издавна повелось в русской армии, была строевая подготовка — плац-парадная военная наука, по степени овладения которой оценивалось всё остальное. Под ее формальные и неумолимые требования подгонялось даже обучение тактике действий в обороне и наступлений. На войне она не потребовалась никому. Наилучших результатов добивались те командиры, которые, отринув устаревшие линейные шаблоны, творчески экспериментировали, широко

мыслили, смело проявляли боевую инициативу и самостоятельность. Можно смело сказать, что многими победами, да и просто успешными боевыми действиями, армия обязана дилетантам. Довоенные профессионалы в большинстве своем обанкротились в самом начале войны. Но чтобы понять и оценить это, следовало приобрести дорого доставшийся опыт, а мы тогда были такими зелеными...

Не могу не вспомнить моих училищных командиров. Разными были они, и каждый оставил память по себе. Так, нашей курсантской ротой командовал старший лейтенант Гриб, немолодой уже белорус, откуда-то с Гомельщины. Может, именно благодаря ему я дошел до выпуска, стал офицером. Как-то незаметно опекал он меня, помогал мне. И я старался — учился на «отлично» и на «отлично» окончил училище. Сейчас бы сказали: с «красным дипломом». Но тогда таких дипломов не было, и мое фото лишь поместили на доску лучших выпускников. Еще запомнился мне интеллигентный преподаватель топографии, которому я иногда рисовал картосхемы, — Ромественский, в то время уже инвалид войны. А командиром батальона был майор Антипас, грек. На фронт греков не посылали, использовали в тылу. Этот комбат обладал лучшими качествами старого русского офицера, чего не скажешь о молодых горлодерах, воспитанных в школе Ворошилова и Тимошенко (*Бог им судья*). Они муштровали нас, восемнадцатилетних, бессмысленно и жестоко, чтобы самим не попасть на передовую, пересидеть войну в тылу. Это, однако, удавалось далеко не всем. Рано или поздно и они оказывались под уничтожающим огнем и пополняли собою счет безвозвратных потерь. Это несколько примиряет меня с памятью о них.

**Осенью 43-го** года мне и моим товарищам присвоили звание младшего лейтенанта. Нам выдали золотые погоны, к которым каждый из выпускников прикрепил по одной маленькой звездочке. Невольно поглядывая на них, мы дружно пошли фотографироваться. Но получить фотографии не успели — ночью мы уже грузились в теплушки, стоявшие в

тупике. К нашей радости, в них хоть были железные печурки, и в пути не пришлось мерзнуть.

Ехали долго, места в теплушках оборудовали сами — на остановках крали доски для нар. Сухой паек, выданный перед отправкой, — по килограмму муки на брата, — сразу пустили в дело: на крышках печурок пекли лепешки и ели их всю дорогу. А золотые погоны на наших плечах оставались до фронта. В дивизии, куда мы в конце концов прибыли, начальник штаба тотчас приказал: «Снять! Здесь вам не парад». Разумеется, сняли. Но не получили полевых. Так и пошли в бой. До глубокой зимы походил-побегал я в шинели, на которой были лишь петлицы, таская золотые погоны в командирской сумке, пока, наконец, старшина роты не снял полевые — зеленого цвета — с убитого артиллериста. Я проносил их, наверное, с полгода.

К тому времени, когда мы вступили в бой, на правом берегу Днепра уже были захвачены плацдармы, и форсировать его нам не пришлось. Зато в Заднепровье попали в жестокую переделку. С ходу овладеть Кривым Рогом не удалось — немцы отбросили наши танки и пехоту километров на шестьдесят. После небольшой перегруппировки наши войска начали наступление на Александрию и Знаменку. С боем приходилось брать каждую высотку, каждую балку...

Я был командиром взвода в обычном стрелковом полку. И своими глазами видел, какие страшные потери несла пехота, какой кровью доставалась каждая пядь. Бывало, днем ведем бой за село (*а села на Украине большие*), под вечер выбиваем оттуда немцев. Но даже короткий отдых позволить себе нельзя: нужно гнать их, пока не закрепились. Забежишь в какую-нибудь хату, возьмешь кусок хлеба из рук хозяйки да теплую еще свеклу и снова — вперед, вперед. Снова в огонь и дым. С обеих сторон бухают танковые пушки, вокруг рвутся гранаты и мины. Ну и мать-перемать — особенно по телефону, от начальства. Так продолжается до тех пор, пока немцы не остановятся на окраине очередного села. Тогда останавливаемся и мы. Но прямо в поле: атаковать уже нет сил.

Пулеметным огнем выкашивало в степи роту за ротой за несколько часов. Сотни убитых, сотни раненых. Бросать-

ся спасать кого-нибудь нельзя — это дело санинструкторов. Они же доставляли раненых в тыл — тех, кто получил тяжелое ранение, легко раненые выбирались из-под огня сами. Покидать боевой порядок запрещалось, даже если ранило кого-нибудь из твоих друзей и ты мог бы его спасти — такая попытка расценивалась как стремление выйти из боя. Тяжело раненые истекали кровью и умирали в зарослях кукурузы. Тот, кто был ранен легко, но промедлил или не смог сразу выбраться из-под обстрела, получал второе, третье ранение, часто смертельное. Один из моих сержантов, раненный в ногу, перед отправкой в тыл попросил закурить и, пока кто-то из бойцов сворачивал ему самокрутку, получил пулю в живот. Не знаю, довезли ли его живым до санчасти.

Убитых мы не хоронили — где упал боец, там и оставался лежать. Не было у нас времени валандаться с трупами. Старшие командиры орали: «Вперед!» Потом, после боя, убитых хоронили специальные «похоронные команды» Они собирали оружие убитых, снимали с них одежду и сапоги, рыли ямы и сбрасывали в них трупы. Закапывали... В штабе части составлялся список убитых. Но это совсем не значит, что в той или иной братской могиле лежат только те, кто занесен в список. Точнее, именно те. Порой случались ошибки — боец жив, а числится в списке. И, наоборот, — в списке убитых солдата нет, а он лежит в этой могиле...

Не спали сутками. Бессонница и усталость вызывали состояние полного безразличия. Даже под огнем не хотелось окапываться или искать укрытие: убьют, и черт с ним! Только бы поскорей, чтобы не мучиться, не мерзнуть. Лютая стужа была сильнее страха. Особенно ночью, в степи. Мороз не давал сомкнуть глаз, пробирал до костей. Дрожишь всем телом, топаешь ногами. Даже лежа в снегу сучишь ими, как в агонии. До сознания доходили только команды командиров вперемежку с матюками. Или обстрел с близкого расстояния. Почти в упор. Или, когда мины ложились рядом. Тогда на короткое время охватывал страх. А затем опять наваливалась усталость и безразличие ко всему.

Зима на Украине, возможно, не такая лютая, как в России, но мне она запомнилась холодной, с ледяными ветрами,

продувающими насквозь, колючей метелью. Одет я был в то, что выдали в училище — шапка, шинелька, кирзачи. В полку выдали трехпалые рукавицы и овчинную безрукавную поддевку, которая меня и спасала: ведь неделями приходилось дневать и ночевать на снегу. А вот каска мне не понадобилась. Однажды надел ее на шапку. Но она плохо держалась и сползала. Увидев это, мой помкомвзвода, опытный сержант, сказал: «Без пользы она! Брось ее, младшой, к чертовой матери!»

Перед этим убило моего самого молодого солдата, когда он лежал в цепи. Пуля попала именно в каску и сделала в ней дырку. Ненадежная защита! Я убедился в этом, когда мы заняли село. Там под вербами валялось несколько убитых немцев. Мой сержант выстрелил каждому в голову, и все каски у них оказались пробитыми. После этого я бросил свою в снег. И не пожалел об этом ни разу. Из солдат моих тоже мало кто носил каску — разве что самые осторожные. Но я никогда не слышал, чтобы она кого-нибудь спасла. Особенно в наступлении.

Люди в пехоте воюют недолго. Но мой друг Коля Пережный, с которым мы в училище были в одном взводе, погиб уже в первом бою. Когда в Онуфриевке, в штабе дивизии, нас распределяли, он всё обижался, что не дали пистолетов — табельного оружия командиров взводов. В ответ было сказано: получите в части. Но Коля так и не дождался своего ТТ — получил пулю в сердце. А мой другой училищный друг, Володя Левчук, дошел до Буга, где на переправе его тяжело ранило. Из госпиталя на фронт он больше не вернулся — на всю жизнь остался инвалидом.

Меня же пока пули и осколки миновали, только как-то холодной ночью потерял я в степи рукавицы и к утру довольно сильно обморозил руки. Но с обморожениями к врачам лучше было не соваться: это считалось членовредительством и пахло трибуналом. Так что пришлось перетерпеть.

Самый первый бой мне, молодому командиру взвода, не очень запомнился. В памяти осталось лишь то, как ротный, какой-то нескладный, совсем по-граждански выглядевший человек в полушубке, гнал солдат и меня вместе с ними

через неубранную, заваленную снегом кукурузу, пока не накрыл нас плотный немецкий огонь. Залегли. А потом опять в атаку — короткими перебежками...

Ночь застала нас на марше, в батальонной колонне. А с рассвета и весь день с неба летели бомбы. Мы то разбегались по степи, то вновь собирались на дороге. На околице села, до которого дошли, около пустого хлева ротный объявил короткий привал. Дальше нам предстояло взять кошару, стоявшую неподалеку от дороги. Предполагалось, что в ней закрепились немцы. Но едва я задремал на мерзлой соломе, как послышался пронзительный вой немецких пикировщиков и разрывы бомб. Нужно было быстро выметаться из хлева. Но тут немцы налетели вновь, и ротный, задержавшийся в хлеву, был убит осколком. Из офицеров в роте остался я один, и именно на меня навалился возникший откуда-то заместитель командира полка: «Наступать, твою мать!» Что ж, наступать, так наступать. И по моему приказу остатки роты, рассыпавшись в цепь, двинулись к кошаре. На наше счастье, немцы больше не стреляли, а в развалюхе-кошаре не было ни души. Я тут же послал на КП полка сержанта доложить, что приказ выполнен. Как выяснилось впоследствии, делать этого не следовало, хотя вернувшийся сержант передал мне благодарность командира полка. Тем временем мои ребята залегли прямо в снегу, замерзшие и голодные. И тут помкомвзвода предложил: «Айда в кошару! Немного погреемся...» Я узнал: кто-то из моих раздобыл бутылицу со шнапсом. Аккурат для сугреву.

А вот погреться не удалось. Раздвигая побелевшие кукурузные будыли, показались три бронетранспортера и стали бить из пулеметов. Солдаты тотчас вскочили и, не дожидаясь моей команды, кинулись назад, к дороге. За ними — где ползком, где перебежками — подался и я, их незадачливый командир. В кюветах просидели под обстрелом до ночи. А едва стемнело, опять появился заместитель командира полка и сразу же пообещал расстрелять меня, если до рассвета не займу оставленную кошару. Оказывается, про захват этой злополучной развалюхи уже доложили в штаб дивизии, а там она, быть может, попала в оперативную сводку — поэтому

необходимо отбить ее у немцев. Любой ценой. Положение такое, что хуже не придумаешь. Кошару обороняют три бронетранспортера, а у меня всего пятнадцать солдат с винтовками. Как взять?

Однако приказ есть приказ. Ночью, при свете не вовремя показавшейся луны, я повел солдат в новую атаку. Но очень скоро пришлось вернуться: немцы не дали продвинуться и до половины пути к кошаре. Решил ждать рассвета и своего приговора. А тут что-то случилось там, где находился КП полка. Оттуда послышались крики, беспорядочная стрельба. К нам прибежал запыхавшийся автоматчик — на КП напали немецкие разведчики, замкомполка приказывает: «Все на помощь, немедленно». Побежали, конечно. Но опоздали. Немцев, правда, уже не было, а тот, кто обещал меня расстрелять, лежал убитый. Утром два моих солдата выкопали ему могилу. В тот же день нам прислали нового ротного — лейтенанта Миргорода, с которым я провоевал до Рождества. Эпизод этот был частично использован мною в написанном через двадцать лет рассказе «Ранней ранью».

На степной равнине воевать было трудно — нигде не спрячешься от пулеметного огня. Да и от минометного — тоже. Единственным укрытием служили заросли заснеженных кукурузных будылей да одинокие скирды. Но скирды были укрытием предательски обманчивым. Немцы хорошо видели их и стреляли по всем, кто прятался за ними. Так что те, кто считал себя там в относительной безопасности, чаще всего и погибали. На передке, в пехотной цепи, было порою безопасней.

Как бы ни было трудно, пехота с боями занимала большие и малые села и, продолжая наступать, шла дальше. А в это время в селах начинали действовать тыловые службы, полевые военкоматы. Они сразу мобилизовывали всех, кто отсиживался там с 41-го года, — хозяйственных мужичков и примаков, бывших окруженцев. Разговор с ними был короткий. Едва успеют тыловики собрать винтовки, валяющиеся около убитых и раненых, похоронить одних, а других отправить в тыл, как винтовки эти раздают только что мобилизованным дядькам. Обмундирования для них нет, и они в до-

машней одежде, с «сидорами» за плечами идут в цепь — брать соседнее село. До него доходят немногие. А возьмут — и всё повторяется в том же порядка.

Несмотря на эти поспешные мобилизации, солдат всё равно не хватало — слишком велика была убыль. Да и с командирами дело обстояло не лучше (*кадровых еще в начале войны повыбило почти всех*). В нашей роте, к примеру, было всего два офицера — ротный и я. На взводы личный состав не делили: зачастую и на один не набиралось. А учет? Хорошо, если писарь успеет записать фамилии новоприбывших, а то часто идут в бой и погибают неучтенными «активными штыками». Потому у нас теперь столько «неизвестных солдат» и «пропавших без вести». Считали пулеметы, орудия, танки. Даже снаряды и патроны. За них могли притянуть к ответу. Не считали только людей, и отвечал за них лишь Господь Бог.

Новый 1944 год встретил я под скирдой в поле, покрытом снежными намётами. Уже с вечера огонь начал постепенно слабеть — немцы, по-видимому, тоже не хотели воевать в новогоднюю ночь. Старшина принес ужин — перловый суп. Он, хоть и был в термосе, но давно остыл. А замерзшую буханку хлеба вообще пришлось разрубать немецким ножевым штыком. Офицерам под Новый год выдали доппаек — по горсти сухого печенья и баночку шпротов на двоих. Жуя печенье, я уснул там, под скирдой, так и не дождавшись прихода нового года.

А на зорьке меня уже подняли: нужно было подготовиться к новому рывку вперед. Из населенного пункта, в котором закрепился противник, в нашу сторону летели разноцветные трассы. Выбить его на этот раз мы не смогли и вынуждены были залечь. До ближнего боя не дошло. Немцы не любили его, предпочитая вести губительный огонь издалека. На сей счет они были мастера, ничего не скажешь. Это у нас учили солдат делать всего шесть-восемь выстрелов в минуту из устаревших винтовок, что было очевидной глупостью. Немцы же секли автоматными очередями без счета, а их пулемет МГ-42 производил в минуту 1000 выстрелов. Немецкие минометчики навешивали в воздухе по 12 мин: первая еще не ус-

певала взорваться, а уже вылетала двенадцатая. Естественно, под таким огнем долго не выживешь. Через день-другой боев или в земотдел, или в здравотдел — невесело шутили фронтовики.

У нас плотность стрелкового огня была совсем иной. Прежде всего не хватало боеприпасов. И не только потому, что подвозили плохо. То, что имел при себе рядовой солдат (*в подсумках ли, в магазинах*), можно было расстрелять за несколько минут. А куда еще мог он сунуть патроны? Разве что за пазуху, в карманы. У немцев для этого служили сапоги с широкими голенищами, в которые они наталкивали запасные автоматные магазины. Наш же автоматный диск в сапоги не лез. Да и большинство солдат у нас носило ботинки с обмотками. Поэтому в поле, в цепи, пехота стреляла редко — экономила патроны для боя в населенных пунктах. Да и там, считалось, тоже больше нужно действовать штыком, ибо пуля — дура, как учил великий Суворов. Но и немцы сосредоточенным огнем прижимали к земле или снегу нашу атакующую пехоту и не подпускали ее к своей обороне. Поэтому штыковой бой, приемам которого так усердно учили солдат и курсантов в запасных полках и училищах, на войне практически не применялся (*также, кстати, не нашли применения и противогазы, которые кое-кто протаскал с собою до самого конца войны*). Не слишком часто появлялись на фронте и знаменитые «катюши». Чтобы подвезти для них боезапас, требовалось много автомашин, а с горючим было туго. Нас, пехотинцев, поддерживала в основном артиллерия малого и среднего калибра — сорокапятки и 76-миллиметровые пушки на конной тяге. Но лошади на войне жили, пожалуй, еще меньше, чем люди...

Еще в начале зимы я совершил первую попытку вплотную познакомиться с артиллерией. Произошло это после того, как случайно наткнулся на брошенную сорокапятку. Незадолго перед этим в той стороне раздавались отрывистые выстрелы немецких танковых пушек, и артиллеристы, должно быть, или не выдержали огня, или погибли: невдалеке лежало несколько трупов. А пушка была цела, и снаряды поблескивали в открытом ящике. В Саратове нам показывали, как

стрелять из этого орудия. И я решил попробовать в боевой обстановке. Начал стрелять. Но не по танкам — по немецкой пехоте, державшей оборону в ближнем селе. С помощью молодого солдата расстрелял все снаряды. Жаль, сорокапятку эту мы не смогли взять с собой.

Отдохнуть нам дали совсем немного — началась Кировоградская операция. За нее маршал Конев получил орден Ленина, о чем о гордостью написал, полемизируя с автором романа «Мертвым не больно». По его мнению и по мнению Сталина, операция эта прошла весьма успешно. Может быть, если смотреть из Кремля, так оно и было. Но существовал и другой взгляд — взгляд солдата, лежавшего в наскоро вырытом окопе в снежном поле, залитом кровью, исполосованном гусеницами танков, поле, на котором был почти полностью разгромлен наш стрелковый полк. Там погибли командир моей роты лейтенант Миргород, комбат капитан Смирнов, командир полка майор Казарьян, десятки солдат и офицеров.

Нашу дивизию с ходу ввели в прорыв. В дневное время мы вели огневые бои, а по ночам наступали, стараясь вклиниться в разрывы между флангами оборонявшихся. Удавалось это не везде: немцы упорно сопротивлялись. В наступлении не спали порою целыми сутками. Иногда — ни одного часа. Это, между прочим, одно из изобретений советской военной науки — принудить солдата обходиться без сна. Думаю, ничего подобного не было и нет ни в одной армии мира.

Так вот, сонные, топаем по наполовину заметенному шляху, многие спят на ходу, спотыкаются, падают. Хлесткий мат поднимает их, и люди, едва разлепив ресницы, бредут дальше. Один раз я на таком марше чуть было не попал к немцам. Помню: дорога, пронизывающий ветер, страшная, валящая с ног, усталость. И вдруг... Теплый летний день. Вокруг меня качаются и шумят листвою деревья. Широкая аллея упирается в стену какого-то здания, похоже, замка. А в ней чернеют ворота. Вхожу в них — и... и внезапно слышу отчаянное: «Куда прёшь? Ложись!» Мгновенно просыпаюсь. В кювете у дороги — наши разведчики. А впереди маячат

голые деревца лесопосадки. Оказывается, там немцы. Если бы не крики разведчиков, я бы наверняка попал в плен. В полку бы сказали: «Перешел к немцам». А кто знал, в каком я был состоянии? Такие случаи, когда кто-то из наших, сам того не желая, заходил или заезжал в немецкие боевые порядки, бывали нередко: обстановка быстро менялась, особенно в наступлении. Так что даже генералы иной раз оказывались в плену.

Очередное происшествие на ночном марше касалось уже не меня одного. Начальник штаба полка завел нас не туда, куда было приказано. Остановились, начали ориентироваться. А попробуй сделать это ночью да еще в степи. Вокруг — полутьма, ни одного ориентира, только неубранная кукуруза и белые от снега подсолнухи шелестят на ветру. А тут, откуда ни возьмись, — генерал на «виллисе». Кто он был, не могу сказать. Может, командир дивизии. Наорал на начштаба, сорвал с него погоны и давай бить. Пока всё это происходило, мы хоть немного полежали на снегу. А потом — опять марш. На рассвете вышли к саду под горою, название его запомнилось мне: Большая Северинка. Наверно, потому, что судьба и здесь пощадила меня, оставив лишь зарубку в памяти. Там, возле крайних хат, я приглядел ямы, из которых летом, очевидно, брали песок. Взвод сразу же занял эти неожиданные укрытия. Когда окончательно рассвело, вдалеке стали видны здания и заводские трубы. То была окраина большого города — Кировограда. Но и немцы увидели нас и начали обстреливать из тяжелых минометов, не давая никому выйти из села. В моем взводе потерь не было. А из тех, кто задержался в Северинке, кое-кого ранило и убило, в том числе несколько офицеров нашего полка.

**К вечеру** минометный обстрел прекратился. Командир батальона капитан Смирнов приказал всем нам построиться в колонну и повел по одному ему известному маршруту. После того, как мы перестали слышать выстрелы и разрывы, почувствовали себя свободнее, да и на душе стало поспокойней. И вот, идем по большаку, петляющему между снежны-

ми сугробами. Довольно светло, хотя луны еще не видно. Я шагаю вместе со вторым взводным, который недавно прибыл в роту. Он — старший лейтенант, артиллерист, из окруженцев. Поэтому и послали в пехоту — на перевоспитание. Впереди — комбат, чуть поодаль — разведка, а мы — в середине колонны. Можно расслабиться. Бой глухо гремит где-то, в стороне, а вокруг нас вроде тихо. Вдруг смотрю — рядом, в невысоких зарослях, замелькали какие-то фигуры. Я еще не успел толком их разглядеть, как одна за другой полоснули автоматные очереди — трассирующими по всей колонне. Кинжальный огонь. Тут черт знает, что началось... По приказу комбата в случае нападения наша рота должна была разворачиваться слева от дороги, а другие — справа. Но как действовать в такой неразберихе? Я поначалу тоже вместе со всеми упал на снег. Сжимая автомат, пожалел, что у меня лишь один диск. Почему остался с одним — это целая история.

Перед наступлением наша рота получила ручной пулемет и небольшое пополнение из солдат, набранных в тыловых подразделениях. Прибывший с пополнением батальонный писарь был вооружен автоматом. Правда, без патронов...

Но сначала несколько слов о пулемете. Когда мы начали строиться в колонну, его никто не захотел брать. Особенно новоприбывшие, те, что из Средней Азии. Бормочут: «Моя ни бельмеса... моя ни бельмеса...» И ни в какую, сколько ни кричи. Да и другие отказываются: мол, в армии до войны не служили, не знаем, как из него стрелять. Ну, заставил взять пулемет плечистого дядьку, чтоб хоть нес: не оставлять же. А тут писарь стоит, гугнявит: дескать, что мне у вас делать, патронов нет, буду только путаться под ногами. Хитрован! Хотел, наверно, чтоб его назад в штаб отослали. Комроты всё понял. «Быков, — говорит мне, — отдай ему запасной диск. Чтоб не ныл!» Ну я и отдал. Сам остался с тем, что был в моей ППШ. А в роте у нас больше ни одного автоматчика — все с винтарями. На лишний диск рассчитывать не приходилось. Словом, отдавать не следовало. Это было моей ошибкой.

А может, и спасением, как оказалось позже.

Итак, лежу в снегу и вижу: дела наши — швах. В зарослях — танки. Сколько их там, в полутьме не разберешь — может четыре или пять. Может, еще больше. Вот уже, рыча моторами и строча из пулеметов, они движутся на нас. А между ними — автоматчики, кричат на бегу: «Рус, сдавайся!» Так они всегда кричали, когда загоняли нас в какую-нибудь ловушку. Ну, а я по ним из своего ППШ — короткими и длинными. Задал жару. Патронов только хватило ненадолго. Оглянулся — наши далеко. Рядом лишь те, что уже не двигаются. Лихорадочно решаю: лежать или вскочить? Пролежу еще хоть минуту — возьмут живым. Вскочу — сразу укокошат. Что выбрать?

Но мне снова повезло. Немцы начали стрелять по тем, кто успел отбежать дальше, поблизости от себя целей они уже, должно быть, не видели. Я отрываюсь от ледяного наста, стремительно делаю три—пять шагов и падаю ничком. И снова отрываюсь, и — рывком вперед... Немцы вроде остались позади. К тому же я научился узнавать, когда они стреляют по мне. Если трассы замелькают вокруг, — ложись. Если отклонились в сторону, — вскакивай и беги. Но именно тогда, когда я бежал, мне показалось, что кто-то с размаху ударил палкой по моей ноге. Я повалился на снег. В сапоге сразу стало горячо, это полилась кровь. Первая мысль: перебило ногу. Если так, значит, всё, кончился ты, Быков... Но нет, нужно проверить. Через несколько секунд тяжело поднимаюсь и со страхам жду: не подломится ли нога. Похоже, не подламывается. Только очень болит, и в сапоге уже что-то хлюпает. Еле стою. Кроме автомата с пустым диском, на мне еще полевая сумка и две гранаты. Одна из них противотанковая, кумулятивная, — штуковина, прямо скажем, несуразная. Во-первых, велика и тяжела, далеко не бросишь, во-вторых, с вывертами: нужно, чтоб она обязательно упала на броню своим донцем — иначе не проломит. Достичь этого помогает вложенный в рукоятку ленточный стабилизатор. В общем, бросать такую гранату очень неудобно. Испытал на себе, когда танк подкатил совсем близко. То ли я не попал в него, то ли недобросил гранату и она не взорвалась, — сказать не могу. Но из танка меня заметили, и он решительно повернул

в мою сторону. О том, что произошло дальше, рассказывать можно долго, но там счет шел на секунды... Ужом закрутился я на снегу и еле успел уберечь ноги от надвинувшейся танковой гусеницы. Она всё-таки придавила полу шинели и обдала снежней пылью. А вдруг повернется и... Я уже распрощался было с жизнью. Но вижу: недалеко от танка, который едва не раздавил меня, кто-то поднимается во весь рост с гранатой в руке и размахивается так, что аж в воздух взлетает полевая сумка. Такая сумка была только у ротного, лейтенанта Миргорода. Он! Раздался взрыв. Танк остановился, густо зачадил и через мгновенье был объят огнем.

Надо мной засвистели пули. Это, должно быть, наши стали стрелять по выпрыгнувшим из люка танкистам. А я, пользуясь внезапно возникшей дымовой завесой (*танк продолжал гореть*), то боком, то по-пластунски пополз вслед за своими. Тут подбегает ко мне ротный санинструктор, говорит, что видел, как меня ранило, и хватает за плечи: не ползи, мол, куда подались все наши — немцы туда и целят, бери вправо, к лощинке. С его помощью выбрался я на тропку и сполз в лощинку. Санинструктор стянул с моей ноги сапог и достал из сумки бинт. Рана оказалась сквозной, пуля пробила голень и, как потом сказали врачи, отломила кусочек кости. Ногу совсем не перебило, поэтому в первый момент я еще мог встать, но боль была нестерпимая. Недаром из-за этой раны провалялся в госпитале с января по март — около трех месяцев. Никак не заживала...

Забыл еще сказать, что, когда я убегал от надвигающихся танков, передо мною разорвался снаряд, выпущенный одним из них, и меня что-то сильно ударило в живот. Вгорячах показалось: осколок. Ранение в живот — что может быть страшнее? А тут еще весь живот мокрый: не поймешь — от пота ли, от крови... Только чуть позже разобрался: не осколком шарахнуло — волной ударной. А санинструктор сделал перевязку и оставил меня в лощинке. Помочь мне выбраться оттуда и доставить в тыл было некому: в нашей армии бойцам запрещалось покидать поле боя для сопровождения раненых. А сам наш полевой медик кинулся туда, где у горящих скирд шел бой. В том бою, как мне рассказывали, и его,

склонившегося над солдатом-бедолагой, скосила пулеметная очередь... Многих не досчиталась тогда наша рота, в том числе и своего командира, лейтенанта Миргорода. А меня подобрали случайно. Просто поблизости проезжала санитарная повозка с ранеными. Хоть она была не нашей части, но у девушки-санитарки оказалось доброй сердце, и через минуту я уже лежал рядом со стонущими солдатами в окровавленных бинтах. На этой повозке и въехал в большое село с возвышавшейся посередине церковью. Здесь девушка у кого-то спросила, где санчасть, куда везти раненых? (*Что было дальше, описано в повести «Мертвым не больно».*)

**В хате,** где разместили раненых, оказался среди них мой однокашник по училищу. Мы договорились утром выбираться отсюда вместе. Ухаживала за ранеными молодая санинструкторша, боевитая деваха вроде моей Кати. Ночью мы даже выпили немного: нашлось у кого-то. Нашлась и закуска — хлопцы обнаружили в подпечке кроликов и стали их резать. Хоть и раненые, а есть хочется. Ближе к ночи у меня разболелась нога, и я прилег на лавке, так что кроликов без меня резали. Только уснул — кто-то меня будит, — открыл глаза и вижу, что это наш комбат капитан Смирнов. Спрашивает: «Ты ранен? Ходить можешь?» Говорю: «Нет». Хотя кое-как шкандыбать мог. Он вздохнул: «Вот, собираю батальон...» Закурил, погрелся немного и ушел. Я опять задремал и проснулся от того, что всё ходуном ходит, страшный обстрел. По селу бьют минометы, слышно, что и танковые орудия тоже стреляют, — звук отрывистый, короткий. Я испугался: прикрытия у нас никакого, мы же в своем тылу. Выходит, прорвались немцы!.. Раненые встревожились, стали по одному выползать на улицу. А там мчатся повозки, кони несутся вскачь, ржут — обозчики удирают. Мой однокашник, младший лейтенант, говорит: «Давай к церкви поедем, за ней — через поле — наши».

Как-то выбрались мы с ним из хаты, но до церкви не дошли, нас сразу же обстреляли. Я говорю: «Там мы не пройдем». И вернулся в хату, младшой пошел один. А минут че-

рез пять дверь открывается, и однокашник мой появляется на пороге. Кровавая пена изо рта, на горле — две раны. Хрипит, что-то хочет мне сказать — и падает. Через минуту умер у меня на руках.

Прошел, наверно, час, и в хате остались только те, кто не мог ходить, остальные поразбегались. Я понял, что немецкие танки вошли в село, что мне тут не отсидеться. А нога распухла и болит еще больше, чем прежде. Не ступить. Что делать? Что ж, пополз. Выполз во двор, а во дворе погреб был, и, вижу, какой-то пожилой боец подает мне из погреба, в котором прятался, пачку автоматных патронов и кумулятивную гранату, такую же, какую я недавно бросил в танк, за что он меня чуть не раздавил. Патроны я не взял, в пистолете у меня была полная обойма и одна в запасе. А гранату взял. Проверил, есть ли в ней взрыватель? Есть... Подумал, что эта граната вряд ли меня спасет, что мне конец... И выполз на улицу. А там — никого. Должно быть, наши оставили село. Но танки на другом конце села всё стреляют и стреляют. И вдруг появляется на улице пароконная повозка с пятью солдатами. Мчится во весь опор. Оперся на левую руку, приподнялся, правой размахиваю гранатой, кричу, чтобы остановились. Если не остановятся, думаю, швырну в них гранату!.. Черта с два они остановились — пронеслись мимо. А бросить в них гранату я не решился. Но внезапно повозка всё же остановилась — метрах в пятидесяти от меня. Нашлась среди тех пятерых солдат добрая душа. Боец в полушубке спрыгнул с повозки, побежал ко мне, подбежав, схватил под мышки и потащил к повозке. И вот я в ней. И понеслись кони!..

Из-под носа у танков вырвались мы из села в поле. Но танки и не спешили нас догонять, — стреляют из пушек по тем, кто драпал далеко впереди. Танковые снаряды шуршали над нашими головами. Я обеими руками держался за борт повозки и смотрел назад, на село. Церковь... Наша санчасть неподалеку от нее... Один из танков вдруг останавливается и с улицы бьет по мазанке санчасти из пушки. Дважды бабахает пушка. И мазанка исчезает в облаке дыма и пыли. Очевидно, те, кто оставался в санчасти, обстреляли танк или

бросили в него гранату. Вот он с ними и расправился. По всей видимости, эту картину наблюдал откуда-то мой комбат Смирнов, который ночью приходил в санчасть в поисках тех раненых, которые могут вернуться в строй. Должно быть, комбат решил, что я погиб в той мазанке, ведь ночью я сказал ему, что не могу ходить. И на меня оформили «похоронку». Тем более, что в тот полк, в свой батальон я не вернулся.

Есть у меня еще одна версия происхождения «похоронки». Дело в том, что на то поле разгромленный наш полк не возвратился, ушел по приказу командования в другом направлении. Тела убитых остались в степи, их замело снегом. Весной, когда снег стал таять, крестьяне Большой Северинки подобрали и свезли трупы в село, чтобы похоронить в братской могиле. И, очевидно, возле одного из трупов была найдена моя полевая сумка с документами. Вот и решили, что «подснежник», возле которого валялась сумка, — Василий Быков.

Позже на братской могиле в Северинке поставили обелиск, начертали на нем ряд фамилий убитых, тех, при ком нашлись документы. В том ряду была и моя фамилия.

В моей военной жизни было еще несколько случаев, в чем-то похожих на этот. О них я рассказал в повести «Мертвым не больно». Это не единственная у меня автобиографическая повесть, в которой ничего не выдумано — всё правда. Но именно потому, что — правда, повести мои подвергались ожесточенным нападкам со стороны приверженцев соцреализма. Могу с полным основанием утверждать: правда была главным врагом этого печально-известного метода. Ее старательно отслеживал и стремился вытравить весь государственно-партийный институт издателей, редакторов, рецензентов и критиков. В то время, как партийные идеологи провокационно агитировали: «Пишите правду!» — сами они и их прислужники яростно боролись с нею. Сколько авторов испытали это на себе! Писатели, искренне откликавшиеся на партийные призывы, — «горели», а лакировщики и откровенные лжецы — преуспевали.

Возвращаюсь к своему рассказу. Выручили меня наши танкисты, погрузили на броню и повезли неведомо куда. Была

светлая зимняя ночь, и в небе не замедлили появиться немецкие пикировщики. Как только они заходили на бомбежку, водители нажимали на тормоза, и выпрыгнувшие наружу экипажи прятались под своими машинами, чтобы успеть отбежать, в случае если те загорятся. А я не мог даже слезть с брони, лишь крепче держался за какую-то решетку — могло сбросить ударной волной. Но во время одной особенно сильной атаки с неба, когда разом вспыхнули и сгорели две тридцатьчетверки, не выдержал и скатился на мерзлую землю. А снова взобраться на танк уже не сумел. На то, что я исчез, никто не обратил внимания. Танкисты влезли в свои машины и продолжали путь. А я заполз в мазанку, что белела у самой дороги. В темноте чьи-то руки помогли мне влезть на низкую кровать. Я нащупал на стоявшем рядом столе чугунок, а в нем — свеклу и впился в нее зубами. Немного утолив голод, ощупью же обнаружил, что на кровати я не один: пальцы попали во что-то теплое и мокрое. Но выяснять, кто лежит рядом, не было сил. И я тотчас провалился в сон. На рассвете смотрю: да это же немец, оберлейтенант. Мертвый, холодный уже. Одеревенел даже. А ведь ночью был вроде еще живой...

Утром, когда взошло солнце, опять загрохотало всё кругом. Выстрелы, разрывы, крики. А у меня, видно, поднялась температура. То ли от боли, то ли от недосыпа я не очень хорошо понимал, что происходит, тем более, что голова буквально раскалывалась от захлебывающихся очередей. Как тут определишь, кто в селе — наши или немцы. Стрельба слышалась сначала в одном конце, потом в другом. И вдруг всё стихло. Тишина на войне всегда пугает. Думаю: ждать нечего, надо выдвигаться. Ну и выдвинулся — дополз до сеней. Около двери — огороженный досками закром с мелкой картошкой, скорее всего кормовой. Я прилег на нее и вынул пистолет из кобуры. Слышу: кто-то бегает по улице, по дворам. Но говорят не по-нашему. Всё ясно!.. Дверь закрыта. Но, если ее открыть, то я тут же, за нею. Может, чуть сбоку. Не успел подумать: она — настежь. Немец! Одной рукой за скобу держится, в другой — автомат. Глаза наши встретились. Уложить его из пистолета — секундное дело. А ему, чтобы дать

очередь, нужно перебросить автомат в правую руку. Мгновения... Я не нажал на спусковой крючок, а он не перебросил свой «шмайсер», отпустил дверную скобу — и опрометью на улицу...

На картошке я пролежал, наверно, не меньше часа. За это время немцы из села, как видно, ушли, потому что послышалась наша речь и зашумели наши машины. Но откуда и куда они едут, — кто скажет? Я снова сделал вылазку и попытался остановить какую-нибудь полуторку или ЗИСа. Напрасно! Глядь, бензозаправщик тянется. Поднимаю руку. Куда там! Прет без остановки. Только далеко не укатил. У развилки его немцы трассами перекрестили. Вспыхнул, как факел.

Добрая душа нашлась и здесь. Меня в конце концов подобрали и довезли до железнодорожного переезда. Там повстречались мне стрелки и группа разведчиков. Несмотря на отчаянную боль в ноге, решил шкандыбать с ними. Перед тем, как идти, затянули в будку, вернее, в железнодорожную казарму, в которой, по-видимому, жили путевые рабочие. А там — страх один: лежат человек пятнадцать наших убитых... Оказывается, танкисты вчера свезли сюда своих раненых, а по «железке» ходил немецкий бронепоезд — это же еще был их тыл (*в ходе боев всё сместилось и перемешалось — слоеный пирог*). Так вот, на рассвете в казарму зашли немцы из бронепоезда и всех раненых расстреляли. «А вы, хлопчики, мотайте отсюда, — сказал нам оставшийся в живых путевой рабочий. — Эти черти могут вернуться». А куда идти? Позади — «железка» с бронепоездом, слева, за оврагом, — немцы, похоже, окопались, чуть поодаль — шоссе, по которому одна за другой едут крытые немецкие машины, видно, драпают из Кировограда. А перед нами — минное поле. Указатели предупреждают: «Minen». В спешке не успели снять. У нас одна дорога — через него. Старший лейтенант, командир разведчиков, и говорит: «А ну, вперед! Кто первый?» Своих, что в белых маскхалатах, посылать не хочет. Послал раненого в голову пехотинца. Тот сделал несколько шагов и — подорвался. Следующим был тоже парень из пехоты. Но на этот раз подорвался не он, а солдат в маскхалате, из команды стар-

шого. Он шел, кажется, четвертым. След в след. И вот — на тебе... А я, сильно кульгая, брел пятым... Судьба!

Пройдя, наконец, минное поле, мы добрались до высоких заснеженных скирд. Закопались в солому, сидим, наблюдаем. Действительно, через некоторое время слышим: идет бронепоезд. Он останавливается на переезде, из него выходят автоматчики и направляются в нашу сторону. В поле, которое мы только что прошли, я еще раньше заметил две брошенные машины, думал: они подорвались на минах. Но, видимо, ошибся. Автоматчики подошли к ним и стали что-то делать (*может, заминировали*), а потом возвратились в свои бронированные вагоны.

Вдалеке гремит бой — сполохи до самого горизонта. Там всё горит и рвется. Здесь же, около скирд, тихо и, кроме нас, — никого. И вдруг, совсем неподалеку на подмерзший и накатанный большак приземляется, вынырнувшая из низких облаков, «рама»*. Из самолета вылезает немец и, подняв капот, начинает копаться в одном из двигателей — верно, хочет устранить какую-то неисправность. Один из разведчиков говорит старшему лейтенанту: «Давайте захватим «раму». Я авиамеханик. Смогу взлететь». Предложение, прямо скажем, рискованное. Но решили рискнуть. Знали: до ночи в скирде досидеть не удастся. На захват отправились трое в белых маскхалатах: по ним ведь не сразу определишь, чьи солдаты. Не дошли они до «рамы» шагов, может, пятьдесят, как те, что стояли около нее, насторожились, что-то крикнули. Наши ребята стали нерешительно топтаться на месте, один из них вскинул автомат. В этот момент на самолете разворачивается пулеметная турель, и как полоснут оттуда крупнокалиберными... Словом, потеряли этих троих. А «рама», рыча моторами, покатила по большаку и поднялась в небо.

Так дотянули мы до ночи и лишь тогда вышли на поиски. Светила полная луна, и на снегу было заметно каждое движение. Натерпелись страху. На этот раз старший лейтенант первым послал меня, и я закульгал, опираясь на чью-то винтовку. Мы пересекли шоссе, которое уже было пустынным, и через несколько километров добрались до села, где были наши части.

...Хата, занятая санчастью, вздрагивает от близких разрывов. «Юнкерсы» пикируют и здесь. Все ждут, чтобы поскорее вывезли в тыл. Хозяйничает в санчасти девушка в медицинских погонах: она выписывает «карточки переднего края» и руководит погрузкой. Но машин мало, люди нервничают, стонут. А когда очередь доходит до меня и выясняется, что я из другой дивизии, девушка строго заявляет: «Карточки не дам!» Но ведь без нее в госпиталь не примут. Что делать? Я в растерянности. Однако новый налет всё меняет. Бомбы рвутся рядом, в хате вылетают окна, и строгая медичка, стряхивая с себя осыпавшуюся штукатурку, поспешно выписывает нужную мне бумагу. Теперь можно и в госпиталь. Но на чем? Транспорта не предвидится. Вместе с сержантом, раненным в руку, вываливаемся на улицу. Там пусто. Но вот к нам приближается «виллис», и мой напарник громко и радостно кричит: «Коля!» За рулем — его знакомый. Какая удача! К вечеру я был уже в армейском госпитале в Александрии.

**В сравнении** с передовой любой госпиталь может показаться курортом. Не был исключением и тот, в который я попал. Он размещался в центре города, в здании школы. Меня помыли в бане, прожарили в вошебойке мое обмундирование, кишевшее вшами, дали чистое белье. Госпиталь был переполнен. Мест для раненых, как всегда, не хватало. На двух офицеров — одна койка. Помню, соседом моим был лейтенант-танкист со знаменитой фамилией Ворошилов /«С Ворошиловым лежал», — не без иронии рассказывал я позже/. Госпиталь этот принадлежал 5-й танковой армии, и потому в нем преобладали танкисты — раненые, обгоревшие, разные. На обгоревших смотреть было невозможна. Особенно на их лица. Ожоги очень болят и долго заживают. Люди мучаются, выходят из себя, ругаются по всякому поводу с соседями, сестрами, начальством. А начальство — доктора — почти сплошь женщины. Пожилые и молодые. Мужчины — в основном политруки. Они каждый день талдычут одно и то же — ведут свою навязшую в зубах пропаганду. Разжигают

ненависть к немецко-фашистским захватчикам. Этой ненависти у нас и самих сверх всякой меры. И не только к фашистам. Некоторые раненые, не сдерживаясь, матерят больших и малых командиров, и тогда в палате нередко возникает крутой и откровенный разговор. А вечером или ночью в ней появляется офицер из СМЕРШа*, и чересчур откровенного раненого куда-то забирают. Несмотря на пропаганду да и наши собственные чувства, на передовую никто не рвется: всё-таки в госпитале тепло, тихо и безопасно. Голодновато, конечно, на тыловом пайке. Но к голоду в нашей жизни все мы были уже привычны.

Раненые, еще жившие недавними боями, часто говорили о них, вспоминали подробности, гибель товарищей. В палате я услышал немало горьких слов насчет «порядка в танковых войсках», узнал о качестве и боевых возможностях наших танков и противотанковых средств. Так про сорокапятку мои соседи говорили, презрительно ухмыляясь, для них это было не средство борьбы с танками, а просто «хлопушка». А вот о немецких «тиграх» и «фердинандах», которые с дальних дистанций успешно прошибали нашу броню, рассказывали серьезно и даже завистливо. Установленная на тридцатьчетверке 76-миллиметровая пушка их не брала, а они из своей 88-миллиметровой навылет пробивали болванками наши машины. А мы-то, дураки, наслушавшиеся политбесед, считали, что советская тридцатьчетверка — лучший танк в мире. Послушали бы поклонники и пропагандисты этой боевой машины, что говорят те, кто горел в ней, кто, обожженный и раненый, выползал из раскалотой и рвущейся брони! А ведь лучшими считались не только советские танки, но и устаревшие винтовки образца прошлого века, и ППШ — автомат, скопированный с финского, который выпускался там еще в 1934 году, и, разумеется, наша суконная шинелка на «рыбьем меху». Что уж говорить про фронтовые госпиталя, о которых с болью и гневом писал впоследствии Виктор Астафьев! Главным лекарством в них была ихтиолка — черная вонючая мазь, с помощью которой лечили почти все раны. Хорошо, если рана чистая. А если в ней земля, остатки грязного обмундирования?.. О

пенициллине ведь тогда мы даже не слышали. Одна надежда была на хирургов. Резали они беспощадно, и тем спасли немало жизней. Кормежка в госпиталях немногим отличалась от фронтовой, разве что еду давали горячей, — каша перловая, реже — пшенная, суп с перловкой или вермишелью, хлеб и традиционный чай. (*На фронте мы удивлялись, что немцы пьют кофе — напиток, который дома никто из нас даже не пробовал, он казался противным и напоминал разведенную сажу.*)

Офицеров, попадавших в госпиталя, старались разместить хоть в каких-то зданиях, палатами для солдат нередко служили бывшие конюшни, коровники и свинарники. Их очищали от навоза, настилали солому, а поверх нее набрасывали плащ-палатки. Раненые лежали не раздеваясь, собственные шинели и ватники заменяли им одеяла. Отопление налаживали из подручных средств. На проходах обыкновенно ставили печку, сделанную из бочки из-под солярки или бензина, и топили ее круглые сутки. Кое-как отогревшись, отоспавшись и немного придя в себя, люди начинали знакомиться друг с другом, искать, кому выложить то, что накипело на душе, даже в карты играть. А кое-кто и запел. При мигающем свете коптилки не раз приходилось слышать под тихий перебор струн то какую-нибудь знакомую довоенную песенку, то солдатский фольклор, горький и бесстрашный. Особенно популярной здесь была переделка известной песни, памятная всем фронтовикам: «Первая болванка попала в бензобак, выскочил из танка сам не знаю как... А наутро рано ведут в особотдел: «Почему ты с танком вместе не сгорел?» Очень виноватый, я им говорю: «В завтрашней атаке обязательно сгорю!..» Любо, братцы, любо, любо, братцы жить, — в танковой бригаде не приходится тужить!»

Как только немного зажила рана на ноге, я начал выходить в город. Неподалеку от госпиталя было что-то вроде небольшого базара, где продавали махорку, семечки, молоко, горячую картошку. Но вот купить я ничего не мог. У меня не оказалось ни денежного аттестата, ни вкладной книжки, а, значит, и денег выдать мне никто не имел права. На передовой они мне были не нужны, но здесь... Недолго думая, я

загнал свою овчинную безрукавку и на вырученные деньги прежде всего купил бутылку самогона. Чуть позднее на этот же базар отнес теплые ватные брюки — близилась весна, холода отступили. Я уже надеялся вот-вот распрощаться с госпитальной койкой, но рана моя то заживала, то открывалась вновь. И всё-таки срок выписки был уже недалек, и я стал тревожно думать о том, как и где найду свою дивизию. В госпиталь из нее никто не поступал. Это и неудивительно: он же был другой армии. Да и обстановка на фронте всё время менялась. Я внимательно следил за тем, что там происходило. Этому помогали рассказы раненых, которых с каждым днем привозили всё больше. Особенный наплыв был после того, как наши форсировали Буг и в сводках появились сообщения о широком наступлении на юге. В эти дни госпиталь переместился под Знаменку. И снова: солдат — в бывший колхозный хлев, офицеров — в здание сельской школы. Там впервые получил легкий душистый табак и начал курить. Мне шел двадцатый год, а я до этого еще ни разу не свернул самокрутку, не задымил папиросой. «Позор для советского офицера!» — посмеивались надо мною прокуренные вояки. И я решил использовать табак по назначению, а не для обмена, как раньше.

Наконец, накануне очередного переезда госпитальные врачи распрощались со мной. Мне и еще одному выздоровевшему офицеру-танкисту — младшему лейтенанту Товакину — вручили предписания: прибыть в отдел кадров 5-й танковой армии. Добираться до него пришлось на своих двоих, с трудом догонял наступающий фронт. Шли от села к селу, ночуя там, где заставала темнота. Там и кормились, если удавалось.

Тогдашние украинские села, ограбленные дважды, коллективизацией и войной, жили не богаче белорусских. Их, пожалуй, только меньше разрушили немцы: в тех краях не было партизан. Обычно, когда мы появлялись на пороге, хозяйка начинала причитать: «Ай, што ж я вам дам исты, в мене тильки фасоля ды бараболя!» Нам, проголодавшимся, было всё равно: лишь бы поскорее что-нибудь поесть. Кое-где, правда, подносили и стаканчик пахучей и мутной самогон-

ки, выгнанной из свеклы, — мы были рады и ей. Повсюду — на дорогах и в селах — мы с Товакиным искали свои части. И вот однажды мой напарник случайно напал на след своего танкового корпуса. Дальше мне с ним было не по пути: я же не танкист. И потому продолжал поиски уже в одиночку. А ранняя весна брала свое — снег на Украине в том году сошел еще в феврале. Большаки и проселки превратились в сплошное грязное месиво, в котором тонули и машины, и сапоги. Вязкий украинский чернозем отрывал подошвы, и мои кирзачи, что называется, оскалили зубы. А раненая нога, промокнув, всё чаще напоминала о себе. Шел через силу. А на дорогах, куда ни глянь, — войска, войска войска... Одни колонны двигаются на север, другие — на запад, третьи — на юг. Сразу не разберешь, кто куда. Где тут моя дивизия, мой полк?

Долго идти без отдыха я не мог и поэтому делал в пути короткие привалы. Во время одного из таких привалов я сидел на неразмытой кочке у дороги и смотрел, как, выдираясь из грязи, тяжело топает пехота. За нею показались передки с пушками. И тут на одном из передков я увидел усатое лицо. Оно показалось мне знакомым. Пригляделся: так и есть, старший лейтенант, взводный, с которым я расстался в ту ночь, когда был ранен. Я к нему: куда и откуда? Как оказался здесь? Тот смотрит с удивлением: «А чего особенного? Вместе со всеми. Я ведь никуда не выбывал. Только вот перешел в батарею...» Но где, спрашиваю, наша дивизия? «А вот она, — говорит и показывает на тонущую в грязи пехоту. — Перебрасывают на другой участок фронта». Ка-ак? Передо мной прошел мой полк, и я не смог его узнать — ни одного знакомого лица. «Да, почти никого не осталось, — со вздохом сказал старший лейтенант, посочувствовав мне. — А вообще-то зачем тебе возвращаться в нашу дивизию? Очень она невезучая. Ее всегда бьют. Поищи другую...» (*Наивный человек! Он, очевидно, полагал, что где-то есть «везучие» дивизии.*) Но тогда и я еще верил в такую возможность и последовал его совету.

Через день в уцелевшей от обстрелов и бомбежек усадьбе я нашел штаб 4-й гвардейской армии, предъявил там свои

документы и, заполнив неизбежные анкеты, получил предписание убыть в 252 сд. Вышел из штаба в отличном настроении. Вокруг не было слышно выстрелов, шла передислокация, только в одной стороне подозрительно громыхало, словно тяжелым пестом непрерывно толкли что-то в большой ступе. Я спросил у встречного офицера, где искать 252-ю стрелковую? Тот внимательно взглянул на меня и показал рукою именно в ту сторону, откуда доносился перекатывающийся орудийный гром. И я немного пожалел, что не пошел со своей «невезучей» дивизией, которая передислоцировалась еще в тылу. Но было уже поздно.

В тот же день в штабе 252 сд меня назначили командиром взвода 45-миллиметровых пушек стрелкового полка.

**Через день** я уже попал в одну из безжалостных огневых сшибок, от которых отвык за госпитальные месяцы. Заново привыкать было нелегко. Но обстоятельства заставили делать это в ускоренном темпе. Сначала на нас навалились немецкие танки, а когда мы поспешно меняли позицию, — налетели «юнкерсы» и разбомбили батарею.

Произошло это так. Мы отстали от ушедшей вперед пехоты. Надо было догонять ее боевые порядки. Прицепили к передкам наши пушки и двинулись. Дорогу нам преградил виноградник. Огибая его, выехали на большак. В этот момент они и спикировали. Бомба с первого «юнкерса» изломала у одной сорокапятки станины с сошниками, разнесла передок, ранила коня, который всё еще судорожно пытался подняться. Два других пикировщика обрушились на уцелевшую пушку, которую ездовые изо всех сил тащили по краю виноградника. Немецкие летчики сначала обстреляли их из пулеметов, убили коней, а теперь охотились за орудием. Один заход, другой — и сорокапятки как не бывало. Солдаты, спрятавшиеся в лозе, погибли, двух ранило, снаряды с передков раскидало по всему винограднику. А мы с капитаном, командиром батареи, лишь надорвали глотки от крика, а сделать ничего не смогли. Через каких-нибудь пять минут всё было кончено.

От батареи остались двенадцать солдат, комбат и я. Солдат отправили в стрелковые батальоны — на пополнение. Капитан и я задержались на командном пункте, ожидая приказаний. Настроение у меня — хуже не придумаешь: только пришел в «везучую» дивизию, и на тебе — снова разгром. Зато мой комбат не грустит: он получил новое назначение — начальником артиллерии соседнего полка. А начарт — это не командир батареи, поднимай выше. И риск минимальный — жив будешь.

Капитан протягивает мне флягу со спиртом, а потом прикладывается сам, пьем за его успех. Коновод из полка, в который он назначен, приводит ему ладного коня. Мы прощаемся. «Ну, Быков, — говорит капитан, — желаю тебе дожить до победы!» Ты, может, и доживешь, мелькает у меня в голове, а вот я... Провожаю его с некоторой завистью. Наш КП всего в каком-нибудь километре от переднего края, но — за пригорком. Дорога в тыл и к соседям — тоже через пригорок, хорошо пристрелянный немцами: он весь в воронках от разрывов мин. Есть и другая дорога — в объезд, по лощине. Она длиннее. Смотрю, мой бывший командир доскакал до развилки, натянул поводья, видно, решая, какой дорогой ехать, и выбрал кратчайшую. Только показался на склоне, а тут мины — бах, бах... Он пришпорил коня. Снова разрывы. Совсем близко от него. Склон заволокло дымом и пылью. Как только подул ветер, я увидел: конь бежит, повод болтается, а седока нет. Коновод вернулся один. Вечером, когда немного стемнело, солдаты притащили тело убитого капитана. Такая она — военная судьба!

Под Унгенами — станцией на границе с Румынией (*где в позднейшие времена таможенники устраивали пассажирам знаменитый советский «шмон»*) — наступление выдохлось, и мы заняли оборону. Станцию эту брали и сдавали, и готовились брать вновь. Именно перед нею была та самая «проклятая высота», давшая название одной из моих повестей. Поскольку я теперь только числился командиром орудийного взвода, меня послали на ПНП (*передовой наблюдательный пункт*) дежурить по ночам. Командир полка на своем

КП спит (*«отдыхает», говоря армейским языком*), а мы (*со мною разведчик и телефонист*) не имеем права ни на минуту сомкнуть глаз. ПНП, на котором расположилась наша группа, — это обычная щель, слегка прикрытая жердями с растянутой на них плащ-палаткой. Оттуда я и веду наблюдение. На передовой некоторое затишье, ночью вообще не слышно выстрелов. Можно ходить в небольшое молдавское село, находящееся на нейтральной полосе. Жители из села убежали: кто ж усидит под обстрелом? Да и крайние хаты уже сгорели. Но остальные пока целы. Мой разведчик отыскал там какого-то пожилого молдаванина, который остался сторожить свое добро. У него есть несколько кур и вино. Очень заманчиво! Командир полка по обыкновению звонит мне часов в двенадцать ночи и ложится спать. Тогда мы с разведчиком, оставив телефониста на дежурстве, идем в село. Оно недалеко от ПНП, каких-нибудь сто метров вниз по склону. Хозяин поймает курицу, ощиплет ее, сварит (*ночью дыма не видно*), принесет кувшин вина. Мы поедим, выпьем и телефонисту принесем поесть и выпить. А перед этим, насытившись и расслабившись, еще и подремлем малость в теплой хате. Так и паслись там, не скажу часто, но раза четыре ходили к тому молдаванину.

Но вот как-то ночью, когда курочка еще не успела свариться, слышим: выстрелы, разрывы гранат, крики... Мы, конечно, бегом из хаты... Рядом какие-то люди мечутся, стреляют. А кто они — не разберешь: темно. Прибежали мы на ПНП. У телефониста трубка аж раскалилась — командир кричит: «Что там у вас делается? Где Быков?» Мой связист что-то врет, оправдывается. Беру трубку. Стрельба к тому времени прекратилась, только хаты горят. Докладываю: выяснилось, что случилось, кто стрелял... Но по-настоящему выяснить удалось утром. Оказалось, в селе бывали не только мы. Заглядывали туда и командир стрелкового батальона, и его начальник штаба. И не одни. А, кроме того, по некоторым хатам шастали и немцы. Вот и столкнулись нос к носу. Для наших столкновение это было неудачным: немцы убили кого-то из стрелков, а начальника штаба взяли в плен. Как

водится, сразу — расследование, им занимался СМЕРШ. Но в общем обошлось. Ни я, ни мои ребята ни слова не сказали о наших ночных вылазках, а ведь всякое могло быть. Могли и контакт с немцами пришить.

Санинструкторами в армии чаще всего были девушки. Но на передовой обычно встречались лишь те, которые почему-либо не сумели задержаться в тылах. Красивые, привлекательные, как правило, оставались при штабах, на разных тыловых должностях. Штабов же, как и тылов, хватало: кроме войсковых, были и многие другие, да еще политотделы, отделы контрразведки СМЕРШ. Хоть в штатных расписаниях девчата и числились санинструкторами, связистками, снайперами, но зачастую они просто находились при начальстве. Каждый майор, полковник, а тем более генерал имел ППЖ, это было как бы узаконено. В батальон, не говоря уже о роте, девушки, обращавшие на себя внимание, появлялись редко. Они и сами не очень стремились попасть из теплых блиндажей и землянок на передний край.

Правда, бывали исключения. По дороге в дивизию я встретил девушку, старшину или сержанта по званию, которая имела направление в дивизионный батальон связи. Она была миловидной и острой на язык. И я, честно говоря, подумал, что такая вряд ли будет сидеть у телефона. Откровенно сказал ей об этом и неожиданно получил сердитый и колючий отпор. Из штаба дивизии я без задержки отправился в полк, а оттуда — в батальон. Через некоторое время встречаю ее уже в нашем полку. Интересуюсь, каким ветром занесло к нам? Отвечает: перевели. Что ж, перевели, так перевели. Служба. А после, когда командовал взводом автоматчиков и бегал под огнем с одного фланга на другой, вдруг слышу около батальонного КП знакомый голос. Заглянул в ровик, а там у телефона — она. Та самая. Спрашиваю: «Что, снова перевели?» Да, говорит, не ужилась в полковой роте связи... Мне всё стало ясно: не захотела спать с командиром, вот он и спихнул ее в стрелковый батальон. Так и попала на передовую. Характер выдержала. А могла бы служить в тылу, да еще награды получать. Не захотела! Не знаю, осталась ли жива...

**Молодые в армии**, тем более на фронте, по-особому относились к оружию, прежде всего к стрелковому, были во власти его магии. Но оружие оружию рознь. Наши трехлинейные винтовки, драгунки, как их называли, не говоря уж о «СВТ» (*скорострельная винтовка Токарева*), никому не нравились. Каждый боец при первой же возможности норовил избавиться от этой длиннющей неуклюжины и заиметь карабин или трофейную немецкую винтовку. Так же относились и к ППШ, прославленному пропагандой, как и всё прочее советское оружие, а на самом деле такому же неудобному, как драгунка и «СВТ». Немецкий «шмайсер» был лучше, легче, удобнее. Но его не так просто было «достать». Да плюс патроны к нему. Помимо всего прочего, на это косо смотрело начальство, могло «пришить политику» — почему это ты предпочитаешь немецкий автомат советскому?

Проще было с пистолетами — они не так бросались в глаза. У меня поначалу вообще не было пистолета — положенный мне «ТТ» не выдали, этих пистолетов в армии не хватало. Пока воевал в пехоте, обходился автоматом ППШ, позже обзавелся трофейным парабеллумом. Правда, патроны к нему быстро кончились и достать их было негде — мы стояли в обороне (*помнится, в Молдове*), а сидя в окопах, где возьмешь немецкие патроны? Однако из парабеллума можно было стрелять нашими патронами, от ППШ, по калибру они подходили, хотя гильзы были короче немецких. А когда мне, наконец, выдали «ТТ», я обменял парабеллум на «вальтер» и ходил с двумя пистолетами на ремне. Стрелять из пистолета в живую мишень — в немца — слава Богу не довелось, потому слава Богу, что из пистолета стреляют почти в упор или просто в упор в ближнем бою, в грудь или в голову, а это страшно — знать наверняка, что убиваешь человека. Когда был в пехоте автоматчиком, стрелял, разумеется, вместе со всеми, но с приличного расстояния — однажды по убегающим немцам, однажды по атакующим. Строчил из автомата в бою в траншеях (*этот бой описан в моей повести «Его батальон»*), но в том бою не столько ППШ шли в ход, сколько гранаты — наши «лимонки» и немецкие «яйца». (*Вспоминая о своем «вальтере», вспомнил Алексея Карпюка,*

*у которого в партизанах тоже был «вальтер», что явилось причиной ухода Карпюка на фронт. Хотя он, как партизанский командир, отправке на фронт, в отличие от рядовых партизан, не подлежал. Но когда расформировывался отряд Карпюка, Алексей должен был сдать свой «вальтер». Но сперва он решил выстрелить напоследок из любимого пистолета: зашел в гумно, прицелился в сучок на стене, выстрелил — и пуля вошла в самый центр кружочка, что называется, в «десятку». И так Алексею не захотелось расставаться с этим замечательным метким «вальтером», что он решил идти на фронт! А там, еще на формировке, «вальтер» у него отобрал какой-то начальник. А в скором времени красноармеец Карпюк получил пулю в плечо, затем — осколок в легкие. Тут уж стало не до пистолета.*)

**Весной затишье** наступило на всем фронте. Войска заняли оборону. И вот после того, как я не очень удачно отдежурил на ПНП, получаю новое задание: взяв группу солдат, отыскать прифронтовое село Барсучени и завтра же выселить оттуда всех жителей. Они имеют право взять с собою только то, что может уместиться на повозке — молдавской каруце. Не больше. Возвращений не допускать.

В селе, оказавшемся всего в полутора километрах от передовой, мы вместе со старшиной Гончаренко, моим помощником, бывшим бухгалтером откуда-то из-под Винницы, нашли мужика, который был в Барсученях за старшого. Объяснили, что требуется. Крестьяне особенно не сопротивлялись: надо, так надо, война же. И потом, кто знает, что предпримут эти русские да и немцы, которые за бугром? Погрузили на свои каруцы детей, постели, по несколько мешков кукурузы и поехали, как было им велено, на пятнадцать километров в тыл. А я приказал солдатам с обеих сторон перегородить сельскую улицу шлагбаумами из жердей и поставил около них часовых. Выбрав лучшую мазанку, углем на белой стене вывел: «Комендатура».

Так началась моя новая, на этот раз тыловая, служба в обезлюдевшем селе. Главный смысл ее, как я понял через

некоторое время, состоял в том, чтобы не дать крестьянам воспользоваться собственными харчами. Они реквизировались для нужд фронта. Вскоре в село въехали тыловые подразделения, штаб армейского инженерного батальона, еще кто-то. Они свободно хозяйничали в оставленных жителями домах и сараях, грузили на машины всё, что хранилось в закромах — кукурузу, зерно, муку. В Молдавии провизии было много — не то что на Украине. В каждом доме — хлеб, даже белый, вдоволь молока, масла, сыра, сушеных фруктов. Колхозы ограбить молдаван еще не успели, зато на законном основании грабили войска, которым из тыла почти перестали доставлять продовольствие. Весь транспорт был брошен на подвоз боеприпасов: готовился «бросок на Балканы».

Задание, которое я выполнял, представляло собою лишь часть большой операции, проводившейся во фронтовом масштабе. По всей Молдавии население выселялось из 15-километровой прифронтовой зоны. Продукты, известно, далеко не спрячешь. А вот бочки с вином закапывали в землю. Наивные молдаване! Как будто от советского солдата можно было что-то укрыть! Тем более вино. У каждой винтовки был шомпол, и он превосходно исполнял роль «виноискателя». Через какие-нибудь десять дней солдаты отыскали, выкопали и выпили все винные запасы. Иногда между пьяными возникали драки и даже перестрелки. Из-за вина, из-за размещения в хатах. Чаще всего это происходило, когда одни части еще не успевали выехать, а другие уже прибыли и не находили места для отдыха. Меня нередко навещало полковое начальство — контролировало и пило вино, пока его еще можно было найти.

Под комендатуру я занял дом псаломщика, в котором сохранились кое-какие книги. Среди них я нашел и прочитал «Так говорил Заратустра» Ницше, познакомился с некоторыми античными авторами, разумеется, в русском переводе. Даже на войне меня тянуло к знаниям, к культуре, которых я «не добрал» в мирное время. Да и молодость брала свое. Лето было погожее, стояли теплые южные ночи. И ко мне приходила одна сестричка из инженерного батальона. Я угощал ее

грецкими орехами и молдавским вином и внимательно слушал ее рассказы о довоенной жизни в украинской Звенигородке, откуда она была родом. Мне в то время как раз исполнилось двадцать лет, я еще не знал женщин и очень бережно относился к внезапно возникшему нежному чувству. Оно ведь было первым... Но как-то вечером в дверях «комендатуры» возник незнакомый лейтенант, с виду старше меня, и представился: «Уполномоченный контрразведки СМЕРШ». Спросил: «Вы слышали, что такое СМЕРШ?» Да, я безусловно кое-что слышал. Но что ему нужно от меня, — не понимал. А нужно было узнать о моих отношениях с красноармейцем Лужковой. Поскольку, по его словам, это дело касается государственной безопасности. А я-то, дурак, думал, что оно — личное. Впрочем, оно действительно оказалось личным. Ибо, как рассказала мне красноармеец Лужкова, этот смершевец был явно неравнодушен к ней. Через несколько дней инженерный батальон перевели на другой участок, и началась едва ли не ежедневная, бередящая душу, переписка. Казалось, весь смысл жизни зависел от того, как скоро придет письмо от нее. Но правильно замечено, что любовь — это почти всегда сказочка с грустным концом...

Тем же летом я едва не угодил в трибунал. Уже приезжал следователь из военной прокуратуры, и на меня завели дело. Случилось это после того, как мои солдаты влезли в церковь. Известно, как у нас относились к религии, к попам: то вели с ними борьбу на уничтожение, то несколько ослабляли петлю на шее церкви. В войну петля стала менее тугой — церковь понадобилась. А солдаты этого не учли. Да и я тоже. Они сломали замок и вошли в сельский храм, чтобы поглазеть на изображения святых, а заодно добыть бумагу. Где ее найдешь на фронте? Вот и решили вырвать чистые листы из церковных книг, чтобы было на чем писать письма родным и близким. Табакуры для самокруток использовали фронтовые газеты, которые особенно ценились за это. Но ведь на газете письма не напишешь... Словом, бумагу достали, а попы пожаловались политрукам. Те сообщили в прокуратуру. И мне предъявили обвинение: не уберег цер-

ковное имущество. А я его и не берег, мы же атеисты! Тем хуже, говорят, будете отвечать...

По поводу того же церковного дела из ЦК компартии Молдавии приехал некий представитель, гражданский, который тоже начал дознание. После долгих и нудных расспросов нам захотелось выпить. Но пить в селе было уже нечего. И мы с этим гражданским поехали на соседний хутор. Слезли с повозки, идем через рожь по тропке, разговариваю, и вдруг с хутора — выстрелы. Мой дознаватель хватается за карабин, но тут же оседает — по щеке сползает выбитый глаз, лицо — в крови. А на хуторском дворе матерится наш солдат с винтовкой в руках. Два бойца, что были с нами, бросились к нему, а я — к раненому. Быстрее на повозку и — в госпиталь. По дороге договариваемся сказать, что нас обстреляли немцы. Так я и доложил. Но назавтра приехал капитан Травин, которому я был подчинен, и выругал меня за обман. Он уже знал, как всё произошло в действительности. Но откуда? «Оттуда!» — угрюмо сказал старый и опытный старшина Гончаренко. То был для меня первый урок, — урок, который я, однако, плохо усвоил. Не знаю, чем бы всё это кончилось, если бы вскоре фронт не перешел в наступление, и никому уже не было дела ни до раскуроченных церковных книг, ни до пьяного солдата, который ранил представителя молдавского ЦК.

Перед самым наступлением я получил первую весточку от родителей. Три года ничего не знал об их судьбе. Нужно ли говорить, как я обрадовался? Все живы, хата цела. Сестру Валю хотели вывезти в Германию. Но она оказалась ловкой, моя сестрица, и сумела избежать невольничьей судьбины. Родители тоже ничего не знали обо мне, и, получив мое письмо, испытали радостное потрясение. Потому что за неделю до этого в их дом пришла «похоронка» на меня: еще после боев под Кировоградом в полку решили, что я погиб. (*«Похоронка» эта сыграла малоприятную для меня роль через много лет после войны.*)

Когда мне удалось, наконец, встретиться с сестрой, она рассказала про свою «ловкость». Весной 44-го вместе с не-

которыми другими девчатами Валя убежала с «окопов» — оборонительных работ, на которые их согнали немцы. Но те похватали беглянок в селе и повели в Череповщину для отправки в Германию. Сестру не нашли: она спряталась в кустарнике за прудом. Тогда ее дальняя родственница, которая шла в колонна, и говорит конвоиру: «Посмотрите, что там в кустах!» Там они и застукали Валю и погнали вместе со всеми.

Через несколько дней пешего марша под дулами автоматов и винтовок девчата, использовав удобный момент (*то ли бомбежку, то ли еще какое-то происшествие, отвлекшее конвоиров*), начали разбегаться. Немцы кинулись за ними, стреляя на бегу. Валя присела в жите, затаилась. Видит: прямо перед нею вырос немец, сделал вид, что не заметил и прошел мимо. Так она спаслась от отправки в Германию и через несколько дней уже была дома.

**Наступление на** Балканы (*так называемая Ясско-Кишиневская операция*) поначалу развивалась успешно: оборону прорвали, вышли на Прут. Там развернулись ожесточенные бои за мосты и переправы, так как немцы, вырывавшиеся из Кишиневского «котла», отчаянно перли на них. После войны в городе Перми вышла книжка, посвященная нашему соединению и его участию в этой операции, — «Ветераны дивизии вспоминают». В ней были напечатаны воспоминания подполковника Пилипенко, бывшего штабного офицера. В одном из рассказанных им эпизодов участвует и лейтенант Быков. Вот что написал мемуарист: «Боевые порядки стрелкового батальона капитана Савченко, которому был придан взвод лейтенанта Быкова, атаковала вражеская пехота, поддержанная сильным огнем артиллерии, минометов. Около трех часов шел напряженный бой... На рассвете следующего дня гитлеровское командование бросило в бой несколько танков. На участке стрелкового батальона, который поддерживал артогнем лейтенант Быков, появились 3 вражеские машины. Быков подал команду «огонь!». Два снаряда разорвались рядом с передним танком, но тот продолжал

двигаться. Грянул третий выстрел, и немецкая машина остановилась. Другие вражеские танки стали обходить горящую машину, ведя на ходу огонь по нашим орудиям. Осколками вражеского снаряда было повреждено орудие, убит старший сержант, наводчик и заряжающий. В эту трудную минуту к орудию встал Быков. Через канал ствола он навел орудие, затем зарядил и выстрелил в приближающийся танк противника. Фашистская машина развернулась на одной гусенице и остановилась. Противотанковая батарея полка понесла значительные потери в личном составе и боевой технике, поэтому лейтенант Быков был назначен командиром роты автоматчиков этого же полка. Не раз ему приходилось со своим взводом ходить в атаку и отбивать контратаки противника...» И так далее. Я не знаю точно, но, по всей вероятности, этот текст взят из наградного листа. В нем есть и передержки, и несообразности. На самом деле всё происходило по-другому.

Немцы твердо намеревались вырваться из Кишиневского «котла», решимости и упорства у них хватало. Для окруженных это был вопрос жизни или смерти... У моей пушки разбило прицел, да и всю ее изрядно покалечило танковым снарядом. Он попал под левое колесо, и от взрыва весь расчет и меня завалило землей. Я стоял вместе с заряжающим между станинами и на несколько секунд, видимо, потерял сознание. Пришел в себя, вижу: мои не поднимаются, наводчика совсем засыпало. А танк — вот он, в каких-нибудь пятнадцати метрах от позиции и направляет пушку в кого-то в нашем тылу, полагая, должно быть, что с нами всё кончено. А сорокапятка у нас заряжена, наводчик только не успел выстрелить. Я протянул руку и лежа нажал на кнопку спуска. Смотрю, танк поворачивается, поворачивается — ну, думаю, сейчас развернется и как врежет мне. Но нет — не врезал! За ним разматывается гусеница: мой снаряд, видно, перебил ее. Куда делись танкисты, я так и не заметил. Между тем бой перекинулся в район переправы, к которой почти прорвались немцы. Мимо нашей огневой проехала самоходка, а к нам прибежал кто-то из другого расчета. Поднимаюсь. Очень болит голова, а из уха течет кровь. Сержант обращается ко

мне, но я ничего не слышу. Оглох. Через мгновенье выясняется, что и говорить не могу. Отнялась речь. Весь дрожу. Неужели отвоевался, думаю?..

На случайно подвернувшейся грузовой машине поехал в санбат. Туда привезли много раненых, и осмотреть меня было некому: все врачи на операциях. Я нашел завалинку и в тени просидел на ней до самого вечера. Даже подремать сумел. Ухо продолжало болеть, но кровь больше не текла. Когда стало смеркаться, пошел в палатку, где размещались врачи. Но по дороге зацепился за растяжку и — выругался. Потом — еще, еще. Громче. И обрадовался неимоверно: вернулась речь! Я заткнул ухо ватой, пошел на дорогу и поздно вечером добрался до своих.

Чувствую невысказанный вопрос: боялся ли? Конечно, боялся. Может иногда и трусил. Но страхов на войне, вообще говоря, много, и все они очень разные. Страх перед немцами — могли взять в плен, застрелить; страх перед огнем противника, — в особенности перед артиллерийскими налетами и бомбежками. Если разрывы рядом, тело само — без участия разума — падает на землю, а сердце готово разорваться от мучительных предчувствий. Но был и иной страх, идущий, так сказать, сзади — от начальства, от всех тех карательных органов, которых в войну было не меньше, чем в мирное время. Может быть, даже больше. Когда командир грозит расстрелять тебя, если ты не возьмешь оставленный хутор, высоту или траншею (*а угроза эта была вполне реальной*), то еще не известно, кого ты будешь бояться сильнее — немцев или командира. Враги могут промахнуться. А свои — командиры (*или трибунал, если дойдет до него*) — эти промаха не дадут. Тут уж всё определенно и категорично.

После памятного эпизода на Пруте и во время боев в Румынии по танкам мы не стреляли. Мою подбитую сорокапятку тогда вытащили с огневой, заменили колеса, а вот прицела так и не достали. Мы возили ее с собою на формировку под Луцк, затем в Венгрию. Хотя стрелять из нее было практически невозможно. А бои продолжались, и в одном из них меня опять ранило...

Два слова о танке, которому мой снаряд разорвал гусеницу. Тем боем история эта не кончилась. Осенью во время формировки отличившихся стали представлять к наградам. Написали наградной и на меня: «... к орудию встал Быков, через канал ствола навел орудие, затем зарядил...» и т.д. Но оказалось, что за тот танк уже кого-то наградили из дивизионной артиллерии, которая тоже вела огонь по прорывающимся немцам. Выходит, Быков подбил подбитый кем-то танк. Может и так. Спорить с начальством я не стал — бесполезное дело. Тем более, что в то время я уже не был артиллеристом. Не захотел идти адъютантом к командиру полка, крикливому майору Ковалю, и тот, обозлившись, послал меня командовать взводом автоматчиков.

**Здесь, наверное,** стоит вернуться назад и рассказать, как в начале весны возникло у нас «братание с немцами». Всё было так, как написал я в «Проклятой высоте», хотя, может, немного и не так. Может, даже страшнее. Действительно, случилось это в роте автоматчиков. Той весной погода вдруг резко испортилась, налетела вьюга, намела целые сугробы снега. А потом внезапно — солнце, теплынь. Снег растаял, и весна вновь взяла свое. В ночь перед этим немцы выбили роту с высоты и укрепились на ней. А наши вместо того, чтобы сразу же атаковать и отбить высоту, решили замириться с немцами, немного отдохнуть, пока начальство далеко — штабы отстали. Инициативу проявил старшина роты. Наших и немцев разделяла небольшая речушка, за которой и была та самая высота. Старшина вышел на берег речушки и вызвал немецкого обер-лейтенанта. Заключили перемирие, наладили связь. К воде стали ходить и наши, и немцы — постирать портянки, обменять махорку на сигареты. Ну и поговорить. Словом — братание. Самое настоящее. И продолжалось оно два дня. Командира роты в эти дни не было, его замещал взводный, парень молодой и неопытный. Как всё обнаружилось? Да очень просто. Когда раненых из этой роты отправляли в тыл, тамошний санинструктор, услышав их рассказы, и «стукнул». Начальство, естественно, взвилось...

Однажды ночью две моих сорокапятки нежданно перебрасывают на чужой участок. Удивляюсь, но молчу: чего в штабах ни придумают? До рассвета окопались, сидим. Пехота немного впереди и внизу. Там какое-то странное движение, легкий шум. Слышу краем уха, но не могу понять, в чем дело. А тут еще подтянули минометы, артиллерию. Я — на прямой наводке. Только рассвело, смотрю: немцы идут к речке. Идут с оружием, но совершенно открыто. Подходят к берегу, кричат: «Эй, Иван!» и еще что-то. А у нас всё замерло. Ни звука. Постояли они, между собой поговорили и, видно, встревожились. Двое — бегом назад. Остальные тоже стали отходить от берега. Вот тогда-то наши и врезали. Сначала артиллерия дала жару, потом поднялся батальон и — через речку, на высоту. А немцы молчат. Вот и речка позади, и лужок. Дальше — размякший грунт на скате и очень крутое место с небольшими кустиками. Как только пехота до них дошла, немцы и ударили. Да так, что только несколько раненых выползло к речке.

Целый месяц высоту эту брали. А взять никак не могли. До 20 августа — начала Ясско-Кишиневской операции — она оставалась у немцев. А людей под нею сколько положили! Там я едва в плен не попал. Вместо меня угодил начальник штаба стрелкового батальона.

**В Румынию** вошли с боями. Но дальше движение ускорилось: противник не оказывал серьезного сопротивления. В одном селе солдаты выкатили на улицу бочку с вином, обступили ее с котелками, а пить боятся. Нам ведь все уши прожужжали перед наступлением: мол, вступаем в капиталистическую страну, возможны любые провокации. Еды у румын не брать, вина не пить — всё отравлено... А бочка — вот она! Ребята кричат: «Фельдшера сюда!» Прибежал младший лейтенант Федорков (*он позднее погиб в Венгрии*). Все к нему: проверь! Может, яду подсыпали? Тот долго не раздумывал, зачерпнул котелком и глотнул как следует — порядок, дескать, не отравлено, давай до дна! Ну, до дна и выпили. Даже осталось чуток. Вылили на дорогу, чтоб врагу не досталось.

Румыны по приказу короля Михая (*Сталин наградил его впоследствии орденом Победы*) дружно капитулировали. Или просто разбегались по домам. У них было много лошадей, и мы нередко обменивали своих доходяг на румынских или немецких битюгов. Появились у нас даже запасные. Потому что на фронте лошадей погибало не меньше, чем людей, и артиллеристам всегда не хватало тягловой силы.

На войне почти всё происходит неожиданно. Вдруг узнаем, что нашу дивизию да и всю армию снимают с фронта. Мы должны прибыть на какую-то тыловую станцию. Начинается погрузка в эшелоны. Вагонов мало, теплушки до отказа набиты пехотинцами, а артиллерия располагается на открытых платформах вместе с орудийными расчетами и командирами. Дождь и ветер прошибают насквозь. Защита от них всё та же — палатки.

В пути я заболел. Получилось это очень некстати, ибо, по словам моего друга взводного Егорова, кто же болеет по дороге в тыл? Тем не менее — свалило. Сначала возобновилась малярия, которая трясла меня еще с приречных плавней, затем добавилось еще что-то. Лежать на платформе, под палаткой, стало просто невыносимо: почти непрерывно хлестал холодный осенний дождь. Меня перенесли в теплушку санчасти. Но и в ней было холодно. А доктора наши в войну научились, кажется, только резать, а как лечить обычные болезни, начисто забыли. Пробыл я в санитарной теплушке до самого Луцка, но не почувствовал себя лучше. Наши выгрузились в лесу и тотчас за дело — строить землянки, шалаши, оборудовать коновязи. А я совсем занемог. Снова доставили меня в санчасть, которая помещалась в заброшенном доме без окон и дверей. Лежу один на соломе, дрожу. Во всем теле жар. Таблетки, которые мне дают, не помогают. В какой-то момент понял: если я сейчас же не встану и не уйду отсюда, — загнусь. Я собрал всю свою волю, все оставшиеся силы и, хватаясь руками за хвою, кое-как добрел до своих ребят. Они дали мне полкружки самогону, от которого я сразу же уснул, а после — вообще оклемался.

На новом месте почти с первого дня начались занятия — полевые и строевые (*а как же — железная традиция, пере-*

*нятая у прусской армии*), для командиров — совещания, для солдат — политподготовка (*тоже традиция, только советская*). Как-то вечером заходит в мой шалаш полковой смершевец, интересуется, сколько в последних боях было убитых, сколько раненых... Отвечаю. «А Мокиш, — спрашивает, — тоже убит?» «Да, — говорю, — тоже. На Серете». «Вы видели своими глазами?» — допытывается он. Тут я немного встревожился, потому что Мокиш во время бомбежки куда-то исчез — может, прямое попадание? Бой был очень напряженный, и никто не заметил, куда он делся. Чтобы не доставлять себе лишних хлопот, я, когда стали составлять донесение о безвозвратных потерях (*т.е. о погибших*) и раненых, внес Мокиша в число убитых. «Так вот, — говорит смершевец, — вы покрываете дезертира. Ваш Мокиш задержан комендантским патрулем в Бельцах. С какой целью вы фальсифицировали данные о нем?»

Вот беда! Лихо на нее и на этого Мокиша, чтоб ему ни дна, ни покрышки! Да и я — ворона. Но кто ж мог подумать, что он драпанет домой?.. Пришлось писать докладные и объяснительные, оправдываться. Смершевец еще раза два приходил. Потом отстал.

Тем временем мы получили пополнение, и меня перевели из батареи в ПТО 2-го батальона. Командир батальона (*вновь Смирнов, капитан, бывший школьный учитель*), когда я пришел представляться, тотчас дал мне нагоняй за плохой порядок на коновязи, за нечищенных лошадей. (*Боже, сколько крови попортили мне они! И в войну, и после нее. Забота о чистоте сбруи, бесконечные выводки — это были живучие рецидивы старой кавалерийской традиции, с которой никак не хотели расстаться и в новое время. Увы, каждая армия готовится к минувшей войне, а будущая приходит неожиданно.*) Как бы там ни было, мой новый комбат был строг и требователен, и сделал мне немало «втыков» уже в боях на венгерской земле. Но я на него не в обиде — многие из них заслужил.

Формировка, однако, довольно скоро кончилась. И мы подготовились к отъезду на фронт. Перед самой погрузкой пришлось стать свидетелями страшной сцены: на наших гла-

вах расстреляли двух солдат, ограбивших недалекий хутор и убивших его хозяев. Их судил военный трибунал и приговорил к высшей мере. Утром на поляне полк построили буквой П и посередине выкопали яму. Осужденных без погон и поясных ремней поставили перед нею. Затем комендантский взвод дал залп, и оба они свалились в эту яму. Мы не смотрели, как их закапывали, но состояние духа было угнетенное. Конечно, все понимали: те двое получили, так сказать, по заслугам. Но сама эта казнь на виду у сотен людей глубоко покоробила нас. Именно с таким чувством полк отправился на станцию Луцк, где нам предстояло грузиться в эшелоны.

На этот раз теплушки были с печками и нарами. В отдельном вагоне — лошади (*конский состав, согласно военной терминологии*), среди них — четыре крупных немецких битюга моего взвода. Они без труда тянули орудия с передками. Но только шагом — рысью не умели. Кроме того, требовали слишком много корма. А сена не было, а овса не давали. Сколько ни обращайся к начальству, у него один ответ: достань! Достань и накорми! Понятно?.. Исполняйте! Мои солдаты и «исполняли». Где-то на станции нашли платформу со свеклой и накормили ею голодных битюгов. Через день одна кобыла сдохла. Что делать? Скоро выгрузка, а как везти пушку неполным «конским составом»? Дошло до начальства, до политаппарата. Те подняли шум: утрата боеспособности, виновного — к ответу. А виноват, без сомненья, командир, лейтенант Быков. Опять завели дело...

У меня в то время командиром орудия (*того самого, что по-прежнему не имело прицела*) был башкир, старший сержант Закиров, большой спец по лошадям. Он и говорит мне: «Не дрейфь, лейтенант, выгрузимся — коня добуду. Еще получше». И, действительно, приводит. И не одного. Даже мне достал отличного рысака под седло. Жаль, вымахал тот слишком высоко. Влезть на него я мог только с забора или с пня — с земли нога не доставала стремени. Зато ехать на нем было одно удовольствие. Я испытал это на марше, когда мы двигались через Трансильванию, партизанскую Воеводину, догоняя 3-й Украинский фронт. В дальнейшем серьезных боев

не было, немцы на тех рубежах оборонялись не очень упорно, и вскоре мы вошли в Венгрию.

**Это была** первая на нашем пути по-настоящему европейская страна, не разрушенная войной, с многочисленными остатками довоенного благосостояния и устойчивого быта. Поздней осенью, в дождь и слякоть, идем, бывало, через венгерские городки и селения и жадно смотрим на добротные, под черепицей, дома, на крепкие ворота, проволочные ограды. Белые стены красны от связок развешенного на них перца, знаменитой венгерской паприки... Население встречает нас доброжелательно, даже гостеприимно, хотя венгерская армия еще воюет против нас, разве что не с такой завзятостью, как немцы. В каждом доме белый хлеб, копченое мясо, колбаса, варенье. Фрукты и овощи тщательно переработаны, и всё, что заготовлено для зимы, хранится в погребах. Мы в них, конечно, лезем. Погреб — надежное убежище во время боев и бомбежек. Ну и потом эти ряды банок и чудесное венгерское вино. ...Никак не хочется вылезать наверх — туда, где кровь и смерть. Благодаря обилию продуктов и вина войска наши перешли на самообеспечение. Варево, которое готовилось в полевых кухнях, просто не брали. Зачем? Движется, скажем, колонна через село, солдаты, как мыши, шмыг-шмыг по дворам. А когда догоняют строй, у каждого за пазухой — окорочок, в противогазной сумке — банки с вареньем, на штыке — буханка белого хлеба, а в руке — канистра или ведро вина. Командиры смотрели на это сквозь пальцы: перепадало и им. Всё-таки Венгрия была союзницей Германии, и поэтому солдатам многое сходило с рук.

Перед самой зимой мы форсировали Дунай. Удалось это не сразу.

Трое суток шли безуспешные бои. Дунай там широкий, может, такой, как Волга. С одного берега еле виден другой. А ночью вообще ничего не увидишь. Всё равно — форсируем. В темноте. Сначала артподготовка — довольно слабая, средствами штатной артиллерии. Только я пострелял немно-

го на крайнем прицеле, бежит связной от комбата: «Прекратить огонь! Чем будешь стрелять на том берегу?» Дескать, если расстреляешь весь боезапас здесь, для того берега ни хрена не останется. Это верно. Решаю экономить. Через некоторое время прибегает начальник артиллерии: «Почему прекратили артподготовку? Немедленно — огонь!» Ну ясно: он отвечает за артиллерийское обеспечение, а тот берег его пока мало волнует. Так было две или три ночи. Постреляем немного, а потом передовые роты на плотах и лодках отплывают от берега, чтоб захватить плацдарм, и больше не возвращаются. Разве что прибредет откуда-то снизу по течению случайно выплывший солдат и дрожа расскажет, как их встретили немцы.

Так продолжалось до того дня, пока на Дунае не появились наши бронекатера с танковыми башнями на палубах, из которых торчали орудия. На некоторых были установлены «катюши». Мы погрузились на эти катера и под их прикрытием высадились, наконец, на противоположном берегу. С него и начали наступать в направлении озера Балатон. И тут напряжение стало нарастать, ожесточенные бои шли днем и ночью.

Помню, когда комбат отдавал приказ, мы всегда интересовались, кто перед нами: немцы или венгры? Если венгры, то знали: они долго сопротивляться не будут, нажмем — отойдут. Другое дело — немцы, те сколько хотели, столько и удерживали позиции. Легко сбить их было невозможно. А погода стояла мерзкая — стужа, дождь со снегом слякоть. Ну и местность... Сначала приходилось одолевать лесистые холмы, потом — болотистые поймы, мелиорационные каналы. Окапываться там было негде, поле боя простреливалось насквозь.

В этой обстановке я со своим взводом опять попал в труднейшее положение. Поздно вечером под проливным дождем батальон занял крупное венгерское село. Промокшие и вконец утомленные солдаты пошли греться к венграм, начальство — вслед за ними. Спать в наступлении вообще не удавалось. Если представлялась редкая возможность, то минуты для сна урывали кто где мог. Особенно, если командиры хоть

ненадолго куда-нибудь исчезали. Мы закатили орудия в первый попавшийся двор и, зайдя в дом, тотчас вповалку улеглись. Я, показалось мне, едва успел закрыть глаза, а, проснувшись, вижу: светает. И слышу: за селом, в лесу, идет бой. Батальон, наверно, выдвинулся туда, а нас или не нашли, или в спешке просто забыли поднять. Ну, думаю, плохи мои дела... Потому что я со своими пушками должен быть там, в боевых порядках. А я проспал. И солдаты мои проспали. Мы мигом подхватились и рванули за пехотой, нахлестывая коней. Напрямик, через поле, под огнем. До леса — рысью. Командир батальона — ко мне, тычет пистолетом: за уклонение от боя... Показалось, он сейчас расстреляет меня: батальон залег, немцы бьют разрывными, их скорострельные МГ секут так, что головы не поднять. Но помалу остыл и приказывает: «Сбить пулеметы! Даю двадцать минут!» Мы устанавливаем пушки, и тут выясняется: нет снарядов. Чтобы они были всегда под руками, мы обычно выкладывали снаряды на станины. Но, когда гнали коней через поле, растеряли все до одного.

Пулеметы режут очередями — аж ветки сыпятся. Комбат кричит: «Быков, огонь!» А чем стрелять? Это было ужасно, и я хотел, чтоб меня поскорее убило. Но всё же решил: надо действовать. И послал солдат с передком на поле, через которое мы мчались. Нашли они в чернобыльнике немного снарядов, привезли на позицию, и мы открыли огонь. Не знаю, много ли потеряли немцы от него, а вот они исколошматили нашу пехоту основательно. Под вечер сами отошли.

Как я уже говорил, вторая пушка во взводе была без прицела. А без него какая уж стрельба? Таким образом, кроме бесполезной сорокапятки, я имел небольшой резерв: шестеро солдат и пара лошадей. Держал их в тылу — что им делать на передовой? А из исправной пушки стреляли опытные хлопцы Синцов и Пронин, командир и хороший наводчик. Старший сержант Закиров, спец по лошадям, был у нас кем-то вроде интенданта. Пока мы, мерзнущие и голодные, сидим под огнем или таскаем с позиции на позицию свое единственное орудие, он в ближайшем селе разворачивается вовсю. А когда бой к вечеру утихает и чуть темнеет, смотрим, Закиров с солдатом ползут к нам, притаскивают в

ведерке говядину или курятину, в вещмешке — хлеб, а в термосе или канистре — вино. Вот тогда и начинается у нас пир горой — между станинами, за орудийным щитом.

Мой рысак на другом берегу. Но хваткий Закиров и здесь расстарался — достал молодую кобылку, которая дважды спасла мне жизнь. Как-то раз, когда наступление несколько приостановилось, вызывает меня комбат. Еду. Вечер, туман, мелкий дождик сеется. Место незнакомое — мы только в конце дня оказались там. Но я почему-то считал, что КП совсем близко, где-то за пригорком. Вокруг тихо: никто не стреляет. Ехал я, ехал, а КП всё нет. Остановил кобылку. Вдруг слышу какие-то голоса, повернул на них — глядь, на краю виноградника кто-то землю роет. Подъехал поближе, прислушался — немцы! Повернул в другую сторону, пустил кобылку шагом и в конце концов увидел впереди дорогу. Присмотрелся: по ней едут немецкие машины...

Автомата у меня не было, только пистолет. ППШ с его неудобным круглым диском мне надоел еще в пехоте. Хотелось иметь оружие получше и полегче. Немецкий «шмайсер», к примеру. Да к нему нужны патроны, а их не всегда достанешь. Но в этом случае и ППШ бы пригодился: ведь я вместо командного пункта заехал прямо к немцам. Как тут быть? Чувствую, кобылка моя упрямо тянет куда-то в сторону, и я решил: может, сама вывезет? Отпустил поводья, она и пошла. Резво так пошла. Через холмик перевалила, после — подлеском и — в лощинку. Смотрю: там пасутся кони нашего комендантского взвода. А неподалеку и КП, и командир батальона.

Во второй раз я тоже остался жив благодаря ей. Пехота наша взяла большое мадьярское село, может, даже городок. Мы спешим на окраину, где идет бой, а тут появляются два майора и командуют: «Срочно направо! Там танки! Надо остановить!» Скачу направо. А танки уже на улице. И на повороте (*улица изгибалась буквой Г*) пулеметная очередь из танка стебанула по моей кобылке. Только клочья полетели и забрызгали меня кровью. Но, падая, она сбросила меня в огород. Когда через день солдаты сняли седло, оно во многих местах было пробито пулями. А я выполз через огород и был

рад, что расчет с пушкой свернул на другую улицу и не поспел за мною... Больше на конях я не ездил. Наступление наше замедлилось, огонь противника стал плотнее, и передвигались мы теперь в основном по-пластунски. На полях, куда ни кинь, каналы, канавы, а бои жесточайшие, круглые сутки. В них выматывались так, что даже есть не хотелось: только бы упасть и полежать хоть немного. А как упадешь? Нужно окапываться. Но сделать этого нет никакой возможности: копнешь лопатой на штык — вода. Ложишься прямо в грязь и лежишь под огнем — нарываться на пулю никому ведь не хочется. Да тут еще непогодь сплошная — каждый день дождь, всё развезло. Да и холод пробирает. Разве что когда танки прут, горячо становится, прошибает пот.

В те дни ввалились мы как-то в барак, где жили батраки, работавшие в графском имении. Граф, понятно, сбежал, а эти мужики остались. Они, хорошо встретив нас, угощали вином, рассказывали о своей жизни. Наши внимательно слушали их, интересовались, сколько чего получали, — денег, хлеба, вина. Ну, конечно, и те спросили: а как жизнь в ваших колхозах? И тогда кто-то из солдат, помолчав, начал брехать — и про деньги, и про хлеб. Старался, чтоб выходило побольше, чем у венгров. Остальные угрюмо молчали.

Помню, немцы контратаковали. Они вытеснили из фольварка, в котором мы находились, и пехоту, и нас. Но мои ребята сумели всё-таки подбить один танк. Этот факт, как всегда в таких случаях, должен был письменно подтвердить командир стрелкового батальона. Вокруг по-прежнему рвались снаряды, шел бой, и я решил: доживем до вечера, тогда всё и оформим. Но под вечер налетели «мессершмитты» с включенными ревунами, стали пикировать, бомбить. И стрелки не выдержали. Мы драпанули вслед за ними вместе со своей сорокапяткой. Но вскоре уперлись в канал. Канал был не очень широкий, пехота довольно легко перебралась через него, заняла оборону на лесной опушке. А мы перебраться не смогли. Поставили орудие на бровку: лежим, ждем. Если танки двинут сюда — нам хана. Не двинули... Лишь один из них ударил болванкой в бровку, да так, что всего меня окатило грязью. Ночью танки куда-то исчезли. Пехота опять пере-

секла канал и вернулась на прежние позиции. Утром, получая от комбата очередную задачу, я между прочим сказал и о подбитом нами танке. Он рассмеялся: «Ха! Сегодня мне уже третий об этом докладывает. А я еще вчера своим минометчикам бумагу подписал...» Во взводе остались недовольны мною — прозевал командир, награды другим достанутся, тем, у которых начальство половчее и поразворотливее. Что ж, правильно! Я понял: надо уметь не только подбивать танки, но и вовремя подписывать документы. Последнее, может быть, даже важнее. И не только на войне.

Тем временем погода резко изменилась — за ночь подморозило. Воспользовавшись этим, пехота всё-таки отбила фольварк и продолжала движение по обе стороны проселка, обсаженного деревьями и кустами. Откуда ни возьмись, снова танки. Пулеметными очередями они заставили стрелков залечь прямо в поле. Надо было немедленно окапываться. Но как это сделаешь? Лопатки не берут мерзлую землю. Так и лежали под огнем, даже не стреляя. (*Это в кино эффектно показывают, как солдаты с гранатами в руках ползут под танки, взрывают их. В действительности так не бывает.*) В том бою, к примеру, танки приблизились метров на 400 и остановились. Цепь перед ними — как на ладони. Вот они и начали: снаряд за снарядом — чуть ни в каждого бойца. Выбивают батальон. Я приказал развернуть сорокапятку у обочины. Хоть мы и в боевых порядках стрелков, даже на полсотни метров впереди /просто не успели отойти вместе с пехотой/, но стрелять всё равно далековато. А надо! Из танков нас пока не видно: придорожные кусты маскируют. Мой наводчик открывает огонь. Я лежу немного в стороне от сорокапятки. Это нужно для того, чтобы лучше корректировать стрельбу. После каждого выстрела поднимается туча дыма, и тогда не разглядишь, куда попал снаряд. Со стороны видней. Смотрю, выстрел — и мимо. Еще один — тоже мимо. Третий... Попадание!

Бронебойный снаряд, трассу которого можно было проследить, ударился о броню и рикошетом ушел в небо. Ударить бы в борт или в гусеницу! Но дистанция почти полкилометра. Тут бы хоть в танк попасть! Не помню, сколько мы

сделали выстрелов (*где в такой горячке сосчитаешь*), но нас заметили. Когда я в очередной раз махнул рукой, командуя «огонь!», неподалеку разорвался первый снаряд, выпущенный из танка. И мне в руку — осколок, узкий и острый. Он застрял между фалангами пальцев, полилась кровь. (*Даже в санчасти врачу не удалось выдернуть его, это сделали лишь в госпитале.*)

Я стал перевязывать рану и несколько ослабил внимание к танкам. А они между тем пришли в движение. Необходимо было довернуть орудие, нацелив его на танк, который нас обстрелял. Довернули. Но теперь стрелять мешал большой куст. Кто-то должен был его срубить, выдвинувшись на открытое место без всякого прикрытия. Кого послать? Решение нужно было принимать быстро, и я его принял... Оно, может быть, до сих пор на моей совести. Потому что послал я того, кто совершил проступок, из-за которого незадолго перед этим чуть не застрелил его. Ночью этот солдат то ли по небрежности, то ли из озорства пальнул в немецкую колонну и обнаружил нашу позицию, всех нас. К счастью, тогда всё обошлось, немцев не привлек случайный выстрел. А ведь могло быть совсем иначе...

Словом, я без колебаний скомандовал: «Лазук (*фамилия изменена*) — вперед! Руби куст!» Он не сразу и не очень торопясь пополз за топором, а затем — к кусту. Едва сделал несколько ударов, лежа на боку, как разорвался еще один снаряд, и Лазук был убит. Немцы, видно, пристрелялись и следующий снаряд всадили под самый ствол...

Я уже путаю... Их было двое, молоденьких, очень похожих друг на друга, — Синцов и Пронин. Оба младшие сержанты. Забыл уже, кто командовал орудием, кто наводил. Наводчика сразу — насмерть, командира ранило в плечо и еще куда-то. Не задело лишь заряжающего. А сорокапятка наша перевернулась и свалилась в воронку. Все мы, раненые, поползли по канаве и, стараясь держаться за кустами, рванули к своему передку с лошадьми. А после — в тыл, в санчасть. На следующий день нас на машине отвезли в госпиталь в Сексарде, городок в 60 километрах от передовой, который мы брали месяц назад.

**Госпиталь размещался** в тамошней гостинице, в самом центре городка. Кажется, это было двух- или трехэтажное здание.

Номера, как обычно в таких гостиницах, — маленькие и тесные. Здесь снова, как и в первом моем госпитале, на каждой кровати лежало по два-три человека. И в солдатских палатах, и в офицерских. На этот раз моим напарником оказался командир стрелковой роты, раненный в лицо. На белый свет смотрел он только одним глазом, кормили его с ложечки, осторожно раздвигая губы.

Нужно сказать, что здесь было иное госпитальное житье, чем на Украине. Главное, что ноги у меня были целы, и я мог выходить в город. В городе привлекала интересная, непривычная для нас жизнь. По вечерам работал ресторанчик, где расторопные, цыганского вида официанты приносили вино — за деньги и просто так, за обещание заплатить завтра. Повсюду на стенах висели отпечатанные на розовой бумаге призывы вступать в венгерскую компартию. За городской окраиной, в виноградниках, можно было без труда найти винные погреба, которые, конечно же, разграбили освободители. Оттуда по канавам несколько дней текла драгоценная жидкость, похожая на кровь. Мы, ходячие раненые, наливали ее в бутылки и канистры, несли в госпиталь, чтобы угостить тех, кто не мог двигаться. Но у входа стоял замполит, отбирал у нас переполненные емкости и отправлял их в столовую, где за обедом давали по стакану. Норма была смешной, и мы всегда находили возможность многократно перекрывать ее.

Хорошо жилось в госпитале! Но, как всё хорошее, такая жизнь скоро кончилась. Под новый год немцы прорвали фронт, и их танковый авангард вышел на окраину города. Нас, ходячих, отправили пешком на переправу.

Была завируха, густыми хлопьями валил снег. Я вместе с двумя лейтенантами и госпитальной сестричкой Галей отмахали за ночь немало километров и оказались на берегу Дуная, в городке Байя. Но на переправу нас не пустил заградотряд. Прежде всего потому, что мы были без оружия. Тамошние начальники решили, что перед ними или дезерти-

ры, или те, кто собирается сдаться в плен. А откуда могло быть оружие? Свой штатный ТТ я после ранения оставил в полку, а добытый в боях «вальтер» отобрали в госпитале — с пистолетом находиться в нем не положено. От ареста нас избавила Галя, объявив, что сопровождает раненых. А через Дунай мы переправились несколько ниже — перешли по льду, стараясь не попасть в открывшиеся полыньи. Мокрые и бесконечно уставшие мы рухнули на кровать в каком-то доме и так втроем проспали до утра. Утром уже были в госпитале. Там из моей раны извлекли, наконец, осколок, но остался крохотный кусочек. Ношу его до сих пор. Как память.

В этом тыловом госпитале в Сегеде я пробыл недолго — выписался уже в конце месяца. На попутных машинах добрался до отдела кадров армии, где получил направление в армейскую противотанковую бригаду (*ИПТАБР*). Это было для меня чем-то вроде повышения. После моих сорокапяток 76-миллиметровые пушки, поступившие на вооружение бригады, показались мне исполинами, против которых не устоит никакая броня. В Дунапатай, где формировалась бригада, я шел с двумя лейтенантами — Ивановым и Рыжковым. Окончив училище до войны, они должны были служить в корпусной артиллерии и очень огорчались, что попали в противотанковую, где «ствол длинный, а жизнь короткая».

Но моих спутников послали туда после штурмового батальона, в котором они отвоевали свой срок, так как были окруженцами и до освобождения кантовались в Одессе. Топая со мной, лейтенанты угрюмо молчали, а я радовался, потому что вырвался, наконец, из мученицы-пехоты.

В феврале наш полк (*ИПТАП*) своим ходом выехал на фронт и занял позиции позади стрелковых частей. То был противотанковый оборонительный район (*ПТОР*), находившийся на направлении вероятного прорыва немецких танков. Эту вероятность кто-то определил с дьявольской точностью, ибо вскоре немцы действительно нанесли удар и разгромили нас за одно утро. От полка ничего не осталось: ни пушек, ни тягачей-«студебекеров». За три месяца до окончания войны противник сумел собрать мощный бронированный кулак. Каким образом даже в то время у него еще было

так много танков, можно прочесть в недавно переведенной книге воспоминаний Альберта Шпеера, рейхсминистра, занимавшегося в гитлеровской Германии вооружениями. В ней он рассказывает, как перестраивал немецкую промышленность на военный лад, в том числе на выпуск танков, самолетов, других видов техники и вооружения, в которых вермахт не испытывал недостатка вплоть до последних дней войны.

Что касается обстановки, сложившейся в Венгрии, то немцы всю зиму громили там два Украинских фронта — Малиновского и Толбухина. О поражениях и потерях, которые понесли они, в Союзе никто не знал, их замалчивали в сводках и в средствах массовой информации. Только из опубликованных впоследствии мемуаров маршала Малиновского стало известно, в каком катастрофическом положении очутились наши войска в Венгрии. Немцы разгромили несколько армий (*особенно досталось 3-му Украинскому фронту маршала Толбухина*), вышли к Дунаю. Судя по всему, Сталин не знал, как изменить создавшееся положение, и, по свидетельству Малиновского, дал право ему и Толбухину решить самим: оставлять ли фронт (*точнее — оба фронта*) на правом берегу или отвести на левый. В последнем случае возникала необходимость переправить огромное количество войск, техники, тыловых частей и подразделений. А воспользоваться для этого можно было лишь двумя понтонными переправами. И всё-таки оба командующих приняли решение отводить фронты за Дунай, чтобы сохранить значительную часть живой силы и техники. Но в это время на Дунае пошел лед и снес обе переправы. Таким образом, войска должны были спасать самих себя. Много там полегло народу... Среди других погибла и почти вся моя прежняя дивизия. На встречах фронтовиков я всякий раз допытывался: есть ли кто-нибудь из 924-го полка? Из рот и батарей — никого. Только несколько тыловиков, военврач, да те, кто, как я, выбыл в декабре по ранению.

Воюя в истребительном противотанковом полку, я скоро узнал, что наши 76-миллиметровые пушки не очень пригодны для борьбы с танками. Назначение у этих орудий дру-

гое. Их просто использовали в ИПТАПах, ибо других не было. Дистанция прямого выстрела у 76-миллиметровки невелика, как и пробивная сила снаряда. А прицел даже хуже, чем у сорокапятки. Вообще разговор о качестве оружия возникал среди фронтовиков довольно часто — и в госпиталях, и в минуты недолгого затишья. Злободневная тема! Всё сводилось к одному: какая дрянь наши автоматы, пулеметы, орудия и танки. Но на политзанятиях сказать об этом не решался никто. Так как во всех газетах можно было прочесть: наше оружие, наша техника лучше немецких. У них там всё искусственное, сплошные эрзацы — и хлеб, и мыло, и кофе. Да еще войска снабжают невыносимо вонючим порошком — дустом, которым пересыпают всё в блиндажах. Выходило, что куда удобнее по нашему примеру жарить вшей в бочках, чем пользоваться им. Иногда нам читали приказы, в которых объявлялись приговоры офицерам, позволившим себе похвалить немецкое оружие, тем более — тактику. Ибо она, как не раз слышали мы, была у нас тоже лучшей. Только некоторые при этом криво усмехались, но помалкивали.

**Снова противотанковый** оборонительный район. Снова мы на танкоопасном направлении, на прямой наводке. До переднего края недалеко — каких-нибудь два километра. Стоим здесь почти неделю. Вокруг вроде всё спокойно, разве что донимает немецкая авиация. Но где она не донимает? Через дорогу от нашей огневой — позиции моего друга лейтенанта Бережного. Он очень любит книги и, когда выпадает время, всегда читает. Я тоже люблю читать. Как-то выпросил у него «Сестру Керри» Драйзера, но только начал, а уже вечером Бережной пришел за книгой, — видно, очень дорожил ею. Но я сказал, что скоро верну, и он оставил ее у меня.

А утром просыпаюсь в землянке (*а земляночки у нас были сопливенькие, построенные на скорую руку*) и в первый момент никак не могу понять, что происходит. Снаружи — оглушительный рев, дым, огонь. Выскакиваю — и ничего не вижу: дым ест глаза. С неба что-то падает и отчаянно воет. Похоже, сирены. Оказывается, это пикировали «мессершмит-

ты» со включенными ревунами. Они обстреляли нашу позицию и подожгли ящик с ракетами, которые мы возили с собой на случай, если придется стрелять ночью. Ракеты горят и взрываются — осветительные, сигнальные, букетные. Они рассыпают цветастые искры, слепят. Осколков нет, но всё же... Рев с неба то обрывается, то возникает вновь. Едва один «мессер» выходит из пике, как сверху обрушивается другой и лупит из пулеметов. Не помню уж, улетели они или еще пикировали, но мы начали тушить пожар. И тут услышали, что на нас надвигается нечто куда более страшное. Земля дрожит, а в ушах — знакомый гул и лязг. Когда ветер отнес дым от горящих ракет, я взглянул на дорогу, что была рядом. А надо сказать, мы заняли позиции таким образом: две батареи — с одной стороны, три — с другой. Это называлось «оседлать дорогу». Так вот, вижу, по ту сторону, за посадкой, движется стадо танков.

Показалось именно стадо. Никакого боевого порядка. Гурт. Идут, как коровы на водопой. Только передние стреляют из пушек. Вот так, не останавливаясь, истоптали они половину позиций нашего полка, всё смяли — и орудия, и машины, и людей. Будто их и не было. Подбегает ко мне комбат, старший лейтенант Ахрин (*живет в Николаеве, мы изредка переписываемся*), — кричит: «Вытаскивай пушки! Подгоняй машины! Мотаем отсюда!» Подогнали «студеры», вытащили окопанные орудия и — мотаем. Командир полка приказывает по рации: выдвинуться наперерез танкам. А мы попали в заболоченные кусты, машины грузнут, выдираемся с трудом. Дальше жмем по крутым скатам, через заросли дубняка. Позиции занять опоздали, и немецкие танки накрыли нас огнем как раз на полевом косогоре, который легко простреливался из захваченного ими села. У нас было машин двадцать, пушек меньше — две батареи. И мы решили прорываться по одному. «Студер» разгоняется и на предельной скорости мчит по косогору. А из танков пуляют по нему. Один проскочит, другого подобьют. Я — проскочил. Других подбили и сожгли...

Через день выяснилось, что в полку одна моя пушка со «студером», радиостанция и штабная машина. Остальные из

тех, кто уцелел, избрали другие направления, потому что всем вместе выбраться было невозможно. С нами командир полка полковник Парамонов, штаб, несколько тыловиков и автоматчиков. Переночевать решили в венгерском фольварке — большой дом под черепицей, конюшни, коровники. На некотором расстоянии — магистральный канал, через который наведена понтонная переправа. Но воспользоваться ею мы не можем, она уже захвачена немцами. В конце двора поставили замаскированное кустами орудие. Перед ним — широкий ров, а за рвом — дорога на переправу. По ней с утра хлынул поток немецких танков. От гула моторов и лязга гусениц даже вблизи ничего не слышно.

Прибегает ко мне парторг, передает приказ командира полка: открыть огонь. Ну что ж, огонь, так огонь. Но долго ли тут постреляешь? Наводчик прицелился и выстрелил. Снаряд пошел высоко в небо. В чем дело? Приказываю наводчику, чтоб уточнил на панораме прицел. Новый выстрел. Жду: какой-нибудь танк остановится, вспыхнет. Да где там! Снаряд ударил в землю. Совсем близко. Бросаюсь к орудию. Там есть такой механизм — параллелограмм с тягой, которая соединяет панораму со стволом. По идее — куда ствол, туда и прицел. Но пока мы таскали пушку по лесам и холмам, соединение нарушилось, и теперь панорама и ствол были не параллельны. Требовался ремонт...

Сказал об этом парторгу, тот побежал докладывать командиру полка. Разумный человек был полковник Парамонов: он только выругался и махнул рукой. Что можно было сделать в такой обстановке? И кто виноват?.. Пока мы суетились, танки не только достигли переправы, но и пошли дальше. А тем временем с высот, что были за каналом, нас несколько раз накрыли наши же тяжелые минометы. Видят, должно быть, минометчики: мечется кто-то внизу, а кто — непонятно. Вот и бьют, аж черепица с крыш слетает. Тут командир полка зовет меня и, поскольку я проштрафился, приказывает перебраться через канал и наладить связь с минометчиками. Со мною на задание отправляет пять артиллеристов, каких-то случайно подвернувшихся саперов и стрелков и старшину батареи Жарова. Всего человек две-

надцать. Пригнувшись, мы побежали по полю. Но рывок наш продолжался недолго: из-за канала снова полетели мины и заставили нас залечь. Двух поранило, кого-то убило, старшине осколок попал в ягодицу. Что делать? Ведь до канала еще идти и идти... Минометчики, наверное, приняли нас за немцев, ну и дали жару. И тогда я понял: не доберемся, надо возвращаться. Мы забрали с собою раненых и под огнем вернулись в фольварк. Командир полка даже ругаться не стал — сам всё видел.

В фольварке просидели до ночи. А когда стемнело, решили прорываться. Послали лейтенанта Бормотова (*ныне полковник, живет в Кривом Роге*) разведать переправу — уцелела ли она, или минометчики ее разбили? С его слов узнали: переправа цела, но ее усиленно охраняют (*рядом стоят два бронетранспортера*), подъезды с обеих сторон перегорожены шлагбаумами. Прикинули: у нас одно орудие, машина с радиостанцией и еще пять автомашин. Идем на прорыв! Первым пустили мой «студебекер». Задача — сбить шлагбаум и проскочить на другой берег канала. Но на том берегу грохочет бой — немцы, видимо, успели захватить плацдарм. Всё равно! Мы с комбатом стоим на подножках по обе стороны кабины, в кузове солдаты с оружием наизготовку. В полутьме подъехали к шлагбауму, навстречу выбежал немец с красным кружком, сверкнул фонариком, что-то крикнул... В ту же минуту наш мощный «студер» рванулся вперед и так двинул по шлагбауму, что тот мигом отлетел. В следующее мгновенье мы были уже на мосту. Через него — на тот берег. Там, за каменным домом — поворот на улицу. И по ней — на полную железку. Остальные — за нами. Хоть и с некоторым запозданием, на берегу началась беспорядочная стрельба. Но мы всё-таки проскочили. Немцам удалось подбить только замыкающую машину. Сразу за селением пришлось задержаться: нас обстреляли уже свои, ранили двух солдат и пробили колеса моего «студера».

Едва въехали в расположение наших войск, как получили приказ занять оборону между высотами. Вместе с пехотой мы целую неделю участвовали в боях за эти высоты. Но вражеские танкисты больше не атаковали. Надо думать, свою

задачу они выполнили и были переброшены на другой участок. А здесь немецкая и наша пехота колошматили друг друга, высоты несколько раз переходили из рук в руки. Я со своим орудием находился под одной из высот, и это, может быть, спасло и меня, и моих солдат. Потому что тех, кто занимал позиции за нами, немцы накрывали своим огнем, а нас, находившихся у них под носом, не замечали. В тех боях погибли подполковник Овчаров, капитан Ковалев, два взводных, много солдат. Был момент, когда пехота побежала, оставив без прикрытия мой взвод и орудие, которое мы никак не могли выкатить из артиллерийского окопа. На наше счастье налетел туман и прикрыл нас словно дымзавесой... А вообще-то прикрытием была самоходка, которая сгорела еще в первый день. Она закрывала собою нашу позицию со стороны канала, откуда стреляли немцы. Впрочем, опасаться надо было не только их. Нас нередко по ошибке бомбили «кукурузники» — самолеты женского авиаполка. Каждую ночь развешивали они в небе фонари-ракеты и начинали сбрасывать бомбы. Хорошо, что хоть делали это не прицельно — просто разгружались... А в перерывах между бомбежками приходил замполит майор Цквитария, он читал и разъяснял нам приказы Верховного главнокомандующего, призывы Военного совета, которые сводились к одному: ни шагу назад! Когда налетали самолеты, майор тотчас бросался к щели. Но был толст и неповоротлив, в узком укрытии вместе со всеми не умещался. И тогда он поднимал голос: «Я — замэстытель командыра полка, прыказываю асвабадыт места!..»

Не раз слышали мы и немецкие «звуковки». Запустив для начала «Стеньку Разина» или «Ямщика», они затем выливали на нас потоки власовской пропаганды, упрямо талдыча о том, что под руководством Гитлера начинается перелом в ходе войны, что не сегодня-завтра мы будем здесь окончательно разбиты, и поэтому нужно спасать свои жизни, а не умирать за Сталина и его жидов-комиссаров. Но пропаганда эта уже ни на кого не действовала: мы прекрасно понимали, что время Гитлера истекает.

А между тем бои продолжались. И в них мы участвовали, получив на вооружение новенькие 57-миллиметровки.

Это были настоящие противотанковые орудия с длинным стволом и снарядом, обладавшим большой пробивной силой. Они нам сразу понравились. Я сам пристрелял каждое, применив собственный способ — с помощью бинокля. Меткость стрельбы из них была очень высокая. Мы лишь жалели, что на фронт эти орудия попали так поздно. Но всё равно пригодились. Послужили замечательно, как за всю войну не служили орудия других систем.

16 марта, взорвав переправу под Шаманторнией, о которой я говорил, немцы начали отходить. Наши войска перешли в наступление. Наступали мы в тех же местах, где месяц назад держали оборону и где немецкие танки разгромили наш полк.

Когда проезжали мимо моей огневой, той, на которой горели и взрывались ракеты, притормозили, и командир полка приказал повернуть туда, где были позиции наших смятых и расстрелянных немцами батарей, чтобы забрать уцелевшие, быть может, снаряды. Мы отцепили орудие и на «студебекере» поехали в поле, начинавшееся от самой дороги. На подножку моей машины решительно вскочил капитан-смершевец, и я с некоторой тревогой подумал: зачем?

Позиции взвода лейтенанта Бережного были крайними. Мы сразу увидели его разбитую пушку, развороченное гусеницами укрытие, несколько трупов солдат и его самого, лежащего на бровке с раскинутыми руками. Ни ремня, ни пистолета у него уже не было, кто-то отвинтил и орден Красного Знамени. Залитая кровью гимнастерка побурела и засохла. Ящики со снарядами лежали нетронутыми, но вот пушка... Пушка была цела, только ствол лепестками разошелся в стороны. Значит, взорвали... Это было очень плохо. Смотрю, подходит капитан. Постучал прутиком по изуродованному стволу и говорит, глядя нам в глаза: «Черт возьми, это же надо было так попасть. В самый ствол!» Говорит громко, чтобы все слышали — и солдаты, и я. Взглянул на него и немного удивился: что это он? Разве не видит? А чуть позже сообразил: он нарочно. Потому что сам был артиллеристом (*во всяком случае наши эмблемы носил*) и знал, что к чему. Конечно, взорвал орудие не Бережной, он был уже убит. Значит, сде-

лал это кто-то из оставшихся в живых. Но всё равно — подсудное, трибунальное дело, и смершевец мог запросто его раскрутить. А он дал нам понять: считайте пушку разбитой снарядом, больше разговоров об этом не было. Мы погрузили несколько ящиков со снарядами в кузов «студера». А убитых должны были похоронить тыловики. Мы торопились: шло наступление, немцы отступали.

Всю ночь куда-то ехали по мокрым и грязным проселкам и напрямик — по бездорожью. Перед рассветом сделали остановку на краю неразрушенного села и поставили орудия по обе стороны высившейся там скирды. Неподалеку слышалось какое-то движение — урчали моторы, что-то гудело и ухало, временами звучали приглушенные голоса. Это двигались немецкие колонны. Они прорывались из Будапешта на запад.

Рассмотреть их мы сумели, когда стало светать. То был сплошной поток автомашин, танков, обозов. Цели были близко, и мы открыли огонь. Стреляли наверняка. Мой наводчик Расцелуев, обладавший острым глазом, взял на прицел танки, которые успели сделать несколько выстрелов по нашим позициям, и поджег один из них. Колонна остановилась, задние начали напирать на передних, а передние горели. Пехота в панике бросилась в поле, и мы расстреливали ее осколочными. Лишь немногие машины сумели прорваться. А те пехотинцы, которые остались живы, просто разбежались. Когда разгром завершился, мы пошли посмотреть на то, что сделали. Честно говоря, смотреть было жутко... Ничего подобного я не видел с весны сорок четвертого, когда на дороге под Уманью наши танкисты смяли немецкую штабную колонну.

Это был едва ли не последний бой на венгерской земле, которую за осень, зиму и весну мы щедро полили своею кровью...

До австрийской границы двигались без особых трудностей, случались лишь небольшие стычки. А вот на самой границе немцы попытались закрепиться. Широченную долину в предгорьях Альп перекрыли огнем. Танки издалека обстреливали единственную дорогу, проходившую по склону. Дви-

жение застопорилось. Но очень скоро появился какой-то важный чин в комбинезоне и генеральской фуражке и — надо же — наскочил прямо на нашу батарею: «А вы чего здесь торчите? А ну вперед!» — и погнал нас вниз по склону. «Студебекеры» с орудиями кое-как проскочили, и мы стали быстро окапываться. Другим, которые ехали за нами, спуститься не удалось — им преградил дорогу плотный огонь, и несколько машин загорелось. О том, что мы теперь на виду у своих и в опасной близости от немцев, поначалу как-то не подумали. На войне ведь как бывает? Частей много, взаимодействие и связь между ними налажены не всегда. Наши в полку, скажем, знают, где находятся и действуют свои, а другие могут и не знать. Это мы испытали на себе. Минометчики, которых горластый генерал тоже заставил немедленно действовать, начали стрелять. Увы, по нашей батарее. То с перелетом, то с недолетом. Они, вероятно, накрыли бы нас (*мы успели отрыть ровик всего по колено*), если бы на небе не показалась весенняя туча и не хлынул ливень. Впрочем, в войну, когда начиналась артиллерийская стрельба или били тяжелые минометы, с неба почти всегда лил дождь. Иногда он и не переставал, потому что не прерывался артогонь. Как только зашелестели первые струи, я выскочил из ровика. Командую: «Айда за машиной и быстрей отсюда!» Но куда? Впереди же немцы. А хоть к черту в зубы!.. Немного отъехали, остановились в кустах, от которых к немцам было ближе, чем к своим, и благодаря этому уцелели. Рядом с противником оказалось спокойнее.

**В дальнейшем,** когда к переднему краю подтянули больше войск, началось планомерное наступление, завязались новые бои. Гремели они уже в горах, где воевать порою очень нелегко. Но боевой дух был высок. Все чувствовали: война скоро кончится. Помню, долго никак не могли взять одну деревню. На помощь нам с другого участка перебросили самоходный полк. Самоходки эти, которые были вооружены 76-миллиметровыми орудиями, на войне называли «прощай, родина!». Как сейчас вижу: движутся они мимо нас. У одной

сзади (*задняя часть у них была открытой*) стоит бравый усатый командир в танковом шлеме и бросает нам: «Вперед, пушкари! Хватит землю пахать!» Что ж, давай вперед, ежели ты такой прыткий!.. Деревню взяли, пехота продолжала преследовать противника, мы — за нею. Возле мостика увидели обгоревшую самоходку, с нее на гусеницу свисал человек в танкистском шлеме. По недогоревшим усам я узнал того оптимиста...

Сколько их было таких случаев на войне — и трагических, и комичных! Разве всё упомнишь? Как я уже говорил, в Румынии ко мне привязалась малярия. Довольно противная болезнь, хотя и не требующая госпитального лечения. Зимой она дала мне передышку, а весной снова замучила. Приступы повторялись то определенное время, скажем, под вечер, то когда на глаза мне попадалась вода. Хоть вдалеке, хоть вблизи. Неожиданно вздрагиваю и начинается лихорадка на несколько часов. Однажды мы занимали позицию на прямой наводке. Место было открытое, лишь невдалеке от огневой торчали деревца и небольшие кустики. Стрелять не стреляли, но, поскольку немцы находились сравнительно близко, были настороже. Вдруг меня затрясло, и я отошел к редким деревцам. Стояла теплая погода. Но всё тело мое пробирал озноб. Один из солдат навалил на меня трофейные ковры и немецкие шинели, чтоб хоть немного согрелся. Едва трясти стало меньше, я крепко уснул. А проснувшись, удивился: почему так тихо вокруг? Высунул голову из-под ковров и шинелей — темно. А где же пушка? На огневой ее нет. Да и никого из наших. Но кто-то стоит (*кто — не разберешь*) и смотрит не в сторону противника, как обычно смотрят фронтовики, а назад, к нам в тыл. Я пригляделся, прислушался... Да это ж немцы! Испугался, конечно. В пехоте таких негероических случаев хватало. Но про это мало написано. Потому что из пехоты, кроме В. Кондратьева, в литературу никто больше, кажется, не пришел. Повыбило всех. Всё лучшее, что написано о войне, принадлежит артиллеристам. Наверно по традиции, идущей от Л. Толстого. А со мной, как выяснилось потом, дело было просто. Пока я дрожал под нава-

ленным на меня трофейным барахлом, наши драпанули, пушку комбат приказал оттянуть ниже, в деревню. Того солдата, который помогал мне согреться, послали за машиной, а другим было не до взводного, да они и не знали, где я. И вот, вижу, — чужаки: на одном каска, на другом — шапка с козырьком... Я от них сначала по-пластунски, а потом уж дал дёру. Нахожу своих, комбат спрашивает: где был? У немцев, говорю. Посмеялись...

Шел всё-таки сорок пятый. До победы оставался всего месяц. А случись это раньше на год, даже на полгода, было бы не до смеха. Вспомнилась история, которая произошла с нашим командиром взвода управления. В Венгрии во время сильной бомбежки лейтенант этот, раненный в ногу, дополз до крестьянского подворья и влез в погреб. Вслед за ним туда заполз кто-то еще, тоже раненый. Вскоре бомбежка кончается, затихает бой. Они лежат вдвоем, не видя друг друга в темноте, и не могут определить, кто рядом — свой или чужой? Потому молчат. И главное, не знают: в чьих руках село, за которое шел бой. Ни один не хочет открыться первым. Так прошла ночь. Когда рассвело, лейтенант разглядел, что перед ним немец, капитан медицинской службы. Да и тот увидел, кто перед ним. Но за пистолеты не схватились: ведь кто там, наверху, неведомо. Первым не выдержал немец — кое-как выбрался. А лейтенант не смог. Лежит и ждет: вот придут немцы, возьмут в плен или пристрелят. И они действительно пришли, на ломаном русском языке объяснили, что стрелять не будут, а окажут медицинскую помощь. Вытащили лейтенанта наружу, принесли в полевой лазарет, где тот самый немецкий медик, что сидел с лейтенантом в погребе, перевязал ему ногу и спросил, что он хочет — вернуться к своим или остаться в плену? Наш, разумеется, захотел к своим. Тогда на следующую ночь два немца положили его на палатку и подтащили к нашему переднему краю. Через полчаса он свалился в один из окопов. Ну, отвезли в санбат, лежит там лейтенант, его перевязывают, лечат, а он по ночам рассказывает соседу, что с ним приключилось. Вскоре в санбате появляется незнакомый офицер и говорит, что-

бы этого «ранбольного» срочно подготовили к эвакуации. Одного. Больше в полку его никто не видел. И даже слухов никаких о нем не дошло.

Впоследствии этот случай я использовал в рассказе «Одна ночь». Хотя там другой фон да и время другое, но общество наше и, прежде всего, наша редактура не были готовы к восприятию произведений такого рода — на темы, от которых шел неприемлемый для них «дух пацифизма». Тогдашний редактор «Полымя» Максим Танк отказался публиковать рассказ по причине, как он писал, «невыразительности идеи». Но, мне думается, она была выражена достаточно четко, как четки и выразительны были партийные установки относительно ее.

Ох, уж это партийно-кагэбэвское отношение к тому, что и как писать!

Напряжение боев в то время несколько ослабело, немцы не слишком упорно оборонялись, да и мы не очень лезли. Пехота шастала по домам и дворам. Срочно потребовались трофеи: с самого верха пришло разрешение посылать посылки на родину. Потому и шарили в оставленных жителями домах, открывали шкафы и комоды, хватали одежду и обувь. А заодно и продукты, хотя с продуктами в Австрии было совсем не так, как в Венгрии, — австрийцам их выдавали по карточкам. Дисциплина в войсках явно расшаталась, солдаты нередко куда-то исчезали по собственным делам. Ну и пили много. Командир третьей батареи капитан Кохан, основательно набравшийся у соседей, ночью возвращался на свой НП, и часовой в темноте застрелил его. А ведь до победы оставались считанные дни... Похоронили в Восточной Австрии.

В ходе наступления мы добрались до небольшого австрийского городка. Ночь выдалась спокойной. А утром городок заняла пехота. За нешироким рвом я увидел монастырь и через распахнутые настежь ворота вошел туда. Захотелось посмотреть: у нас же монастырей давно уже не существовало. Монастырь был пуст: монахи покинули его, а по коридорам бродили наши солдаты. На полу валялись богослужебные книги, какие-то вещи...

И тут вдруг началось: немецкие танки выкатились на окраину городка, турнули нашу пехоту. Когда все мы, кто был в монастыре, выбежали оттуда, то увидели, что она — врассыпную, а по ней из-за каменных стен и заборов бьют танковые пушки и пулеметы. С позиций, которые мы занимали, стрелять было невозможно — мешали придорожные кусты. Да и участок был не наш. Поэтому мои хлопцы, оставшись без прикрытия и не дождавшись меня, прицепили орудия к «студерам» и рванули на дорогу. Это было, наверное, наилучшее решение. Но почему побежала пехота? И где ее командиры? И куда делись наши славные политработники, которые вдохновляют бойцов на победу над злейшим врагом? Неужели тоже разбрелись смотреть местные достопримечательности? А?

Такие, или примерно такие, слова я выкрикивал на бегу в простреливаемом насквозь поле. Их мог слышать только капитан, оказавшийся в таком же положении и бежавший рядом со мною. Капитан этот был уполномоченным контрразведки СМЕРШ, с которым я уже встречался. Он тяжело дышал на бегу и — молчал. А меня прорвало от злости, так как наши шансы пересечь под огнем широкое проборонованное поле были невелики. Душила обида. Как? Из-за чьей-то трусости или беспечности погибнуть в самом конце войны? А может, из-за своей собственной?..

И всё-таки хорошо, что в критический момент меня не было на позиции (*потому что я вряд ли решился бы в той ситуации покинуть поле боя*), без меня мои ребята спасли пушки, а главное — спаслись сами... Ну, а нам с капитаном посчастливилось: добежали до случайного укрытия и остались в живых.

Танки дальше не пошли да и перенесли огонь. Мы потом разобрались, что к чему. Но еще долго я внимательно приглядывался, когда видел, что кто-то посторонний приближается к огневой: не тот ли капитан? Но он так и не появился. Может, в некотором смысле он был неплохим человеком — тот смершевец. Я запомнил, как он вел себя около взорванной пушки лейтенанта Бережного. И сейчас почти готов был утвердиться в этом мнении.

Тогда же в одном из австрийских городков встретил я девушку, которая послужила прототипом для моей Джулии. В городке этом, как и во многих других, было полно людей, угнанных с востока (*да и с запада*), которые работали на австрийских военных заводах. Жили они в огромных длинных бараках и, как только приходила Красная Армия, тотчас разбегались, кто куда, держа путь прежде всего на родину, если она к тому времени была освобождена. Наша колонна стояла на городской улице в ожидании, пока начальство, находившееся впереди, примет некое важное решение. Вдруг около машин появилась бойкая черноволосая девушка в полосатой одежде, которая что-то настойчиво выспрашивала у солдат, сидевших в кузовах. Оказывается, она искала какого-то Ивана. Конечно, почти из каждого кузова откликался Иван. Но девушка, взглянув на него, только крутила головой — нет, не этот! Я подошел к ней и попытался узнать, кого она всё-таки ищет? На невероятной смеси немецких, русских и итальянских слов она рассказала, что ее имя Джулия, что она итальянка и разыскивает русского пленного Ивана, вместе с которым бежала из концлагеря. В горах их поймала полиция, ее снова бросили в лагерь, а что стало с Иваном, она не знает. И вот теперь надеется найти его среди красноармейцев. Надежда была тщетной. Но темпераментно рассказанная история запомнилась мне, чтобы лет через двадцать стать «Альпийской балладой».

**А вот еще одна** встреча. Оборудовав огневую позицию на городской окраине, мы постучали в дверь ближайшего коттеджа.

Нам открыли сразу — на пороге стояла молодая девушка в белом фартучке. Она спросила по-русски, что нам надо. Это нас очень удивило, и мы сразу забросали ее вопросами: русская ли она? Откуда? И каким образом оказалась здесь? Да, русская, ответила она, из Днепропетровска. Служит у господина профессора. Он гражданский человек и очень хорошо относится к ней. Слова ее удивили еще больше. Как? Наша землячка не только служит у австрийца, но и хвалит

его? И вроде не хочет впускать нас в богатый коттедж. Мы возмутились. Кто-то повысил голос, кто-то схватился за пистолет. Тогда мой друг, тоже взводный, Валька Бахтигозин, решительно скомандовал: «Отставить! Пошли назад!..» Мы послушались и ушли оттуда, отыскали себе другое пристанище, где нас никто ни о чем не спрашивал. Не приглашал, но и не останавливал. Позже я спросил у Вальки, почему он встал на защиту той девушки и увел нас. Он сказал, что здесь, в Европе, в нас должны видеть цивилизованных людей, а не грубых азиатов. Это запомнилось мне. Как и сам Валька. Он родился в Ачинске и был дальним потомком поляков, сосланных в Сибирь, единственным сыном у матери. Она едва ли ни каждый день посылала ему на фронт пронумерованные письма (*работала бухгалтером*) и просила сына делать то же самое. К сожалению, Валя не всегда выполнял ее просьбу, хотя был добрым по натуре и очень нежно относился к своей маме. Начальство недолюбливало этого самого молодого и в чем-то не похожего на других взводного. А я любил Валю. И после войны среди ветеранов раньше всех искал его. Но, увы, напрасно.

Шли первые дни мая, цвела сирень. Мы поставили пушки за лесопилкой, у асфальтированного шоссе, проходившего через горный поселок. Место было довольно тихое. Лишь немцы изредка постреливали из минометов, разбивая последние уцелевшие в поселке дома. На лесопилке я раздобыл велосипед и учился ездить на нем — в детстве не довелось. И надо же так случиться, что, съезжая с горки, неожиданно сбил на повороте капитана-смершевца, с которым судьба уже дважды сводила меня. Оба упали на асфальт, а у капитана к тому же порвались брюки. Поднявшись, он начал костерить меня и вдруг напомнил про мои выкрики под огнем. Я малость струхнул — ведь думал, что он давно забыл об этом. Ан нет... Но дальше ругани дело не пошло. Капитана вскоре куда-то перевели, на его место прибыл другой — на этот раз из танковых войск. Впрочем, эмблемы они выбирали сами — какие кому нравились.

Настало седьмое мая. Мы вместе с пехотой по-прежнему у того горного поселка. Наступающие с запада американ-

цы еще далеко. И вот наши радисты услыхали: Германия капитулировала, завтра будет подписан акт об этом. А мы получили приказ: в 19.00 — атака. Поставить орудия на прямую наводку, быть готовыми сопровождать пехоту огнем и колесами. Ну, мы прежде всего написали письма домой: мол, идем в последний бой. Если что, так прощевайте... Психологическое состояние было более чем паршивое. Ведь настроились уже на мир, ведь появилось радостное чувство: выжили. А тут — на тебе...

Правда, постарались провозиться подольше, потянуть время. Но в конце концов после недолго-го артналета пехотные цепи оторвались от земли. И что за чудо? Немцы не стреляют... Когда дошли до их траншей, там никого не оказалось. Смылись. Получаем новый приказ: прицепить орудия к машинам и догонять ушедшего противника. Но без пехоты. В случае чего, самим заменить ее. Что ж, мы поехали. Немцев догнали. Все дороги были запружены их колоннами — пехотой, артиллерией, тылами. Все прут на запад — сдаваться американцам, нам — не хотят. А мы и не берем. Мы получили новую задачу — как можно быстрее соединиться с союзниками. Немцев же просто объезжаем. Некоторые из них бурчат: Гитлер капут или поднимают руки. Наши снимают с них часы. Часы — самый популярный трофей. Кое-кого разоружаем. Особенно тех, кто в эсэсовской форме.

Домчали мы до реки Энс в Центральной Австрии. Это был мой последний рубеж в ту войну. За рекой — американцы. Выпрыгнули мы из своих кое-как поставленных на лугу машин и заторопились на встречу с ними. А нас на тот берег не пускают. Зато американцы свободно пришли на наш, и мы всё-таки встретились. У некоторых из них в роду были славянские корни (*преимущественно польские*), а среди наших нашлось немало хлопцев из Западной Белоруссии, которые знали польский, и таким образом мы быстро поняли друг друга. Они дарили нам свои часы, зажигалки, разные мелочи — на память. А что мы могли подарить? Только звездочки с пилоток. К счастью, было вино, и мы напились вместе с ними — победители, солдаты разных армий, сыновья разных народов. А после — дружно уснули в кузовах наших

«студебекеров». Начальство не показывалось. Может, поехало к другому начальству, у каждого нашлась своя компания.

Ночью я проснулся и побрел в городок. Он был уютный, ухоженный, как все австрийские городки, и к тому же не тронутый войной. В одном месте мое внимание привлек яркий свет автомобильных фар. Подхожу поближе. Вижу: наши солдаты растаскивают продовольственный склад. Противотанковой гранатой проломили запертую дверь и — ввалились. Там — ящики и мешки: спиртное, консервы, мука, шоколад... Грузят на машины. Я тоже сбегал к своим, пригнал «студер». И нам хватило. Не обделили и австрийцев — они ведь жили голодновато. Подошел ко мне старик с мисочкой: разрешите, мол, набрать муки. Что тебе мисочка, говорю, — бери мешок. Не подниму, отвечает, тяжело. Всё-таки подставил сгорбленную спину. Солдаты навалили на нее мешок, и старик, шатаясь, исчез в темноте. Мы стали добрыми — чужого добра не жалели... Может, и хорошо делали — то была наша ночь, ночь победителей. Следующий день принадлежал уже не нам.

Уже утром понаехало высокое начальство, всех американцев выперли с нашего берега. На мосту утроили караул. Никого — ни туда, ни оттуда. А мы мечтали угостить награбленным наших союзников. Не удалось. Полк быстро отвели в тыл, под город Леобен, где в лесу приказали сдать всё добытое той ночью. Поскольку никто ничего добровольно сдавать не хотел, начальники и их подручные взялись за это дело сами — выгрузили из машин немало наших запасов: бутылки, сыр, шоколад. Сказали: будете получать «в порядке довольствия». Надо ли говорить, что мы ничего не получили? Всё, отнятое у нас, поехало в тыл.

Через дня два полк построили на лугу. В честь победы. Перед этим уточнили, кто самый старый среди нас (*не по возрасту, а по времени пребывания в полку*) и кто самый заслуженный (*имеет больше всего наград*). Дольше всех прослужил начальник финансовой части, а больше всего орденов и медалей оказалось у командира моего орудия старшины Лукьянченко. Этот пожилой крестьянский сын с Кубани честно заработал их. У командиров батарей наград было по-

меньше, а у взводных — совсем мало. Орден Красной Звезды — обычная наша награда за войну. Вместе с другими и я получил ее. А вот Вальку Бахтигозина так ничем и не наградили. Раньше всё говорили: молодой, успеем представить... А тут и война кончилась.

Через день-другой новый приказ: подготовиться к маршу. Куда? Говорят, аж в Софию. Через Венгрию, Югославию, Румынию. По следам недавних боев. Перед тем, как колонна наша двинулась в дальний путь, каждую машину «трясли». Комбриг был непреклонен: «Я вас барахольщиками через Европу не повезу!» Нам строго приказали сдать все сохранившиеся еще трофеи и продукты. В кузовах не должно было остаться ничего, кроме боеприпасов. Пожилые ветераны, которые провоевали всю войну, у кого на родине не осталось, что называется, ни кола, ни двора — лишь босые дети да голодные жены, чуть не плача, просили: ну разрешите хоть эти гамаши отвезти, хоть подошвы на сапоги... Ничего не разрешали! И тогда солдаты начали бросать эти не богвесть какие трофеи в реку, что текла рядом с дорогой. Поплыли по ней разные шмутки, гитары, ящики с провизией... Не сдадим — пусть лучше пропадут! Однако немало было и отобранного. Начальник политотдела уже из Болгарии отправил три «студебекера» с трофеями в Одессу, где жила его семья. Не отстали от него и другие — те, что с большими звездами на погонах, в том числе и новый начальник контрразведки СМЕРШ.

По наплавному мосту через Дунай-красавец переехали в братскую Болгарию, где мне суждено было прожить год.

Болгары встречали нас, как родных, как освободителей. Только выйдешь из машины, и тебя тут же окружает толпа крестьян: «Братушки, братушки! Добре дошли!» Появляется чарка или кварта, пьем за Россию, за Болгарию, за вечную дружбу. Казалось, эта дружба и впрямь будет вечной. (*Когда через двадцать лет я снова приехал в Болгарию, то услышал от болгар такой анекдот. К деду Тодору на виноградник прибегают дети, радостно кричат: «Дед Тодор, дед*

*Тодор, русские на Луну полетели!» А дед спрашивает: «Все? Слава тебе, Господи*!) Двадцати лет хватило, чтобы от вечной дружбы ничего не осталось. Кроме объятий Брежнева с Живковым.

Началась нудная гарнизонная жизнь в военном городке на Пловдиевском шоссе в Софии. Подъем, физзарядка, развод караулов, распределение солдат на занятия, распределение нарядов. В город до восьми вечера никого не пускали. Ни солдат, ни офицеров. Целый день на жаре за колючей проволокой военного городка. Большинство офицеров, особенно молодых, после войны оставаться в армии не хотели, рвались домой, к родным и близким, которых не видели четыре года. Вся наша радость заключалась в том, чтобы купить пару бутылок вермута (*его продавали нам с улицы, просовывали бутылки через колючую проволоку ограды*) и захмелеть. Пили все поголовно. Иначе можно было помереть от тоски. До осени 45-го никого не демобилизовывали, и бывалые солдаты и офицеры, тянувшие армейскую лямку всю войну, давно изучившие все армейские премудрости, должны были наравне с восемнадцатилетними юнцами, только что призванными в армию, штудировать воинские уставы, изучать устройство оружия, изнывать на политзанятиях. Вникать в текущую политику.

Сперва наше отношение к англо-американским союзникам было доброжелательным, все мы помнили, кто нам помогал во время войны, чью мы ели тушенку, на чьих автомобилях ездили. И вдруг, как по команде (*впрочем, разумеется, по команде, как абсолютно всё в нашем отечестве*), наши командиры и политруки заговорили о том, что Америка и Англия, оказывается — наши заклятые враги. Поэтому необходима бдительность и еще раз бдительность! Быть начеку и укреплять боеготовность!

Осенью солдат некоторых возрастов (*до 1924 года рождения включительно*) демобилизовали. Офицеров эта демобилизация не коснулась. Я написал несколько рапортов с просьбой: демобилизуйте! Но рапорты эти остались втуне. «Профессия офицера у нас почетная, так что служи!» — таков был ответ. Но я не хотел служить даже в благославенной

Болгарии, я хотел домой, в бедную мою Беларусь, хотел учиться. В партию на фронте я не вступил, мне хватало комсомола, который изрядно меня допек. Я был чуть ли не бессменным комсоргом батареи, что не требовало особых забот, однако обременяло бессмысленной тратой времени. Надо было проводить собрания, выпускать «боевые листки», а главное — составлять планы мероприятий. На неделю, на месяц, на квартал. Планы эти составлялись для близира, никто и не думал их выполнять. Но за их составлением следили помполиты, у которых других обязанностей и не было. Надоел мне комсомол. А тут вдруг вызывает меня помполит командира полка и говорит: «Что ты скажешь, Быков, если мы сделаем тебя комсоргом полка? Должность освобожденная, будешь сам себе хозяин, на занятия ходить не надо. Ты офицер грамотный, окончил училище, думаю, справишься». И хоть надоел мне комсомол, ежедневные занятия с солдатами и в зной и в непогоду тоже не мед. И я согласился. На очередном собрании единогласно был избран комсоргом полка. Прошло еще сколько-то времени, и помполит снова вызывает меня к себе: «Понимаешь, Быков, комсорг полка должен быть членом партии, поэтому надо вступать. Я сам дам тебе рекомендацию». Тут я испугался, я уже знал, что членство в партии — это рабство души, что я перестану принадлежать себе, а главное — прощай демобилизация и все мои мечты.

Но судьба распорядилась иначе. Ни согласно с желанием помполита майора Цквитариа, ни с моим собственным.

Осенью нас стали отпускать в город — в свободное от службы время, и офицеры, как застоявшиеся в конюшнях лошади, ринулись на вольный городской простор. В славную, уже полюбившуюся нам Софию.

На площади Народного Собрания, как раз напротив памятника царю-освободителю, власти отдали одно из зданий под Дом офицеров, в котором был неплохой ресторан, где можно было хорошо выпить и закусить. Конечно же, мы не проходили мимо этого ресторана. Грех не зайти, если деньги есть. Однако с деньгами иногда было туго. Зарплата командира взвода была небольшая, к тому же многие оформили денежный аттестат на родных, кто на мать, кто на жену, на

который уходила часть зарплаты. Я тоже оформил и отослал своим в деревню аттестат на 600 рублей, примерно столько же получал на руки. И вот однажды мы (*в компании было шесть человек*), изрядно выпили в ресторане, но захотелось еще. А деньги кончились. Тогда один из нас, Лешка Рыжков, и говорит: «Быков, ты же комсорг, недавно собирал комсомольские взносы. Где они у тебя лежат?» Я отвечаю: «В сейфе». «Так чего ж они лежат в сейфе, — говорит Лешка, — маринуются зря? Деньги должны работать. Смотайся за ними, в понедельник получка — вернем всё до копейки!»«Ну, Лешка, ну умница!» — подумал я, да и все, должно быть, так подумали. Съездил я за деньгами, очистил сейф. И как же славно мы долго еще кутили в том ресторане напротив памятника царю-освободителю!..

Но в понедельник зарплату не выдали — банк отказал. Я встревожился, но молчал. Немного удивился, правда, когда после занятий меня вызвал не кто-нибудь, а сам начальник политотдела бригады, который до этого и в глаза меня не видел. Впрочем, как и я его. Разговор он начал приветливо: «Ну, как дела? Как работается? Какие планы?» А потом вроде бы мимоходом, вскользь: «Взносы собрал?» Собрал, говорю. А он: «И что же, сдал в финотдел?» Нет, говорю, еще не сдал, а в груди у меня что-то оборвалось. А полковник спрашивает: «Где же деньги?» Я говорю: «В сейфе...» «В сейфе! — повторяет за мной полковник. — А ну — принесите!»

Я встал и тут же сел. Всё стало понятным. Кто-то донес, и я пропал. Ну не совсем, но моя политкарьера на халяву накрылась!.. Через два дня вернулся на батарею, и мой комбат Ахрин ехидно сказал: «Ну что, не получился из тебя политрук! А я ведь предупреждал». А помполит майор Цквикариа сказал, что после такого поступка мне не место не только в партии, но и в комсомоле — на ближайшем собрании исключим! Я со злости пошел в ресторан и напился, и, вернувшись, бросил в грубку свой комсомольский билет. (*С того дня и на всю жизнь — беспартийный.*) Назавтра очередной рапорт с просьбой о демобилизации.

Несколько недель ходил ошеломленный, ломал голову: кто донес?.. Только кто-то из тех шести, которые были в рес-

торане, мог это сделать. Вернее, из пяти — сам я не в счет. Но кто? Ведь все мы были братья по оружию, ровесники, друзья. Кого я мог заподозрить в самом гнусном, какие только могут быть, поступке? Двое из нашей компании были члены партии — может, они донесли? Или кто-то из комсомольцев? Или, может, Лешка, хоть он не состоял ни в партии, ни в комсомоле? Может, он с умыслом спровоцировал меня взять из сейфа взносы?

Кто доносчик — я так и не узнал. Как и во многих других случаях в последующие годы жизни.

**Давно замечено** людьми, что беда не приходит одна, беда любит компанию. Хотя следующие за первой беды переживаются уже не так тяжело, к ним относишься с юмором, с самоиронией. Очередная беда, постигшая меня после истории со взносами, связана с моим обмундированием, и это действительно довольно забавная беда.

Обмундирование для молодого военного немало значит. Хочется выглядеть не хуже других, быть «как все», не хочется, чтобы на тебя показывали пальцем: «Смотри, в чем он ходит!» Особенно неловко чувствуешь себя, если плохо одет, в городе. А у меня тогда, в Софии, возникла именно эта проблема: не было приличного обмундирования. Еще в Австрии у моей гимнастерки оторвался воротник, когда я снимал ее, ложась спать. Потянул через голову, и воротник остался в руках. Сопрел за зиму. Выдали мне другую гимнастерку, б/у, она была не очень поношенная, но с двумя заплатами: одна на спине, на левой лопатке, вторая на груди, — с убитого, должно быть, сняли ту гимнастерочку. Шинелька у меня была с подпалинами на полах, потому что лежала на сидении в машине, в которой я прорывался из окружения во время боев в Венгрии. Машину подбили, она вспыхнула — я успел, вываливаясь из машины, схватить только шинельку. (*Досадно, что не успел спасти вещмешок, в котором лежал альбом с моими рисунками...*) В той шинельке с подпалинами я и приехал в Софию. А уже осень была не за горами, и когда захолодало, меня в моей шинельке пронизывало насквозь. По-

мню, стою как-то на Орлином мосту, жду автобус. Холодный ветер гуляет, падает первый реденький снежок. Мимо проходят болгары, смотрят на меня, и я слышу, как один из них говорит: «Братушка — сибиряк!» Я закоченел весь, а они думают, что мне тепло, что я закаленный, потому что сибиряк!..

Обрыдло мне мерзнуть, и я купил себе шинель у какого-то болгарского генерала. Болгарская армия была распущена, офицеры и генералы остались без средств, вот и продавали свою форму. А форма болгарской армии была похожа на нашу, а еще больше на форму русской царской армии, почти такая же, только на шинели было шесть пуговиц. Хороша была приобретенная мною шинель — из шикарного сукна, на красной шелковой подкладке. Однако именно эта подкладка оказалась печальным для меня недостатком шинели...

Надел я ту генеральскую шинель в выходной день, отправляясь со своим другом и его подружкой в поход на Виташу. Всё лето посматривали мы на эту прекрасную гору вблизи Софии, но взобраться на нее летом не было времени. Зимой на нее взбираться трудно — глубокий снег, обледенелые тропы, но ничего, взобрались, хотя очень устали. Заночевали в охотничьей хижине. Мой друг, старший лейтенант Володя, с подружкой утром не спешили возвращаться, остались на горе, а я спешил — мне нужно было успеть к утреннему разводу в части. Поэтому я спустился с Виташи еще на рассвете. По шоссе шел чуть ли не бегом, чувствовал, что опаздываю. И тут вдруг рядом со мной притормаживает «виллис», в котором сидит командир бригады. Говорит: «Садитесь!» Сажусь. Едем. Подъехали к проходной, я хотел быстренько вышмыгнуть, чтобы успеть стать в строй — бригада уже стоит на плацу, ждут комбрига. Но комбриг мне говорит: «Погодите!» И сам сопровождает меня на плац. На плацу дежурный офицер командует строю «смирно!», рапортует комбригу, как положено по уставу. Я стою рядом с комбригом и уже чувствую, что сейчас произойдет что-то скверное. Так и случилось. Комбриг отдает команду «вольно» и громко говорит дежурному офицеру: «Ну, а теперь отрапортуйте вот этому господину генералу! Ему, видите ли, не нравится советская

форма, вырядился в болгарскую. — И приподнимает полу моей шинели, чтобы все увидели красную подкладку. — Полюбуйтесь! Как попугай!»

В строю смеются. Но сдержанно. Комбриг для нас человек новый, недавний выпускник военной академии. Как только прибыл, очень энергично стал бороться за «порядок», от которого мы за войну отвыкли. Под горячую руку я ему и попался. Но и командир полка Парамонов сказал мне потом: «Чтоб я тебя больше в этой шинели не видел!» Что было делать? Продал я ту шинель нашему взводному, лейтенанту Кривовязу, который сшил себе из нее китель и бриджи. Мне выдали опять же б/у, однако почти новую английскую шинельку, только слишком короткую. Пришлось надтачивать снизу... Но с той генеральской шинелью, с теми пошитыми из нее кителем и бриджами и Кривовязу не повезло. Он был парень задиристый и однажды, выпив, подрался с одним майором, начальником сержантской школы, который тоже был изрядно пьян. Лейтенант был моложе и надавал майору «по мордам». Тому стало обидно: ночью он отправился в офицерское общежитие, в котором жил Кривовяз, чтобы продолжить драку. Но лейтенант спал мертвым сном, майору не удалось его разбудить. А на тумбочке рядом с кроватью Кривовяза лежали китель и бриджи из той генеральской шинели. А на столе стояла чернильница. Майор взял чернильницу и густо облил чернилами китель и бриджи. Это теперь просто — сдал в химчистку, и пятен как ни бывало. А тогда!.. Чем только не чистил Кривовяз свою обмундировку — и мылом, и бензином — всё напрасно! Так и пропала обмундировочка из сукна злополучной генеральской шинели. Что ж, не от хорошей жизни продал ее генерал, а дальнейшее лишний раз подтвердило, что, воистину, чужое несчастье никому счастья не приносит.

Дружил я в Софии со многими, с такими же младшими офицерами, как и я. Пользовался среди них неплохой репутацией, особенно после случая с комсомольскими взносами. Это начальство тогда на меня взъелось, а друзья — отнюдь. Близко сошелся с лейтенантом Виталием Дибнером, кото-

рый служил в штабе. Он был родом из Ленинграда, где живет и поныне (*мы изредка переписываемся, перезваниваемся. Он давно уже доктор геологических наук, специалист по геологии Арктики*). Время от времени мы бродили с ним по Софии, заходили в кафе. Виталий любил выпить стаканчик вина, я тоже, но главным было не это, а его рассказы о Ленинграде. И не только о Ленинграде. Виталий вообще много знал, окончил до войны университет (*он был старше меня*), был широко образованный человек, что больше всего меня в нем привлекало.

Другой мой друг был парень иного склада. Не буду называть его фамилию, скажу только, что он тоже был командиром взвода, звание — старший лейтенант. Звали его Володя (*тот самый, с которым я поднимался на Витошу*). Родом он был из Владивостока, но о городе своем рассказывал почему-то не очень охотно. Он был восхищен другим городом — Софией, Софьей, как называли его болгары. И влюбился в одну из его жительниц. На свою беду. Дело в том, что в те годы какие бы то ни было контакты советских военнослужащих с иностранцами не только не разрешались, но и жестко пресекались. Опасно было подружиться с болгарином. Да что там подружиться — стоило несколько раз кряду встретиться с одним и тем же человеком, да еще и выпить с ним, как это тут же становилось известным нашему милому смершу, который в чужой, хотя ее называли братской, стране шуровал с удвоенной энергией. А Володя не подружился — влюбился в студенточку Веру, дочь высокопоставленного государственного чиновника, члена ЦК болгарской компартии. Володя думал, что это обстоятельство — то, что отец Веры член ЦК — поможет избежать неприятностей. Не помогло!..

Хотя и благословенная страна Болгария, всех нас очень скоро охватила тоска по родине. Хотелось домой. Хотелось увидеть близких, которых не видели столько лет, увидеть родные места, вернуться в привычный домашний быт. Родные места снились по ночам, звали к себе голосами родителей в грустных письмах. Дома был голод и разруха, мы же в Болгарии жили относительно сыто и старались хоть немного по-

мочь родным. Однако, отправив домой денежный аттестат, сам оставался с жалкими копейками — только на сигареты. Это очень омрачало мою повседневную жизнь.

Почти всё свободное время, которого, впрочем, была мало, мы проводили в городе, в милой Софии. Меня привлекали прежде всего художественные музеи, где я впервые в жизни увидел некоторые полотна буржуазной, «салонной» живописи, впервые побывал в опере — на спектаклях «Евгений Онегин» Чайковского и «Князь Игорь» Бородина. Болгары тогда и в последующие годы тоже ставили в основном оперы русских композиторов. Впрочем, и во многом другом, если не во всем, они тогда шли за русскими. Помню, как в уличной толпе с удивлением смотрел на специально привезенные из России экскаваторы и бульдозеры, которые разрушали каменную ограду царского дворца в центре София, — с этой целью их и привезли. С каким энтузиазмом воспринимала разрушение стены толпа! Как же не быть энтузиазму — прогнали царя-кровопийцу, который отгородился от народа! (*Через полстолетия с таким же энтузиазмом приветствовали возвращение бывшего царя на родину...*)

Политический климат в Болгарии всё больше определяли болгарские коммунисты при поддержке и с помощью советских, которые, в сущности, всем и руководили. Начались разоблачения врагов болгарского народа, наподобие Басила Коларова, старого коммуниста, объявленного изменником. Врагов народ требовал расстрелять, что и было исполнено. (*Отчего же не расстрелять, если народ просит*!..) На этом политическом фоне началась и продолжалась любовь моего друга Володи, которому к тому времени уже не на что было надеяться: отец его возлюбленной, поговаривали, попал в опалу. Володя стал таиться, скрывал свои встречи с Верой. На улице как скроешься? А в доме Вериных родителей встречаться было нельзя. В гарнизоне за Володей установили слежку, смерш следил за каждым его шагом. Несколько раз смершевцы вызывали Володю и предупреждали, чтобы прекратил сомнительное знакомство. Партком угрожал исключением из партии. Володя боялся исключения, это грозило ему немедленной отправкой на родину, а он не хотел потерять Веру.

Мне он доверял и просил помочь. Когда мы втроем — я, Володя и Вера — совершили восхождение на Виташу, Володя попросил меня, чтобы я никому не говорил, что он после моего ухода остался на горе с Верой, чтобы, если меня вызовут и спросят, сказал, что еще вечером вместе с ним вернулся в город, что мы всё время были все вместе — наедине с Верой, мол, он не оставался. Записки от Веры и ее фотографии он поначалу прятал под столешницей стола в нашем общежитии, а потом, когда ему показалось, что кто-то их обнаружил, передал на сохранение мне. Я носил их в своей полевой сумке, с которой не расставался ни на занятиях с солдатами, ни на полевых учениях, ни в артиллерийском парке. И всё-таки их украли — в столовой, пока я обедал, а сумка висела на вешалке. Меня вызвали в отдел контрразведки, расспрашивали про Володю и о том, что было написано в тех бумажках, которые нашли в моей сумке. Я сказал, что чужие письма не читаю. «А если там были шпионские сведения, — сказали мне контрразведчики, — что тогда? Получается, что вас сделали шпионским связником!» Что я мог сказать? В сумке были любовные письма, я это знал, хотя и не читал их.

Володю вызвали в политотдел и там арестовали. Он предчувствовал, что его арестуют, и, уходя, шепнул мне: «В шесть ноль-ноль будь на Орлином мосту, передай Вере, чтобы не ждала». Что я и сделал. О дальнейшей судьбе Веры ничего не знаю, не успел узнать. В скором времени нашу бригаду расформировали, офицеров разбросали по разным гарнизонам по всей Болгарии. Адреса Веры у меня не было. (*Вот вам еще один нереализованный «негативный» сюжет из моей долитературной биографии.*)

**Некоторое время** — недолго — я прослужил в стрелковой дивизии под Бургасом, но вскоре ее вывели из Болгарии на станцию Кодыма Одесской области, а там расформировали. Туда со станции Унгены мы шли пешим маршем — как раз по тем местам, где два года назад воевали. По дороге я забежал в деревушку, ту самую, что неподалеку от высотки,

о которой я уже рассказывал — о том, как мы пробирались туда ночью и едва не попали в плен. В деревушке не оказалось ни одного человека, исчез и тот дядька, который кормил нас курятиной. Дворы заросли лебедой... И так было на всем пути — в то лето в Молдавии стояла страшная засуха, повлекшая за собой голод. Поля вокруг были черные, выжженные зноем. Во время войны такого не было. Обезлюдели сотни сел, люди ушли на Украину...

В разгар лета я оказался в Николаеве, в тамошней стрелковой дивизии, которая стояла в летних лагерях под Терновкой, за Бугом. Вот тогда я впервые в жизни узнал, что такое настоящая жара. Степной юг явил мне все свои прелести. Знойный ветер, пыль и песок. Тени нет — нигде ни одного деревца. От пыли просто нет спасения — она в палатках на постели, на столах в походной столовой, на посуде, на одежде. Она скрипит на зубах — вездесущая песчаная пыль. Не раз вспоминал я тогда наши милые леса, перелески, клены и дубы, их прохладные тени на сельской улице. Вспоминал прекрасные лесные озера... Правда, неподалеку от лагерей была река, Буг, но возле реки патрули — следят, чтобы никто не подходил к берегу. Не положено! Извечный нелепый армейский принцип: не пускать туда, куда тебе надо. И силой гнать туда, куда сам ты никогда не пошел бы.

Все занятия на голой, без единой травинки, степной равнине. С утра до вечера на изнуряющей жаре. И пыль, пыль, пыль...

В той дивизии я впервые попал на гауптвахту. Посадили за то, что утонул солдат моего взвода. После занятий самовольно пробрался на берег Буга, бултыхнулся в воду и не вынырнул. Может, покончил с собой, а может, несчастный случай. А кто виноват? Конечно же, взводный. Хоть я в тот момент проходил инструктаж по проведению политзанятий. Но всё равно посадили. На гарнизонной гауптвахте порядки каторжные — ни сидеть, ни лежать. В пять утра подъем, лежаки выносят из камеры. Чтобы никто не садился, на цементный пол выливают пару ведер воды. Комендант — зверь. Ему мало обычных издевательств над арестованными, изоб-

ретает собственные — весь день злобно орет, оскорбляет последними словами, как будто ты его личный заклятый враг.

Накануне осени я заболел, положили в госпиталь. На этот раз болезнь оказалась кстати — я лег в госпиталь перед самой инспекторской проверкой. Окна палаты выходили на плац физгородка, и я мог наблюдать, как проводится инспекторская проверка. Принимал ее сам командующий Одесским военным округом маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

Всех офицеров — молодых и в летах — построили в шеренгу возле физкультурного снаряда, именуемого «кобылой». Командир полка командует: «Вперед!» Первым к «кобыле» грузно бежит лысый, полный, уже пожилой по армейским-меркам (*лет под пятьдесят ему*) майор, командир батальона. Пытается перепрыгнуть через «кобылу», но тут же, махнув рукой, отходит в сторону. Следующий офицер тоже не может осилить упражнение. Ну, молодые, в основном взводные командиры, перепрыгивают, однако не все. Всех, кто не выполнил упражнение, выстраивают в отдельную шеренгу. И в шеренге этой оказываются большинство офицеров. Маршал начинает их материть: зажрались, брюхо отрастили, забыли о своем долге добросовестно служить советской родине, великому Сталину! «Вот как надо — учитесь!» — маршал подтыкает под ремень полы шинели, разбегается и — гоп! Перепрыгнул! Приказывает командиру полка: «Тренировать! О результате тренировки доложите мне лично!» Садится в свой «виллис» и уезжает. «Дурак, хоть и Жуков», — говорит, глядя вслед «виллису», мой сосед по палате, седой начфин артиллерийского полка.

Вечером один из больных, артиллерийский капитан, который воевал в составе 1-го Украинского фронта, рассказал, как командующий фронтом Жуков осенью 1943 года ликвидировал немецкий прорыв под Житомиром. Носился по боевым порядкам частей на своем неизменном «виллисе» в сопровождении бронетранспортера с головорезами-автоматчиками на броне и автомобиля, в котором сидели чины военного трибунала. Там, где замечал малейшую растерянность или подавленность, приказывал автоматчикам схватить пер-

вых же попавшихся под руку солдат или офицеров и расстрелять их на месте. Из карманов еще теплых трупов трибунальщики доставали документы и оформляли приговор. Что ж, маршал сам никого не убивал и приговоры трибунала не подписывал, это делали другие, — по всем правилам военной юриспруденции.

Великий был маршал!..

Поздней осенью перешли на зимние квартиры. Солдат разместили в старых, николаевских времен, казармах, офицеры устраивались на частные квартиры. Незадолго до этого я встретил своего друга Вальку Бахтигозина, с которым расстался в Софии. Оказалось, что Валька всё еще младший лейтенант, но служит в артиллерийском полку, где, конечно же, совсем не то, что в стрелковом — более спокойно да и престижно. Валя предложил мне поселиться вместе с ним на квартире, которую он недавно снял у одинокой старушки. Бабуля согласилась принять двоих жильцов с условием, что на зиму мы достанем ей дров. Мы пообещали, хотя понятия не имели, где их взять. Увы, так и не достали ни полена и прожили зиму в неотапливаемом доме, спали не раздеваясь. Питались в столовой, вместе с солдатами: суп вермишелевый, каша перловая, чай, иногда компот. И то хорошо. Горожане и этого не имели, жили голодно, продукты отпускались по карточкам, а нормы были мизерные. Без карточек в городе можно было купить бутылку вина — сухого или полусухого. Какое покупать — решали в зависимости от крепости. Которое покрепче, то и пили. Но, как известно, хмель от вина слабый...

Война в этом южном городе словно и не кончалась. На улицах стреляли, особенно по ночам. Были случаи нападения на наших часовых, которые охраняли продуктовые склады. Нападали на офицеров, грабили. Один из наших ротных командиров, возвращаясь из казармы поздним вечером, взял с собою табельное оружие, пистолет, хотя выходить с оружием с территории части запрещалось. Возле парка имени Петровского, неподалеку от которого жил ротный, его остановили двое бандитов: снимай шинель, сапоги тоже!.. Ротный выхватил пистолет и застрелил одного из бандитов. Вто-

рой удрал. И вот суд военного трибунала: за убийство гражданина такого-то гражданин такой-то (*наш сослуживец, капитан*) приговаривается к шести годам лишения свободы. После вынесения приговора ротный хватался за голову: «Какой же я идиот! Пусть бы меня до кальсон раздели, я и голый добежал бы до дома! А теперь». Судьи ему сочувствовали, но — закон!

В Николаеве я снова попытался вырваться из армии — подал два рапорта с просьбой о демобилизации. Ничего не вышло. И я совсем потерял надежду, что сниму, наконец, опостылевшие погоны. А вот Вальку, который хотел остаться в армии, на исходе зимы демобилизовали. На прощание мы выпили с ним в забегаловке, я проводил его на вокзал. Валька возвращался в свою Сибирь, в город Ачинск, к матери. Возвращался без радости. Ни война, ни послевоенная армейская служба ничего ему не принесли. Не выслужил Валька очередного офицерского звания, так и остался младшим лейтенантом, не было у него и наград. Хотя и воевал и служил не хуже других. А может, и лучше многих. Но был слишком молод и очень совестлив. И наивен. Впрочем, и я не стяжал особых лавров ни на войне, ни на службе — одну звезду на грудь (*орден Красной Звезды*), одну звездочку на погоны. И всё. Не то, что другие. Как-то встретил в кинотеатре, там, в Николаве, Валерия К., своего однокашника по Саратовскому училищу. Вижу, он уже старший лейтенант, два ордена на груди, служит инструктором по комсомолу в политотделе. И сразу вспомнил, как он суетился перед выпуском из училища, бегал, собирал рекомендации в партию. Мы еще подтрунивали: «Тебе не всё равно, кем тебя закопают — беспартийным или коммунистом? Ведь на фронт едем!» Он пропускал наши слова мимо ушей и перед отправкой на фронт успел стать кандидатом в члены ВКП/б/. На Днепре, в отделе кадров фронта, где нас, бывших курсантов, распределяли по дивизиям, партийность Валерия учли и направили в политотдел. Тогда мы и поняли — ушлый он парень! Из молодых, да ранний!

В феврале нежданно-негаданно я получил отпуск и помчался домой. Ехал через Кривой Рог, Харьков, Гомель. На

вокзалах при пересадках была страшная давка, столпотворение тысяч людей — военные, гражданские, старики, женщины с детьми, бесконечные очереди в кассу, неразбериха... Благо, я был налегке, с одним чемоданом, но всё же намыкался, пока добрался до Подсвилья, деревни, где находилось правление колхоза, в бухгалтерии которого работала моя сестра Валя. В Подсвилье я прибыл ночью, разыскал правление — знал, что Валя там и ночует, спит на канцелярском столе в комнатушке бухгалтерии. Разбудил. А утром мы пошли с ней заснеженной лесной дорогой в Кубличи. По дороге сестра рассказала о своей обиде на власти, о том, как ее обманули.

Летом 45-го года ее и других колхозниц послали в Восточную Пруссию, откуда женщины должны были пригнать огромное стадо коров. Больше месяца гнали они это стадо, пасли и доили по дороге, стерегли пуще глаза каждую корову, а сами терпели лишения, голодали и холодали. Но было за что терпеть — женщинам обещали, что с ними расплатятся коровами. Валя радовалась — снова у нас будет коровка (*нашу Окулярку в 43-м съели партизаны*). Но когда пригнали стадо, оказалось, что все коровы до единой нужны колхозу для развития племенного животноводства. Погонщицы остались с носом.

Дома была та радость, что все живы, что не сожгли хату — уцелела. А хлеба нет, и, понятно, молока нет. И мяса. Есть немного семенного картофеля, приходится его расходовать на еду, но скупо, чуть ли не по картофелинке. Не осталось даже кур, которые до войны были главной статьей нищенского семейного бюджета.

Вечером пришли односельчане, недавние партизаны, рассказывали, как пережили войну. Сколько горя хлебнули, сколько обид натерпелись! От немцев, от партизан, от «народников» (*активистов БНС*). В том числе и от некоторых из своей же деревни, особенно от тех из них, которые до войны были советскими активистами и во время войны постарались услужить оккупантам. Что ж, всем хотелось жить. Как нашему довоенному председателю колхоза Егору. В начале войны он попал в плен, оказался в лагере под Лепелем. Плен-

ных, которые были родом из здешних мест, немцы поначалу отпускали домой. Нужно было только доказать, что ты местный, а доказательством были жены, которые приходили в лагерь за своими мужьями.

За Егором тоже пришла жена, но он отказался возвращаться домой, сказал, что дома на него сразу донесут немцам, скажут им, что он коммунист, и его шлепнут. А тут его почти никто не знает: «Может, пересижу здесь войну». Не пересидел — загнулся в том лагере.

Из моих друзей школьных лет не осталось никого — кто погиб в партизанах, кто в полиции (*в полицию мобилизовывали силой в начале оккупации*), кто был убит на фронте, а тех, кто не был ни в партизанах, ни в полиции тотчас, после освобождения забрали в армию и отправили на фронт. Некоторые из числа этих хлопцев, уцелевших на фронте, оставались в армии, продолжали служить. Были среди молодых моих односельчан и такие, кто прошел все круги ада: мобилизацию в 41-м, плен и концлагеря, освобождение из них в 44-м и снова фронт, а после фронта — вновь лагеря. На этот раз в другой стороне — в Сибири и на крайнем Севере...

Съездил в Ушачи — надо было стать на временный учет в военкомате. До райцентра меня подвезли, а назад возвращался пешком, ночью. Еле дошел, и не замерз лишь потому, что в Ушачах выпил со своим когдатошним приятелям Мишей. Он, как тот мой однокашник по Саратовскому училищу, еще в армии позаботился о своей послевоенной карьере и теперь работал в райкоме партии. Он был старше меня, более опытный, а главное — оглядчиво предусмотрительный. Эта черта проявилась в нем еще когда мы были подростками: взяв в руки районную газету, он начинал чтение с передовой статьи, я же неизменно с четвертой полосы, где печатались зарубежные вести. На передовицы никогда не обращал внимания.

Мой приезд на родину после семи лет «небытия», конечно же, не мог не привлечь внимания местного НКВД. Стали захаживать тутошние сексоты, которым было очень любопытно, где я был во время войны? Не был ли в плену? А одна из любопытствующих мне сказала: «А я тебя видела

при немцах!..» Спрашиваю: «Где ты меня видела?» — «Не помню, где, но, кажется, видела. Ты еще в такой пилоточке был, в немецкой...»

Очевидно, были среди моих односельчан люди, которым было что скрывать. Но я свою войну прошел хотя и далеко отсюда, однако всю при свидетелях. В плену я не был, на оккупированной территории не проживал. (*А вот моему довоенному другу Коле не повезло: чуть ли не всю войну был в Заксенхаузе, работал в Австрии на шахтах. После освобождения из немецкого концлагеря попал на фронт, где и пробыл весь заключительный этап войны. Демобилизовавшись, домой не вернулся, а подался в Латвию, в Ригу, где живет и поныне. Спокойно, в достатке и без особых проблем. Знал Коля, что домой лучше не возвращаться...*)

Отец спросил, какие у меня планы на будущее? Я сказал, что хочу уволиться из армии и вернуться в Беларусь. А он говорит: «Стоит ли? В армии хотя и трудно, однако кормят. А здесь? Доедим бульбочку — и голод. Как до войны. Теперь на своей полоске не посеешь, — не то, что во время оккупации. Уже и межи запахали...»

Возвращался я в Николаев с горьким чувством разочарования, осознавая с острой болью в душе, что не нашел на родине успокоения от пережитого на войне, не обрел душевного равновесия. Всё вокруг казалось неуютным, колючим, вся окружающая жизнь — не пригодная для счастья ни во время войны, ни в дни наступившего мира. Совсем не такой представлялась она мне в тот день, когда окончилась война. Мир безжалостно ткнул меня мордой в вонючую колдобину жизни. И как же мне выбираться из этой колдобины?

Смятение души усугублялось еще и тем, что там, в Николаеве, была у меня девушка, на которой я собирался жениться. У нее была квартира, родственники, все они работали на судостроительном заводе, на котором, говорили они мне, и я мог бы устроиться после демобилизации. Но у меня и в мыслях не было оставаться в Николаеве — я твердо решил возвращаться на родину.

Но мог ли я взять с собой ту девушку? Где мы будем жить, у кого? Где будем работать? И намерение мое женить-

ся на той девушке постепенно угасло, как угли в пепле отгоревшего костра.

В унынии и полной растерянности я приехал в Николаев.

**Весной,** аккурат в канун Первомая, пришел приказ о моем увольнении в запас. К тому времени я уже как-то примирился с мыслью, что из армии мне в ближайшем будущем не вырваться, что придется служить. И вот — на тебе! Снова, как это было и раньше, и позже, перемены в моей жизни случались внезапно, нежданно-негаданно, и как раз тогда, когда я меньше всего был к этому готов. Сразу же встал вопрос: куда ехать? Разумеется, на родину, Беларусь, но куда конкретно? К родителям, в колхоз? Нет смысла. А куда еще? Где найти пристанище хоть на первое время?

Поехал в Минск. Раньше я в нем не бывал, и то, что я там увидел, ошеломило. Город лежал в развалинах. На какой-то уцелевшей улице я разыскал Союз художников, председателем правления которого был тогда Иван Осипович Ахремчик. В Союзе художников мне разрешили позвонить ему по телефону домой. Я сказал, кто я, напомнил, что учился когда-то у него в Витебске и хотел бы продолжить учебу. Он сказал, что пока художественное училище не работает, его, в сущности, просто нет, а когда оно будет воссоздано, сказать трудно, — правительство еще не решило, когда ему быть и где — в Минске или в Витебске. Еще он сказал, что в Минске жить очень нелегко: «Вам нет смысла здесь оставаться. А вот в некоторых областных центрах есть отделения художественного фонда и неплохие коллективы художников. Например, в Бресте и в Гродно. Советую вам поехать либо в Брест, либо в Гродно, там вы найдете работу и жить там вам будет легче, чем в Минске. А со временем, может, и училище откроется, тогда и подумаем о вашей учебе». Поразмыслив, я решил последовать совету Ахремчика. Как раз в День Победы выехал поездом в Гродно — город, в котором у меня не было ни одного знакомого, ни одной близкой души. Кто мог знать, что этот город станет моим приютом на долгие годы, частью моей судьбы?

Город мне понравился с первого взгляда. Не столь уж разрушен, только в центре несколько зданий лежали в развалинах. Явно «западный» облик, черты Средневековья — в старинных зданиях, костелах, в каменной брусчатке мостовых. Два старинных замка. Один из них над Неманом. Архитектура хотя и «западная», в то же время какая-то очень своя, белорусская. Это сразу легло мне на сердце радостью, повеяло чем-то милым, чего никогда не было на чужбине, в далеких западных городах. Полдня бродил по улицам, присматривался, но зайти куда-нибудь не решился. Первую свою гродненскую ночь провел на вокзале. Утром отправился разыскивать мастерскую художественного фонда.

Мастерская находилась в центре, на улице Клары Цеткин, — небольшая комнатенка в старом доме. За единственным столом сидел лысоватый мужчина в светлом костюме с орденом Красного Знамени на лацкане пиджака. Это был руководитель гродненских художников Виктор Морозов, недавний командир противотанковой батареи, который, демобилизовавшись, осел в Гродно. Здесь же, в комнатенке, находился старый художник Дежка, страдавший болезнью Паркинсона, — голова у Дежки всё время тряслась. Затем пришли седовласый, вальяжный Игорь Васильевич Семенов, черноволосый, цыганистый Ваня Пушков, тоже бывший артиллерист. Пришел также Александр Кох, воспитанник Варшавской академии художеств, обликом и манерами типичный шляхтич. Кох сводил меня к себе на квартиру, где его жена, милая гродненская полька, напоила меня молоком с краюхой ржаного хлеба. Словом, со всеми своими новыми знакомыми я сразу нашел общий язык, и, чтобы закрепить наше доброе знакомство, мы вечером отправились в ресторан, который, конечно же, назывался «Неман», — как же иначе, если город стоит над Неманом! Денег у меня было немного (*выходное пособие*), а после ресторана не осталось почти ни копейки. Зато я приобрел друзей, которые устроили меня в занеманском районе города на квартиру к добросердечной, душевной женщине. Звали ее Марья Ивановна. На долгое время она стала для меня как бы второй матерью.

Да, людей я встретил чудесных. И художники они были хорошие. Некоторые (*Морозов, Семенов, Данила Порохня*) были виртуозами оформительских работ, прекрасно, с отменным вкусом умели писать шрифты. А в оформительском деле одним из главных элементов были именно шрифты. Я, конечно, так не умел их писать, как умели мои новые друзья, поэтому смотрел и учился. Но дело в том, что редко доводилось смотреть и учиться — работы у художников было мало. Заказов на живопись совсем не было, и художники буквально из-за этого страдали. Правда, терзания эти быстренько заглушались испытанным мужским средством — водкой. Раздобыть денег на хлеб было трудно, иной раз невозможно, однако на водку деньги добывали всегда. По этой части были свои виртуозы, и первым среди них был Виктор Морозов. Благодаря ему мы не знали почти ни одного дня без выпивки. Если случался такой день, мы считали его «черным». Но и в этот «черный день» к вечеру непременно у Морозова появлялись какие-то деньжата. В свой угол на квартиру в Занеманьи я возвращался поздно и навеселе. Для моей хозяйки, Марьи Ивановны, это было не в диковинку, за много лет супружества эта горемычная женщина насмотрелась на своего вечно подвыпившего мужа, тоже демобилизованного военного. И огорчало ее не то, что я приходил домой поздно и «под мухой», а то, что вел себя довольно не этично — несколько месяцев не платил за квартиру. Обещал что ни день, что вот-вот заплачу, да не было чем.

Целый год я проторчал в мастерской, перебиваясь наряду с другими художниками случайными заказами. Однажды вместе со скульптором Андреем Заспицким (*будущим лауреатом госпремии*) оформил витрину кинотеатра, затем павильоны ярмарки на Скидельском рынке. Это был последний мой заработок в мастерской, которого, однако, хватило лишь на то, чтобы посидеть в ресторане и заплатить, наконец, за квартиру. В питии к тому времени я уже поднаторел настолько, что мог выпить пол-литра за один раз. Друзья говорили, что это нормально, что я достиг всеобщей мужской нормы. Но для меня это было всё же трудновато, да и становилось в

тягость, и я стал думать, как быть дальше, что делать? А что я умел делать? В сущности, ничего. Пойти учиться? Не плохо бы, но куда? Да и как поступить на учебу? Никаких документов об образовании у меня не было — всё проглотила война. Свидетельство об окончании Саратовского пехотного училища — последний документ, которым я располагал — осталось в моей полевой сумке на заснеженном поле под Северинкой. Написал в Саратов, чтобы мне выслали копию, но получил ответ, что все архивы училища за военные годы отправлены в Бугуруслан. Написал туда, и узнал из ответа, что никаких документов Саратовского военного училища в Бугуруслан не поступало. Съездил домой, на Ушаччину, чтобы раздобыть документы о своей учебе в Кубличской школе, но той моей школы в Кубличах уже не было, не было и никого из знакомых учителей.

**В Гродно,** как раз неподалеку от мастерской художественного фонда, находилась редакция областной газеты «Гродненская правда». Время от времени мы встречались с журналистами редакции в пивнушке. Там же, в пивнушке, я познакомился с бухгалтером редакции, старым человеком (*ему было под семьдесят*), бывшим полковником царской армии. За рюмкой он рассказывал немало интересного о своей службе при царе. Однажды, растроганный тем, что я внимательно его слушаю, он сказал мне, что я должен задуматься о своем будущем. «Вы знаете белорусский язык, — сказал старый бухгалтер, — а в редакции часть тиража начинают печатать по-белорусски. Загляните в наш секретариат, может, вы окажетесь нужны». Через несколько дней я наведался в секретариат, где меня встретила Анна Ильинична Цыпина, старая газетчица. Выслушала меня и сказала, чтобы я написал заявление о приеме на работу. И непременно на белорусском языке. Прочитав заявление, она нашла в нем не слишком много грамматических ошибок. И я был зачислен в штат редакции на должность корректора белорусского издания. Но в корректорской я проработал недолго, вскоре меня перевели в секретариат.

Начиналась новая страница моей биографии. Казалось, что я выхожу на новую прямую. Но это только казалось. Впереди меня ожидали очередные выкрутасы судьбы, дьявольские козни всё той же военщины, которая упрямо не хотела выпускать меня из своих железных объятий. Но пока всё было хорошо, спокойно, работа в редакции мне нравилась. Сотрудники почти все были либо приезжие, либо из демобилизованных. Демобилизованные ходили в военном обмундировании, только без погон. Отделами заведовали недавние армейские политработники, за единственным исключением: отделом сельского хозяйства заведовал вчерашний офицер Войска Польского, майор Петр Борейка. (*В Войске Польском служили, как известно, граждане СССР, поляки по происхождению.*) Командовал он своими литработниками, как солдатами на фронте — энергично и напористо, особенно усердствуя в тот период, когда проводилась сплошная коллективизация на землях Западной Беларуси. Естественно, что с такими кадрами корректорам и стиль-редакторам работы хватало, и наш ревизионный корректор Микола Овчаров постоянно конфликтовал с ними, отстаивая «священные нормы» русской грамматики. Микола был достаточно грамотный и довольно образованный человек, но ужасно невезучий. В начале войны попал в плен, хлебнул горя полной мерой, а когда в самом конце войны освободился из концлагеря, выпил на радостях «не того» спирта и едва не ослеп. В добавок ко всему оказалось, что его жена не стала ждать пропавшего без вести мужа и вышла замуж за полковника-чекиста. А когда ей предъявили фотографию Овчарова, который вернулся из плена и должен был доказать, что он — это он, она заявила, что не знает человека, изображенного на фотографии. Доказывать смершу, что он, Овчаров, действительно Овчаров и никто иной, что его бывшая жена лжет, ему пришлось долго, — я тому свидетель. Обосновавшись в Гродно, он вместе со своей новой женой построил хибару из битого кирпича и старых трухлявых досок среди руин бывшего еврейского гетто. В той хибаре я бывал у него в гостях.

Моим коллегой по секретариату редакции был Георгий Цветницкий, по возрасту он был немного старше меня. Ко-

ренной гродчанин, Цветницкий отличался от приезжих широким кругозором, настоящей культурой: он был воспитан на русской и польской классике, на русском и польском искусстве, старом, разумеется, досоветском. И хотя высшего образования у него не было, он знал несколько языков и вообще, как мне казалось, знал абсолютно всё. Если у кого-нибудь из газетчиков возникал тот или иной вопрос, на который не было ответа в Большой Советской Энциклопедии, то обращались к Георгию Алексеевичу. Кроме того, он, пожалуй, единственный в редакции разбирался в полиграфии, умело верстал газету, размечал шрифты, — в этом он был незаменим.

Изрядную долю моего рабочего времени отнимал перевод на белорусский язык материалов ТАСС, которые в редакцию передавало по телетайпу Белорусское телеграфное агентство (БелТА). Большинство этих материалов были пространные — разного рода постановления, речи партийных бонз. И всё с пометкой «Срочно! В номер!» Я диктовал их с листа чуть ли не единственной в редакции машинистке, которая хорошо знала белорусский язык — Станиславе Фаддеевне. Время от времени я писал небольшие заметки для отдела информации, а однажды дома, в выходной день, накропал первый свой рассказ — о последнем дне войны. Замредактора А. Соловьев, которому я дал прочесть рассказ, отозвался о нем одобрительно: «Очань значытельна!» Эта похвала вдохнула в меня веру в какие-то свои литературные способности, но следующий рассказ я написал не скоро. Причиной тому были немаловажные обстоятельства.

В те годы, обычно в начале лета, начинались военные сборы солдат и офицеров запаса. Получил повестку и я. Пошел к заместителю редактора: «Что делать?» Тот говорит: «Дадим тебе бумагу с просьбой к военкому, чтоб тебя не забрили. С ней к нему и пойдешь». Пришел я к военкому, сунул ему бумажку от редакции. Тот глянул и стал раздраженно ворчать: «Каждый приходит с бумажкой — освободите!.. А кого я пошлю? Мне 140 человек надо набрать, что мне самому за вас идти?» И сидит над бумажкой, держит над нею ручку, колеблется, какую резолюцию наложить? Я чувствую, что

решается моя судьба, и говорю: «Если не освободите, то редактор будет звонить в обком партии». А вот этого-то и не следовало говорить, но воистину, слово не воробей, вылетело — не поймаешь. Полковник швыряет ручку, отбрасывает бумажку и кричит: «Ах, в обком? Плевать мне на ваш обком, у меня — вот он, на столе! — приказ министра обороны. Его я и выполняю. Всё! Иди! Отправишься на сборы!»

Так несколько необдуманных слов определили содержание моей жизни на целый ряд последующих лет.

Назавтра явился на сборы — в палаточный лагерь в лесу, неподалеку от деревни Грандичи, на берегу Немана. Те сборы отняли у меня все три летних месяца. Обычные армейские порядки, занятия по артиллерийскому делу.

В начале осени — экзамены, которые мне «посчастливилось», вернее, угораздило сдать на пятерки. Пожалел об этом очень скоро.

Вернувшись со сборов, получил в редакции краткосрочный отпуск — перевести дух. И вдруг встречаю на улице знакомого офицера, одного из тех, что командовали на сборах. Спрашивает: «Ну что, Быков, гуляешь?» — «Гуляю, а что?» — «Повестку еще не получил?» — «Какую повестку?» — «Какую, какую! Скоро получишь!» Сказал и распрощался. И, действительно, через день вызывают меня в военкомат: «Распишитесь на этом документе!» Смотрю — выписка из приказа министра обороны о зачислении лейтенанта Быкова В.В. в кадры Советской Армии. Явка в часть через три дня. Ну, что тут будешь делать? Пошел к главному редактору — так, мол, и так, помогите. Но тот молча развел руками. Пришлось собирать «кружку, ложку, котелок». Часть, в которую я должен был явиться, находилась в Слониме.

В мире начиналась широкомасштабная «холодная война» с перспективой перерасти в горячую. Советскому Союзу потребовалось больше солдат и офицеров. Слонимская артиллерийская бригада преобразовывалась в дивизию и, конечно же, без артиллериста лейтенанта Быкова никак было не обойтись.

Армию застал почти той же, какую покинул два года назад. Лишь разговоры об угрозе со стороны Запада стали бо-

лее мрачными, нагнетали обстановку опасности, а так прежние несуразицы, тупая муштра, нехватка всего самого необходимого — от транспорта до шинелей. (*Половину зимы ходил в ватнике с наскоро пришитыми погонами на плечах.*) Более свирепым стал режим секретности, такого не было даже в годы войны. Засекречены были все наставления, инструкции, приказы. Если для проведения занятий требовалось какое-либо наставление (*а оно требовалось каждый день*), надо было утром получить его под расписку в секретной части, а вечером сдать. Было немало путаницы, неразберихи, и несколько офицеров на этом погорели. Один из наших комбатов, чтобы каждый день не бегать в штаб за наставлением, кое-что переписал из него в свой блокнотик. И потерял его в поле во время занятий. Правда, блокнотик этот не был зарегистрирован, и комбат особенно не беспокоился. И, бывает же такое, блокнотик нашел какой-то колхозник и сделал доброе, как он думал, дело: отвез блокнотик в Слоним, в штаб дивизии. Там быстро установили, чей это блокнотик, и через месяц с комбата сняли погоны.

Зиму я прослужил в Слонимской дивизии, квартировал в Альбертине у милой старушки. Ежедневно осточертевшие полевые занятия, в мороз, в метельную непогодь, — зима выдалась суровая. Наконец — долгожданная весна, пригрело солнышко, и Быков получает новый приказ: отправиться для дальнейшего прохождения службы на Дальний Восток.

**Дальневосточный** отрезок моей жизни остался в памяти как что-то уродливое, ирреальное, нелепое.

С одной стороны, обычная солдатчина, казенщина, тупая муштра, с другой — совершенно иной климат, экзотическая природа, совсем не похожая на всё, что видел прежде. И весь уклад тамошней жизни иной, непривычный, резко отграниченный от европейского. Всё это усугубляло тяготы солдатчины, делало ее невыносимой.

После долгого путешествия по железной дороге через Урал и всю Сибирь, после продолжавшегося целый месяц томления в казармах Второй Речки под Владивостоком (*в тех*

*самых казармах, где в конце 30-х годов был пересыльный лагерь заключенных, в котором умер русский поэт Осип Мандельштам*), после путешествия по Японскому морю в душном твиндеке грузового судна прибыл, наконец, на место своего назначения — в поселок Головнино на южной оконечности острова Кунашир. Прибыл я туда не один — с женой, Надеждой Андреевной, недавней выпускницей Гродненского пединститута, которая вынуждена была отправиться со мной в неведомые дальние края.

С моря поселок Головнино выглядел деревушкой: низенькие избушки, разбросанные по берегу на фоне величественной, поросшей лесом горы с японским названием Тятяма. (*Любопытно, что яма по-японски — гора. Когда-то Тятя-яма была вулканом.*) С берега в море врезался деревянный пирс, на котором стояли несколько солдат, встречавших судно. Солдаты сказали мне, где находится штаб полка, куда я должен был явиться.

На этом диком, гористом, заросшим елями и бамбуком острове мне суждено было промучиться целых три года...

Нашим с Надеждой Андреевной жильем была тесная каморка в деревянном, из досок, как все здешние строения, домике. Вместо стульев — деревянные ящики, крышка одного из ящиков была прикреплена к подоконнику и служила столом. Посреди каморки стояла железная печурка с проржавевшей жестяной трубой, выведенной в подстрешье. (*Однажды из-за этой ржавой трубы загорелась гонтовая крыша, но, к счастью, это увидел хозяин домика, который шел домой со службы, и пожар сразу был потушен.*) Домик стоял на самом берегу океанского залива, волны Великого Тихого океана плескались у подворья. Правда, залив, на берегу которого стоял поселок, был не очень глубокий, полный морских водорослей, которые во время отлива толстым ковром устилали черный прибрежный песок. Иногда море выглядело красивым, особенно в погожие дни, но таких дней было мало, почти постоянно бушевали штормы, в студеную пору мело снегом — поселок заметало по самые железные трубы. Неуютно, недобро выглядел Великий океан, а с противоположного берега Кунашира видны были суровые заснежен-

ные горы японского острова Хоккайдо. За ним тоже было море, а уж за ним Азиатский материк и где-то далеко-далёко — Европа. Беларусь грезилась в невообразимой дали, становилась миражом в необъятной морской пустыне, и от этого чувства непреодолимой отдаленности часто сжималось сердце. И не только у меня. Порой случались самоубийства, особенно среди молодых солдат и молодых офицеров. Многие мои сослуживцы недоумевали: «Почему? В чем причина?» Я знал, почему. Абсолютная оторванность от привычного быта, от родной природы, одиночество, насильственная отрешенность от цивилизованного (*европейского*) мира были той психологической причиной, которая толкала наиболее ранимые, чуткие натуры на самоубийство. Спасти от этого психологического сиротства могла бы дружба, землячество. Но в Головнино нашелся лишь один мой земляк, солдат Барсукевич, родом из-под Гродно, — с ним мы изредка перебрасывались парой слов на родном языке. Но вскоре судьба разлучила меня с Барсукевичем.

На первых порах там, в Головнино, во мне еще возникали какие-то литературные устремления, пробуждалась уже полузабытая тема войны. Написал несколько рассказов и отправил их в Минск, в редакцию журнала «Полымя», на имя Михася Лынькова, прозу которого любил издавна. Почему-то подумалось, что отзыв Лынькова будет положительный. Довольно быстро (*всего лишь через три месяца*) получил ответ — подробный разбор моих рассказов на нескольких страницах. Как я теперь припоминаю, рассказы были довольно слабые, и Михасю Тихоновичу потребовалось немало такта, чтобы сказать о них то, чего они стоили, и в то же время не задеть авторское самолюбие. Автор это почувствовал и перестал писать. Надолго.

Заедала рутина службы: занятия, занятия, занятия... Наряды... Досмотр оружия и техники... Особенно угнетала политподготовка — святое дело в Советской Армии. Впрочем, рутинные обязанности службы и даже политзанятия отошли на второй план — почти всё лето 1950 года ушло на перевозку боеприпасов. Огромные океанские сухогрузы чуть ли не каждую неделю появлялись на нашем рейде, и мы на лод-

ках-кунгасах переправляли доставленные сухогрузами ящики с боеприпасами (*тысячи ящиков*) на берег, затем отвозили их в глубь острова в специальные хранилища. Судя по всему, наше командование готовилось к новому Порт-Артуру.

22 июня 1950 года началась корейская война, и однажды нас подняли по тревоге, вывели на тихоокеанское побережье. Там мы вырыли окопы, а затем стали строить укрепления — блиндажи, бункеры, огневые позиции, НП и КЧ. Со дня на день ждали нападения американцев, которые вмешались в корейскую войну. Начальство требовало усовершенствовать линию обороны, накрывать блиндажи, бункеры и НП бревнами, глубже закапываться в землю. Но где было взять бревна? Леса нам не отпускали, а самовольных порубщиков, которые валили пихты и сосны, лесничество вылавливало и штрафовало. Офицеры матерились, платили штрафы, а начальство знать об этом не хотело и ужесточало требования — всё должно быть построено по всем правилам военной инженерии. И так всё лето, и зиму, и снова лето. И в очередную осень.

Летом была хотя бы связь с материком, приходили пароходы, завозили провизию. А осенью рейсы прекращались — шесть месяцев остров был отрезан от страны. Питались одними консервами, пили 95-градусный спирт, который продавался в рыболовецких кооперативах (*его отпускали из железных бочек*). К весне кончался и спирт, и тогда опытные выпивохи переходили на одеколоны, лосьоны, всякие технический жидкости вроде антифриза.

Командиры были разные, преимущественно ветераны войны, но появлялись и молодые — выпускники офицерских училищ. Ветераны безропотно тянули привычную армейскую лямку, выслуживали пенсию, а молодежь, оказавшись в дальней глуши империи, порой роптала, служить не хотела. Как мой младший товарищ Лешка Климов. Он всю жизнь готовился стать офицером — окончил Суворовское училище, затем офицерское, а когда мечта его сбылась, понял, что совершил ошибку. Однако начальство этого не понимало и пресекало Лешкино бунтарство жесткими дисциплинарными взысканиями — выговорами и гауптвахтой.

**Полком командовал** старый служака, герой минувшей войны, человек, в общем, толковый, но малограмотный. Малограмотный даже в военном деле, чем нередко пользовались его молодые подчиненные. Прикажет он сделать то-то и то-то, а ему спокойно говорят: это противоречит уставу. Надо так и так. Полковник с минуту раздумывал, а затем соглашался: пусть будет по уставу. На самом деле устав не требовал ни того ни другого, полковника просто обманывали.

Однажды произошел случай, который показал, кто в полку главный.

Пропал куда-то один мой солдат — не было его на завтраке, не явился и на обед. И никто не знал, где он. Это уже было ЧП, и я пошел докладывать начальству. Когда я вошел в кабинет командира полка, там находились несколько офицеров, в том числе и полковой особист. Я доложил: так, мол, и так. Исчез солдат. Командир полка подумал с минуту и говорит: «Подождем до вечера». И тут вскакивает особист, капитан по званию, и начинает орать на командира полка, старого полковника: «Что значит — подождем?! Немедленно организовать поиск, выделить группу перехвата! Он, может, уже на дороге к японцам, измену Родине замыслил! Уйдет — у всех нас головы с плеч полетят!» Полковник молча выслушал капитана и пожал плечами, что означало: поступайте так, как того требует капитан. А солдат отыскался после обеда — он просто уснул от усталости в траве за артпарком. Однако, следует сказать, что страх особиста не был напрасным, у нас уже были случаи перехода отдельных военнослужащих в Японию. Зимой на японскую территорию по ледяным торосам залива перебежал пограничник. Второй побег, вернее, попытка побега была летом. (*Здесь надо заметить, что на острове была не только наземная пограничная служба с ее заставами, но и морская, которая осуществлялась пограничными катерами.*) И вот однажды к нашему пирсу причалил пограничный катер, и солдаты, находившиеся на пирсе, увидели, как пограничники волокут с катера на берег какой-то мешок, в котором что-то круглое. Солдаты подумали, что в мешке капуста, и вдруг услышали голос: «Привет, ребята,

вот я и дома!» Оказалось, что в том мешке доставили очередного беглеца, который попытался добраться до японского берега вплавь...

Свою чекистскую бдительность капитан-смершевец показывал полку не один раз. И боялись его больше всех. Комполка мог выругать, посадить на гауптвахту, не представить к присвоению очередного звания. А смершевец мог изуродовать человеку жизнь. И уродовал, не взирая на звания и репутации.

Однажды (*это было еще в самом начале моей службы на Кунашире*) я рано утром отправился на пирс встречать катер из Южного Курильска — катер этот должен был привезти отремонтированную в городе стереотрубу. Оказалось, что трубу не привезли, она все еще в ремонте, и я сошел с пирса на берег. И вижу капитана-особиста, следом за которым идет другой капитан, начальник штаба батальона, почему-то в шинели со споротыми погонами, то есть без погон, с маленьким чемоданчиком в руке. За ним идет солдат с автоматом ППШ на изготове. Все трое быстро спустились по сходням к катеру и скрылись в рубке. Это было странно, потому что начальника штаба я не далее, чем вчера, видел на полковом совещании офицеров. Что могло случиться за ночь? Прошло несколько дней и на очередном совещании комполка объявил, что капитан Аверьянов арестован за антисоветские высказывания. А вскоре стало известно, что это были за высказывания. Оказывается, капитан недавно проспал развод на занятия (*будильник подвел, не зазвонил*), и начштаба, матюкнувшись, помянул недобрым словом «стахановское производство». Облаял он «стахановщину» громко, и его слова услышал через фанерную стенку сосед, начальник артиллерии батальона. И, конечно же, «стукнул». Капитану влепили 5 лет лагерей...

СМЕРШ у нас лютовал как нигде. Спецуполномоченных этой службы в полку было целое подразделение, и все они даром хлеб не ели, шуровали во всю. Их «хитрый домик» находился аккурат между казармой и солдатским сортиром — в целях удобства и экономии времени. Оконца в том домике светились до поздней ночи...

Поначалу я был назначен командиром взвода управления огнем, оборудовал наблюдательный пункт, вел дежурство и наблюдение за определенным сектором океана. На том же НП находился и командир батареи, молодой, но бывалый майор-фронтовик с пятью орденами на груди. Был он одинок — жена его бросила, уехала на материк, и стал майор соломенным вдовцом. Выпивал с тоски, но не слишком. В остальном был дисциплинирован и слушался начальства. И вот однажды, во время моего дежурства по полку, в курилке во дворе штаба ко мне подсел капитан-смершевец. До этого я с ним один на один не встречался ни разу. Ну, подсел, закурил, и спрашивает, какие у меня отношения с моим комбатом? Говорю, нормальные. А смершевец, помолчав, говорит: «А вы знаете, что он был в плену, а потом служил в полиции?» Это меня поразило — я знал, что майор всю войну был на фронте, в противотанковых частях, то есть в самом пекле. Но ему везло — ни разу не был ранен. Но если то, что говорит смершевец, правда, почему майор до сих пор не арестован, почему он командует батарей? Так я подумал, но не проронил ни слова, — разве можно сомневаться в правдивости смершевцев? Они ведь знают о каждом абсолютно все, сквозь землю видят наше прошлое. И даже наше будущее.

Как раз в это время во всех частях дальневосточного военного округа (*а может, во всей Советской Армии*) шла проверка офицерских кадров. То и дело на полковых совещаниях зачитывали приказы командования о разоблаченных злоумышленниках. Запомнился один из приказов, в котором говорилось об одном сержанте, выдавшем себя за командира полка, — тот сержант был его ординарцем. Комполка был убит в бою, ординарец ранен. Он взял документы убитого, а в госпитале сказал, что это его собственные документы, что он и есть комполка. После излечения он получил в командование полк и командовал им до самого Дня Победы. И, должно быть, неплохо командовал, если заслужил на этой своей должности три ордена. Да и полк был награжден. На суде у самозванца спросили: «Как же вы, не имея военного образования, смогли командовать полком, да еще во время сражения?» Сержант-полковник ответил: «Очень просто: комбаты

у меня были герои! Вызову, накручу им хвосты, да так, что они бегут в атаку, как угорелые».

Офицеры на совещании, выслушав этот приказ, реагировали по-разному. Старослужащие возмущались: «Наглец!» Молодые ехидничали: «А что? Главное, чтобы были под рукой хвостатые герои!»

Однако настал и мой черед на проверку. Как-то после занятий вызывает меня помначштаба по учету кадров и молча дает прочитать секретную бумагу. Написано в ней, примерно, следующее: «Согласно учету личного состава такой-то армии, лейтенант Быков В.В. числится убитым 7.01.44-го года и похороненным в братской могиле возле деревни Большая Северинка Кировоградской области. Потребовать от лейтенанта Быкова В.В. объяснений данного факта. Материалы дознания выслать не позже 17 сентября сего года...»

Помначштаба улыбается: «Ну, пиши, как ты выбрался из братской могилы». Но шутки шутками, а писать пришлось. И не один раз. Затем потребовали, чтобы я назвал свидетелей своего ранения под Северинкой, чтобы представил документы из госпиталя. Однажды вызвал меня к себе смершевец — для него тоже написал объяснение. Но смершевца интересовало лишь одно: был ли у меня контакт с противником после моего ранения, когда я валялся на поле боя? Что ж, был у меня контакт — целую ночь пролежал я рядом с трупом немецкого офицера. Но я не счел нужным рассказывать об этом смершевцу.

Знаменательно отношение к этому казусу о моей якобы гибели со стороны политорганов полка. Если раньше полковой парторг несколько раз заводил со мной разговор о том, что негоже мне быть беспартийным, то после проверок моей персоны он оставил меня в покое. Даже не заикался на сей счет. Чему я был рад, потому что беспартийность открывала для меня определенные перспективы. А вступи я в партию — полный тупик. Я всё же мечтал вырваться на волю...

**Как во все времена,** божьим наказанием в армии были ЧП (*чрезвычайные происшествия*). Особенно для младших

офицеров. То какой-нибудь солдат утонет, другой свалится в пропасть вместе с грузовиком, кто-то сам себя убьет наповал во время чистки оружия (*гибель по неосторожности*). Кто-то напьется вусмерть. А отвечать за всё командирам.

У меня один солдат ранил другого. Неплохой солдат, старательный. Стоял на посту возле орудия. Стемнело, и двое бойцов понесли ему на пост ужин. Приблизились, а часовой, как положено по уставу, крикнул: «Стой! Пропуск!» Те в ответ: «Перловка, Хакимов! Перловую кашу тебе несем!» А тот опять: «Пропуск! Стрелять буду!» И бабахнул, хотя и в полной темени, без промаха, прострелил сослуживцу ляжку. К ответственности его не привлечешь — действовал по уставу.

Уставы! Устав караульной службы, например, требовал, чтобы у командира, который проверяет посты, часовые требовали удостоверение личности. А на кой ляд его требовать, если этого командира солдаты знают целых два года, видят его каждый день. Но — так положено!.. Один из командиров полка нашей дивизии находил садистское удовольствие в издевательствах над дежурными на КПП (*контрольно-пропускной пункт*): по несколько раз входил в ворота. Войдет, выйдет и снова войдет. И горе тому солдату, который не проверит у него документы. Обычно к вечеру переставали проверять, на этом и попадались. В лучшем случае получали выговор. Любопытно, что кадровые офицеры не считали эту бессмысленную проверку документов глупостью. Спросишь: а зачем это? Ответ заученный раз и навсегда: так положено. А по здравому смыслу? Молчат. Так положено — и всё, дальше этого никаких мыслей. Что до здравого смысла, то он, как говорил один знакомый комбат, в армии никогда не ночевал.

Самым положительным качеством командира считалась строгость, обязательная для всех, начиная с ефрейтора и кончая полковником. Строгость и требовательность. Многие только на ней и держались, а то и делали карьеру — на демонстративной строгости и неукоснительном следовании уставам. Порой это граничило с жестокостью, принимало бесчеловечные формы.

У моего комбата испортились отношения с начальством, прежде всего из-за того, что он «закладывал». И он решил восстановить репутацию. Однако сделал это, опять же, «под градусом». Выпив, явился на батарею и объявил сбор в землянке НП. Солдаты артиллерийских расчетов спросили, брать ли противогазы? Комбат сказал: «Как хотите», хотя по уставу солдат в боевой обстановке обязан был быть при всем своем снаряжении — навьюченным, как ишак. А кому хочется быть ишаком? Некоторые солдаты явились на НП с противогазами и прочим, некоторые только с винтовками. Комбат запер всех в землянке и объявил газовую атаку. Для ее имитации зажег дымовую шашку.

Та шашка и погубила всю его не только репутацию, но и карьеру.

Шашка оказалась новой модификации, разработанной учеными мужами ВПК (*военно-промышленного комплекса*), — она не проста дымила, но и поражала органы дыхания. Солдаты, не взявшие с собой противогазы, потеряли сознание, почти бездыханными их потом вытаскивали из земляники. Разразился скандал. Политорганы стали на уши. И, разумеется, за расследование инцидента взялся СМЕРШ. Вскоре комбата вызвали в политотдел, якобы для доклада, и в полк он больше не вернулся...

Примерно в то же время, когда всё это случилось, ко мне на мой НП, откуда я наблюдал за морем (*не покажется ли американский десант*), зашел молоденький лейтенант К., командир взвода. Его, как и меня когда-то, недавно избрали комсоргом. Что и стало причиной его личной трагедии. Лейтенант, еще не будучи комсоргом, женился на девушке, отец которой, опять же недавно, был репрессирован «компетентными органами», а дочь отказалась от него отречься. И теперь от комсорга требовали: либо разведись, либо сдай партбилет. Лейтенант был подавлен, мучился, не зная, как быть. От меня он пошел в поселок, купил там спирта, выпил, уже дома, лег на постель и застрелился. Хоронили его ночью, тайком, на старом японском кладбище, где уже стояли несколько фанерных пирамидок с красными звездочками, —

это были могилки наших солдатиков, которым суждено было лечь в чужую землю...

В сравнении с казармой, пребывание подразделений на местности имело ряд преимуществ. Во-первых, относительная изолированность от начальства. Во-вторых, скрытность боевых порядков — никто не знает, чем мы тут занимаемся. Можно было иногда даже покемарить, что и делали солдаты, выставив, однако, зоркую стражу. А еще можно было всласть порыбачить, особенно во время нереста кеты или горбуши.

Под осень и зимой остров содрогался от землетрясений. Трещали по всем швам дома, но не разрушались, потому что построены были из досок, — трещали, скрипели да сажа сыпалась из жестяных труб печек. Случалось, трубы трескались в тот момент, когда печь топилась, и тогда возникали пожары.

Однажды я шел по улице в самом начале землетрясения, а когда земля задрожала сильнее — побежал, и тут улица передо мной треснула во всю ширину, я едва успел перепрыгнуть через разлом. А осенью 1952 года произошло и вовсе невиданное: речка, которая протекала через поселок и впадала в залив, вдруг потекла вспять, вздыбилась под напором волны со стороны залива. Залило луга, подтопило садовые домики. Через несколько дней мы узнали, что случилось с речкой — вспять ее повернула волна цунами, которая примчалась с севера, от берегов острова Парамушир, где был эпицентр сильного подводного землетрясения. Дня два спустя речка снова стала течь в море.

Дважды в год, весной и осенью, мы были свидетелями незабываемого зрелища — ход бесчисленных косяков рыбы на нерест, в пресноводные речушки на острове. Толпы, иначе не скажешь, рыб кишели сплошной массой, извивались на преградах из камней, преодолевали их на брюхе. Метровые рыбины можно было брать руками, глушить палками, ловить проволочными силками. Рыбой объедались. Но главной поживой была икра, которую можно было назапасить ведрами. Да никто не думал о запасе — выпотрошил рыбину, съел икру, и всё. Выпотрошенные рыбины все лето валялись на берегах островных речек и ручьев, гнили, смердели.

Это я наблюдал в первое лето моей службы на Кунашире, а через три года, когда я прощался с островом, рыбы не стало. Ни кеты, ни горбуши.

В зимнюю пору, вернее, на исходе зимы, когда лед в заливе начинал трескаться, рыбаки тешили душу ловлей корюшки. В расщелинах льда вода кишела этими маленькими, юркими рыбешками, для ловли которых не требовалось никакой приманки. Достаточно было сделать крючок из кусочка проволоки и опустить его в трещину — рыбки хватали голый крючок, лишь успевай вытаскивать их на лед. За час можно было наловить целое ведро. Жареная корюшка была вкуснее любой другой морской рыбы. Жаль, что мне ловить ее не довелось — у меня не было времени, и я лишь смотрел, как ее ловят, сидя в своем НП на обрыве.

Читал я на Курилах мало, разве что газеты, которые доставляли на Кунашир раз в месяц. Это летом. А зимой, когда кончалась навигация, ничего не привозили. Даже водку. Свое радио слушать было скучно, а западные радиостанции заглушались. Неподалеку от моей батареи за околицей Головнино торчали антенны службы радиоперехвата, там круглые сутки дежурили офицеры КГБ. Но кое-какие книжные новинки на Кунашир попадали. Из того, что прочел, хорошее впечатление произвела повесть Э. Казакевича «Двое в степи». Это были страницы редчайшей в те годы правды о недавней войне. Но вскоре повесть стали громить в литературной и партийной прессе, как и статью Померанцева «Об искренности в литературе». Эта статья очень мне понравилась, но, прочитав разгромную критику на нее, такую же лживую, как критика повести Казакевича, я понял, что правды и искренности в литературе ждать придется долго. Литературный погром, начатый в 1946 году избиением Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, продолжался. И конца этому погрому пока не было. И у меня начисто пропала охота писать. После тех трех рассказов, которые отправил в Минск на имя Михася Лынькова, не написал ни строчки.

Зимой 53-го года, как раз в день Советской Армии, у меня родился сынок Сережка. Быть ему генералом, шутили друзья, — недаром в такой знаменательный день родился.

Генералом он не стал, зато, слава Богу, выжил в лютые кунаширские холода, лежа в постельке возле железной печурки, для которой вечно не хватало дров. Закалился в японском климате. Жена работала в школе, и наш малыш, когда немножко подрос, воспитывался в компании с котом — огромным пушистым созданием, привязанность которого к малышу стала нас беспокоить. Кот спасал ребенка от стужи, согревал его своим телом, но ведь мог и придушить случайно, такой был огромный котище! Я попытался было от него избавиться, но ничего не вышло — характера не хватило...

В конце осени я получил приказ отправиться на Сахалин на офицерскую учебу. Жена, сын и кот остались на Кунашире.

**На небольшом** военном корабле я в компании еще нескольких офицеров добирался до Сахалина по штормящему Охотскому морю. Нас, сухопутников, буквально наизнанку выворачивала морская болезнь. Валялись мы в тесном смрадном отсеке, из последних сил держась за какие-то трубы — качка была ужасная, швыряло из стороны в сторону беспощадно. Всю ночь на верхней палубе стоял крик матросов, брань командиров, раздавались какие-то непонятные нам команды — экипаж сражался за живучесть судна. Когда пришли в Корсаков, убедились, что должны быть благодарны команде корабля: он запросто мог затонуть, столько льда намерзло на верхней палубе, на снастях и мачтах. Как мы не перевернулись вверх килем, одному Богу известно. И матросам.

К началу занятий я, разумеется, опоздал — занятия шли уже месяц в военном городке Южно-Сахалинска. В классе меня посадили за последний стол, на «камчатке», где до меня сидел какой-то Баранов. Поэтому наш преподаватель подполковник Емельянов долго называл меня Барановым, по привычке. Я не обижался. В конце концов, между быком и бараном разница не столь велика!..

На тех сахалински курсах мне пришлось серьезно овладевать математикой: в средней школе я ее «недобрал». А без знания математики в артиллерии делать нечего. Потянулись недели и месяцы сидения над учебниками, изучение логарифмических вычислений, теории вероятностей. Практические занятия — артиллерийские стрельбы — в полном объеме. Вычисление данных и стрельба по наземным и морским целям. Сперва это отрабатывалось в классах, на макетах, а затем, к весне, на полигоне. Незаметно эта наука меня захватила, а я захватившему меня делу, задаче отдаюсь полностью.

Там, на Сахалине, я узнал подробности землетрясения в районе острова Парамушир и вызванного этим землетрясением цунами, волны которого докатились до Головнино и повернули вспять речку. Но если мы в Головнино отделались лишь небольшим наводнением, то на Парамушире цунами двумя ударами смыло поселок и с ним танково-самоходный полк. Самоходки расшвыряло по берегу, сотни людей оказались в ледяной воде и погибли от переохлаждения, хотя многие долго держались на плаву, ухватившись за какое-нибудь бревно или ящик, и их можно было спасти. На помощь людям в район бедствия отправились американские военные баржи, но из Москвы на Парамушир поступила радиограмма: от помощи американцев отказаться. Очевидно, Москва сочла американскую помощь позором для себя — смерть предпочтительнее... Я не помню, чтобы кто-нибудь из офицеров одобрил этот чудовищный приказ. Но правда и то, что все промолчали...

Один офицер-дальневосточник рассказывал, как жила армия на Дальнем Востоке в годы войны. Голодали (*впрочем, а где не голодали*?), обмундирование и обувь не выдавались. Солдаты драли лыко и плели лапти. Зато дисциплина была свирепая, о чем заботились бравые тыловые генералы. Командовал армией генерал Апанасенко, с которым у офицера-рассказчика произошел поучительный случай. У этого офицера лежала в роддоме жена, и он отправился ее навестить. А роддом в поселке, в 20-ти километрах от части. Идет

он по грязи, под дождем (*дело было осенью*), как вдруг рядом с ним тормозит «виллис». В «виллисе» — генерал Апанасенко. Спрашивает: «Куда идете?» — «В поселок, товарищ генерал!» — «По какой надобности?» — «Жена рожает». — «Почему пешком? Что, машины нет в части?» — «Не дали, товарищ генерал. Горючего в обрез». — «Ну, садитесь». Сел он в «виллис», но шофер почему-то не едет, чего-то ждет. И тут генерал поворачивается к офицеру и говорит: «Ты что, размазня, не знаешь, что если тебя приглашает генерал, ты должен поблагодарить и отказаться! Субординацию забыл? Вон из машины!» Выскочил офицер из машины как ошпаренный, а «виллис» газанул и умчался. Такие вот советские понятия о субординации!..

Учеба захватила меня по-настоящему, в чем немалая заслуга подполковника Емельянова, он умел увлечь людей премудростями математики, да и сам был ею увлечен. Пытался даже вместе с нами доказать знаменитую теорему Ферма ($a^n + b^n = c^n$), которую триста лет никто не мог доказать. Однако учили не только математике применительно к артиллерийскому делу, мы изучали уйму других предметов, в том числе «науку наук» — марксизм-ленинизм. Не фундаментально, правда, в рамках политучебы.

Жили в казармах, где были двухъярусные кровати и было холодно — казарма была огромная. Распорядок дня железный, начальник — звероватый майор. Особенно донимали утренние физзарядки в любую погоду. Даже в метель и дождь. Ну и, конечно же, марширование в строю: на занятия, с занятий, в столовую, в клуб. Нас злорадно вернули в нашу юность, когда мы были курсантами военных училищ, напомнили бессмертные традиции прусско-российской муштры.

Одно событие того времени запомнилось мне навсегда. Был серый мартовский день, казалось, обычный. Но вот в класс вошел подполковник Емельянов и явно деланным трагическим голосом объявил, что час назад умер великий Сталин. Все встали, постояли минуту с окаменевшими лицами, а я подумал: «Слава тебе, Господи! Может, хоть теперь что-нибудь изменится к лучшему!»

К сожалению, изменилось немногое.

Бериевская амнистия, объявленная вскоре, наполнила дальневосточные города и поселки массой бандитов, убийц, воров, которые были отпущены на свободу в первую очередь. Политических выпускали с большим разбором — они были «социально-чуждые», а ворье и бандиты — «социально-близкие». И эти «социально-близкие» дружно взялись за привычное дело: до весны в город нельзя было сунуть носа. На каждом шагу грабили и убивали. Даже офицеров. А пропаганда в стране, и наша политучеба в частности, были нацелены на противостояние англо-американскому империализму. Продолжалось укрепление обороны Курил, на острова прибывали всё новые войска, военная техника и снаряжение. Вся береговая линия островов была охвачена пограничной службой, создали сложную систему радиопеленгации и радиоглушения. Ни по «Голосу Америки», ни по Би-би-си, ни по «Свободе» невозможно было разобрать ни слова — всё заглушал вой глушилок. Вся эта обстановка сказывалась на настроении офицеров, и настроение это было далеко от оптимизма. Хотя все на что-то надеялись... Ни одного своего товарища по курсам я не видел плачущим из-за того, что умер Сталин. Люди затаенно молчали.

Тем временем подоспел выпуск. По всем предметам у меня были пятерки, и я получил диплом с отличием. Только какая из этого польза?

Зачем было тратить время и силы на что, что нельзя реализовать? То, чему меня научили на курсах, реализовать можно лишь на войне. Но война для нас кончилась, навоевались!.. И не похоже ли то, чему мы учились, на размахивание кулаками после жестокой драки? Впрочем, лучше махать кулаками, чем проливать кровь... Но мне-то это зачем? Я ведь совсем не собирался оставаться в армии, делать военную карьеру, я жил мечтой вырваться из этой дальней дали на родину. И на Сахалин поехал с той же целью: думал, это приблизит меня к дому — добросовестно отбуду учебу и получу назначение в родные края. Оказалось, дорога домой стала еще длиннее... Другие офицеры получили новые назначения, некоторые с повышением. Я же возвращался на прежнее место службы.

**На Кунашире** узнал новость: полк расформировывается. Многие офицеры уезжают на материк, многие ждут своей очереди и уже пакуют чемоданы. Что ждет меня, пока неизвестно... А ждало меня вот что.

В глубине острова стали строить аэродром для реактивных истребителей-бомбардировщиков. Глубокомысленный план Генштаба — построить военный аэродром максимально близко от потенциального противника, нависнуть над японским островом Хоккайдо. А как этот аэродром построить, если на Кунашире не найти и ста метров ровной площади? Ах, нет? Так создайте! И вот приказ — срыть вершины двух сопок и засыпать землей этих вершин седловину между сопками. Получится площадка. Но сперва надо вырубить лес, проложить дорогу. А техники никакой. Зато есть солдатские руки — безотказные и бесплатные. Они всё могут. Главное — поднажать. А как известно, приказ начальника — закон для подчиненных.

С приказом генералы не замедлили, и через два дня после своего возвращения в Головнино я уже был на тех сопках, где офицеры-строители объяснили мне, что и как следует делать. Сами они завтра уезжают на материк. Под моим руководством остаются два десятка солдат, с виду больше похожих на бродяг, одетых в рваные, замызганные спецовки. Первый же их вопрос ко мне: когда нас демобилизуют? Пошел уже шестой год, как они служат, а Москва, похоже, о них забыла. Но как к ним относятся, так и они будут относиться к делу. Наступает утро — на работу никто не выходит. Спят до обеда. Истребители, говорят, пусть подождут. Им и под Владивостоком неплохо.

А мне что делать? Через два дня должна приехать комиссия из округа — что я ей покажу? Разрытую землю да штабеля металлических полос, которыми должна быть выстлана площадка? Впрочем, как будет, так будет!..

Комиссия приехала, поглядела, записала что-то в свои блокноты и отбыла. А я остался со своими разозленными строителями. Уговоров работать, как должно, они не слушали. По-прежнему сачковали...

Приехал командир полка, сказал, что он демобилизуется, его обязанности возлагаются на начальника штаба. Через некоторое время начальник штаба звонит мне по полевой связи и сообщает, что в полку ЧП: обворовали кассу финчасти. В воровстве подозревают одного из моих солдат-строителей. Поэтому я должен срочно явиться в гарнизон. Приехал — там большой «шмон», ищут вора. Если не найдут, начет наложат на командира полка и на командира батареи, то есть на меня. Нашли богача! Я сказал, что раз так, на аэродром больше не вернусь!..

Офицеры тем временем разъезжались на новые места службы. На меня же никакого приказа не было. Я терпеливо ждал. И дождался, узнал, что на днях отходит последний пароход, навигация закрывается. На полгода! Пошел к начальнику штаба: «Что мне делать?» Тот говорит: «Решайте сами. Вам тут оставаться нельзя, полка больше нет». Полка и впрямь нет — поселок опустел. Но и приказа на меня нет! Уехать самовольно? Без приказа? Да черт с ним с приказом!

С боем, без документов на отбытие прорвался с женой и сыном на тот последний пароход. Вновь, как и по дороге сюда — поздняя осень, на море бушует шторм. Все пассажиры лежат вповалку — морская болезнь. Только мой двухлетний сынишка не боится качки, шляется по коридорам парохода и у всех просит колбасы. Очень любил колбасу...

Во Владивостоке — снова Вторая Речка, казармы с двухъярусными нарами, где спят все — и мужчины, и женщины, и дети. Тысячи, если не десятки тысяч офицеров, сорванные с прежних мест службы, маются, ждут, когда выяснится, куда кому надлежит отправиться. Ждали, наверное, месяц. За это время мой Сережка побывал в больнице с ангиной, хотя думали, что дифтерит.

Когда дошла очередь до выяснения моей судьбы, кадровики очень удивились: «Лейтенант Быков? Так он же еще весной получил назначение на Сахалин, в гаубичный артполк! Почему он не на Сахалине?» «А кто мне сообщил об этом назначении?» — думал я, едва сдерживая безмолвное возмущение. Возмущаться вслух было невозможно. Себе дороже.

И вновь — почти уже зимнее море, шторм, шквальный ветер. Ужасная, изматывающая ночь до самого Корсаковского порта.

Гаубичный полк стоял в лесу за Долинском. Как-то туда добрался. Дали квартиру — подселили к помполиту полка. Общая кухня, тесная комнатенка, разумеется, холодная... Не успел принять дела в батарее, как получаю новый приказ: ехать с командой моих батарейцев на отгрузку и охрану древесины. Один из интендантов части сказал мне: «Смотри, лейтенант, там дело нечистое. Дрова пропили, разворовали, а теперь, когда всё замело снегом, хотят выдать как целехонькое. Как бы не довелось тебе платить...»

Опять платить! Как всегда — в 12-кратном размере. Не успел приехать и уже подставляют! Конечно, кого же подставлять, если не чужого! Новичка! И я назавтра сказал: «Не поеду!» — «Как это не поедешь?» И впрямь диво: офицер отказывается выполнить приказ. «Так ведь — гауптвахта!» — «Хорошо, пойду на гауптвахту!» И пошел на десять суток. Сам командир дивизии мне их назначил.

Взял с собой на отсидку толстую книгу (*«Угрюм-река» Шишкова*). И вспомнилось, как отбывал гауптвахту в Николаевке. Нет, здесь, в Долинске, немного иначе. Здесь либерализм. Сиди, полеживай, читай... Вечером заглянет кто-нибудь из знакомых офицеров, побывавших здесь некогда под арестом, принесет бутылочку и рыбца на закусь. Угощаемся. Да еще начальника караула угостим. Нет, армия наша явно преображается. Еще совсем недавно такое было немыслимо.

Отсидел все десять суток, выпустили поздним вечером. Вышел на улицу — снежок падает, а радио в клубе громко, так, что слышно на весь поселок, передает сообщение, что состоялся суд над изменником родины, агентом нескольких иностранных разведок, подлым заговорщиком и провокатором Лаврентием Берия. Суд применил к нему высшую меру социальной защиты — расстрел, и приговор уже приведен в исполнение. Это было для меня как бальзам на сердце — хоть одним из этих стало меньше.

Вернулся в полк почти уверенный, что уж теперь меня не пошлют «на дрова». Наивный человек, забыл, с кем имею

дело, — с начальством, которое всё равно своего добьется. Училось этому на протяжении всей своей службы... Через пару дней вынужден был отправиться в окрестности шахтерского поселка, который был моим тезкой — он назывался Быков!.. Недалеко от Быкова и валили лес на дрова. И вот сижу вечером в жарко натопленной подсобке со своим новым помощником, старшиной Гузом, и Гуз меня успокаивает: ни полена дров здесь не пропито и не украдено. Потому что нечего было пропивать, нечего красть. Летом заготовщики подавали начальству дутые цифры: мол, заготовлено столько-то кубометров дров, а их в помине нету. Сугробы снега, и только. Отлегло на душе. Думал, что придется платить за недостачу...

Слава Богу, недостачи не было, поскольку заготовленные дрова оказались фикцией. Но фикцией не отопишься, и я получил железный приказ: заготовить необходимое количество дров и доставить в гарнизон.

Лес валили на склоне горы, возвышавшейся за дальней околицей поселка Быков. Для вывозки бревен мне дали полуразбитую полуторку, которая то и дело ломалась. Сперва бревна сволакивали с горы к проложенной в снегу временной дороге, там грузили на полуторку и на ней через огромную седловину везли за 20 километров на железнодорожную станцию, где бревна перегружали на платформы. И так всю зиму того злополучного года. А весной, как только сошел снег, в тайге начались пожары.

Страшная это вещь, лесной пожар! Мы гасили их сутками напролет, без всяких там пожарных причиндалов — подручными средствами, коими были лопаты и собственные ноги. Затаптывали огонь до изнеможения. Но несмотря на все наши старания пожары метались по всей тайге, уничтожая тысячи гектаров ценных хвойных пород. Когда наступает трескучая лавина огня, от нее убегает все живое — зайцы, лисицы, барсуки, медведи. Все вместе. Ни один зверь не нападает на другого и, что любопытно, ни один не боится человека. Напротив, в человеке видят защиту, ждут от него помощи. И мы помогали зверям, гнали в более-менее безопасное место. Один молодой медведь прибился к нашей

лесной стоянке, где пахло свиной тушенкой и кашей, и с неделю жил рядом с нами.

Летом, когда надобность в дровах отпала, я вернулся на батарею.

**Тут была** другая напряженка — форсировали боевую подготовку, потому что ожидалась проверка боеспособности дивизии какой-то комиссией министерства обороны. Солдат и младших командиров это мало волновало, всяческих комиссий всегда было хоть отбавляй, но высокое начальство перед комиссиями из Москвы паниковало и до их приезда создавало свои комиссии, дабы упредить московских проверяющих. Армия, таким образом, управлялась бесконечными комиссиями и бесконечными совещаниями после них, где «накручивали хвосты». Только наш новый командир дивизиона подполковник Дятлов, в отличие от других старших офицеров, всегда был спокоен, не боялся никаких комиссий. Этот влюбленный в артиллерию офицер, неплохой математик, по наивности думал, что главное — научить нас мастерски стрелять из наших гаубиц, а не марафет наводить в расположении части, траву выпалывать да соринки подбирать в страхе перед комиссией. Поначалу это ему удавалось. Из недели в неделю он настойчиво делал из нас, комбатов, профессионалов, мастеров меткого огня. Мы, трое его подчиненных, неплохо провели самые трудные и сложные батарейные стрельбы по морским целям. Успешно провел стрельбы и весь дивизион. Комдив мог быть доволен и даже рассчитывать на поощрение со стороны начальства. Но, как известно, дьявол в армии никогда не спит, он всегда на бессменном дежурстве.

Подстерег дьявол и наш дивизион — в одну недобрую ночь загорелась казарма. Поскольку она, как почти все строения в тех краях, была деревянная, то к утру и сгорела до тла. Люди не пострадали, но сгорело много оружия, техники, различного военного имущества. Во время пожара, когда уже работали пожарники, в пылающей казарме стали взрываться снаряды, завизжали осколки. Как потом выяснилось,

снаряды эти были припрятаны старшинами в каптерках, чтобы всякий раз перед имитационными стрельбами не бегать за боезарядом на склад.

До сих пор удивляюсь, как это Дятдов не потерял из-за того пожара погоны. Да и мы вместе с ним. Отыгрались на немолодом уже командире полка — отправили на пенсию. Должно быть, это спасло остальных офицеров. Что до меня, то я в очередной раз подал рапорт на демобилизацию. Поскольку все мои предыдущие рапорты на сей счет были безрезультатными, то я обратился к министру обороны маршалу Малиновскому, который был депутатом Верховного Совета СССР от нашего округа. Это давало мне право как избирателю на личное обращение к министру. Долго не было никакого ответа, и я подумал было, что мой рапорт до маршала не дошел. Как вдруг ранним январским утром мне позвонили из Долинска и сказали, чтобы я немедленно явился в штаб дивизии. Единственную пешую дорогу в Долинск замело метелью, и я пошел по железнодорожным шпалам. Мороз был градусов под 30, а вдобавок ветер дул в лицо. Но я упрямо шагал, радуясь, что, должно быть, наконец, наш депутат уволит меня из опостылевшей мне армии, которая уже превратилась в вечное мое проклятие. Замерзший, с наледью на бровях и ресницах, отыскал нужный мне кабинетик штаба, вошел, доложил. Молодой франтоватый офицер-кадровик покопался в лежавших перед ним на столе бумагах, нашел искомую, поднял на меня равнодушный взгляд: «Вы обращались к министру обороны, маршалу Советского Союза, депутату Верховного Совета Союза ССР товарищу Малиновскому?» — «Да, обращался». — «Получен ответ. Зачитываю: «Согласно Конституции СССР служба в Вооруженных Силах является священной обязанностью каждого советского гражданина. Разъяснить товарищу Быкову В. В., что он, как гражданин Советского Союза, обязан целиком и полностью исполнять требование Конституции. Подписано: министр обороны СССР, маршал Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР Р. Малиновский». Вам все понятно?» — «Понятно...» — «Распишитесь вот здесь, что ознакомились с ответом».

Пришибленный, подавленный вернулся в свой таежный поселок. Окончательно стало ясно, что по-хорошему из армии не вырваться. Оставался один выход — скандал. Но для этого нужно обладать соответствующим характером, без мягкотелости, как у меня. При этом, провоцируя скандал, необходимо не переборщить, а то вместо демобилизации загремишь под трибунал. Как один мой давний дружок Лешка Климов, который, напившись, натравил на начальника штаба свою овчарку. И получил срок. Из одной неволи угодил в другую, еще худшую.

О своем рапорте на имя Малиновского я рассказал одному из сослуживцев. И он, выслушав, рассмеялся: «Чудак-человек, к кому ты вздумал обращаться! Что мы министру? Станет он вникать в наши судьбы! Вот, послушай, как со мной было. Я в армии с войны, а всё еще командир техроты. Приехал как-то сюда Малиновский с инспекцией, собрал офицеров — какие жалобы? Ну я и сказал: очередное звание не присваивают, 15 лет в капитанах хожу. Он говорит своему адъютанту: запиши. Тот записал. Жду. Осенью приказ о присвоении очередных званий. Параграф первый: звание полковника присвоить... Параграф второй: звание подполковника присвоить... В параграфе третьем перечислили тех, кому присваивалось звание майора. Меня в этом списке не было... И вдруг слышу: присвоить звание капитана, командиру технической роты Степаненко, то есть мне! Я встал, плюнул и вышел. Спасибо за заботу, товарищ маршал! Уважили! Так и хожу — дважды капитан!..»

Я молчал, думая о своем: мне ведь не звание нужно, не о нем я хлопочу. Мне нужно, чтобы меня отпустили на волю. Осточертел мне этот русско-японский Восток. Я хочу домой! Уже четыре года, как я не был в отпуске, я изнемог на чужбине от тоски по своим милым ольшаникам. Что мне эти таежные кедры и заросли бамбука! Мне опостылела армия с ее вечным неустройством, нелепицей, с ее палочной дисциплиной, — отпустите меня домой!.. Но это кипело в душе, оставалось глубоко личным, — на службе я обязан был подчиняться всему, что было мне ненавистно. Каждый день — в 9.00 — развод на занятия. Я, как командир батареи, должен

был прийти до развода, принять рапорт дежурного и проверить качество «заправки коек». О, эта заправка коек, с проверки которой начинался каждый божий день! В армии это «пунктик», род помешательства. Как заправлены койки — проверяли сперва дежурные, затем старшины, затем комбат, затем комдивизиона. А мог проверить еще и командир полка, и начальник штаба. И это не дай Бог, потому что уж они-то непременно обнаружат, что койки заправлены где криво, где не гладко, и узрят в этом преступление против советского государства. Можно быть отличным специалистом своего войскового профиля, во всех отношениях грамотным офицером, «преданным делу Ленина—Сталина», но если в твоей аттестации будет записано, что ты недостаточно требователен к соблюдению правил внутреннего распорядка — к той же заправке коек! — никакого повышения тебе не видать. Я не жаждал повышения, поэтому однажды и навсегда плюнул на внутренний распорядок. Однако начальство мое всё свое внимание сосредоточило именно на том, как у меня обстоят дела с внутренним распорядком. Что и было отмечено в характеристиках и аттестациях лейтенанта Быкова. Из коих можно сделать вывод: как лейтенант Быков относился к армии, так и армия относилась к нему. Служба и Быков были несовместимы.

**В соответствии** с имеющим силу закона положением о прохождении службы офицеры на Дальнем Востоке должны были прослужить три года, а затем переводились в центральные или западные округа. Перевод осуществлялся путем замены: на твое место должен был прибыть офицер оттуда, из округа, в который тебя переводили на его место. Обычно «дальневосточники» просились в наиболее благополучные округа — в Московский или Киевский, в Закарпатский, иногда в Прибалтийский. Служить в Белоруссии желающих было мало, считалось, что жизнь там бедная. И я решил, коль скоро с демобилизацией у меня ничего не получается, добиваться перевода в Белоруссию. Подал рапорт, что желаю служить в Белорусском военном округе. И на шестом году моей даль-

невосточной службы пришел приказ о моей замене. Надлежало сдать батарею, рассчитаться со всеми службами части и отбыть в город Осиповичи, БССР. Я осторожно порадовался и начал сложную процедуру расставания с полком.

Сдать батарею, орудия и всю технику, прочее имущество оказалось не так-то просто. Каждый день обнаруживалось «отсутствие наличия» то того, то другого. Что-то потерялось, что-то своевременно не было списано, хотя давно пришло в негодность. Однако числилось за батареей. Что-то давно передали другому подразделению, но в полковых документах факт передачи не оформили.

Когда почти со всеми пропажами разобрались, выяснилось, что не хватает одного крупнокалиберного пулемета, который когда-то использовали на имитационных стрельбах. Из-за этого чертового пулемета я мог остаться зимовать на Сахалине! Выход подсказал один опытный служака, спросил: «У тебя найдутся восемь рублей 20 копеек? Сбегай в магазин, купи бутылку коньяка и угости начальника службы боепитания». Я так и поступил. Когда мы с начбоем вышли вечером из забегаловки, я поинтересовался, где он достанет тот пулемет? А майор говорит: «На кой ляд мне его искать? Я его просто вычеркну из книги учета...»

Наконец всё было позади, все «бегунки» подписаны, и я получил документы на проезд от Сахалина до станции Осиповичи, Белорусской ССР. Ехали целую неделю, если не дольше, маялись на боковых полках плацкартного вагона. И вот — Москва. Жена с сыном в Москве не задержалась, поехала проведать сестру, которая жила в подмосковном Монино, а я отправился смотреть столицу. Начал, разумеется, с Красной площади, которая оказалась совсем не такой большой, какой я видел ее на красочных открытках, зато стены Кремля оказались гораздо выше, чем представлялось по тем же открыткам. В длинную очередь в мавзолей не стал, побрел вверх по улице Горького. Ходил, глазел, чувствуя себя стесненно среди столичного люда, — дикарь из тайги в цивилизованном городе!.. Вид у меня, конечно, был не ахти — пропотевший китель, юфтовые сапоги... Проголодался, и

решил зайти в кафе. Долго колебался, но есть хотелось всё больше, и я вошел. Официантка смерила меня пренебрежительным взглядом и сквозь зубы спросила, чего я желаю? Чего я мог пожелать? Сто грамм и что-нибудь на закуску. Она спросила: «Омлет?» Пусть будет омлет. Выпивать в одиночестве не очень хотелось, но сработала застарелая конфузливость, чувство, что неудобно перед официанткой — не заказать выпивку. Откуда такое чувство? Не знаю. Но и когда-то в Николаеве, когда утром шел на службу вместе со своим сослуживцем Валькой Бахтигозиным, было то же самое. Позавтракать дома мы не успевали, а на улице было полно лотков, в которых продавались бутерброды с килькой и водка в разлив. Покупать одни бутерброды нам было стыдно, и мы заказывали по сто грамм. Бойкие тетки-лотошницы деланно удивлялись: ай, ай, такие молодые хлопцы, что вам сто грамм. Возьмите по двести! И мы соглашались: давайте по двести! Так и тут. Постеснялся обойтись без водки. Ну и пошло: выпил сто грамм, затем еще сто. И прекрасно! И очень даже! Настроение поднялось, и Москва в моих глазах сразу похорошела!

...В военной комендатуре станции Осиповичи — конечном пункте моего назначения — узнал, что полк, в который я должен явиться, находится вовсе не в Осиповичах, а в Лапичах, в лесном массиве. Узнал также, что это полк крупнокалиберных гаубичных орудий (*калибр ствола — 152 миллиметра*). Как туда добраться? Идите на шоссе и «голосуйте». Так мы и сделали (*я был с женой и сыном*). Остановили на шоссе полупустую военную трехтонку, забрались в кузов. С нами сел еще один офицер, капитан, который возвращался из города в Лапичи. Я с любопытством смотрел на осенние поля, уставленные белыми мешками — крестьяне убирали картошку. Погода была тихая, ясная: стояло бабье лето. И поля, и сосновые боры, подступавшие к лесному проселку, вызывали во мне щемящее умиление — столько лет эта неброская, умиротворенная красота являлась мне лишь в снах о родине!.. Попутчик-капитан стал рассказывать, какая теперь прекрасная рыбалка, как здорово ловится на блесну щука —

вчера он поймал во-о-от такую рыбину! Килограмма три! Я слушал его и вдруг подумал: «Буду служить!» Там, на Дальнем Востоке, было невмоготу, потому и рвался из армии. А тут — останусь. Всё же я дома, не на чужбине. Беларусь — не Курилы.

Это умиротворенно-идиллическое настроение несколько опало, когда увидел будущую свою казарму — старое, обшарпанное, построенное еще при Николае I здание из красного кирпича, которое чудом уцелело после двух мировых войн. Но подумалось, что, наверно, это хорошо, то, что казарма кирпичная, по крайней мере не сгорит, как горят деревянные казармы на Дальнем Востоке, и никому не придется отвечать за нее. Всё мне представлялось здесь лучшим, чем там, откуда я вырвался.

Идиллическое настроение совсем развеялось, когда в штабе меня ознакомили с приказом по округу о моем назначении. Я назначался не командиром батареи, а на штабную должность, то есть с понижением. Но, поразмыслив, я подумал, что, пожалуй, это и хорошо. Спокойней будет. Там же, в штабе, мне предложили зайти к замполиту полка. Он задал всего один вопрос: «Вы состояли в партии?» — «Нет, не состоял». — «Ну, всё, идите». К чему этот вопрос, я не мог не задуматься. Такие вопросы не бывают случайными.

На поиски квартиры мне дали два дня, и я в них уложился. Снял угол в хате колхозника, в деревне по соседству с частью. Угол — комнатенка — оказался темный и холодный. Хозяин вечно валялся пьяный, хозяйка ругала последними словами и его, и советскую власть. На меня смотрела косо: я был явно нежеланным квартирантом. Жена с сыном уехала в Гродно к сестре, которую мы когда-то оставили в нашей гродненской квартире.

**Один неглупый** офицер на Сахали[illegible] то сказал, что Советская Армия подобна звезде-пульсару, которая то сжимается, то расширяется, и в этом вся ее функция. В спокойном состоянии она существовать не может, покой для

нее — гибель. Вот она и пульсирует. Чтобы не погибнуть. Но при этом жаждет уничтожить как можно больше врагов, которые у каждой армии всегда найдутся. Зависимость существования армии от наличия врагов абсолютная. Как только создается армия, тут же обнаруживаются и враги. Проблема лишь в том, какой момент пульсации наиболее продуктивен в данный момент: сжатие (*сокращение применительно к армии*) или расширение? Выясняют это путем проб и ошибок. То увеличивают армию, то сокращают. То мобилизуют, ломая людям жизнь, то увольняют, опять-таки без малейшего внимания к человеческим судьбам. Осенью 1954 года Никита Хрущев объявил о сокращении Советской Армии на 55 тысяч человек. Уже нацеленный на «гражданку», я встретил эту весть с радостью, но тысячи других офицеров, которые решили навсегда связать свою жизнь с армией, оказались в полной растерянности. Им пришлось пережить самую настоящую драму жизни.

Не знаю, как происходило сокращение на Дальнем Востоке, но могу себе представить по той неразберихе, просто хаосе, которым сопровождалось недавнее увеличение. Не знаю также, как было в других частях БВО. У нас в Лапичах всех офицеров табуном погнали на медкомиссию. Военные медики работали как на конвейере — осматривали каждого мгновенно, однако почти у каждого что-нибудь да нашли. У меня — недостаточность митрального клапана, что повлекло за собой запись в моей медицинской карточке: в мирное время к военной службе не годен. А шесть лет назад, когда призывали, не обнаружили ничего. Тогда я был полностью годен!..

Рассчитался я со всеми службами полка быстро, поскольку пробыл здесь всего ничего и никаких задолженностей у меня не было. Покидая Лапичи, выпил на прощание со своим квартирным хозяином и пошел на шоссе «голосовать». Как приехал, так и уезжал. Только теперь была зима. Стоял на шоссе в ожидании попутной машины, ежился от холода, но впервые за долгие годы чувствовал себя свободным. Правда, радости от этого было почему-то мало. Наваливались

непривычные после армии заботы и тревоги. Успокаивало то, что на этот раз — я дома, а не где-то на краю земли. Уж дома как-нибудь не пропаду.

Через Минск приехал в Гродно, куда немного раньше отправилась жена с сыном. В Гродно настроение у меня еще больше упало, когда увидел квартиру сестры жены, моей свояченицы Веры, которая впустила нас с Надеждой Андреевной к себе. Муж Веры, Павел Андреевич (*он был офицером особого рода войск и служил в обкоме партии при первом секретаре обкома, в качестве как бы адъютанта*) не возражал. Но квартира была совсем крохотная, и хотя моя свояченица и ее муж встретили нас гостеприимно, я сразу понял, что долго нам нельзя тут оставаться. Надо искать жилье.

Я встал на учет в военкомате, несколько дней потратил на получение паспорта. В военкомате спросил у военкома насчет жилья, но военком сказал, что ничем помочь не может — обращайтесь в горсовет. В горсовете пообещали поставить на очередь на квартиру. Очередь льготная, для участников войны, так что ждите. Забегая вперед, скажу, что ждать пришлось три года, пережив за это время не одну квартирную драму.

Первая началась через неделю после того, как мы поселились у Веры.

Как-то вечером приходит с работы Павел и говорит: «Есть возможность заполучить для вас квартиру! Один наш работник выехал на постоянную работу в райцентр, сегодня его квартира освободилась. Надо занимать! Это, конечно, незаконно, но теперь все так делают, иначе не дождешься». Не очень мне хотелось идти на самовольное вселение, был уже у меня на сей счет кое-какой опыт. На Сахалине попытался занять самовольно не квартиру даже, а соседнюю клетушку, — вышвырнули через два дня. Но тут, может, получится. Может, уважат, если не меня, то Павла, дадут мне дожить в той квартире хотя бы до весны. Собрал узлы, поймал на улице машину и переехал.

Квартирка оказалась одной из самых запущенных, да и какая там квартирка — комнатушка и сени, двери во двор.

На двери замок без ключа продет в пробой для близира. Грубка неисправная, дымит. На подоконнике — телефон. Снял трубку — работает. Телефон этот вызвал у меня подозрение — почему он тут? И почему его не выключили?

Почему да отчего, выяснилось утром, когда в дверь громко постучали. Открыл. Вошли двое в штатском, поинтересовались, кто здесь поселился. Я объяснил, они молча ушли. Через пару часов вернулись, но уже с милиционером и управдомом: «Немедленно освободите квартиру. Почему? А потому! Освобождайте, иначе выселим силой».

В обед прибегает свояченица — у них тоже неприятности. Павла вызывали, угрожали привлечь к ответственности за самоуправство. Куда вызывали? Да в КГБ, он ведь там работает, в обкоме он — от них! А квартира эта, оказывается, тоже их. Конспиративная квартира, где они встречаются со своими... ну, понятно, с кем!.. «Вот это дела! — сказал себе Быков. — Вот это влез! Мало того, что сам влез, так еще и человеку навредил». Хотя, если подумать, перед Павлом моей вины не было, ведь он сам посоветовал мне занять ту квартиру...

Еще несколько дней стучали в дверь, угрожали и предупреждали. И я не выдержал, отправился на поиски другой квартиру. Мне повезло, встретил старого знакомого, художника Близнецова, рассказал ему о своей заботе, а он говорит: «Есть одна свободная квартира! Правда, холодная, без водопровода. Само собой без туалета. Кажется, даже света нет». Да хоть какая, решил я, лишь бы крыша над головой!

Квартира находилась на улице Подгорной, неподалеку от Немана. И под новый 1956 год я в ней поселился. Теперь, когда главная проблема была решена, оставалась другая, не менее важная — работа. Жена быстро устроилась на работу в одну из гродненских школ, а мне пришлось ждать. В редакции «Гродненской правды», куда я не замедлил наведаться, люди поменялись, прежнего главного редактора не было. Новый, Василь Булай, сразу спросил: «Вы член партии?» Услышав ответ, молча развел руками. Он вообще не любил выражать свои мысли словами. Усвоив уроки 30-х годов,

предпочитал изъясняться жестами, которые можно было истолковать как угодно. Но я понял его правильно — работы для меня нет.

Какое-то время подрабатывал в мастерской художественного фонда. Там тоже почти все художники были новые. Мой друг Виктор Морозов уехал на Украину, Дешка умер, Кох сидел в лагере. (*Вскоре он был реабилитирован и вышел на свободу. Выяснилось, что во время немецкой оккупации карикатуры на Сталина, в чем обвинили Коха, рисовал не он, а кто-то другой.*)

Я купил в комиссионке радиоприемник и по утрам, оставаясь дома один с сынишкой, слушал «Свободу» или Би-би-си. Бешено работали глушилки, но иногда кое-что можно было расслышать. Нравились многие передачи на культурологические темы — лекции Вейдле и Гольдберга на Би-би-си. То, о чем они говорили, было для меня абсолютно новым и очень впечатляло.

Там же, на Подгорной, написал первый после увольнения из армии рассказ, который отнес в редакцию «Гродненской правды» в отдел культуры. Познакомился с литконсультантом Михасем Васильком и возобновил знакомство с литработником отдела Ириной Суворовой. Я немного знал ее с 1949 года, с той поры, когда она, тогда студентка, проходила в «Гродненской правде» практику. О Михасе Осиповиче знал лишь то, что этот западнобелорусский поэт всего лишь год как живет в Гродно, до этого жил в селе Бобровня, за Скиделем. Это был очень усталый, помятый жизнью человек. Прежних его стихов я не знал, а в «Гродненской правде» он изредка печатал юбилейные вирши. На первой полосе, поскольку юбилейные. По случаю знакомства мы выпили с ним в харчевне на углу Советской и улицы Клары Цеткин. За чаркой я стал расспрашивать, как ему живется, и он заплакал. На все мои вопросы, в чем дело, он лишь безнадежно махал рукой. Впоследствии я узнал, что как раз в ту пору (*как, впрочем, и позже*) КГБ чего-то добивалось от Василька. Но чего именно — Михась Осипович так никому ничего и не сказал до самой смерти. (*Он умер в 1960 году.*)

В квартире было неуютно и холодно, за водой надо было ходить через три двора. Но зато я целыми днями был свободен и стал писать. Позже, когда я уже был автором ряда книг, довольно известным писателем, у меня спрашивали: почему я стал писать? Как это произошло? Какую истину я хотел открыть человечеству, чему хотел научить? Очевидно, — никаких истин; сразу почувствовал, что по натуре я не проповедник. Просто мне тогда необходимо было нащупать свой путь в жизни, как-то самоопределиться. Мне шел тридцать второй год, а в главном — в поисках своего места среди людей — я был начинающим. Определенного места в жизни у меня не было, что, безусловно, не могло меня не беспокоить, как любого человека, окажись он в моем положении. То, чем я занимался с юношеских лет, оказалось пустышкой, химерой, никому не нужной ерундой. Во всяком случае такое было у меня ощущенье. Утешало лишь то соображение, что вся эта пустая трата сил и времени происходила не по моей воле. По принуждению. Так распорядилась жизнь, судьба, люди — добрые и злые. Но прежде всего — власть, которая тогда стремилась определять всё — от глобальных целей до судьбы маленького человека.

В ту зиму писал много, почти не переписывал и почти всё рвал в клочки. Немногое доводил до финала. Обычно, с азартом начав, тут же остывал. Всё казалось неинтересным и плохо написанным. Остановился на одном рассказе, дал ему «вылежаться» месяц, перечитал, поправил и отнес в редакцию. Михась Василек сказал, что вынесет рассказ на обсуждение литературного кружка.

То заседание областных любителей литературы было первым и последним, в котором я участвовал. Собралось десятка полтора людей разных возрастов — студенты и пенсионеры, одна девушка. Главным арбитром был преподаватель пединститута, который беспощадно громил нас, словно врагов изящной словесности, посягнувших на основы литературы. Мне досталось больше всех. И от главного критика, и от одного из работников редакции, который красным карандашом подчеркнул в моем рассказе местоимение «он»

всюду, где оно встречалось. Испещренные этими подчеркиваниями страницы не оставляли сомнения в том, что рассказ плохой во всех отношениях. К такому выводу и пришли все литкружковцы: плохо! Потом Михась Василек утешал меня: так, мол, всегда бывает при первом обсуждении, когда автора еще никто не знает, но его сочувствие мало меня утешило. Очень нескоро я отважился высовываться со своими рассказами. Отважившись, послал новый рассказ в журнал «Маладосьць», который недавно стал выходить в Минске.

**Первого живого** писателя-прозаика я увидел случайно, там же, в Гродно. Иду как-то по Советской и вижу пожилого дядьку в соломенной шляпе, который остановился посреди тротуара и за кем-то наблюдает. При этом умиленно произносит: «Лукошко! Ты глянь, — лукошко!» И тут я увидел деревенскую женщину, которая с пустым лозовым лукошком в руке переходила улицу. А в дядьке, умилившемся лукошком, узнал знаменитого в те годы писателя Пилипа Пестрака.

Это был едва ли не последний из западнобелорусских писателей-коммунистов, сохранивших верность своим идеалам. Много лет он просидел в Гродненской тюрьме в камере-одиночке, где, кстати, основательно изучал марксизм, сам воспитывал себя как пролетарского революционера. Им он и остался на всю жизнь. Но был в то же время большой чудак и оригинал.

Уже в шестидесятые годы довелось мне вместе с ним в составе бригады писателей ездить по районам — в порядке «изучения жизни». Нам показывали животноводческие комплексы, силосные башни и тому подобное. При посещении одного из очередных свинарников, когда, облачившись в белые халаты, мы в него направлялись, Пилип Семенович придержал меня за полу: «Ты что говна не нанюхался? Пошли в автобус». Мы вошли в пустой автобус, и Пилип Семенович сразу выпалил: «Порядка в стране не будет!» Спрашиваю: «Почему вы так думаете?» — «Потому что власть захватили враги!» — «Какие враги?» — «Классовые!» Он помолчал, затем сказал, таинственно понизив голос: «У этого нашего

Т., у его родителей, было аж 80 гектаров земли. А у Б. — 40. А у вашего вожака Карпюка — 30. Вот они и руководят. До чего доруководятся...»

Классовые враги — это был пунктик Пилипа Семеновича. А в остальном он был человек порядочный. На писательских собраниях всегда выступал в защиту обиженных. Не ладил с начальством. Любил Бородулина. Может, не столько за стихи, сколько за аполитичность. Как это ни парадоксально. Чудачество его проявлялось во всем, но прежде всего в бытовом общении. Во все поездки он брал с собой старый, потертый до белесых проплешин портфель, из которого, едва заняв место в автобусе, всегда в уголочке, доставал пол-литра, шмат сала, несколько луковиц, хлеб. И приглашал всех: «Поговорим!» Если обедали в ресторане, Пилип Семенович не говорил официантке: «Принесите нам по двести грамм», говорил: «Дайте для начала 800!» Всегда платил сам.

Его конфликт с советской властью начался в сентябре 1939 года, когда Западную Беларусь освободили от гнета панской Польши. Выйдя из Гродненской тюрьмы, Пестрак бросился создавать революционные комитеты, чтобы отомстить полякам. Но Красная Армия привезла в Гродно свой «ревком», а пролетарскому революционеру, многолетнему политзаключенному Пилипу Пестраку сказали — осади назад. Он, естественно, обиделся. Но стерпел. Впоследствии его много раз обижали, осаживали всё круче и круче. Умер он в одиночестве, почти всеми забытый, оставшись автором единственного, хотя и толстого романа «Встретимся на баррикадах»... Хотя, нет, — он оставил еще один роман — «Середибор». Но я его не читал.

**Пришла весна**, в Гродно зацвели каштаны. Я перебрался на другую квартиру — тоже плохонькую, но с водопроводом. Постоянной работы всё еще не имел. И вдруг встретил на улице заместителя главного редактора «Гродненской правды» Андрея Абрамовича Соловьева. Поговорили, и он, прощаясь, сказал, чтобы я зашел в редакцию. Я не стал медлить, зашел назавтра же, и через несколько дней уже работал на

прежнем своем месте, которое пришлось оставить семь лет назад. В секретариате. Ответственным секретарем был теперь Андрей Колос, тоже новый человек в редакции, недавно переехавший в Гродно из Волковыска. Тут же, в комнате секретариата, работал художник-ретушер Володя Фридрихсон, — его судьба забросила на Беларусь из Архангельска. Судьба необычная. Он родился в семье обрусевшего немца, а когда началась война, выдал себя за еврея, чтобы избежать участи советских немцев, подвергшихся гонениям. Однако его разоблачили и он оказался в трудовом лагере на Северном Урале. Отбыл срок, вышел на свободу, окончил ВГИК, стал кинооператором. Но работы по специальности в Москве не нашел, вообще не нашел никакой работы, и подался в Гродно, где его пригрел всё тот же Андрей Абрамович, добрая душа. В секретариате по-прежнему работал Георгий Цветницкий, размечал шрифты, колдовал над макетами газетных полос. Моей обязанностью была вычитка тассовских и белтовских материалов, которые поступали в редакцию по телетайпу. Эти материала я должен был не просто вычитывать, но и переводить — тассовские на белорусский язык, белтовские — на русский. (*Газета выходила на двух языках.*) Приходилось эти материалы и править, для чего потребовалось основательное изучение стилистики. Андрей Абрамович вручил мне толстый том — курс газетной стилистики для студентов-заочников, обучавшихся журналистике. Том этот я добросовестно проштудировал.

Однако газетная практика сильно отличалась от пуританской теории, и моими правками журналисты были недовольны. Все так пишут, говорили они. Действительно, минские газеты, в том числе «Советская Белоруссия» и «Звязда» (*да и всесоюзная «Правда» тоже*) руководствовались собственными партийными правилами стилистики. Почему «Гродненская правда» должна руководствоваться другими? И я махнул рукой. Пусть идут, как шли до этого, все эти бессмертные выражения типа: ведут борьбу, ведут уборку, ведут заготовку. И тому подобное. Строгого ревнителя литературного языка газеты Николая Овчарова уже не было в редакции. С его «подозрительным» прошлым он тут продер-

жался недолго. Его уволили, и он уехал в Таганрог, где стал простым рабочим на заводе комбайнов. А ведь это был подлинный знаток языка, такие среди газетчиков встречаются редко.

В начале лета в отделе культуры мне дали прочесть один материал, в котором говорилось о несправедливостях в распределении квартир. На основе этого материала я в свой выходной день написал фельетон. Ирина Суворова в моем присутствии отдала этот фельетон Андрею Колосу, присовокупив определенные комплименты в адрес автора. Это заставило меня смутиться. Не привыкший к похвалам, я не знал еще, что в определенных случаях упреки стерпеть легче, чем похвалу. Тем более, если хвалят прилюдно да еще женщина, которая тебе симпатична.

Кажется, в одном из летних номеров «Маладосьці» напечатали мой рассказ «Утрата». А в скором времени этот же рассказ был опубликован в московском журнале «Советский воин». Перевел его на русский язык военный журналист Яков Плехов, который тогда тоже начинал свою литературную деятельность. Публикация рассказа в двух журналах одновременно сразу возвеличила автора в его собственных глазах, хотя я старался ничем не выдавать свои чувства. Очевидно, боялся спугнуть неожиданную удачу. Тем более, что, прочитав оба текста, нашел в них массу слабины и даже несуразностей, из-за чего долго страдал. Эти переживания стремился заглушить работой над новыми вещами, которые, казалось, получаются лучше, потому что приобрел уже какой-то опыт.

К сожалению, лучше не получалось. То ли опыта оказалось маловато, то ли, что более вероятно, сработал закон: всякий раз, когда начинаешь новую вещь, чувство такое, как будто взялся за перо впервые в жизни. Впоследствии не раз убеждался в справедливости этого наблюдения, о котором прочел, кажется, у Парандовского, в его «Алхимии слова». В то время я прочел много книг подобного рода — о технологии писательского труда. Думалось, именно в этой технологии секреты писательского успеха. Оказалось — не в ней. Или не только и не столько в ней. Главное — знание жизни и культура. Одно без другого в литературе мало значит. У меня,

казалось, знания жизни хватало, был опыт, насмотрелся на многих людей, на человеческие типажи. Культуры, конечно, не хватало. Но со временем понял, что культура — вещь неизмеримая. Сколько бы ее у кого-то не было, вряд ли можно сказать, что достаточно. Культура — море, безбрежный океан, который человечество наполняло тысячи лет. Впрочем, жизнь тоже необъятна. Очевидно, никто не может объять всю культуру и знать жизнь во всех ее проявлениях.

Но нашего человека мало заботила мировая культура — ему лишь бы дотянуться до культуры советской. Национальной по форме и социалистической по содержанию. Специалисты в области этой культуры воспитывались партией, обучались в вузах, усердствовали в литературоведении и филологической науке. Академия наук Беларуси издала русско-белорусский словарь под редакцией академика Крапивы. В этом словаре белорусская лексика уподоблялась русской, что, по замыслу составителей словаря, должно было способствовать слиянию народов в одну братскую семью. Народы не слились, но вред языку тот словарь причинил немалый, что сказывается поныне.

Работая в секретариате «Гродненской правды», я вынужден был править белорусские тексты, сверяясь с этим словарем, хотя мой собственный белорусский язык часто противился этому насилию. Вспоминались мамины слова и выражения, они были совсем другие, даже иной природы, но их в материал не вставишь. Всё равно вычеркнут корректоры, перед которыми лежит на столе всё тот же словарь академика Крапивы, удостоенный Государственной премии и имеющий силу закона.

**Что уж тут** говорить о языке художественной литературы, о партийной чистоте которого заботились партийные редакторы всех литературных изданий. А еще более усердно их молодые подручные. Первый мой писательский конфликт с редакторами возник именно из-за языка. Мои рассказы мне возвращали испещренными пометками-придирками к моему языку. Это, конечно, было неприятно, но в то же время

помогало уразуметь, чего хотят от писателя, получить предъявление об уровне тогдашней литературы и в какой-то степени адаптироваться к нему.

В конце года я получил приглашение Союза писателей на ежегодный семинар молодых, который проводился в Королищевичах под Минском, в Доме творчества имени Якуба Коласа. Милый, уютный этот дом (*особняк партийного функционера, которого он лишился, попав в опалу*) много лет служил и содействовал белорусскому слову, через Королищевичи прошли чуть ли не все тогдашние молодые. Маститые могли там перевести дух после партийной задышки на местах своей службы. Там, под сенью сосен и елей, все становились как бы равными, погружались в свой внутренний мир и творили, творили...

Как и что — это уже другое дело. Каждый создавал свое и по-своему. Мележ отличался от Последовича, Бровка писал иначе, чем Кулешов. Допущенные туда на неделю, мы смотрели и слушали. Профессор Гуторов пламенно ораторствовал о методе социалистического реализма, самом, по его убеждению, прогрессивном в мире, раскрывал постулаты марксистско-ленинской эстетики. Шамякин, опираясь на собственный опыт партийного романиста, нацеливал на отражение авангардной роли партии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Владимир Карпов заострял наше внимание на происках западных агентов, бывших каллобарантов, которых необходимо разоблачать. Брыль на этом внимание не заострял, больше говорил о лирической прозе, явно имея ввиду собственный рассказ «Галя». Брыль тогда нравился молодым, Мележа еще знали мало и никто не ждал от него такой вещи, как «Люди на болоте». Мы, полтора десятка участников семинара, приехавших из провинции, читали и обсуждали привезенное с собой, хотя всё было так себе и не запомнилось. Разве что «Зоня» молодого прозаика Вячеслава Адамчика. Адамчик был признан несомненным талантом, про него говорили: молодой, а смотри, какие у него образы стариков! Он, и правда, описывал их здорово. Мои военные рассказы не очень критиковали, но и не хвалили. И, должно быть, были правы.

Тогда, как, впрочем, и всегда, литературу ориентировали на современность, на отражение досрочного выполнения очередной пятилетки. И еще — на прославление передовиков, стахановцев, ударников коммунистического труда. Война с ее героизмом всё больше исчезала в прошлом. Впрочем, никто по этому поводу особенно не печалился...

После семинара из всего, что у меня собралось, составил первый свой сборник рассказов и отослал его в издательство. Мариновался он там довольно долго, а затем подготовить его к печати поручили одному из редакторов издательства, Владимиру Домошевичу. Ему пришлось не только редактировать текст, но и отстаивать мои литературные идеи, которые не во всем были традиционными и не удовлетворяли издательское начальство. Но у Володи был характер, а главное — собственный взгляд на литературу, отличный от казенного взгляда многочисленных начальников.

В конце концов заполучил более-менее нормальную квартиру, правда, с субквартиранткой, одинокой бухгалтершей Евдокией Васильевной, бок о бок с которой и прожил лет десять. На той квартире у меня уже было двое сыновей — второй, Вася, родился в мой день рождения, поэтому его так и назвали — Василь Васильевич. За домом был симпатичный дворик, с деревьями, вымощенный на западный манер брусчаткой. Когда-то здесь было монастырское подворье, соединенное с соседним зданием, в котором находилась редакция. Здание это мне тоже нравилось. В нем было два этажа, на первом разместилась типография с ее линотипами, верстальным цехом, цинкографией и телетайпом, весь второй этаж занимала редакция. Потолки во всех кабинетах отделов были высокие, окна тоже высокие. Паркетный пол. Единственное неудобство — кафельные грубки, которые не очень-то грели зимой.

Когда я стал печататься, мой коллега по секретариату Володя Фридрихсон часто заводил разговор о литературе. Он неплохо знал русскую классику, да и западную, особенно немецкую, вспоминал разные литературные коллизии 20-х годов. Мои военные рассказы воспринимал с изрядной долей дружеской иронии, особенно то, что касалось героизма.

**И я впервые** почувствовал обратную сторону того, на что рассчитывал, думая о восприятии моих произведений читателем.

Впрочем, Володя Фридрихсон, человек вообще умный, едва ли не всё прошлое (*да и современность тоже*) воспринимал с иронией, скрывая за нею скепсис интеллигента — природу и смысл этого скепсиса я понял через много лет.

В наибольшей мере Володины скепсис и ирония донимали его коллегу, чьи снимки он ретушировал каждый день — фотографа Виктора Костина. Этот ветеран войны, бывший танкист, многое пережил на воине и совсем не был настроен на чью-то иронию по отношению к нему. Не считаясь с этим, Володя долго издевался над письмом, которое Костин получил из Москвы в ответ на свой запрос о награждении его, Костина, медалью «За взятие Берлина». В письме говорилось: «Гражданину Костину В.П. На ваш запрос относительно награждения вас медалью «За взятие Берлина» сообщаем, что Н-ский Житомирско-Фастовско-Берлинский, орденов Ленина, Красного Знамени, Кутузова и Суворова танковый корпус участия во взятии Берлина не принимал и права на награждение вас указанной медалью вы не имеете. Начальник наградного отдела полковник такой-то...» «Вот это да! Корпус-самозванец!» — иронизировал Фридрихсон. Костин возмущался.

Тогда же я познакомился с гродненским прозаиком Алексеем Карпюком. Как-то столкнулись на крутой редакционной лестнице, и Карпюк бросил мне в обычной своей торопливой манере: «Здорово! Говорят, повесть пишешь?» — «Да, пишу». — «Правильно, пиши!» И побежал вниз. В то время он уже был автором книги «В одном институте», пережил не одну драму жизни и, кажется, был тогда без работы. Позже жизнь на долгие годы свела меня с этим необыкновенным человеком и писателем, немало радости и горя мы пережили вместе.

Кажется, в 1958 году в журнале «Маладосьць» появилась повесть главного редактора журнала Алексея Кулаковского «Добросельцы». В повести этой очень достоверно и правдиво была показана жизнь белорусской деревни в пер-

вые послевоенные годы. Ничего подобного до появления «Добросельцев» у нас не было. Но именно своей правдивостью повесть и напугала партийное руководство, которое не замедлило показать свою власть. В партийных газетах появились разгромные статьи о «Добросельцах», Кулаковский был снят с поста главного редактора «Маладосьці». И вот, будучи по каким-то своим делам в Минске, мы с Карпюком решили посетить опального писателя, чтобы высказать свое восхищение повестью и возмущение нападками на нее. Кулаковский еще занимал свой кабинет в редакции «Маладосьці», куда мы с Карпюком и явились в конце рабочего дня. Общее наше мнение высказал писателю Карпюк. И вдруг Кулаковский стал опровергать все наши оценки, сказал, что идея повести порочна и он жалеет, что написал эту повесть. Потому что он — искренний коммунист и жаждет во всем помогать партии. Мы с Карпюком вышли от него, словно мыла наевшись, и Карпюк всю дорогу плевался: «Называется, посочувствовали! Он нам даже спасибо не сказал».

Общественный климат в ту пору определяли два недавних известных партийных съезда, которые изрядно всколыхнули внутреннюю жизнь страны. Литература отозвалась на это прежде всего неожиданным взлетом сатиры, у которой за годы советской власти (*особенно после расправы над М. Зощенко*), казалось, были выбиты все зубы. В газетах и журналах стали появляться хлесткие фельетоны и сатирические миниатюры, появились новые сатирики. Из новых мне очень нравился А. Зверев, к сожалению, рано умерший. (*Транспарант на здании больницы: «Советские больные — самые здоровые в мире!» Или: «Помни! Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь государству!» Это — Зверев.*) Постепенно стал обретать характер и белорусский «Вожык», хотя его критические стрелы были направлены не дальше домоуправления. Этот наш сатирический журнал напечатал кое-какие мои фельетоны, и главный редактор Павел Ковалев пригласил меня в Минск, чтобы познакомиться лично. (*В те годы личное знакомство с автором было обязательным, а до этого изучалось его прошлое, социальное положение, отмечалось — партийный он или беспартийный.*) Однажды, приехав в

Минск за гонораром по «Вожыку», я заодно и познакомился с Павлом Никифоровичем. Для закрепления знакомства пошли в ресторан. Нашей компанией не побрезговали и другие работники «Вожыка», и не только сатирики. Итогом сотрудничества с «Вожыком» стала книжечка моих сатирических рассказов под характерным названием «Ход конем».

**Я писал рассказы**, всякий раз меняя темы: то брался за войну, то за молодежные проблемы. Один «молодежный» рассказ послал на фестивальный конкурс и получил первую премию по номинации прозы. Такую же премию получил тогда молодой начинающий писатель из Орши Владимир Короткевич. Некоторое время спустя мы бегло познакомились в Минске, но общих друзей у нас не было, и следующая встреча произошла нескоро. Естественно, я пробовал сотрудничать с «Чырвонай зменай», через которую, говорят, прошла вся молодая литература. Но рассказ, который я послал в «Чырвонку», жестоко раскритиковал работник редакции Иван Колесник, приехавший по какой-то своей надобности в Гродно. И я с ним, в общем, согласился. Зато рассказ на военную тему, предложенный газете «Літаратура і мастацтва», понравился заместителю главного редактора Роману Соболенко, который сказал, что эту тему мне стоит развивать и углублять. Окрыленный его советом, я довольно быстро написал небольшую повесть «Журавлиный крик», которая в скором времени была напечатана в «Маладосьці» и вошла в мой первый сборник серьезной прозы. Этот сборник привез мне в Гродно заведующий отделом издательства Микола Татур, да еще с гостинцем — бутылкой армянского коньяка, который тогда можно было достать только по блату. Я почувствовал себя почти счастливым.

В редакцию «Гродненской правды» пришло горе — внезапно умер Михась Василек. Прощались с ним в Доме-музее Элизы Ожешко. Был теплый дождливый день, но несмотря на дождь народу собралось много. Теперь, когда Василек умер, оказалось, что гродненцы очень его любили, некоторые даже плакали, особенно пожилые люди, которые помни-

ли поэта с польских времен. Меня как члена СП перевели на должность, которую занимал Василек, и я перебрался из шумного секретариата в тихий отдел культуры. Это способствовало творчеству — свободного времени у меня стало больше.

Казалось, в стране оживилась вся литература — все жанры, второе дыхание приобретала военная проза. После книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда», «Волоколамского шоссе» А. Бека, повестей Э. Казакевича, одна из которых (*«Двое в степи», самая лучшая*) была разгромлена партийной критикой, можно было думать, что тема войны исчерпана и никогда не возродится. Однако же возродилась и засверкала ярче, чем прежде, главным образом стараниями молодых авторов, представителей так называемой «лейтенантской прозы». Сперва это были Юрий Бондарев с его повестью «Батальоны просят огня» и Григорий Бакланов с «Пядью земли». В этих книгах, в общем, не было Бог весть каких открытий, но была правда и боль войны, та правда, от которой советское общество уже почти отвыкло. (*Если когда-нибудь привыкало.*)

Примерно в это же время мне довелось прочесть небольшую повесть Бакланова «Южнее главного удара», которая меня почти ошеломила. Дело в том, что автор подробно и правдиво описал там несколько моментов, хорошо знакомых мне по собственному опыту участия в боях под венгерским городом Секешфехерваром, где меня ранило. Я был удивлен, как простая правда войны становится высоким искусством, какие, оказывается, глубины таит в себе банальный кусок жизни. (*Хотя война, конечно, не банальный кусок...*) А прочитав в «Новом мире» баклановскую «Пядь земли», я отложил всё, над чем работал, и с жаром засел за «Третью ракету».

Завершить ее за весну мне не удалось, а в начале лета — опять военные сборы. Военный городок под Новогрудком, строй, занятия. Опять уставы, политучеба, артиллерийские премудрости, которые я старался забыть. Но там всё напомнят. И всё же я весь был во власти своей неоконченной повести.

Наверное, ни одну вещь я не писал с такой одержимостью, как «Третью ракету», сам не знаю, почему. Бывало, как только начинался послеобеденный отдых и по обычному распорядку все шли спать, я бежал в тихий закуток солдатской курилки и там писал — карандашом в тетради. Ведь шариковых ручек тогда не было, технический прогресс нашу оргтехнику еще не затронул. Немалой проблемой была перепечатка написанного. Пишущие машинки были только в учреждениях, их использование строго контролировалось начальством учреждений и КГБ. На выходные и праздничные дни машинные бюро опечатывались. Приходилось както выкручиваться, пользоваться машинкой почти нелегально. И тут меня выручала Станислава Фаддеевна, а потом Ирина Михайловна, которая стала при этом первым и очень придирчивым критиком всего, мною написанного. Теперь я ей за это глубоко благодарен, а тогда, случалось, обижался.

Журнал «Маладосьць», с которым я уже наладил постоянное сотрудничество, в скором времени напечатал «Третью ракету». Главный редактор Пимен Панченко сказал мне по этому поводу несколько добрых слов. Похвала, конечно же, поднимала настроение, побуждала писать еще и еще. На каком-то совещании ко мне подошел молодой ученый и начинающий прозаик Алесь Адамович, который поздравил меня с повестью, сказал, что она утверждает на страницах белорусских литературных изданий правду о войне. Я был благодарен за внимание и поддержку обоим — и Панченко, и Адамовичу. И тоже радовался тому, что в стране появляется новая литература с новым видением мира. В частности, прошлой войны.

Главной идейно-художественной особенностью этой литературы стало признание, что на войне нашим врагом был не только немецкий фашист, но и, так сказать, свой враг, внутренний, который был не лучше немца. Прежде этот враг представал в образе предателя, труса или дезертира, и только. Теперь стали появляться образы перестраховщиков, карьеристов, эгоистов. Лучшие произведения новой военной прозы показывали, что в наших собственных рядах бывала борьба, которая по остроте мало в чем уступала бою на передовой.

В военной прозе впервые появился образ преступника-особиста, образ недотепы-политрука. Это было с энтузиазмом воспринято частью литературной критики, однако не всей. Партийная критика угрожающе прищурилась. Такого она терпеть не собиралась, она только ждала сигнала.

Хрущев своим ревизионизмом подкапывал традиционный фундамент советской культуры, замутил ее идеологическую стерильность. Даже позволил Твардовскому напечатать «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, эту рождественскую сказочку о лагерной жизни. Сперва надо было убрать Хрущева.

Как его убирали, теперь широко известно, — это был заговор членов политбюро, которые, когда Хрущев отдыхал в Пицунде, втайне от него собрали пленум ЦК, вызвали его на этот пленум и поставили перед фактом — он снят со всех постов. Но в политбюро обсуждались и другие способы. Тогдашний руководитель КГБ Семичастный потом писал, что разрабатывался план теракта в воздухе, когда Никита Сергеевич будет возвращаться из Египта. Этот вариант не был принят лишь потому, что могли погибнуть несколько десятков «ребят из КГБ» — охрана Хрущева.

Государственный корабль менял курс. Не было еще никаких постановлений на сей счет, а люди, близкие к коридорам власти, уже поняли, в каком направлении надо идти, и повыскакивали, чтобы не оказаться в хвосте. В Минск на должности главного редактора «ЛіМа» приехал выпускник ВПШ (*высшей партийной школы при ЦК КПСС*), партийный журналист Ничипор Пашкевич. Естественно, ему было невтерпеж проявить себя, засвидетельствовать партийный пыл, переоценить оцененное до него. Что-то не удовлетворяло его в последней повести Янки Брыля, но Брыль был лауреатом Государственной премии (*в 52-м году, когда он ее получил, она называлась Сталинской*), к тому же издал недавно звонкоголосый очерк «Сердце коммуниста». Очевидно, на роль мальчика для битья Брыль мало годился. Зато полностью подходил молодой прозаик из Гродно Василь Быков. И в скором времени в «ЛіМе» появилась огромная, на целый разворот статья под красноречивым названием «Ге-

рои или жертвы судьбы?». Вопрос звучал чисто риторически. Еще не прочитав статью, можно было понять, что автор «Журавлиного крика» и «Третьей ракеты» — недоумок и неумека, а его герои — жертвы и слюнтяи, с которых ни в коем случае нельзя брать пример. А если их образы созданы не для примера, то чему же можно у них поучиться? Почему не видно открытого осуждения автором его персонажей и их поступков?

Правда, были и другие мнения о повестях, неоднозначным было и отношении к статье Пашкевича. Некоторые писатели считали, что критика в принципе справедливая (*нет в повестях героев, с которых можно брать пример*), но не надо было бить автора обухом по голове. Тем более, такому критику, с таким громадным авторитетом, занимающему такой высокий пост. Вот если бы выступил кто-нибудь из молодых, с той же критикой, это было бы приемлемо!..

**Алесь Адамович** сказал при встрече: «Ты написал правду. Надо было еще злее. Ни в коем случае не уступай». Приехав в Гродно, доброе слово о моих повестях высказал мне Змитрок Бугаев. Поддержал меня и гродненский преподаватель Алексей Петкевич. Этого мне было достаточно.

Тем временем в Гродно образовалась целая группка писателей, членов Союза писателей БССР, и Гродненский обком партии вместе с минским писательским руководством решил создать областное отделение СП. Разумеется, для того чтобы удобней было нами руководить, влиять на нас, координировать и т.д. Нас всех пригласили в обком, и секретарем отделения предложили стать мне. Но я отказался в пользу Алексея Карпюка, который с надлежащим рвением взялся организовывать отделение. Первым делом он отвоевал для офиса зальчик в Доме Ожешко, обставил его мебелью. Затем стал хлопотать, чтобы писателей прикрепили к спецполиклинике. Это нам очень понравилось, и мы всячески поддерживали Карпюка. А он, приобретя соответствующий статус, стал забирать выше, вмешиваться в жизнь города, часто по самым разным делам ходил к обкомовскому начальству.

Между тем слухи о моей повести и о том, что происходит вокруг нее, дошли до Москвы. Консультант СП СССР по белорусской литературе переводчик Михаил Горбачев прислал мне письмо, в котором написал о намерении перевести «Третью ракету» на русский язык и приглашал автора в гости. Я поехал. Миша Горбачев оказался милым человеком, фронтовиком, родом он был из Беларуси, из Сенно. Мы с ним вкусно пообедали шашлыками в ресторане «Казбек», затем еще и поужинали вместе в Доме литераторов. Миша сказал, что скоро закончит работу над переводом повести, что печататься она будет в «Дружбе народов», уже есть договоренность. Но есть, правда, и одна проблема — Иван Мележ, роман которого не окончен переводом. Мележ обиделся: как можно ради какой-то «повестушки» задерживать перевод его романа! «Но ничего, — сказал Горбачев, — Мележ подождет». (*Мележ не стал ждать, а забрал роман и, не глядя на сделанное Горбачевым, передал его на перевод русскому поэту Д. Ковалеву.*)

В скором времени после опубликования повести в «Дружбе народов» появилась и рецензия в «Литературке». Автором ее был Григорий Бакланов, что меня очень обрадовало. То, что рецензию написал он, не было случайностью — об этом позаботился мой новый друг Валентин Оскоцкий, с которым меня познакомил в Москве Алесь Адамович. Добрая эта дружба продолжается по сей день, — всё же, должно быть, легкая рука была у незабвенного Алеся Михайловича. Бакланов очень хорошо написал о повести, сделав только одно замечание насчет перевода, что, конечно же, не понравилось переводчику. Может, однако, тут была и моя вина, потому что перевод до опубликования был мною авторизован. Но я тогда недостаточно свободно владел русским литературным языком и не мог вытянуть текст на должный уровень. Опять же, чтобы хорошо перевести с белорусского на русский, необходимо, чтобы он был первым твоим языком. Иван Бунин когда-то писал, что родственные, «сопредельные» языки особенно тяжело поддаются переводу, потому что очень близки по своей природе и еще не утратили перво-

зданной прелести, чтобы войти в семью развитых окультуренных языков.

«Два языка знать невозможно», — категорически заявлял прославленный мастер русского литературного языка. Потом я не раз вспоминал эти его слова...

**Белорусское партийное** руководство в очередной раз бралось за подъем сельского хозяйства и собственного кинематографа.

На студию пришел новый директор, деятельный и тактичный Иосиф Дорский, белорусскими писателями Кулешовым и Лужаниным «укрепили» сценарный отдел. Обычно сценарии на студию поступали из Москвы — те, которые не находили применения в столице. Теперь решили поискать дома. Прежде всего в литературе. Кто-то посоветовал студии экранизировать новую повесть Быкова — почти готовый сценарий. Так сказали и мне. Надо только поработать с режиссером-постановщиком, которым уже назначен молодой выпускник ВГИКА Ричард Викторов. В тех же Королищевичах готовится семинар сценаристов, приедут специалисты из Москвы, там можно будет довести сценарий до лада. Я взял в редакции отпуск за свой счет и поехал в Минск.

Дело было для меня новое, опыта никакого. Но на студии было столько толковых специалистов, талантливых режиссеров, что только слушай и учись. Используя их советы и под руководством режиссера, написал нечто неудобоваримое в литературном смысле, что называлось сценарием, а больше напоминало сомнительный конспект прозаического произведения. Пошла длинная череда заседаний, обсуждений, консультаций, утверждений. Писалось и переписывалось — сначала в Минске, потом в Королищевичах. Тут советчиков прибавилось: приехал профессор ВГИКА Константин Скворцов, работник киноглавка Белова и другие. В другом конце королищанского здания работали несколько кинодокументалистов и среди них молодой журналист Микола Матуковский, создавали какой-то фильм.

Несомненной пользой от того королищанского мероприятия была организация просмотра западных фильмов, которых не было в прокате, — «Веридианы» Бюнуэля, «Диктатора» Чаплина, «Детей райка» Рене Клера, японского фильма «Ришемон». А также некоторых советских фильмов 20-х годов, таких, как «Катька — бумажный ранет» и прочих. Эти фильмы ошеломляли наших кинодеятелей, которые не отваживались даже сравнивать с ними советскую кинопродукцию. Гости очень умно и эрудированно говорили о кино — нашем и зарубежном. Кино, говорили они, искусство коллективное, никакой самый гениальный художник в одиночку фильм не сделает. А поскольку это еще и дорого, а деньги государственные, то вполне естественно, что в этом деле участвуют, кроме студийного руководства, еще и Комитет по кино, Главный комитет в Москве, Союз кинематографистов. Ну и, разумеется, отдел культуры ЦК КПБ вместе с отделом пропаганды. И еще — политуправление военного округа, картина ведь о войне. Как-то мы подсчитали, что вмешиваться в кинопроцесс имеют право около шестидесяти человек, что-то запрещать, изменять, требовать. Чем, в общем, и занимались, потому что каждый хотел оправдать хлеб, который ел на своей хлебной должности. Пока длился подготовительный процесс, режиссер-постановщик исхудал и, похоже, начинал сходить с ума, не знал, на каком он свете. Автор сценария тоже. Простенькая сценка солдатского быта в окопе превращалась в предмет эстетико-политического диспута — как было, как надо, как не надо и что скажет начальство. Мы перестали считать написанные и отвергнутые варианты, остановились наконец на последнем, принятым условно. Лето кончалось, а вместе с ним могла уйти необходимая для картины натура, и группа выехала на съемки под Ветку, за Гомель.

Общими усилиями фильм был снят. Получился так себе, серенький середнячок. Снимался допотопной аппаратурой, на блеклую черно-белую пленку шосткинского производства. Зато во всех отношениях был правильный: героический, патриотический. С положительных героев можно было брать пример, отрицательные осуждались. Уже начав съемки, ре-

жиссер решил поменять оператора, нового пригласил из Москвы. Может он был прав. Мое участие в съемках было минимальным. Викторов в самом начале сказал тактично и добродушно, как он это умел: «Ты, писатель, сядь и сиди. Свое ты сделал, остальное — мое дело». Этот разумный совет я запомнил, хотя позже не всегда ему следовал. О чем не раз жалел.

Как говорили тогда опытные киношники — фильм может снять и дурак, но дурак никогда его не сдаст. Это было правдой. Процесс сдачи фильма, может, более тяжелый, чем съемки. Уже потому хотя бы, что сдают два-три бесправных человека (*режиссер, директор, сценарист*), а принимают десятки чиновников, наделенных высокими полномочиями.

**Тягомотно,** нервозно прошли через все белорусские инстанции (*киностудия, минкульт, политотдел военного округа, ЦК*) и повезли картину в Москву. Поскольку знали, что сдача фильма дело долгое и трудоемкое, устроились в самую дешевую гостиницу — на сельхозвыставке. Финансирование фильма было уже закрыто, деньги кончились. Дождались назначенного нам дня приема и отправились на знакомый каждому киношнику Большой Гнездниковский переулок, где находится киноглавк. Целый день шло обсуждение. Начальник главка, слоноподобный кинобюрократ Баскаков, выслушав все претензии к фильму со стороны своих придворных дам-придиралок, высоколобых специалистов, принять фильм отказался. Перенесли эту процедуру на следующий день, обязав режиссера что-то вырезать. Но на следующий день нашлись новые претензии. На третий то же самое. Командировочные наши кончались, жить в Москве было не на что. Тогда директор картины Тульман говорит режиссеру: «Звони в Минск, проси поддержки в ЦК. Ведь ЦК наш фильм одобрил, какого же рожна этим надо?» Викторов звонит в Минск, самому секретарю ЦК Шауро, говорит: «Вот ту сцену с немецким танком вы ведь одобрили? А тут какая-то Зусева возражает против нее, из-за этого фильм не принимают. Так как нам быть?» Наступила небольшая пау-

за, после которой товарищ Шауро говорит: «Товарищ Викторов, сделайте так, как советует товарищ Зусева».

Вынуждены были переделывать согласно указаниям товарищ Зусевой. Но что-то углядел сам Баскаков и приемный акт снова не подписал. Режиссер в панике — что делать? И тут один из его знакомых киношников-москвичей говорит: «Надо напоить Баскакова, тогда примет». Нам это показалось невероятным — как можно такое предлагать такому важному сановнику? Но пришлось. Викторов собрал всё, что оставалось у нас в карманах, и вечером отправился на Большой Гнездниковский. Мы остались ждать в гостинице. Ждали до ночи, не дождались и легли спать.

Утром постучались в номер Викторова, тот еще спал после вчерашнего. Не сразу проснулся, беззаботно потянулся и говорит: «Окей, хлопцы, акт подписан. Едем домой...»

Так мы сдали наконец многострадальный фильм. На экранах он прошел малозаметно, и я думал, что за следующий сценарий возьмусь не скоро. Получилось, однако, немного иначе.

После выхода «Третьей ракеты» отдельной книжкой и особенно после издания ее в Москве, критика немного изменила оценки повести. Фильм, каким бы он ни был, всё же укрепил позиции литературного первоисточника. Автор, однако, почувствовал полное разочарование, очевидно, на это повлияли незабываемые муки кинотворчества. Тем более что следующая повесть, написанная в ключе предыдущей, приобрела еще большую остроту в социально-психологическом плане. Однажды в частном разговоре за столом мой ровесник Иван Науменко сказал, глядя мне в глаза: «Как писатель я лучше тебя, только ты умеешь заострять». Что ж, должно быть, доктор наук и академик был прав, действительно у меня получалось остро. Но после «Измены» я инстинктивно почувствовал потребность в чем-то более мягком, даже добром. Хотелось той доброты, которой так мало было в жизни и которая вряд ли встречалась на войне. А может, это была тоска по романтике? Той, разумеется, которая была навеяна книгами, прочитанными в юности, и несла с собой нежела-

тельную в наше время сентиментальность. Хотелось выделиться из жестокой толпы, где-то обособиться, там, где только он и она. Пусть себе в окопе. В лесу. Еще лучше — в горах. Или в дороге.

В дороге, видно, лучше всего, на фоне войны это наименее фальшиво. Потому что война — сплошная дорога. Туда или назад. Или в рай, или в ад. А еще более типично, если направятся в рай, а придут в ад. Тут уже не романтизм, а самый жестокий современный реализм. Их полное и органичное сочетание.

Начало творческого процесса в искусстве всегда таинственно, неуловимо, размыто, первые его импульсы появляются в подсознании, без участия воли и разума. «Творчество бессознательно», — писал когда-то англичанин Карлейль. Так и у меня незаметно вызрел замысел «Альпийской баллады». Там и впрямь — только он и она, оба гонимые и преследуемые при самых драматических обстоятельствах, где, однако, торжествует вечное проявление жизни — любовь. Известно, что любовь побеждает многое, бывает, даже смерть. Образ героини подсказал мне один случай на войне, тот же случай напомнил антураж событий — горы. Антураж полностью романтичный, начиная с названия гор — Альпы. Что до образа героя, то таких Иванов — как характеры — я знал хорошо, не одного Ивана видел на войне.

Определенные сложности были с речью девушки, этим конгломератом двух-трех языков, в которых главенством, конечно же, был итальянский. Итальянского я не знал, а проконсультироваться было не с кем. Но помог случай.

Алексей Карпюк в то время устроился на работу в агентство «Интурист», на железнодорожном вокзале у него был свой офис — крохотная комнатка на первом этаже. (*В ту пору мы уже дружили.*) Обычно Алексей сидел в своем офисе за пишущей машинкой, в очередной раз перепечатывал свои повести, на разговоры у него всегда не было времени. А тут вдруг позвонил, говорит — зайди. Я пришел и застал у него незнакомого человека с растерянным взглядом. Оказалось, что это итальянский турист, которого пограничники сняли с

варшавского поезда, потому что у него не было паспорта. Что с ним делать дальше, никто не знал. Вспомнив, однако, о моей заботе, Карпюк мне и позвонил.

Прежде всего мы сводили итальянца в ресторан, накормили. Он немного говорил по-русски и рассказал нам, что потерял кошелек, в котором были паспорт и деньги. Пока пограничники решали, что делать с бедолагой, мы поселили его в маленькой привокзальной гостинице, где он маялся дня три или четыре. Звали его Марио, родом он был из Генуи, работал в области медицины. И пока он сидел в гостинице, я брал у него уроки итальянского, конечно, в том объеме, который требовался мне для моей героини, уже названной мною Джулией. (*Имя, кстати, не совсем итальянское, но об этом я узнал потом.*)

Через несколько дней нашлись документы итальянца, которые, как оказалось, были украдены у него в Ленинграде, и мы проводили гостя к варшавскому поезду. Итальянец обещал больше не соваться в страну, где такие рукастые воры. История эта, однако, некоторое время спустя получила своеобразное продолжение.

Сцены бегства героев и интимные сцены на альпийских лугах писались, в общем, легко, поэзия любви захватила бы даже черствого автора. Но на каких-то страницах я почувствовал, что одной поэзии будет мало. Всё же нельзя было, тем более на фоне драматического военного времени, исключить из сюжета социальные мотивы. Хотя Иван с Джулией и уединились в горах со своей любовью, война о них не забыла. А недавнее прошлое, предвоенные годы с их социально-политической драмой тоже оставалось в сознании Ивана. На почве прошлого и возник первый разлад между человеком с Востока и девушкой иной, западной культуры. Разлад, который мог быть улажен только любовью, что по сюжету потом и произошло. (*Эти сцены, когда повесть готовилась к печати в Москве, вызвали наибольшее сопротивление редактуры.*)

Повесть первым изданием вышла в «Маладосьці», которая длительное время довольно внимательно относилась к моему творчеству. Чего нельзя сказать о журнале «Полымя»,

который был в те годы органом, предназначенным для номенклатурной писательской элиты. Но меня удовлетворяла и «Маладосьць», хотя по возрасту я и перешагнул молодежные рамки. В ходе непременного тогда предварительного обсуждения повести на заседании редколлегии Пимен Панченко сказал: «Конечно, всё это — неправда, а верится. Значит, это — искусство».

Благожелательные отклики на повесть прислали многие читатели, обычно скупой на похвалу Янка Брыль, молодые писатели. Получил сердечное письмо из Зельвы, от мало кому известной тогда Ларисы Гениуш, она была восхищена моим Иваном, страдальцем и искренним белорусом, который своей жертвенностью спас западного человека. А ее муж, доктор Иван Петрович Гениуш, в скором времени посетил меня в Гродно, рассказав о своей и жены горькой судьбе. С тех пор он частенько бывал у меня, на улице Кошевого, приезжая в Гродно по своим врачебным делам. Работал он в Зельве дерматологом. Он нравился мне своей неподдельной белорусской искренностью. Из наших разговоров я узнал немало нового и даже неожиданного о жизни на оккупированной территории, под немцами, а также в Праге. Факты, которые приводил Гениуш, не очень соответствовали тем, которые мы усвоили из советской пропаганды. Рассказал, как после войны Гениушей «брали» в Праге, как Лариса Антоновна не открывала кагэбэшникам дверь и обещала выброситься в окно, а те натягивали внизу брезент, чтобы она не разбилась. Она очень нужна была им живая: они надеялись выпытать у нее, где находятся архивы последнего президента БНР Абрамчика.

Был еще один драматический эпизод в жизни Гениушей, который определил их судьбу. Здесь проявился Его Величество Случай. Правит ли он миром, как говорят французы, я не уверен, судьбой человека — несомненно. В моей жизни было немало судьбоносных случаев, но то, что случилось с Иваном Петровичем, поражает больше.

Иван Петрович — врач, врачебной практикой занимался и в Праге, был далек от политики, ею занималась жена, Лариса Антоновна. Но, естественно, будучи белорусом, он

состоял в белорусской общине, которая время от времени проводила свои собрания, вечера. Когда началась война, никто из белорусов не ратовал за Гитлера, но и уклониться от какой-то хотя бы символической поддержки было нельзя. И вот очередное собрание. Иван Петрович на него опоздал, пришел, когда все уже были в сборе. Хитрец Ермаченко, который стоял во главе общины, спросил: «А кто же будет председателем собрания?» И кто-то ему подсказал: «А вот же Гениуш, всё равно ему негде сесть, кроме как в президиуме!» А когда по инициативе Ермаченко собрание решило послать приветственную телеграмму Гитлеру, кто-то от имени собрания должен был ее подписать. Кто? Разумеется, председатель собрания!..

Иван Петрович рассказывал, что в ту минуту у него потемнело в глазах. И было отчего. Та пресловутая телеграмма после войны обошлась председателю собрания в восемь лет лагерей и до самой смерти на нем лежало клеймо прислужника Гитлера.

Гениушей отправили в Воркуту, где они отбыли весь восьмилетний срок, но архив не выдали. Говорят, что он и поныне хранится в надежном месте.

В Зельве Гениуши жили под неусыпным надзором КГБ и соседей. Не удивительно. Лариса Антоновна отказывалась принять советское гражданство и просила отпустить ее с мужем в Чехию. Сын Гениушей Юра, которого они разыскали, вернувшись из Воркуты, был польский подданный и жил в Белостоке, но родителям долго не разрешали его навестить. (*После смерти родителей он погиб при загадочных обстоятельствах. Хорошо, что матери не суждено было узнать о гибели сына...*) Так исчез некогда большой и славный род белорусских Гениушей.

**Редакционные** дела в ту пору не слишком меня донимали. Днем обычно принимал молодых поэтов с их стихами, писал ответы на «самотек», делал обзоры поступавших в редакцию литературных опусов. Раз в месяц или в квартал газета печатала литературную страницу, для которой надо было

подобрать дюжину стихов и один-два рассказа. Это было не трудно, в Гродно было немало способных молодых авторов. Со своим своеобразным голосом шла в литературу студентка Данута Бичель, неплохо писали ее товарищи Вл. Шурпа и Вл. Васько. В детском доме подрастала бойкая школьница Ольга Ипатова, на которую мы с Карпюком возлагали большие надежды. Иногда в редакцию заходил рассудительный минские аспирант Сергей Габрусевич, чьи стихи стали появляться и в республиканских газетах и журналах. В Новогрудке стал писать стихи собственный корреспондент «Гродненской правды» Валентин Блакит. Однажды принес неплохую подборку на русском языке преподаватель музыкального училища Валентин Чекин, с которым мы стали приятелями. Правда, докучали некоторые очень уж активные стихотворцы, особенно из числа отставников, недавних военных. Один из них, подполковник Е., каждый понедельник приносил два-три стихотворения, написанные им в выходные дни и приуроченные к определенным памятным датам следующей недели. Хорошо, что он не опаздывал их воспевать, но газета не могла реализовать всю его поэтическую продукцию, которая к тому же была не очень высокого качества. Часто я не знал, что ему сказать, все мои аргументы были давно исчерпаны. И однажды говорю: «Зачем вам печатать хорошие стихи в нашей провинциальной газете? Послали бы куда-нибудь в Москву!» — «А что, думаете, пройдет?» — «Обязательно!» — «И «Правде» подойдут?» — «Подойдут!» Он забрал стихи и ушел, а я впервые вздохнул с облегчением — уж оттуда ему ответят! И как же я был удивлен, когда спустя непродолжительное время Е. принес мне «Правду» со своим стихотворением на первой полосе! У него был вид триумфатора. И он долго благодарил меня за совет. Однако новые его стихи в «Правде» не появлялись. К великому моему сожалению.

Вдруг возник момент, который снова угрожал переиначить мою судьбу, что, естественно, очень меня обеспокоило. Меня опять вызвали в военкомат и дали заполнить пространные, в несколько страниц анкеты. Да еще в шести экземплярах. Зачем — мне не сказали, но скоро до меня дошли слухи,

что офицеров-резервистов артиллерийского профиля собираются вновь призвать в армию, чтобы переучить их на ракетчиков. Из-за того, что в моих аттестациях были отмечены мои математические способности, я попал в число подлежащих призыву. Это мне совсем не понравилось, но что я мог поделать? Один наш журналист был знаком с офицером из военкомата, подполковником, человеком довольно милым. И мы пригласили его в ресторан. Любитель хорошо выпить, к чему пристрастился еще на войне, подполковник сочувственно отнесся к моей проблеме и спросил, нет ли у меня родственников за границей? За границей, к сожалению, у меня не было никого. Тогда он спросил: «Может, кто-нибудь из ваших родственников пропал во время войны без вести?» И я вспомнил двоюродного брата Миколу, о котором и написал в соответствующей графе анкеты: что мой брат Николай живет в Западной Германии. Этого было достаточно, чтобы от меня отцепились. (*Пусть простит мне мой несчастный брат, в 19 лет сложивший свою голову на войне. Он мертв, но сделал доброе дело живому.*)

Отложив капитальный труд, — перевод большого романа Мележа — Миша Горбачев довольно оперативно перевел мою «Альпийскую балладу», и вскоре она была напечатана в нескольких номерах журнала «Огонёк». Иллюстрации к ней сделал знаменитый график Пинкисевич. Это были замечательные иллюстрации, выражавшие смысл и дух повести, а не сомнительный плод самовыражения художника, с чем сплошь и рядом встречаешься сегодня.

Напомнила о себе и Белорусская киностудия — сказали, что по «Балладе» можно снять очень красивый, романтико-патриотический фильм международного звучания. Я не нашел аргументов против. Должно быть, муки, которых я натерпелся с «Третьей ракетой», стали забываться, думалось, что теперь будет иначе: в кино, как и в литературе, каждое очередное произведение не похоже на предыдущее и имеет свою судьбу.

Как пишутся сценарии, я уже знал, и довольно быстро что-то накропал. Снимать фильм взялся опытней режиссер Борис Степанов.

Когда-то Алесь Адамович говорил, что все советские режиссеры одинаковые и отличаются друг от друга разве что отношением к сценарию. Одни без конца переделывают его сами, заставляют делать это автора, а то и нанимают помощников. Другие, получив сценарий, бросают его в мусорную корзину и снимают, как хотят. Какие режиссеры предпочтительнее — неизвестно, но результат всегда одинаковый.

Мой предыдущий режиссер Ричард Викторов, видно, относился к первой группе режиссеров, он выжимал из меня и других, кто работал над фильмом, все соки, добиваясь совершенства. Степанов же, как только получил утвержденный сценарий, сразу где-то исчез. И только когда съемочная группа выехала на натурные съемки, пригласил автора приехать, прежде всего затем, чтобы отдохнуть на природе.

**Я поехал.** Съемки проводились в районе Таберды, на Северном Кавказе. Природа там, конечно, красивая: поросшие лесом горы, бурная речка, хотя и не такая, как в Альпах. Каждые горы, очевидно, имеют свои особенности, свой характер. Несовпадение пейзажа было первой уступкой обстоятельствам во вред искусству. Второй стало несоответствие актеров, прежде всего они не соответствовали друг другу. На роль Ивана пригласили уже знакомого руководству «Беларусьфильма» Станислава Любшина, на роль Джулии — Любу Румянцеву. И актер и актриса — каждый сам по себе — были, может, и безупречны, но гармоничный дуэт не составляли. Тем более, что на съемках сразу стали конфликтовать, и выйти из этого конфликта не смогли до конца съемок. Естественно, это негативно влияло на весь коллектив. А тут еще начались творческие (*переросшие в личные*) поединки характера режиссера с характером оператора Толи Заболоцкого. Оператор, говорили, тянул одеяло на себя, режиссер сопротивлялся. Наконец, как видно, уступил. И фильм получился ни то, ни сё. А жаль. По-моему, в сюжете были определенные кинематографические возможности и при надлежащих условиях можно было сделать красивую, поэтическую трагедию любви. Увы, не вышло.

Как-то заглянул в редакцию Валя Чекин, сказал, что купил лодку с мотором и пригласил прокатиться по Неману.

Взяв с собою своего сына Васю (он к тому времени подрос), отправился через пешеходный мост на другой берег Немана, где был лодочный причал. Среди множества моторок нашли Валину. Валя запустил свой «Ветерок», и мы потихоньку поплыли вверх по реке. С воды я еще некогда не видел берегов Немана, отмелей, обрывов, прибрежных селений и боров, всё для меня было новым и привлекательным. Но Чекин увлекся не только моторкой, пристрастился к рыбалке и однажды показал мне снимок — свою «визитную карточку рыболова»: он с удочками возле перевернутой резиновой лодки, на днище которой целая гора лещей. «Тридцать штук, — сказал Валя. — За одно утро».

Это разбудило в моей душе полузабытую детскую страсть: я ведь тоже когда-то самозабвенно удил в своем озере плотвичек. Скоро я тоже купил мотор (*более сильный — «Вихрь»*) и лодку «казанку»; по протекции Валентина получил на лодочном причале место. Вдвоем с Валей мы стали носиться по Неману, рыбачили. Однажды отправились с ночлегом на старицу, под Мосты, но там мелочи на ушицу наловил мой Вася, а у нас с Валентином не клевало. Помимо рыбалки река захватывала сама по себе, и однажды мы пригласили из Минска друзей, чтобы и им доставить радость. Приехали Матуковский, Гилевич, Буравкин со своей всегда юной Юлей. Мы нашли неподалеку от берега уютный лужок и устроили пир. С шашлыками. Рыба в Немане упрямо не хотела ловиться, ее уже почти не было в реке, особенно после того, как заработал азотно-туковый комбинат. Говорили — ничего страшного, стоки очищаются. Но как-то утром мы увидели на причале множество рыбин, плывущих вверх брюхом; на дюралевых лодках облезла краска...

К рыбалке я быстро остыл, понял, что рыба меня не любит.

**В ту пору** часто ездил в Москву — по издательским делам и на разные мероприятия Союза писатели СССР. На одном из мероприятий в Центральном доме литератора позна-

комился с критиком и литературоведом Лазарем Лазаревым, о котором много слышал, а тогда впервые пожал его искалеченную на войне руку. Позже мы изредка встречались в Москве, я бывал у него дома, познакомился с его милой женой, умницей Наей. Лазарь стал моим другом и проницательным критиком, написал обстоятельную книгу о моем творчестве. Примерно в то же время в Москве, кажется, в ресторане ЦДЛ, впервые встретился с Юрием Бондаревым, с которым меня познакомил Григорий Бакланов. Тогда эти зачинатели «лейтенантской прозы» дружили и в голову никому не могли прийти, что когда-нибудь жизнь их разведет. Но, как ни странно, получается так, что жизнь чаще разводит, чем сводит.

На очередном президиуме СП БССР рассматривался внеочередной вопрос — исключение из СП переводчика Василя Сёмухи.

Василя Сёмуху многие знали в Минске как переводчика с немецкого. Окончив в свое время Московский университет, он посвятил себя переводам немецкой прозы и поэзии. Перевел «Фауста». А жил он тяжело, квартиры в Минске у него не было, скитался с семьей по частным углам. Многочисленные просьбы, с которыми он обращался к руководству СП насчет квартиры, ни к чему не привели, и Сёмуха, отчаявшись, написал письмо в немецкое посольство в Москве. Дело в том, что во время войны немцы сожгли дом его родителей, и Сёмуха просил посольство помочь ему издать перевод «Фауста» и посодействовать в получении квартиры. Письмо, разумеется, было перехвачено КГБ и возвращено в Минск с требованием принять меры.

Перед заседанием президиума писатели в кулуарах обсуждали неординарный случай. Чуть ли ни всем было жаль хорошего хлопца Сёмуху, который совершил глупость. Разве можно просить помощи у врага? Иван Чигринов сказал, что он даже под угрозой смерти так не поступил бы, потому что враг есть враг. Всегда. Некоторые говорили, что на первый раз Сёмухе можно простить. Буравкин сердито сказал, что этот номер с исключением не пройдет — не те времена. Валя Тарас лаконично заметил — всё те же.

Началось разбирательство. Писатели из партбюро чуть ли не плакали от обиды, которую нанес республике-партизанке Василь Сёмуха. Иван Новиков, спецкор «Правды» в Минске, требовал самой суровой кары. (*Это тот самый Новиков, который спустя год сказал об авторе этих строк: «Мне бы автомат в руки, я бы в него весь магазин...» Пилил Пестрак, никогда не служивший в армии, услышав эти слова, спросил: «Хлопчики, а сколько патронов в магазине?» «Пятьдесят два», — сказали ему знатоки. Пестрак многозначительно поднял вверх палец: «Ого!»*)

В результате голосования Сёмуха был исключен из Союза почти единогласно. Воздержался один Василь Быков.

**Вернувшись в** Гродно, взялся за новую повесть, название которой нашел не сразу. О названии вообще думаешь в последнюю очередь, обычно тогда, когда вещь уже написана. Напрасно иные афишируют: «Начал роман, уже есть название — «Огнем закаленные». Чаще всего из такого закала мало что получается. Знаю еще одну особенность на сей счет: у хорошей книги прозы обычно так себе название, а очень звонкое название есть признак плохой прозы. Правда, это мое субъективное мнение, и первое исключение из этого правила — произведения западных авторов, у которых и проза отличная, и названия непривычные, во всяком случае для нашего уха.

Первый импульс к написанию новой повести я получил в дороге, возвращаясь из Москвы в Гродно через Минск. До отправления поезда на Гродно у меня было много времени, и я зашел в редакцию «ЛіМа», где застал одного только главного редактора, Ничипора Пашкевича. Начался разговор, в ходе которого Ничипор проявил полный антагонизм по отношению к моим взглядам и мыслям. Кроме одной — пойти вместе в ресторан и выпить. За столиком в ресторане дискуссия продолжалась более миролюбиво, мы почти согласились друг с другом и, когда речь зашла о войне, я рассказал партизану-комсоргу Пашкевичу историю моего ранения под Кировоградом. В доказательство того, что и на фронте хва-

тало лиха. Утомленный разговором и ужином, Пашкевич умиротворенно сказал, чтобы, должно быть, окончить спор: «Ну вот, почти готовая повесть». В поезде я стал над этим думать и решил попробовать написать. Я не знал еще, что это будет — рассказ, повесть или просто воспоминание. Но намерение написать засело в голове крепко.

«Мертвым не больно» писал в основном летом и не так торопливо, как прежние повести. У меня уже так бывало и раньше, и позже повторялось, что вещи с зимней натурой писались летом и наоборот. Это, конечно, не очень хорошо. Лучше, если натура перед глазами, и ее не нужно вызывать из зрительной памяти. Так работают художники. Но некоторые писатели тоже любят писать с натуры: о весне — весной, о лесе — в лесу. У меня так не получалось. Очевидно, поэтому я мало внимания уделяю антуражу, больше — действию. Однако наверняка не знаю, как лучше. Должно быть, как кто умеет.

Тогда я уже знал, что чрезмерной драматизации военного сюжета может не быть, можно обойтись вообще без сюжета, о чем когда-то писал еще Чехов. Драматизм на войне — естественная вещь. Другое дело, как его изобразить? В чем он прежде всего проявляется? Конечно, в борьбе противоборствующих сторон, что, в общем, самоочевидно. А меня издавна интересовали конфликты иного рода — внутренние, которых хватало и на войне тоже. Война вовсе не остановила (*если не обострила*) внутреннюю политику партии, и особенно ее карательных органов, по отношению к народу. Репрессивная политика продолжалась, хотя, быть может, не столь явно, как до войны. Понятно, основное внимание уделялось другой борьбе, схватке с немцами, но я узнал о судьбе одного нашего однополчанина, журналиста дивизионной газеты. Он писал стихи, которые регулярно появлялись на страницах дивизионки с подписью: младший лейтенант Д. Кугультинов. А затем вдруг исчезли. Тогда это не очень удивило — люди на войне всё время исчезали, кто на тот свет, кто в госпиталь. Лишь после войны стало известно, что калмыка Кугультинова с фронта отправили в ссылку, как и весь его калмыцкий народ. Вернулся Кугультинов из ссылки только через

десять лет и стал знаменитым калмыцким поэтом. То же, кстати, произошло и с другим замечательным поэтом, балкарцем Кайсыном Кулиевым да и со многими другими. О послевоенных «посадках» офицеров я уже рассказывал на этих страницах, а тогда, когда писал «Мертвым не больно», всё это было еще свежо в памяти и потрясало.

После разоблачения «культа личности» в русской литературе стали появляться негативные образы чекистов, энкавэдистов, случалось, недавних смершевцев. Но писали о них очень сдержанно и робко. Тогда «Архипелаг ГУЛАГ» еще не был известен, А. Солженицын оставался автором только «Одного дня Ивана Денисовича». Но в общественном сознании уже сложился одиозный образ этих людей, определенное отношение к которым выработалось у меня давно. Подмывало написать, хотя трудно было угадать, чем может окончиться такая попытка. Впрочем, какое-то ощущение было, в воздухе уже веяли новые ветры, однако думалось, что это временно. А иногда казалось, что изменения, которые произошли в жизни страны, необратимы и она навсегда покончила со своим кровавым прошлым.

Военные картины писал отдельно, позже вставил в них послевоенный сюжет с молодыми людьми, которые войны не знали. Это была моя дань молодежной теме, до конца мною нереализованной. К тому же я, как всегда, собирался печатать повесть в «Маладосьці», а Миша Горбачев обещал перевести ее для «Юности» — журнала, который приобрел огромную популярность не только среди молодежи.

Сюжетного действия в повести хватало с избытком, по возможности я старался его сократить. Следуя совету А.П. Чехова, отрубил от сюжета начало и конец, потому что, как писал классик, в них больше всего фальши. Что до самого конфликтного образа — смершевца, то пришлось поломать голову, какую ему дать фамилию? Известно, какое у нас было отношение к национальной принадлежности персонажей, в особенности персонажей отрицательных. Обычно на положительных реагировали молча, иного, мол, и быть не может, но отрицательные образы вызывали протест. И не только в отношении национальности. Отрицательный образ шахтера

обижал шахтеров, сталевара — сталеваров, учителя — учителей. В редакцию поступали письма обидевшихся. Только за крестьян никто не обижался и не заступался.

Чисто русская фамилия отпадала сразу (*не пропустит Главлит*), среднеазиатская тоже вызывала сомнения — азиатский «читатель» на сей счет еще более чувствителен. И я не без колебаний выбрал почти нейтральную фамилию — Сахно, которая, хотя и заключала в себе некий славянский элемент, но, на мой взгляд, не имела ярко выраженной национальной окраски. Но, видно, чего-то я здесь не додумал, потому что некоторые сочли эту фамилию бытующей среди их соплеменников, что немало впоследствии попортило мне крови. Например, досталось мне от моих украинских друзей-писателей.

Обсуждение на заседании редколлегии «Маладосьці» прошло в целом доброжелательно, некоторые члены редколлегии высказывались даже слишком апологетично (*Геннадий Буравкин, секретарь ЦК комсомола Арсений Ваницкий*). Правда, нашлись и такие, кто многозначительно промолчал, хоть это не помешало им в дальнейшем утверждать, что они были против публикации. Кто-то сказал, что это уже не повесть, а целый полнокровный роман. Однако такого определения жанра я избегал, полагая, что это всё-таки повесть. Пимен Емельянович Панченко повесть не хвалил, хотя и не порицал, только в самом начале обсуждения сказал, как о чем-то давно решенном: должность Сахно надо изменить. Это мне не очень понравилось, потому что такая поправка многое меняла в системе идей. Но я понял, чего опасается Панченко, и после непродолжительного совещания решил вообще не называть должность Сахно. Просто — офицер штаба. Умный поймет, а дураку всё до мелочей не стоит разжевывать.

Повесть была напечатана в двух номерах «Маладосьці», довольно быстро появились и рецензии на нее. (*Первая была напечатана в «ЛіМе», автором ее был критик Василь Буран.*) Рецензенты основное внимание обращали на фронтовые реалии, детали войны и героизм ее рядовых участников. Про «офицера штаба» Сахно старались много не говорить ,

и я успокоился. Появилось даже чувство, что главной идеи произведения могут и не понять, и не знал, как к этому относиться.

**Летом меня** пригласили в Москву на совещание, которое проводила редколлегия «Юности». Совещание было посвящено обсуждению прозы молодых авторов журнала. Дело в том, что партийное руководство было недовольно некоторыми публикациями молодых авторов, прежде всего публикациями Анатолия Гладилина и Василия Аксенова. Накануне совещания заменили главного редактора — вместо В. Катаева пришел Б. Полевой. На совещание из Средней Азии приехал Анатолий Ананьев, автор расхваленного критикой романа «Танки идут ромбом», главный герой которого очень уж был похож на Никиту Сергеевича Хрущева. Мы с Анатолием были ровесниками, на фронте оба командовали сорокапятками, в одном из боев Анатолий был тяжело ранен. Мы поселились в одной гостинице в Замоскворечье, целый вечер провели в разговорах о войне и литературе и, казалось, у нас определился общий подход к творчеству молодых. Я думал, что завтра мы вместе поддержим молодую прозу «Юности», исходя из этого и готовился к выступлению. Поэтому странно было услышать утром нападки Ананьева на Гладилина, Аксенова и некоторых других. Разумеется, я выступил в их защиту. И был еще больше удивлен, когда Борис Полевой в заключительном слове поддержал не меня, а Ананьева за его «нелицеприятную критику». Впрочем, Ананьева я быстро понял. Не случайно он из своей Средней Азии перебрался в Москву на должность заместителя главного редактора одного из авторитетных журналов.

Тогда же, или, может, немного раньше, в Москве побывал американский писатель, автор знаменитого романа «Гроздья гнева» Джон Стейнбек. Он посетил редакцию «Юности» и горячо поддержал молодых. «Не бойтесь быть злыми, молодые мои волчата!» — такими словами он закончил свое обращение к Евтушенко, Гладилину, Аксенову, Вознесенскому и другим из той же когорты. В ЦК, говорят, были раз-

гневаны, и больше маститому американскому писателю визу в Советский Союз не давали. Впрочем, вполне возможно, что он и не просил.

Михаил Горбачев тем временем завершил перевод повести, но «Юность» отказалась ее печатать, и он отдал рукопись в «Новый мир», который уже стал приобретать диссидентскую славу. И вот однажды мне приносят телеграмму из Москвы от заместителя главного редактора «Нового мира» Алексея Кондратовича с предложением опубликовать повесть, «если только вам не противен этот журнал». Конечно же, я ответил согласием. Горбачев почему-то молчал.

Время от времени, обычно летом, я наведывался на родину, в свои Бычки. Родители еще были живы. Приезжал с подростком-сыном. Наш автобус встречал в Слободке Микола, катил на велосипеде нашу поклажу, а мы с сыном налегке шли рядом. Подходя к Бычкам, издали видел, как отец стоит во дворике, смотрит из-под руки в сторону хаты Азевичей, на дорогу, — выглядывает гостей.

Все вместе сидели потом за столом, угощались. Отцу очень хотелось расспросить сына, как ему живется в далеком городе, в котором и отец жил в молодые годы — служил там в солдатах. Но интерес сына был не в разговоре с отцом — его волновало озеро. Всякий раз в день приезда я шел знакомыми стежками через поле и кустарник к своей заветной цели — хоть на несколько часов, всё остальное потом.

В один из последних моих приездов отец сказал, что надо бы мне сходить к моей крестной, к Борисихе — который год лежит старуха, ждет смерти. Взял гостинца — горсть конфет, пару яблок — и пошел к крестной, не меньше часа слушал ее горький рассказ о том, как она молит Бога, чтобы послал ей смерть. А она всё не приходит. Жила крестная с невесткой, сын пропал на войне, внучки учились в городе. Плохо жилось моей крестной, но не скоро еще услышал ее молитвы Господь...

Мама попросила проведать ее брата, который жил всё там же, в Завулке, за бывшей границей. Дорога туда шла полем и лесом, возле озера Супонец.

Пришел, а мой дядька со своим сыном Анатолием тюкают топорами, строят хату — прежняя сгорела в войну. Жили в подсобке. Дядька, как всегда, рыбачил в окрестных озерах. Иногда, в хорошую погоду, брал с собой на рыбалку гостя. И тогда я знакомился с дядькиным умением ловить рыбу — не то, что мое! Рыба у дядьки всегда клевала, всегда ловилась, всегда была на столе. Не всегда был хлеб, даже бульба, а рыба была постоянно — жареная, вяленая, сушеная.

Как-то дядька Лявон рассказал, как поймал щуку, в брюхе у которой оказалась самодельная блесна. Его собственная блесна. На эту блесну он чуть было не поймал ту самую щуку, еще при Пилсудском, лет двадцать назад, но тогда щука оборвала леску и ушла.

Дядька Лявон и умер из-за рыбалки — простудился на озере.

А дядькин сын Анатоль увлекся пчелами. Много лет на усадьбе гудели ульи, был от них мед и для себя, и для продажи. Хоть какая-то копейка. Не с колхоза жил.

**В начале осени** в Риме открылся очередной конгресс КОМЭСО, единственной европейской писательской организации, с которой сотрудничал СП СССР. В представительную делегацию советских писателей включили и меня. Это была редкая по тем временам поездка писателей на Запад, а я вообще ехал впервые. Накануне отъезда в Москву меня вызвал заведующий отделом культуры ЦК КПБ, проинструктировал: в Риме держать ухо востро, быть осторожным, ни с кем не контактировать. За рубежом на каждом шагу — враги.

В Москве на аэродроме увидел всех членов делегации, в числе которых были и маститые, и молодые — Виктор Шкловский, Александр Твардовский, Константин Симонов, Борис Рюриков, Сучков, Аксенов, Карим, Мартинкявичус. Руководителем делегации был Алексей Сурков. В Риме все поселились в одной гостинице, расположенной неподалеку от главной улицы города — Корсо. Сразу же отправились знакомиться с Римом. Он, конечно же, ошеломил своими древностями, руинами Колизея, музеями и дворцами. Побы-

вали в соборе святого Петра, в капелле Рафаэля. Очень привлекали витрины магазинов буржуазного города, но зайти в них было не с чем — денег у нас было мало. Оставалось только глазеть на витрины. У меня сохранился снимок, на котором Юстас Мартинкявичус пристально вглядывается через стекло в превосходную пишущую машинку, — о таких мы могли лишь мечтать. Аксенов неожиданно увидел в витрине книжного магазина книгу своей матери, недавней «зэчки» Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» и шепнул нам, чтобы мы об этом помалкивали.

На конгрессе речь шла о литературном авангарде, разумеется, западном, своего авангарда у нас тогда еще не было и в помине. В зале заседаний конгресса мы узнали, что в Москве арестованы писатели Синявский и Даниэль, и мне очень понравилось, что Симонов негромко сказал: «Арест поэта всегда позор для правительства». Никто, однако, его не поддержал, да многие и не услышали.

Мы внимательно и с некоторым удивлением слушали глубокомысленные выступления Сартра, режиссера Антониони, Джон Карло Вигорелли, которые говорили совсем не так и не то, что мы привыкли выслушивать на родине. Особенно поразил Сартр своими экспромтами об экзистенциализме. Умно он говорил, Сартр, а я думал, что прав всё же его соотечественник Альбер Камю, который заклеймил Советский Союз за концлагеря, из-за чего Сартр порвал с ним отношения. Авангардисты, выступавшие на конгрессе, нас мало интересовали, среди советских писателей почти не было тогда представителей этого направления. Разве что Виктор Шкловский, который после своего выступления сразу стал популярным среди западных маэстро. Роб-Грийе и Натали Саррот горячо пожали ему руку.

На конгрессе я познакомился с Александром Твардовским, который сказал, что будет печатать мою повесть, хотя еще не прочел ее. На одной из римских улочек, за маленьким круглым столиком уличного кафе встретил двух знаменитых поляков Я. Ивашкевича и Е. Путрамента, которые шутливо удивились, что, оказывается, в Беларуси есть писатель моложе Максима Танка. Танк тогда был для них юношей.

Утром Аксенов, Мартинкявичус и я отправились на прогулку, в сторону собора св. Петра. Тут на каждом шагу встречались священники в черном одеянии, любопытно было видеть стайки молодых монашек в черно-белых косынках. В маленьких киосках продавались разные церковные принадлежности — крестики, распятия, четки. Мы решили приобрести Библию. Ведь у нас в Советском Союзе ее нигде не достанешь. Зашли в магазинчик религиозной литературы, спросили, есть ли Библия на русском языке. Под рукой на русском не оказалось, служащий магазинчика куда-то пошел искать. Мы ждали. И вот он приносит том — в мягкой обложке, на желтой бумаге. Но на украинском языке. Хлопцы не стали покупать, а я купил. Хотя подумалось — как же провезти это через границу? (*Библия считалась запрещенной литературой.*) Но рискнул. И потом читал Святое Писание на украинском, изучая заодно этот язык, познавая на нем Божье слово.

Кажется, в последний день нашего пребывания в Риме произошел один случай, казалось бы мелкий, но для того времени многозначительный, о котором, очевидно, стоит рассказать. Утром нам объявили, что советское посольство приглашает на прием русских писатели, автобус подадут к гостинице. Поскольку в составе делегации были не только русские, то все нерусские решили, что они свободны от приглашения и отправились на прогулку в город. Мы с литовцем Мартинкявичусом пошли в парк Венето. Однако уже почти у парка нас догнал автомобиль посольства и молодой посольский служащий сказал, что посол приглашает всех, не только русских. Пришлось возвращаться в отель, чтобы сменить рубашку и повязать галстук. На крыльце отеля увидели башкира Мустая Карима в компании с Александром Твардовским, которые тоже опоздали к отходу автобуса. Пришлось нанимать такси. Твардовский был в черном костюме, весь взмок от жары и ругался. Приехали в посольство, но оказалось, что прием не здесь, а в летней резиденции за городом. Поехали туда, опять же на такси, по дороге попали в аварию. Хотя никто не пострадал. Настроение было испорчено, но утешала цель. Твардовский, однако, был на грани

нервного срыва. Приехали с большим опозданием, все уже сидели за летними столиками с прохладительными напитками, посол заканчивал чтение своего доклада, приводил проценты роста выплавки чугуна и стали в очередной пятилетке. Окончив, поинтересовался, есть ли вопросы. Вопросов не было, и посол поблагодарил за внимание. Все разочарованно встали, и Твардовский громко, по-мужицки выругался. Посол издали спросил: «Что вы сказали, товарищ Твардовский?» Александр Трифонович сдержанно ответил: «То, что вы слышали». Все с каменными лицами потянулись к выходу.

Наш самолет из Рима Москва не приняла из-за погодных условий, пришлось садиться в Киеве. Оттуда ехали поездом. Была глубокая ночь, вагон-ресторан не работал, но мы разбудили буфетчицу, набрали у нее шампанского. И стали пить. В Риме не очень разгонялись — не хватало лир, а тут размахнулись. Борис Сучков, подвыпив, рассказывал, как создавал когда-то издательство «Иностранная литература», как тяжело было с материальным обеспечением, и он обращался ко всем членам правительства — от Маленкова до Калинина. Но никто не мог или не хотел выделить ему два автомобиля, тянули, ссылались на условия военного времени. Тогда кто-то посоветовал Сучкову обратиться к Берии. Сучков сперва не отваживался, а когда отважился, Берия сказал: «Будут тебе машины!» Через неделю позвонил: «Сучков, почему не забираешь пять «студебекеров», они тебя ждут на товарной станции». Этот случай показал Сучкову, кто в стране хозяин. Правда, спустя несколько лет тот же хозяин отправил Сучкова на мордовский лесоповал, откуда его освободил XX съезд партии. А в соседнем купе Алексей Сурков, тоже в подпитии, скупо рассказал, как он в Брюсселе хотел покончить жизнь самоубийством: такие обязанности навешали на него в Москве, что за невыполнение их ему грозила Лубянка. История была связана с Пастернаком. Западная пресса обвинила Суркова в клевете на Нобелевского лауреата, и советское правительство инициировало судебный процесс, чтобы Сурков мог оправдаться. Но, кажется, из этого ничего не вышло.

А я думал: бедные, несчастные русские писатели. И это — элита! Неудивительно, что, может, самый элитный из их — А.Т.Т. — сразу завалился спать на нижней полке. Чтобы ничего не слышать. Говорят, так всегда поступали в зарубежных поездках умные советские люди. Тот, который хорошенько выпил, всегда имел алиби.

Поездка писателя за рубеж в то время была чуть ли не сенсацией. По возвращении я давал интервью, делился впечатлениями в редакции, писал о них в «ЛіМе». Из Минска пришло предложение поставить балетный спектакль по мотивам «Альпийской баллады», но я, наученный опытом кино, отказался. Я не хотел излишней популярности, уже почувствовав, как к ней относятся мои минские коллеги-писатели. Лучше сидеть тихо и не очень высовываться.

**Осенью позвонили** из «Нового мира»: надо приехать в связи с подготовкой к печати «Мертвым не больно». Быстро собрался и скоро был в Москве. В Малом Путниковском переулке разыскал редакцию — узкий коридорчик, тесные комнатки, сильно пахнет коммунальной кухней (*на третьем этаже был редакционный буфет*). Моим редактором оказалась немолодая приветливая дама с близорукими глазами — Анна Самойловна Берзер. Она сразу сказала, что перевод плохой, придется над ним изрядно поработать. То же сказал и заведующий отделом прозы Игорь Виноградов и добавил: «На этот раз напечатаем. Но в будущем и ноги этого вашего переводчика не должно быть в редакции!» Я был немало удивлен, и только позже узнал, что Михась Горбачев на должности секретаря партбюро СП СССР нажил в Москве много врагов. Разумеется, «Новый мир» не был исключением.

Несколько недель сидел в шикарном, но ледяном номере гостиницы «Советская» и правил, правил, сообразуясь с замечаниями на полях и пометками Анны Самойловны. Под вечер относил в редакцию и назавтра снова правил. Потребовалась также перекомпоновка некоторых частей, особенно современных планов. Какие-то сцены надо было укрупнять, какие-то, напротив, сжимать. Порой голова кружилась

от этой работы. Однажды в дверь постучала незнакомая женщина, оказалось, что это минская либреттистка Череховская, которая готова стать передо мной на колени, только бы я разрешил ей написать либретто балета по «Альпийской балладе». Да она его уже и написала — вот, прочтите! Есть все основания, чтобы получился прекрасный балет, тем более, что музыку пишет молодой композитор Евгений Глебов, который очень любит все творчество Василя Быкова. Сердце, как говорят, не камень, вопреки своим чувствам я согласился. И тем положил начало многолетней дружбе с талантливым композитором и основательным человеком Евгением Александровичем Глебовым. Балет он написал замечательный.

«Новый мир» тогда уже бомбили все инстанции — Главлит, СП, ЦК. Выходил журнал нерегулярно, всякий раз с большим опозданием. Опоздали и №№ 1—2 с моей повестью и вышли как раз во время работы очередного, самого, пожалуй, реакционного съезда КПСС — это был ему подарочек! В тот момент, когда съезд набрался решимости реабилитировать сталинщину, обелить замаранные Хрущевым сложные чекистские органы, Твардовский бьет по ним залпом из двух номеров повестью белорусского писателя.

Инстанции среагировали оперативно, и через несколько дней вышел очередной номер «Правды» с большой статьей В. Севрука (*как я потом узнал, слушателя Академии общественных наук*). В этой статье констатировалась несомненная неудача писателя, защищалась честь Советской Армии, победительницы фашизма, давались установки, как надо писать о войне. Должно быть, статья очень понравилась главному идеологу КПСС тов. Суслову, потому что автора ее в скором времени позвали на Старую площадь, где он сделал неслыханную для провинциального (*кажется, чукотского*) журналиста карьеру. Родом этот человек был из Беларуси и, очевидно, поэтому стал главным советчиком Суслова — сперва по творчеству Быкова, а затем и по всей советской литературе.

Вслед за статьей в «Правде» как по команде посыпались резко критические, часто оскорбительные статьи с полити-

ческим подтекстом во всех остальных центральных газетах. Обвинения с каждым разом звучали всё более грозно. «Красная звезда» в статье Баранца и Лашкова выбросила свой главный обвинительный козырь — мол, Быков хочет поссорить два извечно братских народа, белорусский и украинский. Ветераны в своих письмах в редакции, как всегда, жаловались на умаление их роли в разгроме немецких захватчиков. Очень скоро к обвинительному хору московских газет подключилась белорусская печать. Пожалуй, дольше других держал паузу «ЛіМ». Провинциальные газеты, которые не могли оперативно организовать собственные статьи против «идеологической диверсии» Быкова, перепечатывали статьи центральных. В том числе моя родная «Гродненская правда». Интересно, что автора били общими словами — за всё, что угодно. За клевету, за принижение, умаление, искажение. Но нигде ни слова не было сказано о СМЕРШе, об НКВД или КГБ. Как будто написанное в повести не имело никакого отношения к этим «органам». Я читал и не мог уразуметь: это нарочно или не понимают?

«Мертвым не больно» объявили безусловной неудачей автора. Но автору важна была не оценка произведения, не отношение к нему начальства, а то, действительно ли это неудача? Это важно было для моих следующих замыслов, потому что, как писал У. Фолкнер, «неудача для меня превыше всего. Начать что-то, что тебе не под силу — ты даже надеяться не можешь на успех, но всё же попытаться и стерпеть поражение, затем попытаться снова. Это для меня удача». Разумеется, я не мог сравнивать себя с Фолкнером, но его опыт был тогда для меня важен. Но, кажется, та «неудача» обернулась для меня чем-то другим. Хотя, чтобы понять и почувствовать это, автору понадобилось 20 с лишним лет.

В результате широкой кампании по дискредитации произведения Быкова автор стал получать множество писем от читателей. Писали из разных городов и сел Беларуси, из Москвы, из Ленинграда и даже из Сибири и Дальнего Востока. Авторы были самые разные: от ветеранов прошлой войны до молодежи и студентов. Значительное большинство писем было в поддержку позиции автора, с выражением бла-

годарности за то, что написал правду. Приходили письма и от писателей, которые были, так сказать, «уязвлены» войной, стали инвалидами и сами писали о ней. Так, по письмам, я познакомился с отличным русским писателем В. Тендряковым, С. Крутилиным, В. Гончаровым из Воронежа, с Д. Гусаровым из Петрозаводска. Все они были благодарны мне и «письменно» жали руку.

Писем собралось два чемодана. Часть я сжег на даче, когда увидел, что письма могут украсть: очень ими интересовались определенные люди. Многие письма перлюстрировались, что было видно невооруженным глазом: на обратной стороне конвертов оставались явные следы горячей отпарки клея.

Некоторые письма перлюстрировались не один раз — в разных инстанциях. Особенно измятыми, захватанными были конверты с моими письмами родителям в деревню (*я в то время хранил их в своем архиве*). Очевидно, эти письма вскрывались сначала в Гродно, где я опускал их в почтовый ящик, затем в Минске, затем по месту жительства адресата: всюду был интерес к тому, что пишет Быков. Но я давно уже не писал нечего подозрительного, тем более родителям. Как, кстати, и они мне, однако их письма тоже вскрывались. Бандероли (*какую-нибудь книгу или рукопись*) я получал изорванными, как будто конверт грызла собака. На такой бандероли стоял черный почтовый штемпель: «Поступила в поврежденном виде».

Некоторые письма вообще до меня не доходили — должно быть, подшивались к «делу». Ксероксов тогда не было, а загружать перепечаткой квалифицированных машинисток «органы» не хотели, берегли их пальцы...

**Однажды в нашу** редакцию, в отдел культуры, явился незнакомый человек и, прощупав проницательным взглядом всех находившихся в отделе, сказал, что ему нужно поговорить с Быковым. Все торопливо вышли, а посетитель показал мне удостоверение, красные «корочки» с крупными буквами — КГБ СССР. Назвал себя: «Подполковник Дубо-

винкин». Разговор начался с общих вопросов: сколько вам лет? Откуда вы родом? А затем: «Вы, должно быть, понимаете, по какому я делу? Это касается вашего труда, который напечатал «Новый мир». Надо полагать, по недосмотру, ведь ни один уважающий себя орган не стал бы печатать такой труд».

Беседа, однако, имела все признаки допроса. Подполковника очень интересовали мои ответы на его, в общем, наивные, а то и просто глупые вопросы. Я отвечал сдержанно, мне совсем не хотелось с ним разговаривать, а тем более спорить. В ходе беседы я понял, что гродненские «органы» ничего обо мне не знают, им нужен первоначальный материал, вот они и принялись собирать его таким примитивным для себя способом. Должно быть, приспичило.

Вечером того же дня, без предварительного звонка, ко мне домой пришел Павел. Был он очень озабочен, подавлен, но ни о чем не спрашивал и ничего не сказал. Однако по его подавленности было видно, что произошло скверное, что дела плохи. Не только мои, его тоже. В скором времени, должно быть, в целях изоляции его от Быкова, Павла перевели на работу в самый отдаленный район Гродненщины — Кореличский. (*Не для того, чтобы его оправдать, а истины ради скажу, что мой свояк вреда мне не причинил, за что я ему благодарен.*)

В Беларусь приехал болгарский писатель Найден Вылчев. Как это обычно делалось, зарубежных гостей после краткого их пребывания в столице везли в провинцию. Вылчева направили в Новогрудок. Он впервые был в Беларуси и, очевидно, не ожидал такого внимания к себе. В новогрудской гостинице его в первую же ночь ограбили, но он даже не сказал об этом хозяевам. Затем его повезли в Березовку, где должны были на Березовском стекольном заводе пройти выступления Вылчева с участием местных писателей Мы с Карпюком тоже поехали в Березовку. Вечер проходил в переполненном зале, всем интересно было не только послушать стихи, но и посмотреть на поэта из далекой братской страны. На обед, устроенный на живописном неманском берегу, съехалось всё березовское и новогрудское начальство, а так-

же гродненское. Закуски и выпивки привезли целую машину «скорой помощи», расстелили на берегу скатерти. И зазвучали тосты — в честь партии, в честь передовиков производства, за расцвет социализма и дружбу народов. Гость сидел молча, о нем, похоже, забыли, особенно после того, когда выяснилось, что он не пьет. Это немного огорчило белорусов, но ненадолго. К вечеру все бутылки опустели, а над неманскими плёсами далеко разносились «Подмосковные вечера». Найден тихо спросил у меня: «А что, у вас своих песен нет?»

В тех грозных громовых раскатах, которые раздавались по поводу повести Быкова, долго не было слышно грома нашего Союза писателей, и я уже начинал думать, что его руководство на моей стороне. Да где там! Оказалось, что на партсобраниях шло бурное осуждение, некоторые коммунисты требовали принять меры. Особенно негодовал Иван Новиков, с которым мы вместе воевали в Венгрии. Другой Иван, который при встречах улыбался и доброжелательно здоровался, в своих лекциях в университете подвергал жестокой критике отступника от соцреализма. Только молодые были возмущены тем, что происходило вокруг меня. При встрече со мной в Минске молодой, но уже авторитетный и уважаемый критик Виктор Коваленко крепко пожал мне руку и сказал, что хлопцы из Академии — за меня. И не только из Академии.

Алесь Адамович, которой тогда был уволен из Московского университета за отказ подписать осуждающее Синявского и Даниэля письмо университетской профессуры и находился в Минске, не раз звонил мне в Гродно, говорил, чтобы я держался и не впадал в отчаяние, не изверился в людях. Сам он к тому времени успел защитить докторскую диссертацию, кажется, в Киеве, с помощью маститого Леонида Новиченко. Этот же Новиченко, оказавшись проездом в Гродно, наведался ко мне, чтобы высказать добрые слова и поддержать. Жаль, меня не было дома. В отличие от Новиченко, другие украинские писатели, в том числе недавние мои друзья, готовы были устроить мне бойкот. При встрече на московском пленуме СП Олесь Гончар спросил, кто это дал фа-

милию Сахно прохвосту-смершевцу? Я сказал, что автор. Гончар возмутился: «А мы слышали, что это сделал какой-то жидок из «Нового мира». От тебя такого не ожидали...» Годы спустя, когда в Киеве зашел разговор об издании этой моей повести в переводе на украинский язык, тот же Гончар сказал: «Только через мой труп!» И я подумал: неужели все дело в ставшей одиозной фамилии? А может еще в чем-то, более глубинном, о чем, однако, не говорят. Стыдятся, что ли? Но благодаря принципиальной позиции моих друзей, прославленных украинских писателей Вл. Яворивского, Д. Павлычки, И. Драча, повесть всё же вышла на украинском языке в переводе нашей милой Тани Кабржицкой.

Вскоре после Найдена Вылчева приехал в Беларусь другой Вылчев — Георгий, ученый, университетский преподаватель. Он оказался очень компанейским человеком, неплохо говорил по-русски. Рыгор Бородулин взял его и минского художника Бориса Заборова с собой в Ушачи, погостить у матери Рыгора. Я побывал там по дороге из Бычков в Минск. Отцовская хата Рыгора стояла под сенью некогда посаженного Гришиным отцом вяза, за хатой был сад. А на крыльце стояла милая женщина Акулина Ивановна — Гришкина мама, типичная ушацкая вдова, потерявшая мужа во время войны, хлебнувшая много горя. Единственным ее утешением в жизни был сынок Гриша. Гениальный национальный поэт, что для матери мало значило. Для нее главным было только то, что он — сынок. И жила она этим огромным, как небо, чувством, выше которого нет ничего.

Помнится, там же, в Ушачах, а может и позже, я поспорил с Борисом Заборовым, который, в отличие от многих из нас, не спешил воздавать хвалу своему коллеге Михаилу Савицкому, стремительно и уверенно всходившему тогда на белорусский художнический олимп. Время, однако, показало, что прав был Заборов, а я ошибался, к большому сожалению.

В Гродно из Минска приехал Василь Буран, который готовился к защите кандидатской диссертации, посвященной творчеству Василя Быкова. Диссертацию тормозили, потому что в ней были не те оценки моего творчества. Василь

бился над диссертацией несколько месяцев, что-то переделывал, но все было напрасно. Я сказал ему: «Напиши, что им нужно!» Но Василь, этот славный украинский хлопец, мой ровесник, упрямился. Тогда мы вместе занялись диссертацией, сидели целый вечер, и я помогал Василю формулировать замечания относительно собственных творческих изъянов. Кажется, это помогло: диссертацию он защитил.

Накануне очередного съезда писателей Беларуси мои молодые друзья Геннадий Буравкин и Анатоль Вертинский организовали сбор подписей под письмом в защиту Быкова. Как они об этом потом сами рассказывали, интересно было понаблюдать реакцию многих писателей на предложение подписать письмо. Некоторые сразу отказались, другие обещали подумать (*то бишь им нужно было с кем-то посоветоваться*). Большинство, однако, не раздумывая, подписали письмо, и меня обрадовало, что среди «подписантов» было немало старых, весьма уважаемых писателей: Михась Лыньков, Иван Мележ, Янка Брыль, Аркадий Кулешов. (*Кстати, Кулешов, который состоял в давней дружбе с Александром Твардовским, одним из первых поздравил меня с публикацией в «Новом мире»*.) Но ни Шамякин, ни Бровка, ни Танк письмо не подписали. Конечно, то письмо мало помогла опальному Быкову (*да и не могло помочь*), однако шума наделало много. То, что вокруг него происходило, показало партийному руководству, что в бдительно контролируемом писательском коллективе уже нет былого зацементированного единства. Что писатели, как ни странно, не взирая на многолетнее давление и репрессии, способны на протест. Письмо, разумеется, нигде не было напечатано, а организаторов его не раз вызывали на допросы и разбирательства в различные инстанции (*в том числе и в КГБ*). Но дело было сделано, писатели впервые доказали, что могут не подчиниться грозной партийной воле. А это уже было опасностью, о которой стало известно в Москве и которую следовало пресечь.

Абсолютно неожиданно в Гродно объявился мой переводчик Михаил Горбачев. Рано утром прямо с поезда примчался ко мне на улицу Олега Кошевого, сказал, что приехал

инкогнито, по срочному делу. Из-за опубликования моей повести, к которой и он причастен, в ЦК КПСС разгорелся большой скандал, готовится закрытое постановление о повести, и постановление это черт знает к чему может привести. Поэтому, надо опередить ЦК — признать критику и повиниться. Лучше всего сделать это втайне, написать в ЦК покаянное письмо. Я, естественно, не согласился. Мы стали спорить, ругаться и, конечно же, пить. Спорили и пили чуть ли не сутки подряд, но к согласию так и не пришли. Сказано было немало пьяного вздора, но немало и принципиального, что непреодолимой гранью разъединило меня с моим переводчиком. В конце он сказал: «Что ж, отдельной книгой повесть теперь не издадут, будет лежать, как запасной капитал в сейфе. Может, когда-нибудь...»

Разумеется, кроме всего прочего, ему, как переводчику, жаль было своей работы, которая пропадала зря, и он надеялся на «когда-нибудь». К сожалению, эти его надежды не оправдались. Горбачев умер, так и не дождавшись издания одиозного произведения отдельной книгой.

Проводив Горбачева на московский поезд, я засел за свою речь на съезде. Нечасто я выступал на писательских сборищах подобного рода, но тут решился. (*Потом некоторые из моих очень уж информированных оппонентов совершенно напрасно сваливали вину за это на ни в чем неповинного Горбачева.*) Но если кто и «подстрекал» меня, то это Алесь Адамович, который сказал мне по телефону: «Промолчать ты не имеешь права, особенно, если из-за тебя могут пострадать другие». За день я набросал выступление с изложением моих взглядов и моим несогласием с критикой. Приехав в Минск, дал прочесть текст некоторым московским гостям съезда — Оскоцкому и Лазареву. Они не перечили. Разве что Лазарев, который знал мою манеру выступать, сказал: «Не торопись». Это было правильное замечание.

Обычно я старался прочесть текст выступления как можно быстрее, и это было плохо.

Читал в огромном нервном напряжении, при абсолютной тишине в зале, а когда закончил, зал неожиданно взорвался аплодисментами. Некоторые в задних рядах даже вста-

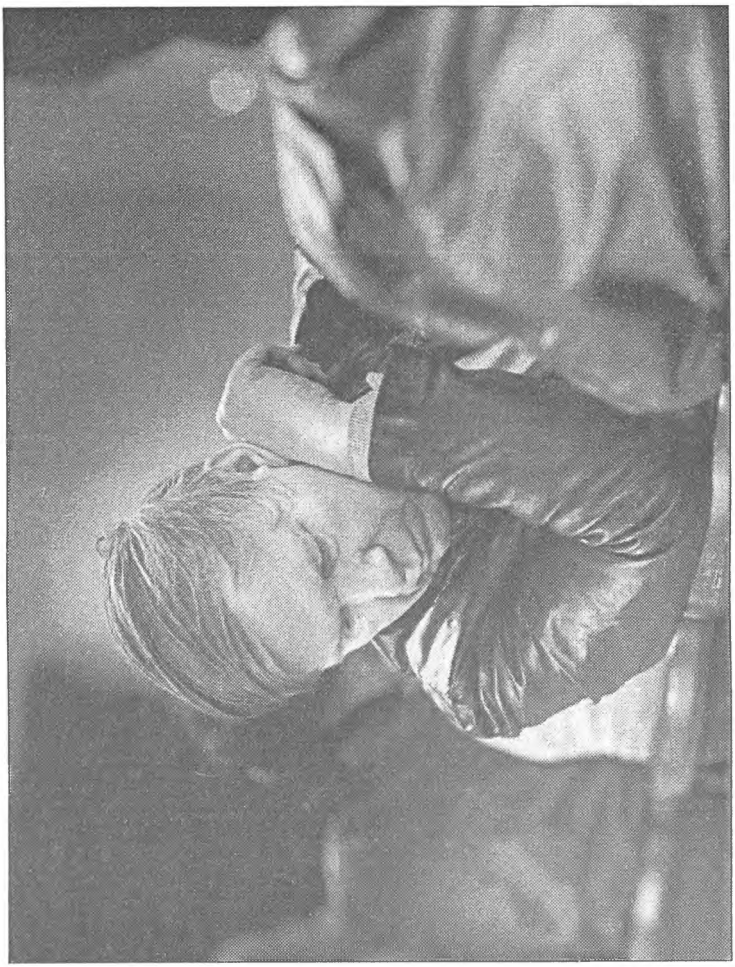
ли. Начальство в президиуме, понятно, сидело с каменными лицами. Но начальство знало то, чего не знали другие — недаром оно готовило съезд долго и тщательно. После перерыва сразу выступил Алесь Савицкий, который недавно окончил аспирантуру Литературного института и спешил делать карьеру. Твердым, размеренным голосом убежденного ортодокса он мигом пригвоздил к позорному столбу ренегата и антисоветчика Быкова за его клевету на Советскую Армию и ее авангард — партию коммунистов. Савицкому тоже аплодировали, а я там же в зале написал ему записку: «Далеко пойдешь, Алесь!» И как в воду глядел. Не прошло и месяца, как мой земляк и ровесник очутился на хлебной и почетной должности в ЦК КПБ. Правду говорили: главная истина века — съел друга, сам толще стал.

Врагов той речью я, конечно же, приобрел немало (*все руководство Союза долго старалось не здороваться со мной*), но и друзей стало больше. При встречах в СП и в ресторанном застолье полную солидарность со мной высказывали Рыгор Березкин и его молодые товарищи — Валя Тарас, Наум Кислик, Федор Ефимов. С ними частенько бывал и непьющий Алесь Адамович, тем не менее чуть ли не самый активный инициатор застолий. Пока мы хмелели, он умно и содержательно говорил о тотальном давлении на литературу и о несгибаемости личной воли. В условиях привычной несвободы это было непросто. Но необходимо. Иначе литературное дело превращалось в банальное полицейское доносительство и средство наказания вольнодумцев. Я говорил, что очень важно было бы довести это до сведения руководства нашего СП, на что Адамович только иронически хмыкал — они это знают лучше нас. Потому что непосредственно в этом участвуют. Что ж, как всегда, Саша был прав, потому что был научен собственной скандальной историей в Московском университете.

Текст моего выступления на съезде попал в Москву, оттуда на Запад. Радио «Свобода» передало его в эфир. А в скором времени я получил из Берлина прекрасно изданную книгу «Мертвым не больно» на немецком языке. Директор западноберлинского издательства «Propileen» спрашивал,



*Василъ Быков. 1944 г.*



*Василь Быков в 60-е годы прошлого века*



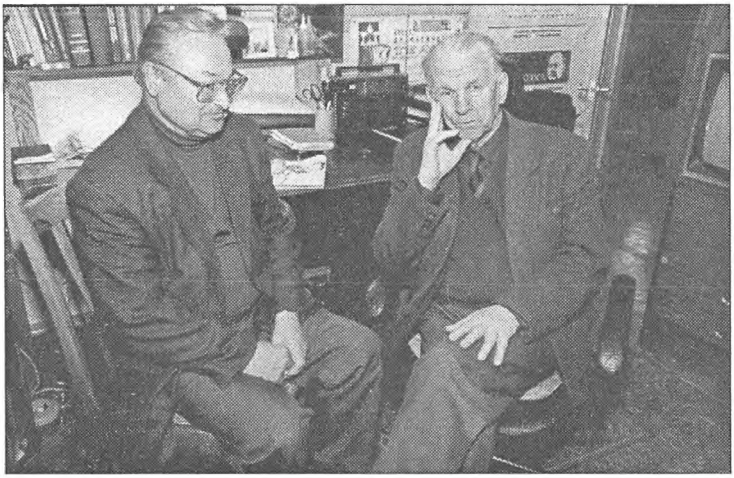
*С матерью Анной Григорьевной в Бычках*



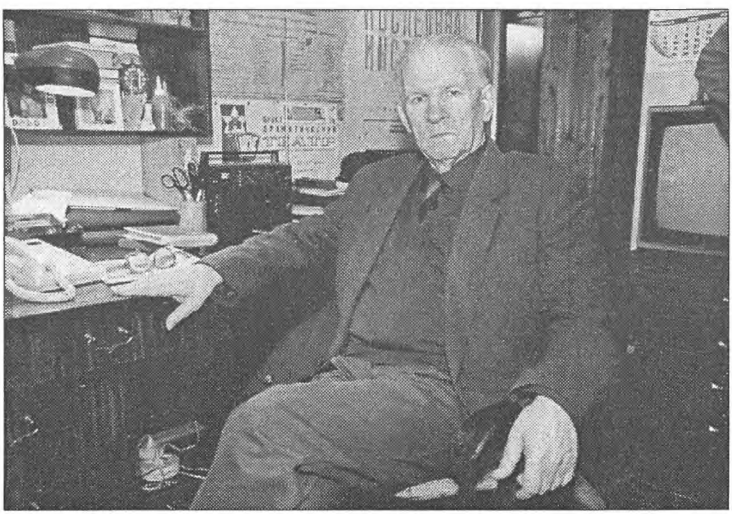
*С московскими друзьями.*
*Слева направо: Алексей Симонов, Валентин Оскоцкий, Лазарь Лазарев, Василъ Быков*



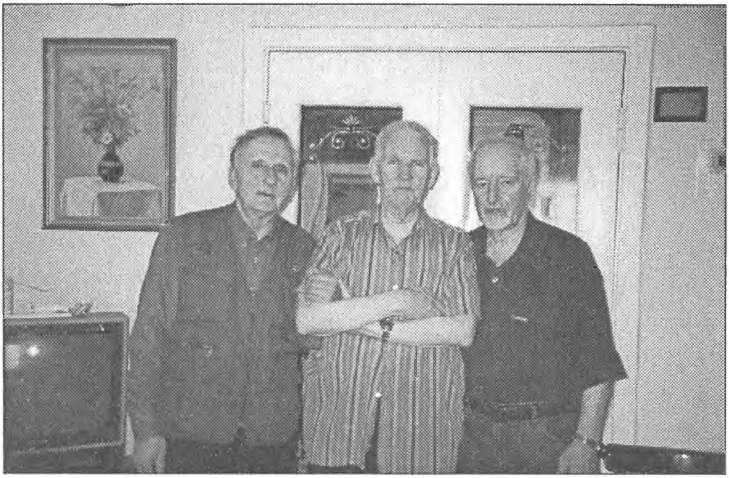
*Слева направо: Валентин Тарас, Алесь Адамович, Василь Быков. 1979 г.*



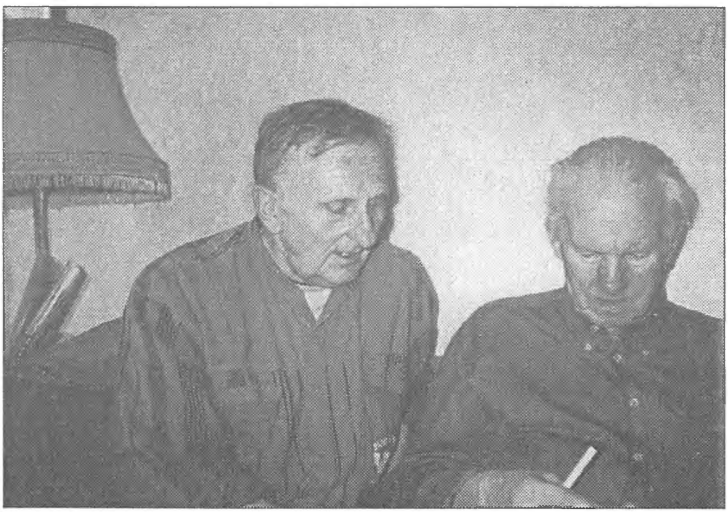
*Геннадий Буравкин и Василъ Быков*



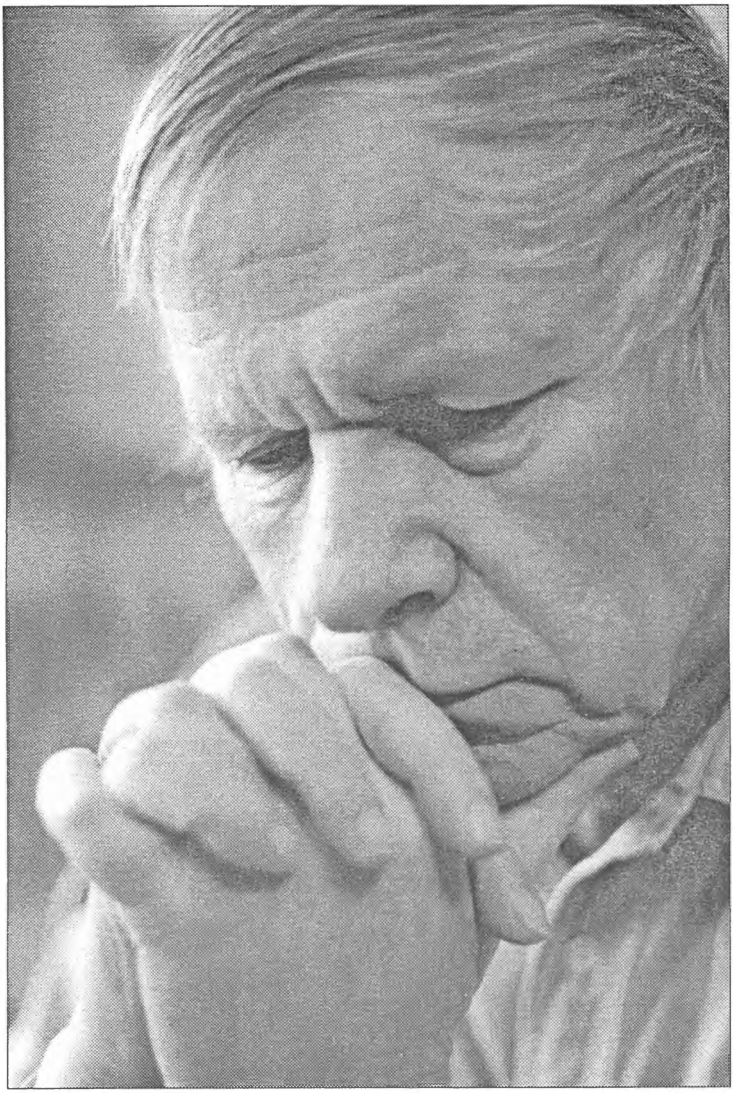
*Василъ Быков*



*Слева направо: Валенин Тарас,*
*Василъ Быков, Рыгор Бородулин*



*Валентин Тарас и Василъ Быков*



*Василъ Быков. 2002 г.*

каким образом он может заплатить мне гонорар? Мы с Алексеем Карпюком долго придумывали ответ и решили оставить этот вопрос нерешенным.

Иначе не оберешься беды. И, должно быть, мы поступили правильно, потому что все зарубежные гонорары поступали тогда через специально созданную государственную структуру, обходить которую было опасно. Еще совсем недавно сообщалось о суде над наследниками Бориса Пастернака — будто бы за нарушение правил валютных операций.

Вскоре после съезда я получил первое письмо от Александра Твардовского. Впоследствии я получил от него немало писем и открыток, но самое первое письмо оказалось для меня самым важным во всех отношениях. В нем Александр Трифонович обосновал собственный взгляд на современную литературу и полностью поддержал мое выступление на съезде. Ему понравилось, что я не оправдывался, не каялся, а, напротив, наступал и обвинял. Похвальное слово мэтра русской литературы перевешивало все злобные нападки на меня «литературоведов в штатском». Еще более уверенно я почувствовал себя, когда однажды под осень получил телеграмму из Ялты от знаменитого автора книги «В окопах Сталинграда», тоже битого критикой (*за путевые заметки о Западе*), Виктора Некрасова. «Пьем за ваше здоровье, желаем новых книг правды о нашей великой войне», — говорилось в телеграмме...

**Еще во время** пребывания Найдена Вылчева в Беларуси было договорено, что Болгарский союз писателей пригласит меня в гости. На то имелись все основания. Прежде всего — мою «Третью ракету» и «Альпийскую балладу» перевели на болгарский язык и издали в Пловдиве. Стало быть, я должен был получить там какой-то гонорар. Но у меня не было заграничного паспорта. Когда я обратился в райотдел МВД, там долго молчали, тянули. Шло время, наступила осень. И вдруг звонок: можете приехать за паспортом. Через неделю я уже ехал поездом из Москвы в Софию. Мне не терпелось увидеть страну моей пусть не очень счастливой мо-

лодости, взглянуть на знакомые и милые для меня места. Ну и, конечно, хорошо погостить. Всё же я ехал по приглашению официальной организации, а не как бесправное частное лицо.

На пограничной станции Унгены, которую я когда-то отвоевывал у немцев, меня сразу попросили из вагона в здание вокзала. Чемодан, сказали, можно с собой не брать. Я, кстати, ничего с собой не вез, кроме бутылки водки и своих книг. Еще, правда, коробку конфет, которую жена Аркадия Кулешова, Оксана Федоровна, попросила передать ее дочери Вале, — Валя была замужем за болгарином и жила в Софии.

В здании вокзала меня провели на второй этаж, в просторный кабинет, в котором сидел за столом блондинистый мужчина, явно меня ожидавший. Я сразу догадался, кто он такой, хотя он и не назвал себя. Начался разговор: кто вы, откуда едете и куда? В Болгарию? У вас там друзья? Кто они? Какая у вас с ними связь — по переписке или личная? Потом разговор приобрел более эмоциональный тон: «Почему вы так тенденциозно пишете? У нас много военных писателей, но ведь они пишут без искажения правды войны и работы органов. Без хорошо налаженной работы органов не было бы и нашей победы — враги и предатели быстро сдали бы Советский Союз Гитлеру. А так у вас есть возможность съездить в Болгарию, встретиться и выпить с друзьями». Разговор длился уже целый час, если не больше, и я уже стал беспокоиться, что могу отстать от поезда. Сказал об этом своему собеседнику. Он только усмехнулся: «Поезд без вас не уйдет». И правда, наговорившись всласть, до конца, надо полагать, выполнив свою обязанность, он проводил меня до вагона. Когда поезд пересек границу, я открыл свой чемодан и удивился: все в нем было перерыто. Один из соседей по купе потом шепнул мне в коридоре: «Они ваш чемодан куда-то уносили». Что ж, спасибо, что не украли чужие конфеты...

Настроение было испорчено, весь путь через Румынию и до самой Софии был омрачен, я уже не хотел никуда ехать. Но когда София встретила меня знакомым запахом жареной кебабчи, настроение улучшилось. Особенно после доброй чарки подогретой ракии.

Найден устроил меня в отель и предупредил, что на этом официальная встреча гостя Союзом писателей кончается, в дальнейшем мною будут заниматься в частном порядке. В том числе и он, Найден. Так приказала Москва, которая вообще хотела отменить визит, но болгары сочли это бестактным и разрешили приехать. Что ж, в частном порядке они тоже принимали меня неплохо. Прежде всего хорошо угостили на квартире у Вылчева, где я познакомился с его милой Минкой. Пришел и другой Вылчев — Георгий, с ним мы уже были знакомы: меня представили ему, когда он приезжал в Минск и Гродно. Прозаик Ивайло Петров при встрече на улице пригласил в кафе на бокал вина и рассказал острый политический анекдот. В воздушной катастрофе погибли три национальных лидера: Аденауэр, Эйзенхауэр и Хрущев. Вопрос: какой народ больше всех будет горевать? Ответ: болгарский. Почему? Потому что среди них не было Тодора Живкова. Анекдот в аллегорической форме все объяснил. Больше о настроениях и жизни в Болгарии можно было не спрашивать. Хотя жизнь там во всех отношениях была куда лучше, чем в нашей стране. В Софии мне была оказана честь быть приглашенным на некоторые званые обеды, и я помню, что говорил на одном из них о Минске редактор одной болгарской газеты. А говорил он, что, когда он был в Беларуси, ему хотелось плакать, потому что он не увидел на улицах ни одной белорусской вывески, не услышал в Минске ни одного белорусского слова и понял, что ждет Болгарию. Он был недалек от истины...

В Софии я съездил на Пловдивское шоссе, в бывший наш военный городок. Городок находился на своем месте: та же ограда из колючей проволоки, проходная будка и казармы. Но что-то и изменилось. В вилле через дорогу, где когда-то жил болгарский генерал, а потом наш комбриг, теперь была коммуналка, во дворе сушилось на веревке белье, поодаль два болгарина смолили кабана. Совсем как в белорусской деревне. Деревня и здесь пришла в город. Болгарские писатели хотели угостить меня знаменитым болгарским коньяком «Плиска», но нигде его не нашли. Искали по всему городу, побывали в фирменном магазине «Плиска», но и там этого

коньяка не оказалось, сказали — весь пошел на экспорт. Я подумал тогда: хорошо, что наш «сучок» не идет на экспорт, по крайней мере есть что выпить.

В начале декабря, как раз в день сталинской конституции, умер отец. Поехал на похороны. До Полоцка ехал поездом, а оттуда — на такси. Не доезжая Кублич, в Штундоровых горках машина забуксовала, пришлось идти пешком. Благо, было недалеко. Отец перед смертью долго болел какой-то лихорадкой, от которой его лечили в Селицкой больнице, но напрасно. Он очень мучился — от болезни и тревоги за сына. Когда я приезжал в последний раз при его жизни, он пристально вглядывался в меня и тяжело вздыхал: «Достается тебе, сынок, лучше бы ты бросил писать». В хлевушке под стрехой давно лежали у него несколько еловых досок, ждали своего часа. Не дождался мой старый батька дня, когда я брошу писать. С тем и ушел в сосонник посреди деревни, где собрались все поколения тамошних жителей. Жили и относились друг к другу по-разному, а тут лежат тесненько в мире и согласии. Должно быть, только на кладбище это и возможно.

**Всё за последнее** время пережитое, связанное с литературой, не заставило меня, однако, отречься от военной темы. Хотя было порой мучительно, охватывало чувство безнадежности. Но поддержка друзей в Минске и Москве свидетельствовала, что в творческом плане моя позиция плодотворна, что я на правильном пути. Как-то в Москве состоялся у меня хороший, откровенный разговор с Лазарем Лазаревым, который становился едва ли не самым авторитетным исследователем военной литературы и напечатал кое-что в мою поддержку. Как всегда, на всех коллективных мероприятиях в своих горячих выступлениях высоко оценивал мои повести Алесь Адамович. Читатели присылали массу откликов, в большинстве одобрительных. Среди них получил однажды хорошее письмо от мало известного тогда, а в скором времени ставшего одним из самых замечательных писателей России Виктора Астафьева. Отличное письмо в поддержку мо-

его взгляда на войну прислал командующий Закавказским военным округом генерал армии Стученко. Жаль, немногое из этих эпистол сохранилось: часть я сам сжег на даче (*не было где прятать*), часть разворовали, кое-что отдал в литературный музей.

В ту пору всё свободное время проводил на Немане в компании с Валей Чекиным, музыкантом и поэтом, умницей, который оставался моим другом. Неплохие его стихи иногда печатались в областной газете. С ним можно было откровенно поговорить о жизни и литературе. Он умел слушать, не любил спорить, — так же, как и я. Ну и рыбак был отменный.

Став секретарем областного отделения СП, Алексей Карпюк стремился активизировать работу гродненских писателей, организовывал всяческие вечера и встречи: в школах, на предприятиях, иногда с выездом на район. Обычно для участия в литературных встречах он приглашал Дануту Бичель, Ольгу Ипатову, которая для этого сбегала с уроков и, прибежав в пединститут или в редакцию, бойко читала стихи. Карпюк гордился молодыми и недолюбливал стариков — нескольких слишком активных пенсионеров-отставников. К моей дружбе с Чекиным он относился довольно сдержанно, но я считал, что он ошибается. Это мое убеждение еще больше окрепло после одного случая.

В один из первых летних солнечных дней мы с Чекиным договорились встретиться на Немане, чтобы переоборудовать наши лодочные причалы. Накануне Валентин приволок две толстенных доски, которые раздобыл за бутылку на ближайшей стройке. Придя к лодкам, я долго ждал Валентина, а его всё не было. Наконец он появился, но вид у него был очень чем-то озабоченный. Какое-то время он молчал, а потом тихо рассказал мне, что его вызывали в КГБ. Не на Урицкого, где находилось их управление, а в гостиницу. И хотели завербовать, но он отказался. Это не было для меня большим сюрпризом, но настроение испортило изрядно. Я не знал, что сказать Валентину, как к этому отнестись, тем более, что Чекин сказал о сделанном ему предупреждении о «неразглашении». То, что Валентин отказался работать про-

тиь меня, делало его в моих глазах еще большим другом. Больше, однако, мы с ним на эту тему никогда не говорили, и я не знал, были у него потом еще какие-то контакты с КГБ или нет. Я никому об этом случае не рассказывал, лишь Карпюку рассказал через много лет. Алексей, выслушав, криво усмехнулся: это же у них такой прием, а ты думал... Я подумал тогда, что если прием, то самый поганый и подлый. Потому что признание друга вызвало у меня самые добрые чувства к нему и полное доверие. Думал, что если человек, несмотря на запрет, признается в том, чего от него хотели, он действительно преданный тебе друг. Оказывается — прием...

Очень быстро, может, в течение месяца, написал маленькую повесть, которую назвал «Проклятая высота». Не давал мне покоя, засел в сознании случай весной 44-го года на фронте. Думалось, в том эпизоде заключено что-то новое, что можно использовать в литературе. Хотя новое — очень относительное понятие, то, что я имел в виду, давно стало банальностью в нашей жизни, вдоль и поперек пронизанной теми самыми «органами». Но, написав, заколебался: стоит ли печатать? Хотелось с кем-нибудь посоветоваться, но в Гродно таких людей было мало. Карпюка, насколько помнится, в городе тогда не было, куда-то уехал, а мой Валентин не знал белорусского языка. Да и вообще, будучи поэтом, он не очень интересовался моей прозой. Но иногда (*обычно в компании с Карпюком*) я встречался с преподавателем медицинского института доцентом Клейном. Борис читал будущим медикам историю КПСС, был эрудированный ученый, знал литературу и философию. К нашей действительности относился сдержанно критически, и это придало мне решимости предложить ему прочитать повесть. Взял он рукопись не очень охотно, но прочел ее за одну ночь и, когда мы встретились, расхвалил. Сказал, что такую вещь Твардовский с радостью напечатает. Она того стоит.

Прежде всего я отвез повесть в Минск, отдал Пимену Панченко. Пимен был озабочен: мои повести, похоже, стали угрожать его редакторскому креслу в «Маладосьці». Сказал: «Было бы неплохо, если бы поддержал «Новый мир». Но ведь для «Нового мира» нужно перевести, а переводчика

у меня не было. Тогда Пимен говорит: «Сделайте подстрочник, а переводчика они сами найдут. В Москве переводчиков навалом».

Так я и сделал — переписал текст более-менее по-русски. Не шлифуя, не заботясь о стилистике, думая только о смысле. С какой-то оказией отправил рукопись в Москву. Очень скоро позвонил Кондратович — надо приехать.

**На этот раз** состоялась встреча со всей редакцией. В широком кресле сидел грузный, официально одетый Александр Трифонович, пришли сдержанный Алексей Кондратович, очкарик Игорь Виноградов, словоохотливый Владимир Лакшин, моя редакторша Аня Берзер и ее коллега Инна Борисова. Чуть позже пришел седовласый, улыбчивый Игорь Сац, а секретарь редакции Хитров был там с самого начала. Началось обсуждение, которое шло недолго, спокойно и обстоятельно. Помню, Кондратович говорил о некоторой жесткости конструкции повести, Лакшин — о характерах. Твардовский отметил определенный новый нюанс в трактовке неновой темы, сказал, что напечатать повесть — его долг. Вот только перевод... Кто сделает перевод? Лакшин сказал, что перевод мог бы сделать Дудинцев, он сидит без работы. После того, как недавно был раскритикован его роман. Твардовский посмотрел на Лакшина с укором: «Ага, значит, что же получается? Автор Быков, переводчик — Дудинцев, редактор — Твардовский. И вы хотите при таком трио напечатать повесть?» Все засмеялись, поняв неприемлемость предложения Лакшина. Тогда, немного подумав, Александр Трифонович говорит: «А пусть сам Василь поработает над русским текстом, вычитает как следует. Анна Самойловна поможет. А мы посмотрим». На том и порешили. И на многие годы сделали Быкова переводчиком собственной прозы. Хотя хлеб тот оказался необычайно тяжелым, и я не раз хотел бросить самопереводы. Но брался снова и снова, потому что иначе не получалось.

В заключение Твардовский сказал, что авторское название повести не пойдет, над названием надо думать. Это мне

не понравилось больше всего, но я уже знал, что в «Новом мире» особенно требовательно относятся к названию. Этого требует политика журнала. А там, где политика, нет места вкусу и даже логике. Вся моя дальнейшая практика отношений с периодическими изданиями и издательствами подтвердила незыблемость этого принципа.

В «Маладосьці» повесть, как и должно было быть, появилась раньше новомирской публикации. Но не успел я получить тот номер «Маладосьці», как в Минске в одной из газет появилась огромная статья партийного журналиста, какого-то Агеева, который в пух и прах разгромил повесть. Досталось, разумеется, и лично автору. Хотя другой оценки я не ждал, всё же было немного обидно — сколько можно?! На этот раз белорусское руководство не робело — опередило Москву. Если раньше оно оказывалось «на подхвате», то теперь подхватывать должны были москвичи. Инициатива принадлежала Беларуси.

В Москве, разумеется, не дремали, подхватили тотчас. Чуть ли не во всех газетах прокатилась волна критики и осуждения. Не притуплял политическую бдительность ГЛАВПУР. На различных совещаниях его начальник генерал Епишев в качестве негатива приводил в пример клеветническую повесть Быкова. Оценки Епишева вошли даже в военные учебники и пособия по политической подготовке солдат Советской Армии. Тут аккурат подоспел и «Новый мир» с повестью, названной в нем «Атака сходу». То, что «сходу», должна было оправдать неудачу атаки, — так мне объяснили потом в «Новом мире». Но ничего оправдать не удалось. Вся советская пресса, чиня расправу над автором ущербной повести, громила и журнал, особенно не раз уже ошельмованного Твардовского. Читая, как его поносят, я чувствовал некоторую неловкость, вину за то, что «подставил» журнал и его уважаемого редактора. Тот, однако, не каялся, а прислал мне очередное письмо с выражением поддержки, приведя в пример протопопа Аввакума, который со своей протопопицей из последних сил топают по дороге. «Только к какой цели? — думал я. — К последнему костру в своей заброшенной лачуге?»

Правда, «Литературка» поместила в те дни единственную положительную рецензию на повесть, и для меня было важно, что автором ее был Юрий Бондарев.

**Я продолжал** работать в редакции, но замечал, что отношение ко мне становится всё более кислым. На пост главного редактора был назначен новый человек, ветеран войны, бывший летчик Георгий Лысов. У меня с ним состоялся разговор, из которого я понял, что терпеть меня обком больше не намерен. Георгий Степанович советовал мне писать немного сдержанней: «Ну их к чертям, эти органы! Их лучше не трогать, по себе знаю...» Я думал: кто из нас этого не знает? Но все молчим. Может, и мне надо замолчать? Я уже готов был замолкнуть. Может, и прикусил бы язык, если бы не последующие события...

Жена работала в школе, дома подрастали двое мальчишек, домашних забот хватало, и она искала помощницу. Кто-то из знакомых преподавательниц пединститута посоветовала хорошую женщину, одинокую, которая бралась два раза в неделю убирать квартиру. Вскоре она и появилась у нас — добрая, работящая женщина. Она действительно жила одна, хотя у нее был сын. Оказалось,что она отсидела срок в лагере. Правда, не очень было понятно, за что. Да я и не интересовался. Обычно, когда она приходила убирать, мы с сыновьями выметались во двор или еще куда-нибудь, чтобы не мешать. Убирала хорошо, старательно. Жена была довольна.

Но как-то я подошел к книжному шкафу, чтобы взять понадобившуюся книгу — «22 июня 1941 года» А. Некрича, которую только что разгромили в печати, но книги на месте не оказалось. Я хорошо помнил: на днях поставил ее на полку, на определенное место, но там ее нет. И никто не знает, где она. Пропала книга! А следом еще одна пропажа. Длительное время я получал письма из Мальмё от одной эмигрантки с описанием ее приключений в Минске во время оккупации. Написанные меленьким почерком на очень тонкой бумаге письма эти были чрезвычайно интересны, в них было

множество подробностей, фамилий, дат. Я собирал эти письма в папку (*собралось уже около двадцати писем*), которую тоже ставил за стекло в шкафу. И вот после книги пропали эти письма. Кому они могли понадобиться? Понятно, кому... Судя по всему, когда хозяев в квартире не было, в нее наведывались гости. В том, что так оно и есть, меня убедил еще один эпизод.

Как-то поздней осенью иностранная комиссия СП СССР уговорила меня съездить в Румынию. Ехать туда мне не очень хотелось, знакомых там не было. Правда, в Бухаресте вышли несколько моих книг, и женщина из иностранной комиссии меня убеждала: румыны вас читают, любят и очень ждут. Та поездка доставила мне мало радости, разболелся зуб, пришлось его удалять, заплатив за это чуть ли не все мои командировочные. Принимали меня, правда, хорошо, хотя удивили при первой встрече вопросом, что я пишу — стихи или прозу? Это о многом мне сказало... Но всё же было у меня там несколько интересных встреч, завязались знакомства с румынскими писателями. Один из них, автор монографии о советской литературе, дал мне свою визитку, на которой была напечатана его фамилия — Утан. А фамилия тогдашнего генерального секретаря ООН была У Тан. Вернувшись в Гродно и встретившись у себя дома с Борисом Клейном, я рассказал ему о поездке и показал ту визитку. Борис удивился: «Ты встречался с У Таном?» Да, говорю, встречался, и он даже написал обо мне в своей книжке. Гость всё понял, мы посмеялись и он ушел.

День спустя Гродно взбудоражили таинственные слухи насчет У Тана. Знакомый доктор интересуется, с кем я встречался в Румынии: «А что, и генсек ООН там был?» «Да нет, — говорю, — что ему там делать?» Звонит директор библиотеки: «Не могли бы вы назвать книги, которые написал У Тан? Тут понадобились, а найти не можем». Спрашиваю: «Кому понадобились?» — «Это не телефонный разговор...» Ага, понятно, кому!.. Мой разговор с Клейном они записали, но визитку-то не видели и подумали, что речь идет о нелегально привезенной книге. Значит, где-то под диваном у меня «жучок».

**После безрадостной** истории с публикацией «Проклятой высоты» мои намерения и дальше разрабатывать военно-фронтовую тему стали угасать. Хотя я и видел в ней еще немало возможностей, и в голове выстраивались определенные планы; прикинув, как это будет встречено начальством и критикой, решил воздержаться. Задумался о партизанской теме. Тем более, что в ней виделись мне не менее интересные возможности, связанные прежде всего с моральной проблематикой. Здесь надо заметить, что как за фронтовую, так и за партизанскую тему я брался после всех. Когда другие уже много написали и о фронте, и о партизанах. Чтобы никому не перебегать дорогу, я старался скромно идти следом и подбирать то, что осталось.

Похоже, в стране махнули указующей рукой на экономику, промышленность, на дальнейший подъем сельского хозяйства и взялись за любимого конька — идеологию. По поводу идеологии проводились партийные пленумы всех уровней, пленумы творческих союзов; редакции и издательства укреплялись выпускниками ВПШ и Академии общественных наук. Невероятно раздулись штаты Главлита и обллитов, списки запрещенных тем и сведений достигли толщины телефонных справочников. В редакциях и издательствах главной фигурой стал цензор, который придирчиво щупал каждую строчку и, если что не так, докладывал наверх, дабы оперативно были сделаны оргвыводы. Пропагандистским аппаратом было найдено емкое и универсальное определение — идеологическая диверсия. Для ее выявления при каждом парткоме работала идеологическая комиссия, которая тоже выносила свой вердикт. Для начала во всех инстанциях провели кампанию по выявлению абстракционистов и борьбе с ними.

Однажды меня вызвали в обком, где первый секретарь Владимир Мицкевич, человек двухметрового роста, с квадратными скулами, спросил, знаю ли я, что такое абстракционизм. В меру моих знаний и понимания я попытался объяснить, что это такое, и сказал, что в литературе абстракционизма нет. «А Евтушенко?» — был задан вопрос. «Ну какой же Евтушенко абстракционист, он самый что ни на есть социалисти-

ческий реалист», — сказал я. «А ваш Карпюк?» — спросил Мицкевич. Это меня совсем удивило: «Карпюк — абстракционист?» Но, как в скором времени выяснилось, обкомовский босс вызывал меня вовсе не для того, чтобы выслушивать мои объяснения.

На собрании областного партактива Мицкевич стал громить московских «абстракционистов» Евтушенко и Вознесенского, присовокупив к ним и нищего Карпюка. Собрание потребовало от члена КПСС Карпюка признать свою вину, и тот высказался в том смысле, что толком не знает, что такое абстракционизм, — в чем же признаваться? Но в заключительном слове Мицкевич заявил, что, как все могли в этом убедиться, товарищ Карпюк — замаскированный абстракционист, хотя и не признается.

Надо заметить, что у первого секретаря обкома было немало претензий к Карпюку по совсем другому поводу. Давний борец за правду и справедливость, Алексей по любому вопросу шел в обком и часами ругался со всеми секретарями, в том числе и с первым. Его возмущало отношение руководства к нуждам культурных учреждений области, к обеспечению горожан продуктами, даже то, что в парке разросшиеся деревья заслоняют памятник Элизы Ожешко. И вот теперь настал момент, когда можно было публично ошельмовать писателя. Но Карпюк решил не сдаваться, поехал в Минск добиваться приема у Машерова. Когда с этим нечего не вышло, Алексей бросился в Союз писателей, к Танку. Но Танк только развел руками: мол, что поделать с дураками. Должно быть, Евгений Иванович был прав, он давно уже не вмешивался в подобные конфликты с властями. В лучшем случае мог отправить жалобщика к своему вечному заместителю Шамякину. Но чтобы Шамякин заступился за кого-нибудь перед партийными органами, такого не случалось. Он сам их боялся: рассказывали, что когда в Союз звонила руководящая цековскся дама Синельникова, с трубкой в руке принимал стойку «смирно».

После съезда на место Синельниковой в ЦК пришел Савицкий, и первой его командировкой на периферию стала поездка в Гродно.

Карпюк позвал меня в Дом Ожешко, где он обычно сидел за пишущей машинкой, и говорит: «Слушай, прилетает Савицкий, встретишь его в аэропорту, а тут буду принимать я. Как это и должно быть по протоколу».

Я встретил важного гостя у трапа самолета, на обкомовской «Волге» привез к Карпюку. Карпюк встал из-за стола, и Савицкий, который когда-то вместе с Карпюком учился на Высших литературных курсах, дружески протянул ему руку: «Здорово, Алексей!» Алексей, однако, спрятал руки за спину и сказал: «Вот что, Алесь. Ты стукач, и я тебе руку не подам. Но если ты приехал от ЦК, то садись, будем разговаривать по делу».

У Савицкого, должно быть, были крепкие нервы, глазом не моргнув, он сел за стол. Начался казенный разговор: выполнение планов, заботы коллектива, взаимоотношения. Карпюк быстро потерял интерес к гостю и сказал, что сегодня у него много работы, он заканчивает повесть. Они холодно попрощались. Тот холодный прием в скором времени аукнулся Карпюку, причем довольно жарко.

**Я со временем** убедился, что жизнь в провинции имеет разве что мнимые преимущества по сравнению с жизнью в столице, где у современного человека есть возможность спрятаться в муравейнике многолюдья. Вопреки распространенному мнению, в провинции это невозможно. Во-первых, там ты под постоянным надзором начальства, соседей, органов, которые всегда стремятся всё и про всех знать. Опять же — визиты. В Гродно, где мы много лет жили с Карпюком, не бывало недели, чтобы кто-нибудь к нам не приехал из Минска, из Москвы или из Польши. Конечно, приезжали и хорошие люди, которым мы были рады. Завязывались новые знакомства, иные из них перерастали потом в многолетнюю дружбу. Но попадались среди визитеров и подозрительные, а то и явно подосланные госбезопасностью типы. А как мы могли об этом узнать?

Не было отбоя и от телефонных звонков, деловых и частных, из того же Минска, из Москвы. Часто звонил Микола

Матуковский. Он работал в «Известиях» и, конечно, старался для своей газеты. Что-то я писал для него по проблемам литературы или языка, исходя из своего видения этих проблем. Микола, разумеется, правил, переписывал, и это печаталось, что, однако, доставляло мне мало радости.

Как-то к нам приехал всеми любимый Владимир Короткевич. Он писал тогда «Христос приземлился в Гродно» и хотел посмотреть на гродненские «костоломные башни». Не дожидаясь, пока хозяева соберутся устроить застолье, сам собрал местных литераторов в ресторане «Беларусь» (*тогда этот ресторан еще был*), стал откупоривать шампанское и облил Дануту Бичель. Галантно извинялся и целовал ей ручки.

Незадолго до своей смерти приехал из Варшавы известный польский поэт Виктор Ворошильский, которого потом задержали на гродненской таможне, устроили позорный, оскорбительный обыск по полной программе. Ворошильский родился в Гродно и жил тут с родителями во время войны. Немцы не уничтожили семью знаменитого гродненского гинеколога-еврея лишь потому, что ее все годы оккупации спасала белорусская женщина, бывшая работница роддома. Виктор рассказывал, как она по ночам прятала и перепрятывала их, троих детей и троих стариков, в погребах и заброшенных сарайчиках, рискуя собственной жизнью и жизнью своих близких. И спасла, никто не погиб. Умерла та женщина в 70-е годы, не отмеченная ни белорусским правительством, ни израильским «ЯД ВАШЕМ». Деревце в ее честь возле знаменитой минской Ямы никто не посадил.

День, или, кажется, два мы с Карпюком имели удовольствие провести с приехавшим из Белостока уже тогда знаменитым, опальным писателем Сократом Яновичем. Во время прогулок по окрестностям Гродно он рассказывал, как его преследуют польские власти, а мы ему рассказывали о своих злоключениях. На том и сошлись. Как показало время, — навсегда.

Особую симпатию гости испытывали к Карпюку, который всегда был доступен, целыми днями сидел в своем офисе, стучал на машинке. Одно время зачастил в Гродно жур-

налист и писатель Олек Омельянович, тоже из Белостока. Карпюк не любил выпивки, и если надо было с кем-то посидеть за рюмкой, он приглашал на выручку меня или приводил гостя ко мне на квартиру. Так было и с Омельяновичем. Он был простой, свойский хлопец, охотно выпивал и много рассказывал о своих экзотических путешествиях в Латинскую Америку. Но однажды, накануне его очередного приезда в Гродно, в офисе Карпюка раздался телефонный звонок, анонимный, и кто-то предупредил, чтобы Олека мы не принимали. Мы были растеряны: кто звонил, откуда? Помню, как мы втроем — я, Карпюк и Клейн, укрывшись в парке возле Каложи, обсуждали это событие. Что звонили из госбезопасности, не вызывало сомнений. Но из чьей? Карпюк говорит: «Может, из польской?» Рассудительный Клейн в ответ: «А если из нашей, то что это меняет?» Так мы ни к чему и не пришли. Но, кажется, после того звонка Омельянович больше не приезжал. А в скором времени Карпюку пришлось обратиться к нему за помощью в Белостоке, и Омельянович ему помог, как не смог бы помочь никто в Беларуси.

Запомнился приезд из Ленинграда инженера Войцеховского, бывшего партизанского комбрига. Помню, была хорошая погода, мы взяли несколько бутылок и отправились на природу в Пышки. Когда выпили, комбриг и его бывший подчиненный Карпюк, который когда-то был назначен по приказу Войцеховского командиром отряда, стали вспоминать эпизоды своего партизанства. Войцеховский тогда очень высоко отзывался о Карпюке как о командире. Многое они вспомнили, и многих своих друзей-партизан тоже. Называли имена: тех, кто погиб, тех, кто остался жив, кто где живет, какую сделал карьеру. Войцеховский укорял, но одновременно и хвалил Карпюка за то, что тот не остался в 44-м крепить советскую власть на Гродненщине, как это сделали почти все партизанские командиры, а ушел на фронт, где его искалечило. (*О том, почему Карпюк ушел на фронт, вернее, из-за чего, я уже рассказывал.*) Карпюк, слушая Войцеховского, только улыбался. Они хорошо знали и уважали друг друга, и я невольно завидовал им. У меня не было никакой возможности

для подобных встреч. И не могло быть: одни мои друзья лежат в братских могилах от Днепра до Австрийских Альп, других разбросало по всему свету. Но прошло совсем немного времени, и я перестал завидовать. Пришлось сочувствовать...

Где-то со времен хрущевской «оттепели» в советских издательствах стали выходить книги знаменитых западных авторов, до того у нас неизвестных. Кажется, первым в этом ряду был Ремарк, сразу ставший популярным среди читательской молодежи. (*Париж, женщины, кальвадос. Но и «На западном фронте без перемен».*) Но если французских женщин и свободную любовь власти еще могли стерпеть, то «На западном фронте» терпеть не стали. Как всегда оперативно, в оборот было запущено уничижительное в советской трактовке определение — ремаркизм, которое, как бирку быку на рога, вешали на того или иного автора. Первый этой «чести» был удостоен Булат Окуджава с его небольшой, но емкой повестью «Будь здоров, школяр!», которая была напечатана в Калуге, в скандальных «Тарусских страницах». Это была хорошая повесть. Но больше о войне Окуджава, кажется, прозы не писал — отдался поэзии и шансону, которые принесли ему мировую славу. После Ремарка в советский читательский обиход вошел Хемингуэй, хотя самый значительный его роман «По ком звонит колокол» долго не хотели издавать, а когда издали, оказалось, что почти треть текста ушла в купюры. Мне в Москве дали прочесть рукопись полного текста, напечатанного на тонкой бумаге, я увез рукопись домой и внимательно прочитал. А прочитав, почувствовал себя совсем бедным. И совсем необразованным тоже. То, что мы силились и никак не могли понять, думая о сути войны, знаменитый Хем понял еще в 30-е годы. С той поры суть эта не изменилась. Да и не только с той поры, она вряд ли менялась на протяжении столетий. Только на первый взгляд кажется, что наша война не такая, как предыдущая, что каждая новая война в чем-то иная, — все они одинаковые. С течением времени все войны сливаются в одно ненавистное людям понятие — война. Хемингуэй прямо сказал, что «война — это бардак» и что в тридцать лет война представляется совсем не так, как в восемнадцать—двадцать лет, что дав-

ним впечатлениям и чувствам не стоит слишком верить. И что лучшая школа для писателя — несчастливое детство (*Твардовский, однако, считал, что юность*), и что проза — это «архитектура, а не мастерство декоратора». А мы столько трудились над стилем, привкусом слова, забыв о выводе другого знаменитого автора (*Уильяма Фолкнера*), что если слишком заботиться о стиле, то не останется ничего, кроме стиля. Хем не очень заботился об узаконенном стиле, зато его быстро признали создателем собственного. Но, может, самое важное, что я нашел для себя у великого гуманиста Хемингуэя, это простая, но очень ёмкая мысль: «Хорошо, если решишь не быть дрянью». Правда, у нас одного такого решения мало, требуется еще многое другое, что порой выше жизни, выше твоей человеческой судьбы.

Замысел «Круглянского моста» вызревал медленно, на этот раз больше под влиянием прочитанного, чем пережитого. В литературе и журналистике, а также в так называемой документальной прозе о войне к тому времени использовали все и всякие проявления героизма, подлинные и выдуманные, дошла очередь до героизма детей. Создавался образ маленького мстителя, который так ненавидел фашистов, что только и мечтал отдать жизнь в борьбе с ними. Взрослые дяденьки, конечно же, понимали его и всячески ему содействовали. Хотя и жаль было малявку, но если он так просит, отказать ему не могли. И вот они его учат, как действовать с наибольшим результатом — взорвать мост, поезд, или хотя бы грузовик со снарядами. Конечно, он гибнет, но героически, это всё оправдывало. О моральной стороне этого акта обычно не упоминалось: морали там не было.

Меня же интересовала именно мораль.

**«Круглянский мост»** был напечатан в журнале «Полымя», который в то время редактировал Павел Ковалев, — Павэлак, как его немного пренебрежительно звали молодые. По своей природе это был неплохой человек, не фанатичный большевик, рассудительный и осмотрительный. Больших сложностей с публикацией не было: дальновидный редактор

сперва заручился поддержкой ЦК. Секретарь ЦК по пропаганде, бывший партизан Пилотович, повесть одобрил. Как потом говорил редактор, Пилатовича подкупила заключительная фраза о комиссаре, которого, как ангела-спасителя, ждет в яме подросток-партизан Степка. Обычно в своих произведениях я принципиально избегал образов коммунистов-комиссаров, но здесь сделал намек. Комиссара в повести нет и в то же время он как бы есть. Так сказать, гипотетически комиссар, который должен появиться, чтобы спасти Степку. Время показало, что это был выигрышный ход, который в белорусском издании в целом оправдал себя. Редактор «Літаратуры і мастацтва», сам бывший политрук-комиссар Леонид Прокша напечатал в своей газете собственноручную статью, апологетическую по отношению к повести полностью. Я перевел «Круглянский мост» на русский язык и отвез в «Новый мир».

Конечно, я мог бы не печатать повесть по-русски, тем более забота над переводом не доставляла мне радости, как раз наоборот. Я извел на него куда больше бумаги и потратил больше времени, чем на белорусский оригинал. Однако новомирцы просили и неоднократно о своей просьбе напоминали, чтобы я, как только что-нибудь напишется, сразу отдавал новую вещь им. Твардовский предлагал аванс (*даже безвозвратный — в случае, если ничего не напишется*). Я жил небогато, но авансы старался не брать. А тут как раз что-то написалось да еще одобрено на уровне ЦК. Как было воздержаться? К тому же подумалось, что, может, умиротворю этой повестью своих врагов, а заодно и врагов «Нового мира».

И правда, повесть новомирцам понравилась.

Когда я приехал, Твардовский был в хорошем настроении, сказал, что эта повесть, может, лучшее из всего, что я напечатал в русских журналах. Свежая тема и благородная идея. Наверное, давно бы надо белорусским литераторам присмотреться повнимательнее к своей партизанке, где далеко не все белое, а немало и черного. Но кто их к этому подвигнет? Этот ваш Бровка, у которого давно «слиплись веки», или Гришка-свинопас Шамякин? Я сказал, что Шамякин не Гришка, а Иван. «Одна порода, — сказал Твардовский, — я

ее знаю. У самого предки оттуда, из Беларуси. Есть ли у вас там, в Союзе, какой-нибудь мудрый еврей? Вам очень не хватает мудрого старого еврея».

Еще он сказал, что мне надо учиться не только у русской литературы, которая давно задушена идеологией, но и у западной, где очень сильно влияние экзистенциализма. Камю, например. Его роман «Чума» — это же Евангелие двадцатого века. Конечно, мы — не французы, у нас своя боль, но всё же... Он, Твардовский, разумеется, уважает Пушкина, но предпочитает Некрасова. Хотя вообще-то стихов не любит и даже хотел бросить их писать. Такой был разговор перед публикацией «Круглянского моста» в «Новом мире».

Бедный Александр Трифонович, он, похоже, немного надеялся, хотя и не говорил об этом, что моя одобренная белорусским ЦК повесть может как-то поправить репутацию его журнала, которая к тому времени была испорчена настолько, что дальше некуда. Может, он рассчитывал на поддержку белорусского партийного руководства в своем сражении с бандой Софронова, Кочетова, Поликарпова? Как постепенно стало ясно, эти его надежды были напрасны. Последующие события ничего от них не оставили и в конце концов привели к отставке новомирского редактора.

Домой на Белорусском вокзале меня провожал Алесь Адамович. Оставалось немного времени, и мы, сидя в зале ожидания, хорошо обо всем поговорили. У Алеся тогда вышли две повести о любви, которые, однако, не произвели должного впечатления на московскую критику. И он хотел посмотреть на мой опыт — прочел рукопись «Круглянского моста», которую я ему дал накануне. Он, в отличие от меня, сам был в партизанах, и, должно быть, у него были определенные претензии к повести, но что-то он увидел в ней и поучительное для себя. Об этом мы и говорили. Разумеется, писателю необходим жизненный опыт и культура, но что во-первых? Потому что и то, и другое редко приходят вместе, что-то опережает. В частности, в наших литературах. На Западе — там иначе. Но нам далеко до Запада, у нас свой опыт и свои критерии.

После выхода из печати «Круглянского моста» первым с рецензией выскочил еженедельник «Огонёк», который многие годы редактировал личный враг Твардовского Анатолий Софронов. Выходец из Беларуси, где у него были друзья, разумеется, из числа чекистов, партизанских генералов, партфункционеров. Должно быть, они своевременно просигналили в Москву. И вот в «Огоньке» появляется разворот за подписью целой группы партийных работников-партизан и генералов. Первой стоит подпись дважды Героя Советского Союза, партизанского генерала Федорова. В статье — стенания и гнев, гнев и стенания, клеймят автора повести и «Новый мир», его главного редактора тоже. После «Огонька» пошло-поехало, от Москвы до самых до окраин. Через какое-то время не стало и Твардовского в «Новом мире», и Пилотовича в белорусском ЦК. Недолго возглавлял «ЛіМ» и недальновидный Прокша. Да и дальновидный Ковалев вынужден был покинуть «Полымя».

Как-то прихожу к Миколе Матуковскому на новую его квартиру в Броневом переулке. Микола ведет меня в свой кабинет, а там сидит Геннадий Буравкин — они вдвоем вычитывали гранки статьи, присланные в Минск из «Известий». Это была статья Матука о Быкове — едва ли не первая в центральной печати статья, которая доказывала обществу, что Быков — наш, советский писатель, не какой-то там полицай или власовец. И что его персонажи — никакая не клевета, потому что на войне были не только герои, но и трусы и предатели, о которых читатель должен знать. Что ж, я был благодарен моим друзьям, которые помогали мне и раньше (*и еще помогут впредь*) в моей литературной судьбе. Та статья в центральной газете и впрямь где-то что-то сдвинула, последующие события показали ее несомненную пользу.

**У меня был** коротковолновый транзисторный радиоприемник — японский «Панасоник», который я чуть ли не каждую ночь настраивал на «Свободу», Би-би-си, на «Голос Америки». Предпочтение, однако, отдавал «Свободе». Хорошей слышимости не было никогда: глушили круглосуточно

и плотно. Некоторые знакомые советовали поискать наиболее удобное для приема место в квартире, например, у водопроводных труб, другие говорили, что лучше всего слушать за городом. Я пробовал и так и этак — чаще всего ничего не получалось. Передатчики находились за тысячи километров, а глушилки — вот они, рядом, на городской окраине. Никак не удавалось мне настроиться на зарубежные станции и в августовскую ночь 68-го года. А именно тогда хотелось узнать, что происходит вокруг Чехословакии, на которую нацелился «кровожадный блок НАТО». Миролюбивый Варшавский блок готовился ее спасать.

Утром, как всегда, пошел в редакцию и на пешеходном мостике через железнодорожные пути встретил Клейна. Борис был мрачен, неразговорчив и только буркнул: «Ну, слышал? Они ввели войска. Танки в Праге...»

Это, конечно, ошеломило. Теперь мне стало понятно, что за шум и грохот не давал мне ночью уснуть — по улицам шли колонны грузовиков, в подъездах стучали двери и топали какие-то люди, раздавались громкие голоса. Оказывается, шла мобилизация на войну. В поддержку передовым частям, которые вошли в Чехословакию, на Гродненщине развертывалась резервная армия. Хватали запасников, мобилизовывали транспорт, на окраинах в военных городках формировались воинские подразделения. Как позже выяснилось, городская телефонная сеть в ту ночь не работала, ее отключили. Мы с Клейном отправились к Карпюку.

Еще не дойдя до Дома Ожешко, где обычно работал Карпюк, услышали радио — громко, на всю улицу, звучала передача Би-би-си о событиях в Праге. На улице было немало людей, некоторые останавливались, слушали, а большинство куда-то очень спешили. Дверь в офис Карпюка была не заперта, мы вошли и увидели Алексея: в полной военной форме он лежал на диване, на столе лежала его портупея и кирзовая полевая сумка. Карпюк сразу вскочил, протер глаза. Мы выключили транзистор. «Вот холера, проспал!» — сказал мобилизованный вояка. Сказалось, что он всю ночь проторчал в Фолюше на формировке, утром приехал сюда и заснул. Теперь — в освободительный поход в Чехословакию! «И ты

пойдешь?» — спросил Клейн. «Обязательно. Уж там я напишу», — энергично сказал Карпюк.

В тот же день Карпюк отправился на сборный пункт, и что с ним приключилось дальше, стало известно через несколько дней.

Огромная механизированная колонна выстроилась на шоссе, ведущем к польской границе. Приехало начальство из округа, начало проверку. Проверяли одни, другие, третьи. Карпюк терпеливо сидел в кузове МАЗа. И вдруг появился начальник политотдела округа генерал Дебалюк. «А этот зачем?» — кивнул он на Карпюка. Какой-то полковник стал что-то объяснять, но генерал не дослушал: «Снять! Он не поедет». Пришлось Алексею вылезать из кузова, на попутных машинах добираться до Гродно. Колонна двинулась в Чехословакию без Карпюка.

Карпюк, безусловно, был человеком честным и, возможно, стремился быть честным коммунистом. Но не знал, как им можно быть. И вообще, что это такое — честный советский человек? Если говорить о Карпюке, то он не выносил лжи и терпеть не мог беспорядка. Нигде. Поэтому, сдав в Фолюше свою амуницию, он решил пройтись вдоль ограды из колючей проволоки, чтобы посмотреть, не забыли ли что-нибудь новоиспеченные солдаты при погрузке в машины? И — о, чудо! Увидел в траве три карабина. Привыкший на войне ценить оружие, он взвалил карабины на плечи и понес в каптерку сборного пункта. Но та оказалась уже закрытой: «все ушли на фронт!» Он не мог оставить карабины в лесу и повез их в город, в штаб армии. Там, однако, взять карабины отказались — не нашей части! А уже наступала ночь, и он вынужден был отнести карабины домой. Из дома позвонил мне: «Вот холера, что мне делать?» Я говорю: «За твоим домом течет Вонючка, бухни туда свои карабины, и делу конец». Он меня обругал: «Можно подумать, что ты в армии не служил, не знаешь, что такое оружие!» «Знаю, — говорю, — этим добром засрали весь мир. Только трех твоих карабинов и не хватает...»

Не нашли мы тогда с Карпюком общего языка, едва не поссорились. Назавтра он снова ходил по городу с теми ка-

рабинами, пытался их сдать, и дождался, что у него потребовали письменного объяснения: где и с какой целью взял и т.д. С трудом выпутался из истории, которую сам и создал.

Интересно, что меня в ходе той мобилизации не призвали. Может, причиной тому был мой двоюродный брат, который, как я когда-то соврал анкете, «проживает на территории Западной Германии». А может, были другие причины. Впрочем, не в пример Карпюку, я туда и не рвался. И был рад, что Карпюка вернули. Те, кто был мобилизован, рассказывали потом, как их в качестве резерва держали на польско-чехословацкой границе в ожидании реакции блока НАТО. Но никакой реакции не последовало. Это вызвало восхищение определенной части гродненцев — ага, испугались могущества нашей Советской Армии! О чехах говорили: свободы им захотелось! Мы вот живем без свободы, но ведь не бунтуем. А им свободу подавай. Еще чего! И так рассуждали не самые худшие и не самые недалекие люди из числа наших знакомых. А может, они только так говорили, а думали иначе? Но какая польза от правильных мыслей, если их нельзя высказать прямо, а приходится выворачивать наизнанку, говорить совсем противоположное? Очевидно, чтобы высказать честную мысль и не навлечь на себя подозрений, надо было обладать изощренным умом. Никто из нас тогда таким умным не был. Мы были слишком простодушны в своим мыслях и прямолинейны в своих поступках, за что и расплачивались.

**Сидя в своем** офисе в Доме Ожешко, Карпюк прочитал в «Новом мире» воспоминания генерала Горбатова, в которых его внимание привлек не рассказ о военных подвигах генерала и о его, Горбатова, карьере, а скупая фраза о том, что генерал не пьет. И никогда не пил. Пораженный таким чудом, Карпюк сунул журнал в карман и помчался на вокзал. Даже не предупредив жену, сел в московский поезд и утром был в Москве. После долгих переговоров с полковниками Генерального Штаба раздобыл адрес Горбатова, который жил возле Никитских ворот, и отправился к нему. Генерала генш-

табисты предупредили о госте, и Горбатов, когда Карпюк позвонил в дверь, пригласил его войти. Карпюк представился — белорусский писатель, ветеран войны. Генерал усадил гостя за маленький столик и достал из шкафа граненый графинчик. Карпюк готов был возмутиться и сказал, что в журнале генерал написал, что не пьет. Оказалось, он действительно не пьет, а графинчик — для гостя. Тогда Карпюк горячо пожал генералу руку, радостно сказал, что тоже не пьет. И объяснил, по какой надобности он приехал в Москву. Во всех странах мира есть общества трезвости, а у нас нет. Между тем вред от пьянства... и так далее, и тому подобнее. Поэтому надо обратиться к общественности с письмом, подписанным авторитетными людьми, такими, как вы и я, и создать организацию трезвенников. Текст письма уже готов — вот, прочтите...

Немного обескураженный генерал прочел текст и тяжело вздохнул. Сказал, что дело неплохое, но кто подпишет письмо? Среди его знакомых из числа генералов трезвенника не найти. Может, вы найдете среди писателей?..

Карпюк задумался. Он понимал, что двух подписей мало для такого письма, нужна была третья. Но найти трезвенника среди писателей тоже проблема. И вдруг он вспомнил про Адамовича, который тогда был в Москве на каких-то курсах. (*Давно уже стал доктором наук, а всё учился.*) Карпюк стал бегать по Москве в поисках Адамовича. Он искал его весь день, до самого вечера, объездил все известные редакции, обзвонил общих знакомых. И узнал, что Адамович сегодня едет в Минск. Карпюк купил билет на вечерний поезд и, когда тот двинулся, начал обход вагонов. Обошел все, заглядывал в каждое купе и возле Смоленска всё-таки нашел сонного Адамовича. Выслушав Карпюка, Адамович сказал: «Я готов вступить в твое общество трезвости. Но с условием развалить его изнутри». И лег спать. Карпюк обругал Алеся и сошел с поезда. Утром он снова был в доме у Никитских ворот и объявил генералу, что третьего трезвенника в России не нашел. Так благородное общество трезвости и не было создано.

Карпюк потом говорил, что зря он связался с военными, тем более с генералами. В своей жизни он не раз убедился,

что с этим народом лучше дела не иметь. Во время войны Карпюк командовал партизанским отрядом, потом воевал на фронте, был дважды тяжело ранен, а офицерского звания так и не выслужил. В то же время юнцы, которые приходили в армию из университетов, все были в лейтенантских погонах, звание им присваивали, так сказать, авансом. Иные даже имели награды. Бог весть за что. Карпюк же не смог выхлопотать медаль, положенную ему по заслугам.

Однажды Карпюк написал два письма — одно министру обороны, в котором требовал, чтобы ему вручили медаль «За взятие Берлина», второе — дядьке на Урал. Дядька давно жаловался ему в своих письмах, что живет плохо, с продуктами трудно, просил помочь. Племянник ответил дядьке: брось ты эту, российскую жизнь, приезжай в Беларусь, тут бульбочки хватит. И отнес оба письма на почту. И вот какое-то время спустя прибегает к нему посыльный из военкомата и вручает повестку. Карпюк обрадовался — не пришла ли медаль от министра обороны? Явился к военкому. Тот почему-то глядит волком, затем подает Карпюку какую-то бумагу: «На, читай!» Карпюк начинает читать. «Нет, ты вслух читай», — говорит военком. А там на бланке министра обороны Союза ССР написано: «Приказываю. Параграф первый. Вызвать гражданина Карпюка А.Н. и объяснить ему, что я в родстве с ним не состою, дядькой его не являюсь. Параграф второй. Гродненскому облвоенкому полковнику такому-то за низкий уровень политмассовой работы с личным составом объявляю выговор. Министр обороны, маршал Советского Союза Г. Жуков». «Все понял? — спрашивает военком. — Мне через полгода на пенсию, кто теперь с меня этот выговор снимет? Или мне без пенсии в отставку уходить? Вот что ты натворил, разгильдяй!»

Удрученный, вконец расстроенный Карпюк приходит домой, а там его ждет письмо от дядьки. Химическим карандашом на страничке из школьной тетрадки написано: «Дорогой племянник, ты там совсем рехнулся в этом своем Гродно, — какой я тебе маршал и где я тебе возьму ту медаль? Я в армии и одного дня не служил...»

С дядькой, конечно, отношения наладились, а вот представление Карпюка к присвоению ему офицерского звания накрылось. Карпюк был в недоумении: « Что я такого написал? Я же маршала не оскорбил. Что мне так и оставаться рядовым? В пятьдесят лет. А эти, которые во время войны в живого немца ни разу не выстрелили, уже майоры запаса. Вон как тот Гаврюшка, что самогон на хуторе для комбрига гнал. Теперь он член бюро горкома!..» Не знал Карпюк, что придет время, и этот бригадный самогонщик немало крови ему попортит...

**В тот вечер** я приехал из Минска, куда ездил узнать, что с моей книгой. Дело в том, что несколько лет издательство «Мастацкая літаратура» волынило с ее изданием, даже не включало в план. Спрашиваю у заведующего редакцией прозы Алеся Божко, в чем дело, а он смотрит на меня невинными глазами: «А где рукопись? Рукописи-то нет!» Года три назад я лично привез рукопись в издательство и в этом же кабинете отдал секретарше. Та поставила ее в шкаф. Бросаю взгляд на шкаф и вижу за стеклом свою рукопись: «Да вот же она!» Божко искренне удивился: «А мы искали, искали!..» Однако книга всё равно вышла не скоро...

Дома, на Кошевого, сидел по приезде у телевизора, время еще было не позднее, и вдруг — удар в окно, стекло — вдребезги, на полу кусок кирпича. Я выбежал на улицу — нигде никого. Назавтра, после невеселого раздумья, пошел в милицию, написал заявление. Заставили переписать, сказали, что будут расследовать. Какое-то время ждал результата, потом махнул рукой. Стал ждать, что последует дальше, и дождался...

К тому времени Карпюк добился от областного начальства, чтобы писателям поставили, наконец, телефоны. Это было сделано. Стало, конечно, удобнее, не надо было бегать звонить из почтового отделения или по автомату: автоматы постоянно были неисправны. Но началась другая беда: стали звонить, не называясь, какие-то люди, по гродненским

телефонам, из Минска, из Москвы, и еще черт знает откуда. Это был форменный телефонный террор, явно организованный. Понятно, кем... Телефон трезвонил в любое время дня и ночи, встревоженный, я вскакивал с постели, хватал трубку, и слышал: «До каких пор вы будете подрывать советскую власть?» Или: «Много вам заплатило ЦРУ за клевету на партию и Красную Армию?» Днем нередко звонил Дубовинкин, участливо о чем-то спрашивал, что-то уточнял и ненавязчиво воспитывал. Читал мораль. Ту же мораль несколько раз прочел мне полковник из политуправления БВО, который представился кандидатом наук (*правда, не уточнил каких*) и активным участником ВОВ. Хорошо поставленным голосом он напористо объяснял, что к военной теме надо подходить очень осмотрительно, чтобы не исказить ретроспективу. Сам он пережил на войне столько, что, если обо всем написать, хватит на «Войну и мир», но он не пишет, потому что нет времени. Всё его время занимает служба, работа по воспитанию советского солдата, патриота своей родины. Я слушал этот вздор и думал: неужели это серьезно? Может, вся эта болтовня — самооправдание человека, который где-то нагрешил и теперь исправляется? Как Яркин из нашей редакции. Он любил «заложить», по пьянке мог набедокурить, и, набедокурив, первым просил слова на партсобрании и пламенно выступал в поддержку очередного постановления ЦК, или обкома, или горкома. Ему было без разницы, кого поддерживать, главное — поддерживать. Это ему засчитывалось и спасало. До очередного эксцесса.

Моя жизнь в Гродно, к которому я привязался, становилась, однако, всё менее привлекательной. Стена отчуждения между мною и коллективом росла всё больше. (*Хотя, если подумать, могло быть и хуже.*) Я оставался на прежней должности — литературный консультант, но платить мне стали сдельно, только за ответы авторам. За месяц набегали копейки. Друзей там у меня не было, не с кем стало даже поговорить и выпить. Валентин Чекин, с которым у меня была какая-то дружба, «завязал», другие хоть и не «завязали», очень стали осторожничать с этим делом. В редакции газеты, часть тиража которой выходила на белорусском языке, не было

слышно ни одного белорусского слова. Все говорили по-русски. Кроме, разве что, литработника Вячеслава Кота, который упорно со всеми, и с белорусами, и с русскими, разговаривал только по-белорусски, что часто вызывало удивление. Но Вячеслав интересовался белорусской литературой, заочно учился в БГУ, где слушал лекции профессора Науменко. После, вернувшись домой, заходил ко мне в кабинет и загадочно, с сочувствием смотрел на меня. Я догадывался в чем дело, но ни о чем не спрашивал.

Иногда в редакцию заходил бывший командир батареи Иван Ущеповский, с которым у меня сложились неплохие отношения и взаимопонимание. Пережив не одно военное лихо и обладая хорошей памятью, он правдиво описал маловеселую страницу войны — гибель нескольких наших армий под Вязьмой и Ржевом, что официальная история войны старательно замалчивала. К сожалению, автору не хватало литературной грамотности, и я, жалея материал, сделал литературную запись, на что потратил зиму. Потом старался пристроить в какое-нибудь издательство, но ничего не вышло, — ни в Москве, ни в Минске рукопись не приняли. Так редкие по своей правдивости страницы об одном из самых кровавых эпизодов войны остались ненапечатанными, о чем искренне до сих пор жалею.

Мало кто из моих знакомых рассказывал о своей войне искренне, не становясь на пропагандистские ходули. Запомнился, однако, фельдшер Хандобкин с его полным самоиронии рассказом о том, как его из Центрального штаба партизанского движения послали к партизанам — пинком вытолкнули из самолета, и он, еле живой от страха, приземлился в «логове зверя». Когда-то нечто подобное рассказывал поэт Анатоль Астрейка, который в начале войны вместе с некоторыми другими белорусскими поэтами жил в гостинице «Москва», где они выпускали газету «Раздавим фашистскую гадину». Астрейка, однако, в газете не удержался, потому что был беспартийный, а там обосновались поэты-коммунисты, которые и досидели до конца войны. За свой героический труд (*вдохновляли белорусский народ на борьбу с захватчиками*) они были награждены орденами боево-

го Красного Знамени. Астрейка же, переживший в партизанах не одну блокаду, получил медаль. Воистину, Бог не ровно делит. Тем более начальство — даже жизнь и смерть.

На областных партийных и хозяйственных совещаниях дотошно, со смаком обсуждали «идеологические диверсии» гродненских литераторов. Даже потребовали ответа у секретаря обкома по идеологии А. Ульяновича, который не знал, как оправдаться, но обещал «спустить штаны» с Карпюка и Быкова. Одна очень руководящая дама хотела, видимо, оправдать Быкова таким аргументом: чего же вы хотите от человека, который даже ВПШ не окончил, потому что беспартийный? К тому же пьет. На это ей возразили: но ведь Карпюк окончил институт, даже Высшие литкурсы и не пьет. И партийный. Так куда же смотрит обком КПБ?

Что до выпивки, то руководящая дама не совсем была не права — водился за мной этот грех. Особенно во время поездок на разные писательские мероприятия. Однажды, помню, на пленуме в Москве просидели с одним моим другом весь день в буфете, где, конечно же, пили. И не только пили, но и очень активно дискутировали с двумя украинскими ортодоксами по поводу травли Виктора Некрасова. Спор превратился в злую ссору, и мы ругались (*и пили*) до самого закрытия пленума. Так и не побывав в зале.

Подобное не раз бывало и в Минске, и Карпюк даже ездил к моим друзьям скандалить, что они спаивают Быкова. Из меня постепенно создавали образ пустоватого бездельника и пьянтоса. Я не разрушал этот образ, я его поддерживал в качестве определенной защиты от того, что могло постигнуть человека ответственного, здравомыслящего и трезвого. И постигло многих.

В центральных газетах появилась статья (*или текст речи*) начальника Главпура Советской Армии генерала армии Епишева, в которой он наряду с московскими авторами (*Евтушенко, Вознесенским, Аксеновым*) чихвостил и Быкова. На очередном партийном мероприятии в Доме офицеров, на которое пригласили Карпюка, Алексей сказал со злостью: «Если Епишев генерал, то пусть командует армией, а не лезет в литературу». Эта его реплика вызвала панику среди

партийного руководства Гродно. Когда Алексей в очередной раз пошел в обком, его туда не впустили. Назревало что-то не совсем обычное.

В такой атмосфере наступил столетний юбилей Ленина, к которому готовились так, будто настал день окончательной победы коммунизма. В городах и селах проводились собрания, пленумы, ленинские симпозиумы. В Союзе писателей по этому поводу собрали торжественный пленум. Приехали и мы с Карпюком. Я посидел немного и ушел: беспартийные друзья пригласили на угощение. Карпюк записался в число выступающих. А накануне в стране прошел ленинский субботник, репортажи с которого печатались во всех газетах, и Карпюк сделал это темой своего выступления. В конце он сказал: «Мы знаем, как участвовал в субботниках Владимир Ильич, с кем он носил бревна. А с кем носил бревна Леонид Ильич, об этом «Правда» нам не сообщила. Или, может, Брежнев не участвовал в ленинском субботнике, — пусть нам скажут». Марцелев, который сидел в президиуме, содрогнулся от этих слов и в конце пленума сказал, как бы между прочим: «Что касается выступления товарища Карпюка, то этот человек начинает ходить по головам».

Какое-то время спустя тот же Марцелев и его помощник Гниломедов приехали в Гродно наводить порядок в местном отделении СП. Сперва побывали в обкоме, а потом по одному стали вызывать нас в Дом Ожешко. Первой вызвали Дануту, которая вышла оттуда вся в слезах. Даже не захотела рассказывать, о чем ее спрашивали. Следующим был я. Разговор был обычный: спрашивали о причинах конфликта с местными властями и читали мораль. Когда я рассказал о происках КГБ, Марцелев даже испугался: «А вы что, уже всем рассказали?» «Нет, — говорю, — не всем, но кое-кому рассказал. В том числе и корреспондентам из Москвы и Варшавы». У Карпюка тоже спрашивали о причинах его конфликтных отношений с обкомом, на что Алексей сказал: «Как они к нам относятся, так и мы к ним. Юбилейной ленинской медалью за искусственное осеменение коров Ульяновича наградили, а нас с Быковым за войну — и не подумали».

В конце учебного года в школе произошел конфликтный случай с моим младшим сыном. Позвонила директор школы, очень принципиальная дама с характерной фамилией Сукачева, и потребовала, чтобы я немедленно явился в школу. Я не пошел, сперва решил спросить у своего Василя, что он натворил? Он, естественно, отнекивался, мол, ничего. Но потом всё выяснилось. На ленинском уроке в 4-м классе, когда говорили об Ильиче, мой сын в рифму пробормотал себе под нос: «Ильич — старый хрыч». Это услышала его бдительная соседка по парте и тут же подняла руку, чтобы сказать учительнице. Учительница пришла в ужас, велела моему сыну встать, стала допытываться, как он мог; сын, конечно, не признавался. Дело дошло до директора, доложили в горком и еще куда-то. Раздули политический скандал, потребовали от меня письменного объяснения. Жалея сына, которому грозило исключение из школы, я что-то писал, оправдывался сам и оправдывал его. Всё это было отвратительно и позорно.

**Уже мало** с кем в Гродно сохранились у меня дружеские отношения. Все знакомые были заняты личными делами, а главное — побаивались слишком близких контактов с опальными писателями. Иногда встречался с Борисом Клейном, в его свободное от работы в институте время. Борис отличался довольно глубоким аналитическим умом, разбирался в политике. Да и в искусстве тоже. (*Рассказывал, как когда-то учился в одном классе с Роланом Быковым, а теперь вот судьба свела его с другим Быковым.*) Белорусской литературой интересовался мало, но это как кому суждено.

Как-то вечером он пришел ко мне на квартиру, мы посидели немного, и я пошел провожать его. Самую важную часть разговора мы приберегли именно к этой прогулке. Клейн жил недалеко от меня, в центре города, возле тюрьмы. Дошли до его дома, затем обратно. Было уже темно, прохожих на улице почти не было. Когда мы снова вернулись к его дому, у самого подъезда перед нами возникли трое, заступили дорогу. Сперва мы даже не поняли, почему они не дают нам прой-

ти, и вдруг удар по лицу и меня, и Бориса. С него слетели очки, а я сдавленно крикнул: «В чем дело?» И получил второй удар. И Бориса еще раз ударили. Тогда мы закричали на всю улицу. Один из нападавших быстро перешел на другую сторону улицы, где уже стоял третий. Оставшийся у подъезда неожиданно приблизился к нам вплотную, но не ударил, а тихо сказал: «Простите, ребята!» И присоединился к тем двоим.

Я помог Борису найти в потемках его очки. Ошеломленные, мы еще постояли, смотрели, как те трое неторопливо идут себе в сторону тюрьмы. Что было делать дальше? Управление милиции находилось неподалеку, напротив его — управление КГБ. Но мы туда не пошли. Мы вообще никуда не пошли ни в тот вечер, ни назавтра. Мы поняли, чьих это рук дело и что жаловаться — напрасный труд. Опять же не столь уж сильно они нас поколотили: синяков не осталось. Только линзы очков Бориса пришлось заменить, а у меня никаких потерь не было. Оставалось благодарить Бога и ждать новых приключений.

Через день я позвонил в Минск Матуковскому, рассказал, что у нас происходит. Николай Егорович повздыхал в трубку и сказал, что надо мне перебираться в Минск: «В Гродно тебя съедят. Или убьют, что тоже не лучше...»

Однако в Минске, куда я в скором времени съездил, обстановка была не менее мрачная. Кислик с Тарасом рассказали, что в Академии наук разгромлена группа националиста Прашковича, за политику исключили из партии и выгнали из редакции «Советской Белоруссии» Сергея Виноградова, мужа писательницы Вакуловской. В Союзе писателей, куда я забегал, можно было перекинуться словом разве что с приветливым Толей Вертинским, который с давних пор относился ко мне с симпатией. Адамович жил в Москве, учился на сценарных курсах. (*Нужны ему были эти курсы! Разве что для того, чтобы сбежать из Минска.*) Не мешало бы зайти в «Маладосьць», но ее упрятали в здание ЦК ЛКСМБ, в котором был строгий пропускной режим, чего я не выносил. Позвонил Нилу Гилевичу. Этого человека и поэта я ува-

жал давно, прежде всего за его твердую национальную позицию, удерживать которую, однако, ему становилось всё трудней. Особенно всё то время, пока он был беспартийным. С ним за чаркой на его уютной кухне можно было отвести душу, наговориться на родном языке. Что я и делал в последнее время, бывая в Минске.

Как-то в канун весны в Гродно приехал мой ушацкий земляк Рыгор Бородулин. Приехал с молоденькой женушкой, улыбчивой умничкой Валей. В Гродно жила теща Рыгора, но квартира у нее была тесная, и он остановился в гостинице «Неман». Гостиница эта и ресторан при ней издавна связаны были для нас, гродненских старожилов, с «невезухой», вечно там с нами что-нибудь случалось. Не повезло и Рыгору — он отравился в ресторане ужином. В поисках спасения позвонил мне. Специальных лекарств у меня не оказалось, пришлось лечить земляка примитивной марганцовкой. Если из добрых рук, то поможет, шутил Рыгорка, глотая красно-фиолетовую дрянь. И правда — помогло. Мы с ним хорошо поговорили, а потом авансом и замочили его выздоровление. Рыгор был мастак насчет этого дела, и его природный ум становился тогда еще острее. И так чуткий к людям, он в определенные моменты достигал в этой чуткости какой-то подсознательной глубины и проникновенности, интуитивно видел каждого и впрямь насквозь. Он дал исчерпывающую характеристику многим моим друзьям и врагам, и я, слушая его, лишь удивлялся, как же я раньше сам этого не видел. Должно быть, по той причине, что жил на отшибе, в провинции, литературную среду знал мало. А она, эта среда, существовала и функционировала согласно своим внутренним правилам, для посторонних не заметным, не усвоив которые невозможно было что-либо понять. А я наивно думал, что всё дело только в литературе, в достоинствах того или иного произведения. Оказалось, еще и в личности того, кто это произведение написал, в его друзьях-собутыльниках и особенно — в отношениях с начальством.

Однажды в конце рабочего дня в редакции раздался телефонный звонок, заведующий отделом передал трубку мне:

«Тебя!» — «Кто?» — «Не знаю». Беру трубку, называю себя и слышу глуховатый незнакомый голос: «С вами говорит Александр Трифонович». (*Я даже испугался, подумав, что это Твардовский, но почему он в Гродно?*) Но нет, оказалось, что это другой Александр Трифонович — новый секретарь ЦК КПБ по идеологии Кузьмин. Он хочет встретиться со мной, но неофициально, — может, погуляем вечером по городу, поговорим? Было лето, погода стояла хорошая, можно и встретиться.

Это была первая моя встреча с Кузьминым, человеком, который поколебал укрепившиеся в моем сознании представления о партийных функционерах всех рангов. Мы бродили по тихим гродненским улочкам, неподалеку от старинных замков, и Александр Трифонович раздумчиво рассказывал о своей войне, о том, как он был на фронте летчиком — штурманом бомбардировщика, о том, как его однажды сбили. Рассказывал и о том, как им интересовались особисты, которые шуровали и в авиации. Уцелел он на войне только потому, что был тяжело ранен и его списали. Жизнь на гражданке начал инвалидом, помаленьку стал продвигаться по партийной линии и вот добрел до ЦК. Теперь он руководит идеологией, в которой, однако, ничего не решает, потому что в этой области всё давно решено — раз и навсегда. Насчет освещения войны в моих произведениях он полностью на моей стороне, но как партийный функционер, к сожалению, не может заявить об этом публично. Я только плечами пожимал — что ж, спасибо и за такое признание. Мне никто никогда, даже секретарь парторганизации редакции, не говорил, что он на моей стороне. Хотя тот секретарь тоже ветеран войны, бывший фронтовик. Иные порой говорили в глаза, что они против моих «писаний», большинство, однако, мудро молчало.

После той встречи у меня с ОТК (*как называли Кузьмина «за глаза»*), установились неплохие, почти приятельские отношения. Чем мог, он старался помочь мне, так же, как и Алесю Адамовичу, который вскоре оказался без работы, когда его изгнали из Московского университета. Да и многим другим Кузьмин старался помочь.

**Над нами в** Гродно что-то собиралось, сгущалось, нависало. Мы не знали, что конкретно, но чувствовали — добра не жди!..

Как-то на улице я встретил учительницу из Зельвы, которую немного знал. Как водится, поспрашивали друг у друга, как жизнь, как дела. Я сказал, что похвалиться нечем. И она сказала, что весной станет полегче. Что значит — полегче? Учительница рассмеялась: «А может, и хуже станет». — «Кто вам сказал?» — «Карты мне говорят».

Я вскоре забыл о том разговоре, а вспомнил в тот день, когда в редакции объявили — после обеда закрытое партсобрание. Закрытые партсобрания случались не часто, обычно проводились открытые, на которые я, разумеется, не ходил. Карпюк вынужден был ходить, он был на партучете в редакции. Пришел и на этот раз, заглянул ко мне в отдел. Был мрачен, сказал с порога: «Будут исключать». — «Кого?» — «Меня...» Вот это новость, подумал я. За что? Почему? Что случилось?

Скоро стало известно, что...

На собрание пришел представитель горкома, перечислил целый ворох политических прегрешений члена КПСС Алексея Карпюка и поставил на обсуждение предложение горкома — исключить. Карпюка знали в редакции лет, наверное, пятнадцать, старожилы редакции когда-то работали с ним, и мало кто с пониманием отнесся к предложению горкома. Правда, иных отпугивал неукротимый характер Алексея, но его уважали как героя войны, известного на Гроднещине партизанского командира. Когда проголосовали, оказалось, что только три или четыре коммуниста (*преимущественно отставники*) были за исключение, остальные — за выговор. Представитель горкома свою задачу не выполнил и ушел недовольный. Надо было ждать продолжения.

И действительно, продолжение не замедлило. Через неделю Карпюка вызвали на бюро горкома и исключили единогласно.

В обеденный перерыв я встретил на улице первого секретаря горкома Могильницкого, с которым был немного знаком, и спросил: «За что так строго? Разве Карпюк — пре-

ступник?» А он мне отвечает: «Хуже чем преступник». И пошел, не попрощавшись, своей дорогой. Удрученный и растерянный, я думал о том, сколько их, этих секретарей, вершителей наших судеб, побывало над нами? Над каждым определенное время сиял нимб властной силы и святости, казалось, они могут всё. И они делали то, чего от них требовали другие, выше рангом, с еще большим нимбом. В этом они видели чуть ли не единственный смысл своей работы и надеялись, что сделают на этом карьеру, вскарабкаются повыше. Но, случалось, что и сгорали — от чрезмерных стараний, за пьянку или аморалку и уходили в небытие на другой день после того, как вытряхивались из своих кабинетов. Словно их и не было никогда. А на их место приходили другие — тоже с неизменным нимбом партийности, и все начиналось сначала. Что до Могильницкого, то он именно на деле Карпюка вознесся весьма высоко: сел в кресло прокурора республики. Чтобы в свое время низвергнуться с этой высоты и сгореть. Ныне в Гродно не за что зацепиться, чтобы о нем вспомнить. Разве что в связи с позорной расправой над писателем Карпюком.

Но Карпюк был не из тех, кто мог безвольно покориться власти, или врагу, или житейской нелепице. Всю жизнь этот человек стремился оседлать свою судьбу, хотя это и стоило ему огромных усилий и далеко не всегда удавалось. Но и удавалось. Даже во время войны, когда он бежал из концлагеря, когда спасся от расстрела в партизанской бригаде. Да и на фронте ему в целом везло, вряд ли кто-нибудь другой выжил бы после такого тяжелого ранения, какое получил Карпюк. Он — выжил. С его жаждой жизни он мог бы жить еще долго, если бы жизнь эту ему не сократили злоумышленники...

Для Карпюка началась долгая полоса душевных страданий, хождений по инстанциям, по всем этим парткомиссиям с их хищным партийно-партизанским активом. Уж те-то, о ком Карпюк говорил и писал, что они за всю войну ни разу не выстрелили по живому немцу, показали свою принципиальность, — единогласно отвергали все апелляции Карпюка. Синхронно сработали и его коллеги в Союзе писателей: сняли Карпюка с поста секретаря областного отделения. С

приказом об этом в Гродно приехал секретарь СП Гречаников, который, однако, послал свое минское начальство на три буквы и до отхода поезда зашился в ресторане, чем вызвал у нас уважение.

Конечно, беда не ходит одна. В то время беды кружили хороводами. Заболела жена Карпюка, учительница Инна Анатольевна. Алексей вынужден был отвезти ее в Боровляны. На руках у безработного писателя остались трое детей. Книги Алексея, которые должны были вот-вот выйти, вылетели из планов. Денег не стало, как не стало и никаких надежд их заработать. Карпюк одалживал у меня, но я тоже был не богат и писал в литфонд заявления с просьбой о единовременной помощи. Чтобы потом отдать деньги Карпюку. Ему литфонд помощи уже не оказывал. Иногда, ближе к вечеру, мы где-нибудь встречались втроем — Карпюк, Клейн и я, обсуждали, как быть, что делать? Клейн советовал не сдаваться — бороться, писать, говорил Алексею: «Правда на твоей стороне». Но кому она была нужна, эта Лешина правда?

Как потом стало известно, в областном КГБ Карпюком стал заниматься специально выделенный офицер, майор Хамин, который стал «химичить» на Карпюка уголовное дело. Исключение из партии было лишь началом — человека надо было посадить. Поскольку у Карпюка была со времен войны репутация героя, решили подловить его именно на этом. Майор съездил в Польшу, побывал в бывшем концлагере Штутгоф, где Алексей сидел и откуда бежал, искал на Алексея компромат. Ну и, конечно же, пользовался собственной фантазией: сочинил, чего не хватало. Сочинять они уже имели, были образованы. Это прежние чекисты были узколобыми, с ограниченной фантазией и заставляли подследственных, чтобы те сами придумывали себе преступления. Эти сочиняли сами.

Пришло время, когда все узнали о секретном тогда документе. О докладе Председателя КГБ СССР Ю. Андропова в ЦК КПСС: «Комитет государственной безопасности Беларуси располагает сведениями о нездоровых настроениях белорусских писателей — члена КПСС Карпюка и Быкова... Карпюк нелегально распространяет среди своих знакомых

всякие пасквили — книгу Гинзбург-Аксеновой «Крутой маршрут» и другие. Отрицательно воздействует на молодежь. Под его влиянием студент Гродненского пединститута Малашенко пишет стихи, проникнутые пессимизмом и упадничеством, некоторые из них содержат в себе вредный политический смысл... Взгляды Карпюка в определенной степени разделяет Быков, автор тенденциозной повести «Мертвым не больно»... В настоящее время Быковым интересуются идеологические центры врага. Это видно, в частности, по содержанию переписки с Быковым сотрудника закрытого сектора «Народно-трудового союза» (НТС), который ведет его антисоветскую обработку. С Быковым установил контакт итальянец Поджио, который подозревается в принадлежности к спецслужбам врага. Комитет госбезопасности Беларуси с санкции ЦК компартии республики готовит мероприятия, направленные на предотвращение возможных вражеских акций со стороны вышеупомянутых лиц...»

**Карпюк рассказал** нам с Клейном, что на основании обвинений, которые ему предъявили, его можно расстрелять без суда. Кажется, пунктов обвинения было семь и среди них такие: платное сотрудничество с фашистами в концлагере Штутгоф; дезертирство из партизанской бригады; внедрение в советскую разведгруппу агента гестапо; связь с агентом полиции; самозванство (утверждал, что был командиром отряда). И еще что-то более мелкое. Конечно, Карпюк бросился всё опровергать. Первым делом поехал в Минск, в архив партизанского движения, где, однако, не нашел ни одного документа своего отряда. Не оказалось даже того отчета, который он собственноручно написал в июле 44-го после освобождения Беларуси. Что было делать? Карпюк написал письма всем знавшим его партизанам, чтобы они подтвердили, что он был их командиром. Но не получил ни одного ответа. Зато в скором времени ему показали в горкоме около двадцати письменных свидетельств этих бывших партизан и все они были против Карпюка. Вместе с этими свидетельствами к делу была подшита и бумага, подписанная бывшим

комбригом Войцеховским, который написал, что командиром гражданина Карпюка никогда не назначал и вообще не знает такого отряда. Это уже могло ошеломить кого угодно. Карпюк бросился в Ленинград, где на пенсии жил комбриг. Тот добросердечно принял его и говорит: «Лёша, чего ты хочешь? Я написал то, что мне сказали. Могу для тебя написать другое, по правде». И написал другое, по правде, с чем Карпюк примчался домой и сразу побежал в горком. Могильницкий прочитал бумагу и заявил: «У нас есть другой документ Войцеховского, заверенный печатью, а это — пустая писулька». И швырнул «писульку» Карпюку.

Насчет внедрения немецкого агента в нашу разведгруппу я кое-что знал — из разговоров Карпюка с Войцеховским. Дело выглядело так. Летом 44-го, после освобождения, Карпюка в числе других партизанских командиров вызвали в Минск, где он должен был написать отчет о действиях своего отряда. И вот однажды, он со своим другом, тоже партизанским командиром, Андреевым шел вдоль ограждения из колючей проволоки, за которым толпились немецкие военнопленные. И вдруг Карпюк увидел среди них знакомого немца, охранника концлагеря, в котором когда-то сидел. Это был неплохой немец, хорошо относился к советским, угощал их куревом. Теперь этот немец тоже узнал Карпюка. На это обратил внимание Андреев, и Карпюк рассказал ему, откуда он знает этого немца. Тогда Андреев говорит: «Надо сказать охране, пусть они его освободят». Так и сделали. Поговорили с начальством охраны, Карпюк рассказал о том военнопленном. Больше он того немца не видел. Много позже стало известно, что того немца завербовали и включили в качестве переводчика в нашу разведгруппу, которую забросили в чешские Татры. По там группа погибла, и вина за это легла на переводчика. А теперь еще и на Карпюка. Так всё ловко завязали.

То, что майор Хамин формулировал как дезертирство Карпюка из партизанской бригады, было его бегством, по сути, переходом из одной бригады в другую. Получилось так, что в той первой бригаде, в которую Карпюк вступил, убе-

жав из концлагеря, ему не доверяли, подозревали и собирались расстрелять. Человеку, который сбежал из концлагеря, ничего не стоило сбежать из сопливой земляночки, и он прибился к другой бригаде, которой командовал Войцеховский. Тот поверил хлопцу, испытал его в боях, а затем назначил командиром одного из отрядов бригады. (*Тогда поверил, а теперь помогает затянуть петлю на шее бывшего своего подчиненного...*) Примерно такими же, притянутыми за уши, были и обвинения в связях с агентом полиции. Агентом этим был местный лесник, который сразу же после того, как его завербовала полиция, прибежал в бригаду и сказал: «Возьмите меня в отряд, я там не могу оставаться». А тот же комбриг ему говорит: «Чего ты боишься? Работай, информируй нас». Лесник так и поступил — работал на два фронта, а связь с бригадой держал через отряд Карпюка. Правда, как всегда, двойная игра плохо кончилась, — после войны того двойника взяли. А теперь за него же хотят взять и командира отряда.

Мы с Клейном пришли к выводу, что если как следует взяться, то эти обвинения можно опровергнуть. Оставалось, однако, главное: платное сотрудничество Карпюка с фашистами в Штутгофе. Хамин в подтверждение этого обвинения подготовил документ — страницу из финансовой ведомости, где стояла подпись Карпюка. Карпюк сам об этом рассказал и недоумевал: «Ума не приложу, откуда эта подпись? Но подпись моя». Это уже было хуже. Как-то в Минске, улучив момент на каком-то совещании, я рассказал Кузьмину о фальсификациях против Карпюка. Кузьмин молча выслушал и говорит: «Главное — его подпись, он расписался в получении марок. А уж немцы даром денег не платят».

С этим трудно было не согласиться.

**Повесть «Сотников»** (*в первом варианте «Ликвидация»*) родилась не столько «из головы», сколько из чувств, вызванных, опять же, не столько войной, сколько современностью. Разумеется, сюжет библейской притчи об Авеле и брате его

Каине живет в человечестве давно и повторяется регулярно, во время войны тем более. Но если в мирное время брат убивал брата ради корысти — из-за наследства или богатства, то в войну ради элементарной, биологической цели — выжить. Это как бы оправдывало или, по крайней мере, помогало что-то понять в ряде тогдашних мотивов убийства.

В мирное время уже не убивали ради элементарной потребности выжить, писателям не стреляли в затылок. Зато широко практиковалось убийство их произведений. Произведения не печатали, на них охотились, рукописи перехватывали на почте, тайно передавали карательным органам, которые выносили свой приговор — и произведениям, и авторам. И делали это не оккупанты, не люди другой национальности или религии, а свои — коллеги, приятели, даже друзья. Партия не могла (*а может, и не хотела*) делать всю эту неблагодарную работу собственными руками, руками своих штатных функционеров, всех этих секретарей—главлитчиков—цензоров, чекистов в форме и в штатском, активистов идеологических комиссий, поэтому широко пользовались услугами самих писателей. Как тогда говорили — литературных полицаев, и это было точное определение. Все редакторы литературных (*и не только литературных*) газет и журналов, заведующие отделами редакций и особо доверенные рецензенты были члены Союза писателей, сами писали и печатались в тех же органах, что и остальные. Но эти органы были в их руках, что давало им возможность выкручивать руки всем тем, кто не входил в их круг. Они руководили литературой, были поставлены партией над нею. Некоторые старались с твердой большевистской убежденностью, что так и надо, что это в интересах партии и народа. Иван Пташников, через руки которого прошла чуть ли не вся белорусская проза, занял в литературе исключительное положение, потому что никто из руководителей Союза писателей — ни Шамякин, ни Танк, ни многочисленные парторги — не имели такой возможности, какая была у Пташникова — принимать, отказывать, резать и перекраивать, переделывать, — ведь он был заведующим отделом прозы журнала «Полымя».

Удивительно, что его позиция почти не сказывалась на качестве его собственных произведений, писал он совсем неплохо. Но, очевидно, дело в том, что, как это часто бывает, к собственному иные требования, более снисходительные, собственное не станешь уродовать. Иные из редакторов, казалось, понимали свое собачье положение, но ведь у каждого была семья, надо было зарабатывать детям на хлеб. И еще было распространено иудино соображение — а кто вместо меня? Мол, вместо нас поставят еще худших, поэтому лучше — мы. Почти никто из них не находил в себе силы и решимости сказать: «Нет! Без меня! Это аморально. Резать произведение писателя — это то же самое, что резать его ребенка. Извините, подаю заявление и ухожу». Есть лишь один пример такого рода — русский поэт-минчанин Федор Ефимов. Он же высказал несогласие с удушением Чехословацкой весны, за что и был исключен из партии.

В определенном смысле «Сотников» стал литературной реакцией на тогдашнюю действительность, хотя события повести происходят в другой среде и в другое время.

После завершения работы над рукописью встал, как всегда, вопрос: где печатать? Мне уже стало неловко вынуждать к этому «Маладосьць», которая, очевидно, не отказала бы мне и в этот раз, но и не очень бы обрадовалась. Тем более, что отношения главного редактора «Маладосьці», милого Пимена с начальством стали довольно натянутыми. В немалой степени из-за Быкова. Подумав и поколебавшись, отнес рукопись в «Полымя». Всё же этот журнал был более авторитетный, с большими заслугами перед партией, значит, и с большими пробивными возможностями, что было тогда наиболее важным. Правда, печатать Быкова «Полымя» не спешило, да я и не поторапливал, потихоньку перевел повесть на русский язык, Ирина перепечатала перевод и, полагаясь на свою «легкую руку», отвезла рукопись в «Новый мир». Там ее прочитали удивительно быстро, позвонил сам Александр Трифонович — будем печатать. Когда? Еще не решили, но долго тянуть не будем. Окрыленный надеждой, я стал ждать.

**Тем временем** события в Гродно развивались по специальному сценарию.

Наш друг Борис Клейн — человек умный, всегда давал разумные советы. Особенно в последнее время, когда над Карпюком собрались такие тучи. Более склонный к пессимизму, я порой считал, что ничего изменить нельзя, надо мириться с тем, что есть. Борис же всегда говорил, что надо бороться, куда-то писать, обращаться, требовать. Лишь однажды я увидел его растерянным, готовым разувериться во всем.

Как-то я сидел за столом, что-то писал, и тут в окно постучал Карпюк. (*Я жил на первом этаже.*) Выхожу на улицу к Карпюку, он спрашивает: «Борис тебе не звонил?» — «Нет, не звонил. А в чем дело?» — «А в том, что его утром вызвали в горком и он до сих пор не вернулся. Пошли в парк, там подождем».

Это уже была новость — плохая новость. Мы молча дошли до Каложи, сели под кустом на меже. Клейн знал это место и должен был сюда прийти. По-прежнему молчали. О чем было говорить?

Он и правда пришел, часа через два, уже под вечер. Пришел и устало сел рядом. «Ну, все! Все пропало. Исключили и меня... Сняли с работы... Теперь я — никто...»

Но что случилось? И в чем причина?

Началось, оказывается, не теперь, — давно, то, о чем Борис и не подозревал, не догадывался. При всей его осмотрительности и осторожности, попался, как рыба в сети, из которых теперь вряд ли можно выпутаться.

Кандидатскую диссертацию Борис Клейн защищал в Вильно, где встречался с тамошним доцентом, бывшим своим однокашником по ЛГУ. Как раз в то время началась борьба с литовским национализмом, и Клейн узнал, что его однокашника сняли с работы и собираются исключить из партии. Движимый сентиментальными чувствами, Борис, возвращаясь однажды из Ленинграда в Гродно через Вильно, забежал к своему знакомому, чтобы высказать ему сочувствие. Времени до отхода поезда было достаточно, и они хорошо поговорили в тот вечер, немного выпили. Расстались приятелями. В поезде Борис всю дорогу переживал за своего коллегу,

думал, как ему помочь. А коллега тоже о нем думал в своей виленской квартире и никаких недобрых чувств к нему не испытывал. Но он боялся. Ему пришло в голову, что его гость мог быть подослан КГБ, что он записал их разговор и донесет в свою госбезопасность. Неизвестно, как долго мучился он сомнениями, но в итоге решил опередить Клейна и сам написал в КГБ Литвы о их встрече и крамольном разговоре. Литовский КГБ переслал эту информацию в Минск. Минск через Гродно стал разбираться.

Разбирались долго и обстоятельно. Следили и собирали высказывания. С большой точностью записали все телефонные разговоры, домашние разговоры с женой и, конечно, с друзьями. Обвинения выглядели грозно, от них не так просто было отбиться. Утверждалось, что уже в начале 60-х годов Борис Клейн убеждал людей в необходимости вести борьбу против сталинистов и кремлевского руководства, которое называл «группой выродков». Ошеломленный Клейн не знал, как ему оправдываться. Исключили единогласно. Одновременно он потерял место доцента в мединституте, а затем вынужден был сдать свой кандидатский диплом и действительно стал никем.

«И ты подымешь руки вверх? Сдашься этим душегубам? Ты же сам говорил мне, что надо барахтаться, как та лягушка в молочном кувшине! Так барахтайся! Не спи в шапку!» — сердито выговаривал Борису Карпюк. Сам он не сдавался, барахтался, правда, пока что безрезультатно. Теперь будут барáхтаться вдвоем. Хотя барахтаться вдвоем им никто не позволит, это уже будет групповуха — еще более суровая статья. В одиночку еще разрешалось.

Вечером мне кто-то позвонил, тихим голосом сказал, чтобы я держался от этих двоих подальше. Потому что, мол, они хотят утопить и меня. В это я слабо поверил, но прежнее желание встречаться, обсуждать, разговаривать постепенно пропало. Я остался один. И радовался, что я не член партии, не доцент, что меня нельзя откуда-то исключить. Хотя, конечно, можно сделать со мной многое другое, от чего не обрадуешься. И я невольно стал ждать этого другого. Потому что чувствовал — очередь приближается.

Клейн барахтался. Как обычно в таких случаях, вынужден был пройти все дантовы круги страданий — прежде всего многочисленные парткомиссии с их злобными палачами — престарелыми большевиками, которые, словно в отместку за бесчисленные собственные муки и унижения, злорадно унижали исключенного из партии, заставляли его признаваться в преступлении, разоружиться перед партией и советским народом. Синхронно с партийными органами сработали и все кафедры, ученые советы, ректораты и ВАКи. Я, хотя мое собственное положение было очень неопределенным, рассказывал о гродненских драмах везде, где была возможность, в том числе и в Москве. Обратился и к Кузьмину. Тот с внимательной озабоченностью выслушал, согласился, что Клейн умный человек и хороший ученый, и всё на этом. И я понял, что есть силы, власти над которыми у секретаря ЦК нет. Скорей они имеют власть над ним.

Очень скоро историк Клейн очутился на овощной базе, где таскал ящики со свеклой и морковкой. Но суда над ним не было, никого не посадили. Это расценили как добрый символический знак, чуть ли не предвестье либерализации. И правда, в скором времени произошли какие-то сдвиги и в деле Карпюка, которого неожиданно вызвали на бюро ЦК КПБ.

Много позже, когда накал драматизма тех далеких событий стал забываться и многие бывшие «заведующие» нашими судьбами разбрелись кто куда, стали известны некоторые детали происходившего. Бывший хозяин Гродненской области Микулович рассказал за рюмкой, как он спас Алешу, а заодно и Васю (*Карпюка и Быкова*) от беды и тюрьмы. Когда гродненский КГБ сварганил на Карпюка дело, областной прокурор принес его на «санкцию» первому секретарю. Микулович полистал, посмотрел и ужаснулся: каждая статья обвинения тянула минимум на 15 лет. А всего таких статей было, кажется, семь. Жаль ему стало Алёшу, и он спросил у прокурора: всё ли доказано наверняка? Неопровержимо ли? Прокурор немного «замялся», — кое-что, может, и не наверняка. Тогда Микулович сказал: «Верните дело назад, пусть доследуют, как должно». (*Чтоб уж наверняка засадить и надолго!*) Прокурор послушно вернул дело. Но ни он,

ни Микулович, ни КГБ, очевидно, не учли, что Карпюк не зря брал пример с лягушки в молочном кувшине и продолжал «барахтаться».

**Однажды в Гродно** приехала Лариса Гениуш. Раньше она никогда сюда не приезжала, жила в своей Зельве, писала. Обычно ездили к ней, в том числе побывали у нее и мы с Карпюком. Пережив немало драм и трагедий, она была неразговорчивая, доверяла немногим, переживания свои таила в себе. Мы встретились с ней в домике Ожешко, и на этот раз она показалась нам очень оживленной, веселой, даже радостной. И было чему радоваться — ей разрешили съездить в Белосток, где ее ждала встреча с сыном, которого она не видела с момента своего ареста в Праге. Показывала деньги, «целую кучу» по ее выражению, которые она заработала благодаря Максиму Танку: он добился выхода ее сборника. Мы искренне порадовались счастливому повороту в ее жизни. А потом Карпюк уединился с гостьей в укромном уголке и вручил ей письмо для передачи его в Белостоке «одному человеку». Этим человеком был Олек Омельянович, в отношении которого у нас недавно были подозрения. Я очень сомневался, правильно ли поступил Карпюк, передав письмо Ларисе, ведь этим он мог ее «подставить». Но страхи мои оказались напрасными.

Гениуш была старая конспираторша и сделала всё как следует. Всё как следует сделал и Омельянович. Поехал в Штутгоф, где на месте бывшего концлагеря был организован музей с архивом лагерных документов, и там среди уймы всяких бумаг откопал злосчастную финансовую ведомость. На первой странице этой пожелтевшей ведомости было написано: «Реестр денежных переводов, поступивших заключенным от их родственников». Далее указывались мелкие суммы в дойчмарках. Рядом с указанием суммы стояла подпись того, кто ее получил. Разумеется, никаких марок заключенные в глаза не видели, но расписаться в их получении были обязаны — пунктуальность бухгалтерии!.. Расписался и заключенный Карпюк. Расписался и забыл об этом. Ника-

ких денег не получил, зачем было о них помнить? Его голова была занята тогда обдумыванием побега. А на допросах в КГБ, те, кто досидел в лагере до освобождения, утверждали, что бежать из Штутгофа было невозможно. И им верили. Гэбэшникам не приходило в голову, что то, что кому-то представлялось невозможным, оказалось возможным для Карпюка. Потому что Карпюк всегда «барахтался», такой уж был у него характер.

По сей день неизвестно, была ли на руках у членов ЦК КПБ та ведомость, когда решалась судьба Карпюка. Алексей заполучил ее гораздо позже. Но на бюро обсуждали все пункты обвинения. Долго и скрупулезно. Затем голосовали. На голосование были поставлены два предложения: исключить или дать строгача. За исключение проголосовали два давних «друга» Алексея — генерал Дебалюк и Мицкевич. За строгача — Кузьмин и Аксенов. Сам Машеров воздержался. Это было спасение. В конце концов остановились на строгаче, который Карпюк проносил год и стал абсолютно чист. Перед партией и советским народом. А ведь запросто могли и посадить — за сотрудничество с гестапо и прочее. А заодно и тех, кто сотрудничал с сотрудником. Такие примеры уже были, и один из них — драматическая история Слонимского поэта Анатоля Иверса. Оставшись на оккупированной территории, он вынужден был по заданию из леса поступить на работу в городскую управу, его товарища внедрили даже в СД. Доработались они до того, что едва спаслись от ареста. Иверс выпрыгнул в окно, а семью схватили, жена и дочь погибли. После освобождения какое-то время все было хорошо, историю Иверса и его товарища в Слониме знали, их не трогали. Но с течением времени, когда партизанские руководители, на которых они работали, поумирали или разъехались, обоих «разоблачили». В Гродно над ними состоялся суд, товарищ Иверса получил 15 лет, сам Иверс был уволен с работы, исключен из СП и пятнадцать лет проработал на смолокурне в лесхозе.

Клейн в то время еще работал на овощной базе, правда, уже не грузчиком. Как человек грамотный, работал с карандашом в руках, вел учет ящиков с овощами. Такое ему сде-

лали послабление. Но прошло немало времени, пока он смог устроиться на работу в социологический отдел химкомбината.

«И благородный человек может стать невольником обстоятельств, но тот, кто становится лакеем обстоятельств — не благородный человек», — заметил когда-то Лев Николаевич.

**Позвонил Твардовский** и голосом, какого я давно (*а может, и никогда*) не слышал, сказал, что уходит из журнала. Я растерялся и не знал, что ему на это сказать, а он сразу же спросил, буду ли я в таком случае печатать новую повесть в «Новом мире»? Совсем растерявшись, я что-то бормотал, а затем спросил: «А что вы посоветуете?» Александр Трифонович раздраженно, как мне показалось, ответил, что ничего советовать не будет — решайте сами. Это был мой последний разговор с Твардовским. Больше разговаривать с ним не пришлось. Борьба против Твардовского и «Нового мира» велась давно — главного редактора выживали из журнала разными способами. Хотя могли, конечно, просто снять «с треском», но, должно быть, в ЦК хотели сделать это деликатно, руками Федина и Воронкова, стоявших во главе СП СССР. Те, однако, медлили. Начальство организовало прессинг на самого Александра Трифоновича, используя для этого отдельных членов редколлегии. Непосредственно редакция самоотверженно поддерживала своего главного редактора, за него были чуть ли не все замы и отделы. Тогда ЦК распустило слух, что если главный редактор уйдет добровольно, то состав редакции никто не тронет, все останутся на своих местах. Александр Трифонович получит солидную государственную пенсию, кремлевский паёк и к своему шестидесятилетию, которое приближалось, — звание Героя. Должна быть, всё это повлияло на окончательное решение Твардовского, и он написал заявление об уходе. (*Забегая вперед, замечу, что ни одно из этих обещаний не было выполнено, редакцию по одному разогнали, а отставной главный, оставшись без любимой работы, вскоре тяжело заболел.*)

Как раз в последние дни старого «Нового мира» я приехал в Москву и узнал, что моя повесть идет в очередном номере. Следуя своему неизменному редакторскому принципу «не дразнить гусей», Твардовский дал повести название «Сотников». Это мне не очень понравилось. (*Почему — Сотников? Ведь главных героев два! Рыбак и Сотников.*) Но мне объяснили, что так лучше — назвать повесть по фамилии положительного героя. У Твардовского, мол, особые надежды на этот образ. Как, надо полагать, и у автора?

Я созвонился с Адамовичем, который в то время тоже был в Москве, и мы вдвоем собрали в ресторане «Арагви» новомирцев. Пришли Лакшин, Сац, Виноградов, Миша Хитров. Хорошо посидели, но разговор был грустный. Радоваться было нечему: «Новый мир» погибал. Позади оставалась яркая и самобытная страница русской литературы, которая вряд ли когда-нибудь повторится. Но то, что сделал этот гонимый журнал, когда-нибудь оценят по достоинству. Так же, как и роль Александра Твардовского. Но когда это будет? Кто-то высказал сомнение: будет ли вообще? Потому что современная литература — не авангардное искусство, которое оценивается завтра. Современная литература необходима сегодняшнему дню, она важна сегодня. Если сегодня она оказывается не нужна, то вряд ли понадобится в будущем. В будущем будет своя литература, свои авторы и свои герои. Так же, как и в политике.

Я рассказал о своем последнем разговоре с Твардовским, о его явном нежелании, чтобы моя повесть была напечатана при новом редакторе. Тут все заперечили: повесть появилась своевременно и там, где должна была появиться. Конечно, лучше бы на месяц раньше, при Твардовском. Но кто мог знать?..

Лакшин сказал, что при новом редакторе долго не усидит, найдет другое место. Сац уже был на пенсии. Остальные тоже быстро разбрелись из «Нового мира», кто куда. Дольше всех оставался в редакции ответственный секретарь журнала Миша Хитров. Мне еще суждено было напечатать там маленькую повесть «Обелиск», а затем и я расстался с «Новым миром» надолго.

**Большая группа** белорусских писателей была в Москве на очередном пленуме СП, когда пришла весть, что умер Твардовский. Мы все остались на похороны.

Гроб с телом стоял в ЦДЛ, на Воровского. Чуть ли не до самой церемонии похорон была какая-то тревога, происходила непонятная суета — что-то не могли согласовать с руководством Москвы или даже страны. Говорили, что всё еще неясно, где будут хоронить, место на Ново-Девичьем начальство не хотело давать. Публику в траурный зал впускали по пропускам, людей было очень много. Стоя у гроба в почетном карауле, я не узнавал в покойном Твардовского. Болезнь изглодала некогда могучего человека, и передо мной лежал худенький, с редким пушком на голове н е к т о. Во время панихиды произносились проникновенные речи о заслугах Твардовского перед литературой и русской культурой в целом, — речи, которые непоправимо опоздали. Запомнилось выступление Константина Симонова: он, выступая, плакал, и не стыдился своих слез, в зале тоже многие плакали. Там же многие впервые увидели Александра Солженицына, который сидел рядом с вдовой Марией Илларионовной. Слово для прощания ему не дали, и он только перекрестил покойника. Позже стало известно, что Солженицына едва пропустили в зал, к тому времени он уже был исключен из Союза писателей.

По окончании панихиды многие поехали на кладбище.

Был хмурый, пасмурный день предзимья, падал редкий снежок. Когда похоронный кортеж подъехал к кладбищу, его встретила цепь войск МВД, которая протянулась вдоль железной дороги до кладбищенских ворот. На кладбище было то же самое. Все должны были идти к месту захоронения в плотном окружении войск. Нас с Валей Щедриной, когда мы оказались вне процессии, злобно обругал офицер, даже крикнул: «Стрелять буду!» На что эта бесстрашная белоруска тихо, но решительно сказала: «Давай, стреляй, ну!» И офицер, показалось, был ошарашен ее решимостью.

Гроб стали опускать в землю, и Солженицын его перекрестил. Это было непривычно в атеистической писательской среде, об этом долго потом рассказывали и писали оче-

видцы. Организаторы похорон вынуждены были оправдываться — мол, виноваты, не доглядели. После похорон все — и друзья и враги недавнего редактора одиозного журнала — разошлись по кабакам, обмывать косточки покойного. Белорусы тоже обмыли его косточки, особенно Аркадий Кулешов, который все время плакал: Твардовский был его давний и лучший друг. Я почувствовал себя сиротой...

В скором времени после того скорбного события, по возвращении домой, когда уже вышел «Новый мир» с моей повестью, меня пригласили в «Полымя». Собрались, наконец, печатать белорусского «Сотникова», готовилось обсуждение. Собралась чуть ли не вся редколлегия — все, кроме Бородулина, который был в отъезде. Я предполагал, что будут мелкие замечания по языку и стилю, но обсуждение начали по полной программе. На мое робкое замечание, что в Москве уже обсуждали и московский Главлит пропустил, полымянский главный Павел Ковалев сказал, что Москва нам не указ. Москва печатала и Евтушенко, чего в Беларуси никогда бы не случилось, потому что белорусская литература идейно здоровая, без вредных отклонений. Особенно старался на обсуждении Анатоль Велюгин, который, судя по всему, заранее к нему готовился. Он проводил параллели между прозой Быкова и теми порочными идеями, которые нам навязывают из Мюнхена, то есть радио «Свобода». Другие полымянцы высказывались более мягко, но все сошлись на том, что печатать повесть рано, надо доработать. Помочь автору в доработке поручили Борису Саченко. Обоих попросили не тянуть с этим.

Сразу после заседания редколлегии, пока еще не остыли свежие указания, мы с Саченко пошли к нему на квартиру. Там Борис мне сказал, что не пьет и мне не советует, потому что редактировать надо на трезвую голову — дело серьезное. У меня уже был пример редактуры Саченко, когда-то его стараниями была почти полностью переписана моя небольшая повесть «Измена». Теперь Борис по-дружески открыл мне секрет редакторских претензий к повести — отсутствие в ней образов коммунистов. Я сказал, что вообще избегаю этих образов, потому что у меня нет соответствую-

щего таланта. Очевидно, для создания их необходим талант, подобный таланту Салтыкова-Щедрина, а у меня если и есть талант, то другой. Саченко сказал на это, что мигом все исправит и, полистав рукопись, нашел подходящее место: «Вот тут напишем, что Сотников — коммунист. А что, кроме того, он еще и сын коммуниста, это вытекает из контекста».

Тогда я посомневался немного, но скоро убедился в редакторской мудрости Бориса Ивановича, которая в итоге привела его на высокую должность главного редактора БелСЭ. Мы ничего больше в повести не меняли, так она и ушла в набор. И никаких претензий к ней не нашлось ни у Павла Ковалева, ни в Главлите, ни в ЦК. Вот что значит мудрый, сверхопытный редактор! А то, что автор при этом чувствовал себя дураком, — это его личное дело.

В издательско-редакторской практике было принято, что издатели-редакторы никогда не ссылались на цензуру или начальство, делали глубокомысленный вид, что литературно-идейные недостатки обнаружили они сами. Это ставило автора в идиотское положение, когда он считал идиотом именно того, кто предъявлял ему идиотские требования. Например, я много лет не знал, что негативному отношению к «Мертвым не больно» начало положил сам председатель КГБ СССР Семичастный, выступив с осуждением повести на секретном совещании сразу после опубликования ее в «Новом мире». Разумеется, приговор главного чекиста страны был доведен до сведения нижестоящих звеньев КГБ, до сведения партийных органов, цензуры, редакций литературных и прочих изданий. Не знал об этом только автор, который думал, что приговор вынес умный рядовой редактор, с которым он, автор, имеет дело. Но редактор прежде всего думал о своем хлебе насущном.

Довелось мне побывать в Москве и на сороковинах Твардовского. Помянуть покойного собрались в тесной квартирке Игоря Саца, пришли чуть ли не все новомирцы и еще кое-кто. Лакшин с отчаянием говорил, что разбросали их всех кого куда, как головешки из костра, и теперь им остается одно: тлеть, а не гореть. Хозяин — некогда секретарь Луначарского — жил скромно, выпивки не хватило. Тогда Жорес Мед-

ведев сбегал в «Березку», купил за чеки виски, какую-то закуску. Выпили, посидели и разошлись. Больше никого из опальных новомирцев я, кажется, в дальнейшем не встречал. Лакшин вскоре умер, за ним Кондратович, затем Сац и Берзер. Виноградов перешел в «Континент», а где и чем занимается Миша Хитров, я и не знаю.

«С несправедливостью либо сотрудничают, либо борются», — цитировал когда-то Твардовский любимого им Камю. Он боролся, но всё равно не избежал поражения. Несправедливость победила.

Сколько-нибудь регулярных связей с заграницей у меня в то время не было. Изредка получал поздравительные открытки от болгар — обоих Вылчевых. От Марио из Генуи под Новый год пришла бандероль — красивая серебристая ёлочка с музыкальным устройством. Покрутишь заводное колесико, и тихонько зазвучит мелодия песнопения во славу Езуса — Иисуса Христа. Но как-то я получил от Марио письмо — мятый-перемятый, не раз, очевидно, вскрытый конверт с многочисленными штемпелями на марках. В конверте была страничка с коротеньким текстом — Марио поздравлял с праздником и сообщал, что женится на белоруске, минчанке. Неожиданно из конверта выпал еще один листок формата листовки, бумага была желтая, и на ней крупным шрифтом было напечатано: «К гражданам Беларуси!» Далее следовал призыв объединятся, организоваться и сплоченно выступать против советской коммунистической власти. Эта листовка меня поразила: неужели Марио такой болван! Зачем он мне ее прислал? Или это не он? Чем больше я размышлял, тем больше приходил к убеждению, что это провокация. Им нужна была моя реакция.

Очень нелегко мне было принять определенное решение, но я должен был.

Не стал добиваться встречи с моим «заведующим» Дубовинкиным, вечером пошел в КГБ. Там на дверях висело красиво оформленное объявление: «Прием посетителей круглосуточно». Я отдал конверт с листовкой дежурному при входе. Когда он спросил, от кого, сказал — от Быкова. И всё. Как ни странно, ни назавтра и никогда потом никаких разго-

воров со мной о той листовке не было. Но по каким-то косвенным признакам я понял, что листовка подвела определенную черту под моими отношениями с органами. Какое-то они приняли решение. Какое-то время спустя позвонил Дубовинкин и спросил, когда я собираюсь в Минск. Мне этот вопрос не понравился, я сказал, что пока не знаю, нет у меня там дел. Через несколько дней он позвонил снова. Сказал, что меня хотят видеть в их управлении. «Что профилактика?» — поинтересовался я. Подполковник, похоже, растерялся, но быстро нашелся с ответом: «Нет, с вами хотят просто побеседовать. Приглашает генерал КГБ».

Я понял, что сколько ни тяни, но если приглашает генерал КГБ, то придется ехать. Без сомнений, на «профилактику» и за свой счет. Так оно и оказалось.

Однажды утром я поднимался по широким ступеням парадного входа во дворец КГБ на Ленинском проспекте в Минске. Отворил тяжелые двери и оказался у стола дежурного прапорщика. Тот куда-то позвонил, — из недр дворца тотчас прибежал моложавый офицер, повел на второй этаж, в кабинет заместителя председателя КГБ. Толстый седоватый генерал, сидевший за столом, сдержанно пригласил садиться.

Начался разговор — долгий и ленивый. По всему было видно, что генерал отрабатывал свой номер, собеседник мало его интересовал: он знал о нем всё. Куда охотней он рассказал о своих партизанских подвигах на Полесье, в частности, о том, как расстрелял начальника полиции: « Я врезал ему из маузера, только мозги по стене размазались». Это был впечатляющий рассказ. А потом генерал предложил мне написать книжку о чекистах. В Москве написано много, а у нас мало. Я сказал: «Что ж, напишите сами, у вас такой опыт». На что услышал стандартный в таких случаях ответ: «Опыт есть, но нет времени — работа! Вот если б вы взялись, у вас талант, а мы бы могли вам помочь. Мы вам дадим материал, можете выбрать любого человека, любой эпизод и на его основе создать повесть. А еще лучше роман. Это и нам и вам пошло бы на пользу. А то вас там заляпали говном эти перерожденцы Карпюк с Клейном».

Генерал нажал на кнопку, услужливый офицер принес кипу папок: «Вот — на ваш выбор. Почитайте».

Меня проводили в соседнюю комнату и оставили с четырьмя или пятью папками. Не без некоторого любопытства я полистал их. Это были не какие-то там дела, а отпечатанные на машинки извлечения из отдельных чекистских историй времен войны. Чекист — в логове зверя, чекист — руководитель диверсионной группы... Одна история меня даже заинтересовала — как советского офицера-связиста использовали поочередно то немцы, то наши. Не знаю, как там насчет героизма, а страданий — можно было себе представить! Оказалось, герой этой истории жив, работает на Лепельщине. Гродненские чекисты помогут мне с ним связаться.

**Не успел приехать** домой — звонит Дубовинкин: «Касинец уже в Гродно, можно организовать встречу. Можно в гостинице». Договорились, что через час приду.

У окошка дежурной меня встретил незнакомый человек в штатском, повел на этаж. В страшно прокуренном номере сидел на кровати немолодой мужчина. Чекист оставил нас вдвоем. Я присел к столу: «Ну, рассказывайте...» Мужчина начал вспоминать — с трудом, нехотя, косноязычно. И вдруг сказал: «Нет, не могу я так. Вот если б глоток!..»

Я понял и повел его в ресторан, где мы оба «глотнули» и вернулись в его прокуренный номер. Помолчав, мужчина начал свой горький рассказ. Теперь речь лилась складно.

«Война застала меня в Белостоке, я был тогда командиром роты связи. Старший лейтенант. Полк разгромили. Дивизию разгромили. Армию разгромили. Разрозненными группами пробивались на восток. Группу тоже разгромили. Попал в плен. Оказался в полевом шталаге. Деревня Колбасино, здесь, под Гродно. В чистом поле десять тысяч пленных. Ни жрать не дают, ни пить. Под дождем и на жаре. Собрали человек пятнадцать — копать капонир. Копаем. Сил уже нет. Я со злости выругался и испугался. С бруствера на меня глядит немец. Молодой. Офицер. Поманил пальцем: «Ком!»

Ну, я вылез. Он кивнул головой: «Комэн зи!» Куда-то повел. Привел в их контору. «Почему ругали немецкую власть?» — «Я не ругал...» — «Я слышал. Сейчас мы вас расстреляем!» Ну, что ж, расстреливайте, думаю, хотя что-то не похоже. «Вы хотите тодт?» — спрашивает. «Нет, не хочу, мне только двадцать шесть лет...» — «Гут, — говорят, — пойдете на обучение».

Ничего не понимаю — куда? Чему учиться? Повезли в какой-то их штаб. Там опять допросы, но уже под протокол. Ночью опять куда-то повезли в крытой машине. Куда — не поймешь. Но далеко. Целую ночь ехали. Нас в той машине набралось уже человек десять. И трое немцев с автоматами. Конечно, можно было попытаться бежать, если бы на расстрел везли. Но, видно, везут не на расстрел. Что ж, хуже, чем в шталаге, вряд ли будет.

Короче говоря, привезли в какой-то польский городок, машина въехала за ограду какой-то территории. Оказалось, там абвершулле А-3. Разведшкола. Значит, будем учиться на разведчиков, действовать будем против своих, русских. Что ж, думаю, учите, понадобится. Выучусь — я вам разведаю! Только бы добраться до фронта. Отсюда всё же далековато.

Обучали три месяца. Ну там связь, конспирация, шифры-коды и парашютное дело. Теоретически, конечно. Курсанты — все вроде меня, в большинстве связисты. Между собой никаких разговоров, только об учебе. Но уверен — все думают об одном. Только бы добраться до фронта.

Ранней весной стали отбирать по 2—3 человека, куда-то увозили. Подошла и моя очередь. Выпало в паре с Лёшкой Кнышом. Лейтенант, молодой хлопец из Винницы. Снарядили рации, дали шифры, запасные батареи, денег по три пачки. Парашюты на спину и — в самолет. Перед вылетом — задание: проникнуть в город Горький, устроиться на военный завод. И установить связь. Яволь, герр майор, — установить связь!..

Долго летели в ночи. Земля скрыта облаками, сквозь них ни черта не видно. Наконец команда: «Шпринген!» Прыгнули черт знает куда. На слом головы. Приземлились в поле, поблизости лесок. С другой стороны деревня.

Раньше мы с напарником даже не поговорили — невозможно было. Что он думает — неизвестно. Но догадаться можно. И я говорю: «Капут, Лёха! Айда в деревню, спросим, где сельсовет и — хэндэ хох!»

Пошли в деревню. Всё снаряжение при нас, только парашюты бросили. И так на горбу набралось. В деревне спросили у какой-то тетки, где сельсовет. Не сказала. Только посмотрела подозрительно, с испугом. Спросили у мальчишки, а тот говорит, что в этой деревне нет сельсовета, он в соседней, до нее километров пять. Что ж, пошли в ту деревню. По проселку. А уже совсем светло. Идем, на душе тревожно... И тут нас догоняет подвода. Думаем, ну — подвезут. На подводе трое мужиков, один в военной форме. Соскочили, и к нам: «Кто такие? Ваши документы!» Мы говорим, что идем в сельсовет, там и документы покажем. Э, нет — руки вверх! Что было делать? Подняли руки. Мужики обыскали нас и даже задрожали, то ли от страха, то ли от радости, — диверсанты! Да, говорим, диверсанты. Идем сдаваться.

Привезли в райотдел НКВД уже со связанными руками. Докладывают: поймали на дороге. Врут, конечно, но им верят, а нам нет.

Ну, а дальше пошло-поехало. В Горький, оттуда в Москву. Камера, допросы, чекисты. С Лёшкой меня разлучили, не скоро я его увидел. Шили, понятно, одно и то же: сдача в плен, измена родине, шпионаж и диверсии. Я говорю: какой шпионаж, мы ведь шли сдаваться. Но они на это ноль внимания. Но, чувствую, какое-то у них меж собой несогласие. Прежде всего — кто задержал? О тех троих мужиках уже и речи нет, в протоколах фигурируют двое — майор и подполковник. В то, что мы шли сдаваться, по-прежнему не верят.

Задержаны в зоне объекта. Какого объекта? Мы, знать не знали ни о каком объекте!.. Говорят: незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Такие законники! Я уже прошусь: пошлите на фронт. Свою вину искуплю кровью. Жизнь готов отдать. «Ого, чего захотел, — говорят. — Чтобы твою вину искупить, у тебя крови не хватит». Что б вы сдохли, думаю...

Внезапно ночью — в машину. Привозят в какой-то городок за высоким забором с «колючкой». Но вроде бы не тюрьма. Какие-то казармы. Там я и встретился с Лёшкой. Туда же привезли всё наше снаряжение. Оказалось, готовится так называемая «радиоигра». Мы должны выйти на связь с абвершулле А-3. Ну, начали... Вышли на связь. Но всё чуть не сорвалось: я забыл один пароль. Прервали сеанс, меня хотели расстрелять на месте. За саботаж. Но я действительно забыл тот пароль. Зачем мне было его помнить, если я не собирался им пользоваться? Но вот чудо: когда припекло — вспомнил. Ну, начали по новой... Я думал, немцы догадались, что я под наблюдением, но, вижу, вроде бы нет... Они вообще недогадливый народ, на этом и горели...

Третий заход начался лучше, да и приставленный к нам майор Третьяков стал что-то соображать. Догадливым оказался. Стали передавать какую-то зашифрованную чушь, будто бы о выпуске танков, о толщине брони — лобовой и боковой по отдельности. Немцы принимали, благодарили за ценные сведения. А потом приказ А-3: вернуться назад способом перехода фронта.

Ну, думаю, провал! Что-то заподозрили. Значит, кончай бал, гаси свечи. Теперь меня или пошлют на фронт, или расстреляют. Да нет! К нашему Третьякову подключились еще два подполковника и говорят: «Надо идти. Игра продолжается. Чего трусишь? Всё гут! Место перехода фронта указано, пароль тебе дали». (*Пароль, помню, был — «Вилли».*)

Пошел я один, Лёшку оставили. Привезли на передовую под Демьянском. Ночью подполз к «нейтральной полосе». Снег, колючая проволока, ракеты пуляют в небо. Пополз к окраине разрушенной деревни, ориентировался на две вербы возле сгоревшей хаты. В поле полно трупов — наших и немцев, а вокруг них — крысы. И крысы эти — на меня. Понятно, живой, теплый... Отбиваюсь руками и ногами. Подполз к немецкой траншее, вижу, вроде бы каска над бруствером торчит. Не знаю, как быть: или ползти еще ближе к траншее, или выкрикнуть пароль. Все же крикнул негромко: «Вилли!» А тот гранатой. Граната ударилась о наледь на снегу, отскочила, и — взрыв. Засыпало снегом, но не зацепило.

И я в тот же миг свалился в траншею и всё бормочу, бормочу: «Вилли, Вилли...» А немец на меня: «Какой я тебе к дьяволу (*дэр тоффель*) Вилли? Их бин — Руди!»

Всё перепутали, неизвестно кто — то ли наши, то ли немцы. Хотя тут уже и у меня всё в голове перепуталось — кто наши, кто не наши. Но не застрелили на «нейтралке», и то хорошо.

Ну, повезли в тыл. Пароль «Вилли» всё же сработал, не тут, так в гестапо. Привезли в команду А-3, в абвершулле то есть. Там сходу допросы. Да такие, что куда там нашим! Не знаю, как мне посчастливилось выкрутиться, не засыпаться. «Почему долго молчали, не выходили на связь?» — «Так ведь не вырваться с танкового завода, прогул у большевиков — тюрьма, такое постановление Верховного Совета, самого Калинина». — «О, я, я! Об этом мы знаем!» И новый вопрос: «Почему внезапно прервался первый сеанс связи?» Говорю: «За городом на связь выходили, в парке. Только раскинули антенну, а тут откуда-то женщина появилась, прет прямо на меня. Так я, знаете, штаны спустил и присел, будто приспичило. Ну, она шарахнулась в сторону...» — «О, гут, правильно, вы ловкий агент!»

Потом еще разные допросы-проверки. Подослали провокатора из наших же. И через это прошел. Всё прошел. Дали неделю отпуска в соседнем городишке. А через месяц наградили медалью за заслуги. Какое-то время был в шулле кем-то вроде инструктора, рассказывал новичкам, как выведывать у большевиков танковые секреты. Помню, смотрели на меня с этакой хитринкой, видно, не очень верили. Но я старался — заливал пули.

Летом сорок четвертого, когда началось наступление, снова — парашют, вещмешок с толом и на аэродром. На этот раз нас трое, я — старший. Задача — диверсии на магистралях. Выбросили ночью, как раз на позиции тяжелой артиллерии. Не успели приземлиться, как — хэндэ хох! Одного убили.

Мы двое — в плену. Но тогда у меня уже был свой (*наш*) пароль. Говорю: «Доставьте меня в с м е р ш». Поняли, от-

правили в Москву. Больше к немцам не посылали, радиоигру прекратили. Но и от своих было мало радости. Полгода сидел, допрашивали, выясняли, не двойник ли? Да, двойник, говорю, разве ж я скрываю? В Москве тот самый Третьяков уже полковник, два ордена получил. Подполковники тоже награждены орденом боевого Красного Знамени — за успешную радиоигру. А мне только после Победы кинули орденок — «Отечественной войны» II степени. Но и тогда я продолжал работать на них — на вокзалах, в поездах, выслеживал агентов абвершулле. И, знаешь, однажды в Минске увидел своего Алексея. Сидит на вокзале в уголочке, дремлет. Я подошел, сел рядом и не знаю, что делать? Главное, с кем он теперь, Леха мой? Может, на законных правах на свободе, а может, скрывается. Если так, надо арестовывать? Тронул его за плечо, он сразу проснулся, узнал. Но, вижу, не очень рад встрече, чего-то он боится. Может, говорю, пройдем в город, обмоем встречу? Пошли. Я всё сворачиваю в сторону НКВД, вижу — он вроде не замечает этого, не норовит свернуть. Чувство на душе поганое, да что поделаешь!.. Думаю: может, человек жизнь наладил, женился, на работу устроился, а я его — сдаю. Но иначе нельзя. Ну привел в отдел НКВД, там у них такая секретная комнатка на первом этаже, дежурный там сидит. Говорю: «Вот, привел». А Лёшка вскинулся: «Это я тебя привел, потому что ты — агент абвера». Оказывается. Он в такой же самой роли. Противно стало обоим даже смотреть друг на друга.

А теперь? В лесхозе работаю. Деготь гоним для нужд химической промышленности. Зарплата маленькая, не украдешь — не проживешь. Но мне украсть трудно. Всё еще под надзором, ненадежный тип. А вы что — писать будете? Неужели позволили?»

Да, я хотел написать. Судьба того человека меня взволновала. Только если уж писать, то всю правду. Ничего не придумывая. Документальный очерк. Сказал об этом Дубовинкину, тот сообщил в Минск. Оттуда ответили отказом: дело пока не рассекречено, разрешается использовать только косвенно. Минимум того, как было в действительности. Пиши-

те повесть с акцентом на деятельность контрразведчиков. Я сказал, что для повести в деле мало содержания, повесть всё-таки другой жанр. Не чекистский, а литературный.

На этом «чекистский проект» и кончился. Дубовинкин потом говорил, что я его подвел. Может, и подвел, но не очень. Потому что в скором времени он получил повышение и уехал служить в Подмосковье. В Гродно о нем, однако, никто не горевал.

**Мы давно** привыкли к словам, что в жизни всегда есть место подвигам. В самом деле, подвиг необходим всем и везде. Особенно там, где нет мира, идет борьба за свободу и справедливость. Но природа подвига может быть разная. В том числе и на войне.

Литература соцреализма замусолила подвиг во имя родины, партии и Сталина, обходя всю сложность этого явления. Подвиги беззастенчиво и постоянно сочинялись в целях пропаганды, как во время войны, так и в мирное время. Кто не слышал о подвиге комсомолки, которую немцы повесили за поджог конюшни? При этом упор делался на то, что она сказала перед казнью. Сперва это были слова: «Сталин придет», затем — «партия придет», соответственно с пропагандистским требованием момента; в этом и состояла суть ее подвига. Много лет гремела слава героев-панфиловцев, которые (*все 28*) погибли, не пропустив немцев в Москву. И неважно было, что эти герои после войны живые и здоровые вернулись из плена, — важно было, что пропагандистский миф о них свою функцию выполнил. Мне запомнился рассказ знакомого военного в генеральском мундире о знаменитом подвиге Александра Матросова. Генерал (*в годы войны еще не генерал, а командир батальона*) воевал в составе бригады, в которой служил боец Матросов, и вся эта история разворачивалась у него на глазах. Ее сочинили политруки, чтобы оправдать неудачную атаку, найти в ней хоть какой-то позитив. И нашли в поле убитого бойца, который ближе других подобрался к немецкому блиндажу. Вот и все. Осталь-

ное было придумано. Выдумка оказалась важней обычной солдатской смерти в бесславном бою.

В советской политике и пропаганде постоянно происходило характерное для них явление — подмена, когда жертвы и герои менялись местами — жертвы превращали в героев, а героев в жертвы. Первых увенчивали звездами, а вторых отправляли на Колыму, в Воркуту, расстреливали в Куропатах. Это была политика и логика большевизма, понятая, однако, десятилетия спустя.

Воистину, несчастна та страна, которая нуждается в героях, как писал Бертольд Брехт.

Меня интересовали подвиги иного рода — подвиги духа.

Со времен Иисуса Христа и первохристиан дух стал немаловажным фактором в борьбе за выживание наций или этносов, — не менее важным, нежели физическая сила, которая в древности решала всё. Да и в литературе всё большую притягательность приобретали, так сказать, подвиги интеллигентские, а не только солдатские. Последние были тривиальностью, тем более на войне. Если подвиг совершает тот, кто предназначен для совсем другого, мирного дела, это уже что-то исключительное и приобретает особое значение. Хотя практический результат часто бывает равен нулю. Нулевым с прагматической точки зрения был подвиг Януша Корчака, как и подвиг учителей из югославского города Крагуйевицы, которые вместе со своими воспитанниками пошли на смерть.

В Беларуси тоже были такие учителя, хотя о них мало знали, пропаганда о них молчала. Большевики враждебно относились к усилиям национального учительства в деле просвещения на оккупированной территории. Учителя, которые при немцах учили детей, не давали одичать целому поколению, считались каллобарантами, и после войны вместе со своими учениками оказались в Печорлаге. Белорусский учитель Борис Кит за свою самоотверженную работу на ниве школьного образования сидел в Лукишках при польских властях, в Вилейском централе СД — при немцах. Чтобы после войны не очутиться в советском лагере, вынужден был эмиг-

рировать на Запад. И всё потому, что в годы юности внял призыву учить детей добру и справедливости и не отрекся от белорусщины. Очень это важное и опасное дело — быть белорусским учителем. Если, конечно, быть этому делу верным, не превратиться в «приводной ремень» большевистской политики, чему мы были свидетелями все годы советской власти.

«Обелиск» написался легко, что называется, на одном дыхании. Напечатан был в Минске тоже без особых потерь. Можно было переводить на русский язык, с чем я, однако, медлил. Самому очень не хотелось, надеялся найти переводчика получше, чем я.

Незадолго до написания «Обелиска» познакомился с русским поэтом, бывшим фронтовым разведчиком-пехотинцем Григорием Куреневым, автором интересной поэмы «Река Полота» — о боях на Полотчине. Это был доброжелательный, компанейский малый, и жена у него была славная женщина, милый сынок Сашка, и я, бывая в Москве, непременно к ним заглядывал. Галя Куренева, будучи издательским работником, взялась перевести «Обелиск». «Новый мир» быстро его напечатал, — уже при новом редакторе.

Повесть эту я посвятил памяти Миколы Пашкевича, молодого учителя с Мядельщины. Это был замечательный учитель: энтузиаст всего белорусского, бесконечно увлеченный литературой. Как-то мы собрались на Нарочь в гости к старику Михасю Лынькову, прозу которого Микола очень любил. Места в машине для Миколы не было, так он уговорил поместить его в багажник, в котором, скрючившись, и проехал добрых полсотни километров. Когда уговаривал взять его с собой, оправдывался: «Как же я могу его не увидеть, пока он жив! Он же такой старенький!..» Увидел. А через полгода умер — раньше своего кумира.

Помню, вычитывал новомирскую верстку в скверике близ Путниковского переулка и одновременно читал машинописный текст «В круге первом» Александра Солженицына, — рукопись мне дали до вечера в «Новом мире». Солженицын тогда был открытием в литературе, но после «Одного дня Ивана Денисовича» его не печатали. Твардовский про-

бивал этот роман в ЦК, однако безуспешно. В моем саквояже лежала и еще одна книжка того же автора — «Ленин в Цюрихе», которую мне дал Куренев. Эту я вез домой — в Минск и в Гродно, где ее потом прочитали десятки моих друзей и знакомых. На «Обелиск» после его опубликования очень хорошую рецензию напечатал в «Комсомольской правде» Григорий Бакланов, чьи оценки для меня всегда были важны. Так же, как оценки нашего общего друга Лазаря Лазарева.

**Как всегда** летом, взялся писать «зимнюю» повесть «Дожить до рассвета».

Тема ее, казалось, звучала довольно экзистенциально, это был мотив тупика и разочарования — на этот раз в локальном конкретном смысле. А можно было понимать и в более широком, это уже как кому представлялось. Такой отход от идейной конкретики давал определенный простор для воображения, но и обязывал. Как и прежде, требовал правды и определенных жизненных реалий, что непросто было воплотить на материале войны. Зато каждый читатель (*или группа читателей*) понимал те или иные моменты соответственно своим склонностям и желаниям. Автор почти ничего не доказывал, не утверждал — больше изображал и рассказывал. Так казалось автору, хотя на самом деле всё могло быть иначе — так или иначе, хуже или лучше.

Поскольку в «Новом мире» я в том году уже напечатался, послал повесть в Ленинград, в журнал «Нева». Как обычно, стал ждать вызова на обсуждение, редактирование. Вызов, однако, затягивался. И вдруг получаю номер «Невы» с напечатанной повестью и письмо, подписанное главным редактором Никольским, который поздравляет меня с опубликованием и приглашает к сотрудничеству. Это было что-то необычайное, к таким издательским правилам я не привык. (*Забегая вперед, замечу, что «Нева» не только напечатала повесть, но и выдвинула ее на Государственную премию.*)

Тем временем в издательстве «Молодая гвардия» подоспело издание моей книжки, и я поехал в Москву. С заведу-

ющей отделом художественной литературы Зоей Николаевной Яхонтовой я был знаком еще со времен выхода «Третьей ракеты», отношения мои с этой славной женщиной были наилучшие. Хотя, в общем, это комсомольское издательство относилось к авторам и их произведениям с явно завышенными требованиями, и на этот раз меня вынудили дописать к книжке «поплавок» — статью о Хатыни. Хатынь тогда многое выручала в не совсем лояльной нашей публицистике, хотя в определенном отношении оказывалась блефом. (*Об этом, однако, позже.*)

В редакции, в кабинете Зои Николаевны, познакомился с мрачным человеком, который оказался автором уже известных в литературе «Ивана» и «Зоси» — Владимиром Богомоловым. Он пригласил при случае зайти к нему и дал свой адрес. В следующий свой приезд в Москву я и зашел. Володя жил на Большой Грузинской, под самым чердаком старого дома. Семьи у него, кажется, тогда не было. Мать недавно умерла, и он рассказывал, как сам обмывал ее и хоронил. Жил бедно, нуждался в деньгах, но характер у него был гордый и на угощение Володя не скупился. К его знаменитому «Ивану» я относился, в общем, спокойно, зато любил его «Зосю». (*«Я те кохам, а ты спишь» — я тебя люблю, а ты спишь.*) Володя тогда работал над большим романом, но о чем этот роман, не говорил. Как-то у него на квартире собрались Юрий Бондарев, Сергей Смирнов, Наиль Бикенин — все известные и знаменитые его друзья по литературе и войне.

Богомолов попросил Бондарева достать в «кремлевке», к которой тот был прикреплен, лекарство для меня, для лечения моей астмы — заграничный «беретэк», который очень мне помог. С. С. Смирнов делал тогда на телевидении серию передач о героях Брестской крепости, в тот день выглядел крайне усталым и плохо себя чувствовал. Он очень хорошо говорил о моих и богомоловских повестях, которые, кроме того, поддерживал и в печати. К сожалению, в скором времени он заболел и умер. Бондарев радикальным образом разошелся с Богомоловым — мне до сих пор неизвестна причина, а я, напротив, сошелся. Лет десять мы дружили, он

приезжал в Беларусь с молодой женой, отдыхал на Нарочи и в Друскениках. Я познакомил его с моими друзьями, Матуковским и Буравкиным, с которыми и он подружился. Но, как всё на свете, мужская дружба когда-нибудь тоже кончается. Кончилась и моя дружба с Богомоловым.

**Многие новости** в то время приходили по телефону (*теперь по интернету и факсу*), пришла и такая: в Гродно судят палачей

Хатыни. Выездная коллегия из Минска, пять подсудимых — бывших полицаев. Адамович, который тогда писал свою книгу «Каратели», конечно же, не мог пропустить такое событие и приехал в Гродно. Карпюк уже побывал на первом заседании суда, на второе пришел и я. Внешне нечего особенного — суд как суд. Судьи, адвокат. На скамье подсудимых пятеро пожилых, немало помятых жизнью мужиков. Их привезли кого откуда — из Украины, из России, одного из Казахстана. Но почему их судят в Гродно? Почему хотя бы не в Минске?

И тут выясняется необычный факт. Оказывается, сожгли Хатынь вовсе не немцы, а вот эти полицаи из так называемого 118-го украинского полицейского батальона. Это был, разумеется, не очень приятный для властей факт, он разрушал известный постулат о нерушимой дружбе советских народов. Поэтому этот процесс и отодвинули из центра к самой польской границе.

Хотя вряд ли это было удачным решением: созвучие Хатыни и Катыни вызывало и в Польше определенные негативнее ассоциации.

Судебные заседания происходили в маленькой комнате, публику с улицы туда не пускали. Судьи допрашивали, подсудимые вяло во всем признавались: выполняли приказ, жгли, расстреливали, что мы могли сделать? В числе подсудимых был командир карательной роты Лапуста, который после войны сделал в Казахстане карьеру: стал депутатом местного совета, не раз был награжден. Некоторые из полицаев после освобождения Беларуси побывали на фронте, где неплохо

воевали и получили награды — к немецким медалям прибавили советские. Фамилия одного из подсудимых была Сахно (*как у персонажа моей повести «Мертвым не больно»*), что немало нас позабавило. Адамович даже пошутил по этому поводу: плохо следователи читали Быкова, а то давно бы разоблачили этого Сахно. Или, может, жалели — корпоративная солидарность... «Вот именно! — думал я, — все у нас с Германией перемешалось — кто свой, кто чужой?» Кажется, двоих приговорили к смертной казни, и Карпюк попросил прокурора, чтобы тот разрешил ему провести с ними в камере последнюю ночь: хотел понаблюдать за смертниками. Прокурор не разрешил, а Адамович упрекнул: «Это я должен был об этом просить, да не отважился». Карпюк был доволен, что оказался более отважным. Хотя кто из нас в том сомневался?

**Мы жили** в противоестественном, уродливом мире, где были отброшены не только христианские заповеди, но и элементарные соображения здравого смысла. Смысл стал классовым, партийным, пролетарским. Нас призывали писать правду, но далеко не всякая правда разрешалась литературе, разве что та, которая служила власти. Над регламентацией правды в поте лица трудились партийные органы, им помогали писательские начальники, цензоры-редакторы, «закрытые» рецензенты, которых за верную службу вознаграждали квартирами, должностями, научными званиями, премиями.

На соискание Государственной премии одновременно были выдвинуты Владимир Короткевич и Борис Саченко, но знаменитый классик был в списке соискателей всего лишь фоном, а премию получил, разумеется, Саченко. Чему энергично посодействовал ЦК КПБ в лице Ивана Антоновича. Всё это, естественно, вело к вырождению литературы. И если в ней появлялось имя не полностью позорного автора, да еще наделенного определенными способностями, наверху решали, что с ним делать. Испытанный способ 30-х годов, повидимому, уже надоел, потребовались более гибкие спо-

собы — кнут в сочетании с пряником. Наблюдали, что окажется наиболее действенным.

После многолетнего избиения кнутом решено было применить к Быкову пряник. Я, конечно же, об этом не знал: литературные начальники умели хранить партийные тайны. Даже те из начальников, которые, в общем, относились ко мне доброжелательно.

Где-то в конце 70-х годов Комитет по премиям присудил мне Государственную премию СССР за повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета». После пережитого в литературе эта премия не столь уж меня обрадовала, хотя, конечно, появилась надежда — может, теперь отцепятся? Разумеется, я не рассчитывал, что уж теперь мне будет разрешено писать всё. И так, как я захочу. Но всё же... Правда, Адамович с присущим ему сарказмом сказал, что теперь я сам не захочу дразнить гусей, стану осмотрительней, потому что прошел выучку. Что ж, возможно...

Как всегда в таких случаях, премия порадовала друзей, но и прибавила завистников — тоже, кстати, из числа друзей. А зависть (*болезнь «красных глаз» у китайцев*) — очень скверная вещь, которая обладает дьявольской силой. В этом я не раз убеждался на своем литературном веку. Да и помню, как мама в моем детстве страшно боялась сглаза, завидущего ока — совсем как в Китае...

Вручали премию в Кремле, затем там же и обмывали — дюжина свежих лауреатов в области литературы и искусства. Главным распорядителем мероприятия был наш земляк Шауро, который довольно холодно поздравил меня — словно выговор объявил. Но на меня это не произвело впечатления, больше запомнились искренние поздравления друзей в Москве и Минске.

Тогда же, а может и раньше, отпали некоторые издательские проблемы: в Минске выпустили четырехтомное собрание сочинений, хотя и не включили в него «одиозные» повести «Мертвым не больно» и «Круглянский мост». Чтобы не слишком фанаберился свежеиспеченный лауреат.

В Минске я в те годы бывал часто: то приезжал на какие-то мероприятия Союза писателей, то по издательским

делам. Или возвращаясь из Москвы. Если до гродненского поезда оставалось какое-то время, забегал на улицу Энгельса в тесный домик СП, где сидел Толя Вертинский. В его кабинете можно было неплохо провести время в компании Макаля, Миколы Гамолки или еще кого-нибудь из литераторов. Там было шумно и часто весело. Но чтобы поговорить о деле, условий там не было. О делах и о чем-либо серьезном обычно беседовал с Нилом Гилевичем, если он не был занят в университете. Нил, кроме всего прочего, был не против того, чтобы принять чарку, разговор с ним всегда был интересный и серьезный — о жизни, о литературе, а главное — о языке.

Национальный язык белорусов, как и сто лет назад, оскорбительно попирался на всех уровнях, вытеснялся русским, хотя официально это не признавалось. Напротив, официально власти трубили о расцвете белорусского языка, что вводило в заблуждение и заставляло думать о каком-то недосмотре в отношении языка, о каких-то ошибках, которые можно исправить. Нил, как человек эмоциональный, болезненно переживал ситуацию с языком. В университете с помощью студентов он неустанно собирал белорусский фольклор, собранное издавал книгами, которые выходили одна за другой. Да фольклор мало кого интересовал. Обучение на белорусском языке постепенно сходило на нет, уже надо было поездить по районам, чтобы найти полностью белорусскую школу (*как, к примеру, в Гудевичах на Гродненщине*). В Минске не осталось ни одной. А без овладения белорусским языком молодыми поколениями становилась невостребованной вся белорусская культура. Мы с горечью говорили, что при таких темпах русификации через каких-нибудь 20—30 лет белорусскую книгу некому будет читать. А мы всю душу вкладываем именно в книгу, как когда-то наши многострадальные классики. Не пропадет ли даром весь этот труд? Говорят, Якуб Колас умер над письмом в ЦК о притеснении белорусского слова. Что с тех пор изменилось? Коммунистическая партия упорно придерживается своего русскоязычия, всё партийное руководство сверху донизу пользуется только русским языком. По-белорусски выступает лишь министр финансов Шатилло, да и тот скоро уйдет на пенсию. И

самое обидное, что нашу национальную проблему не хотят понять наши российские коллеги даже самого демократического направления. Кроме разве что Валентина Оскоцкого и Лазаря Лазарева, с которыми доводилось говорить на эту тему. Никто другой не проявил даже любопытства к судьбе нашего языка. Ну и что, говорят, перейдете на русский. Что, русский хуже? Да нет, говорю, не хуже, даже лучше. Но...

Что н о — объяснять уже не было охоты.

Тогдашнее руководство СП Беларуси в лице Бровки, Шамякина, Танка было словно парализовано сложившимся отношением к языку и боялось даже заговорить о языковой проблеме. И неудивительно. Шамякин много лет был председателем Верховного Совета, это при нем состоялось голосование по вычеркиванию из конституции БССР статьи, провозглашавшей белорусский язык государственным языком республики. Во второй раз примерно то же самое произошло, когда председателем был академик Науменко. (*Все эти факты уничтожения белорусского языка руками представителей верховной власти подробно изложены в труде Анатоля Белого. Не знаю, однако, был ли опубликован этот труд, потому что об авторе пустили слух, будто он — агент КГБ и все его начинания — провокационные.*) То же руководство СП не осмелилось инициировать перед правительством перенос в Минск останков Максима Богдановича с кладбища в Ялте, где им грозило разрушение. Боялись обвинений в проявлении национализма как самого страшного преступления, за которое в 30-е годы люди получали пулю в затылок? Вряд ли. Скорей боялись, чтобы их не отлучили от корыта, к которому они пристроились в относительно либеральные годы, наступившие после Цанавы. Поэтому, должно быть, их так взбудоражило правдивое выступление Владимира Домошевича о судьбе языка, которое едва не кончилось для писателя плохо. Потом Шамякин говорил: «Еле спасли!» Вот какие были добрые. Оставили Домошевича на свободе. Впрочем, у нас и впрямь не сажали, как на Украине, не было у нас и диссидентов. Похоже на то, что пытались сделать диссидентами некоторых гродненцев, да не удалось, профессионализма, видимо, не хватило. А может, просто менялось время,

политический ветер изменил направление и можно было расслабиться?

**В Москве** собирался съезд СП СССР, из Минска мы поехали большой группой. Перед открытием, как обычно, толпились в тесных коридорах на Воровского, получали направления в гостиницы. Это было важное и сложное дело — размещение по гостиницам. Поселяли с большим разбором, в зависимости от веса, который имели те или иные писатели и организации в глазах начальства. Одних (*руководителей, депутатов, народных*) селили в гостинице «Москва», других, без титулов и заслуг — в «России». Получив направление в гостиницу рангом ниже, шли жаловаться Маркову или Воронкову или посылали к ним Шамякина с ходатайством. Шамякин ходатайствовал тоже с большим разбором, не допуская уравниловки. Я получил номер в «Москве», Адамович — в «России», это было для нас несколько неудобно, но жаловаться мы не побежали. На Воровского нас разыскал Анатолий Гладилин, дал прочесть письма Александра Солженицына съезду — в защиту свободы творчества, против цензуры, предложил подписать письмо. Мы подписались. Адамович предложил позвонить Солженицыну, с которым мы еще не были знакомы. Я сомневался, что Солженицын пойдет на контакт, но он неожиданно сам взял трубку и сразу спросил, подписались ли мы под его письмом. Адамович сказал, что да, подписались, и еще других сагитировали подписаться. Тогда Александр Исаевич сказал, что неплохо бы встретиться. Договорились провести встречу в гостинице «Москва», в моем номере.

На следующий день Адамович утром уже был у меня, купили выпивку, я подготовил фотоаппарат. Солженицын пришел с небольшим опозданием. Сказал, что рад познакомиться с нами лично, а как писателей он нас знает, читал обоих и разделяет наш пафос. На съезд он не пойдет, он не получил приглашения, но ждет, что мы там выступим в духе его письма. Адамович пообещал выступить. (*Поспешил с обещанием, слова ему не дали, я же подготовил выступление в*

*несколько ином духе.*) Солженицын рассказал о своих литературных планах, о том, что работает над произведением об империалистической войне 1914 года и, возможно, летом поедет в Восточную Пруссию. По дороге мог бы заехать в Беларусь, где воевал в 44-м году. Конечно, мы приглашали. (*К сожалению, этого не осуществилось.*) Во время разговора мы с Адамовичем то и дело поглядывали на стены, таившие в себе опасные «уши», Солженицын же вел себя уверенно и смело. От выпивки он отказался. В конце встречи сфотографировали гостя — по очереди с Адамовичем и Быковым.

На съезде в зале знаменитого Кремлевского дворца я почти не сидел, большую часть времени проводил в кулуарах или в буфете. Но в огромном зале буфета можно было только поесть, выпивки там не было. И это возмущало многих писателей. Особенно возмущался Виктор Астафьев — я к тому времени был уже с ним знаком и мы хотели обмыть встречу. Да не было чем. И Виктор громко, повергая в смятение вышколенную гэбистскую обслугу, возглашал, что без водки не победили бы в войне — даже с громовыми призывами политруков. «И белорусские партизаны это знают — правда, Василь?» — шутливо обращался он ко мне. Я согласился и напомнил Виктору, как на банкете во время предыдущего съезда он выручил Константина Симонова. Тот вальяжно прохаживался между рядами столов с каким-то иностранцем, а за ними, как хвост, таскался подозрительный тип, явно гэбистского вида, все старался подслушать их разговор. Когда они остановились, остановился и он, как раз возле нашего стола, рядом с Астафьевым. Павел Нилин, который был с нами, понял, в чем дело, и обратился к тому типу с вопросом: «Вы из какой организации?» Но тот словно не слышал вопроса: все его внимание было обращено на Симонова и иностранца. Тогда Астафьев громко, перекрывая гул застолья, сказал: «Да он из организации Семичастного! Оглянитесь, Константин Михайлович!» Симонов оглянулся, и тип, вобрав голову в плечи, молча юркнул в сторону. Вечером в гостинице мы обсуждали этот случай, и Астафьев довольно нервно напомнил, где мы живем. Он сказал, что в 30-е годы

в СССР было 10 миллионов сексотов, об этом говорил сын Георгия Маленкова, а уж он что-то знал. Да и сам Хрущев, разоблачая Берию, говорил, что в СССР каждый пятый — сексот. «Чего же вы хотите от писателей?» — спрашивал Виктор Петрович.

Как уже было сказано, шикарной закуски в Кремле было навалом, а спиртного ни капли. В гостинице, наоборот, буфеты ломились от выпивки, а закусить было нечем. Как всегда, с закусью в стране была напряженка. Утром за завтраком мы долго решали задачу: как пронести на съезд бутылку. Буравкин засунул ее в карман — выглядело подозрительно, могут подумать, что в кармане бомба, выпячивала она и мой внутренний карман. Попробовали положить в импозантную папку Гилевича — еще хуже. Могут отобрать при входе и еще дело пришьют. А проверяли нас на каждом шагу, во всех дверях, возле которых гэбисты обычно дежурили парами: пока один проверял документы, сверяя фотокарточку с оригиналом, второй производил «визуальный обыск», бдительно приглядываясь к карманам и к тому, что в руках. Выход нашли самый простой — выпить в гостинице, а закусывать бежать в Кремль.

Но по дороге нас подстерегла неожиданность. Мы не успели перебежать проезд Спасской башни на зеленый свет светофора и остановились. Но один из делегатов (*не из нашей компании*), старый туркменский писатель, пошел на красный свет и был задержан гэбистом в форме, который грубо рванул старика за плечо и стал отчитывать. Этого не выдержал Григорий Бакланов, оказавшийся рядом. Я никогда не видел Григория таким разгневанным: он бросился защищать старого туркмена на глазах десятков прохожих, возмущенно стыдил гэбиста. Но тот тоже пришел в ярость, потребовал у Бакланова пропуск, стал орать: «Я его сейчас порву, и ты больше не увидишь свой съезд!» На что Бакланов ответил с вызовом: «Ну порви! Порви! Что же ты не рвешь?» Тот, однако, не порвал, — видно, добрый попался...

Этот поступок Бакланова многое мне объяснил в его характере, твердом и упрямом. Стали понятны некоторые его пассажи в печати и выступлениях. Особенно блестящей,

бескомпромиссной была его речь на всесоюзной партконференции в Москве, на которой правоверная аудитория попыталась согнать Григория с трибуны. Запомнились его резкие стычки с коммунопатриотами в присутствии члена горбачевского политбюро А. Яковлева. Среди нас в смелости и принципиальности не уступал ему разве что один Алесь Адамович.

Белорусские писатели, за редким исключением, вели себя рассудительно, держались молча и вместе. Помню только один случай несдержанности: в самом начале, когда устраивались в гостиницу, сцепились Кулешов с Макаёнком. Пили и ругались — долго и заядло, с обеда до вечера и чуть ли не всю ночь. Я пытался их утихомирить, уговаривал и мирил, и всё напрасно. Причем ссорились они так витиевато, что понять суть конфликта было невозможно. Присутствующие при их сваре литераторы стали по одному расходиться по своим номерам. Наконец не выдержал и я. А утром узнал, что Макаёнок спит, а Кулешов выписался из гостиницы и уехал в Минск.

**На съезде,** как обычно, произносились речи, привычно скучал президиум. В кулуарах было интересней. Где-то под конец дня появился Виктор Некрасов, которого в то время травили в его родном Киеве и в Москве тоже. Появился он на съезде в облике парижского клошара — в нестиранной тенниске, старых джинсах, в разношенных сандалетах на босу ногу, — из них торчали пальцы с желтыми старческими ногтями. Среди парадной, изо всех сил вырядившейся публики это воспринималось как вызов. Зато его сразу окружили молодые, и из их тесного круга на лестнице доносились веселые голоса и смех. Гэбисты в штатском вынуждены были притворить дверь в зал.

Важно, что встречи и знакомства продолжались и после съезда, в гостиницах и ресторанах. В один из вечеров на квартире у Валентина Оскоцкого познакомился с очень уважаемым мною критиком Игорем Дедковым. Он давно жил в Костроме, в Москве появлялся редко. Дедков был автором

глубоких и умных статей о современной литературе, в том числе белорусской. Личное знакомство не осталось шапочном — иногда Игорь присылал мне в Гродно теплые письма, через несколько лет написал содержательную работу о моем творчестве. Виделся я с ним не часто, но постоянно чувствовал его внимание к моей писательской судьбе, его присутствие в моей жизни.

О писательских съездах в Москве можно вспоминать долго и много. И о их нагонявшей тоску казенной рутине, и о смелых и умных выступлениях, которые хоть изредка, но случались. Чаще зазвучали такие выступления, когда началась перестройка и железно организованный СП стал заметно разваливаться. Но и тогда партия упрямо не выпускала его из рук. Попытались реформировать руководящие органы, ввели в правление еще недавно одиозных писателей. Руководить очередным съездом поручили Юрию Бондареву, однажды даже меня избрали в почетный президиум. Александр Яковлев дружески беседовал с нами в кулуарах. Но и тогда в ЦК оставался сидеть Шауро, а его земляк Севрук именно в ту пору достиг вершины своей карьеры — руководил всесоюзным Главлитом, стал цензором всей советской литературы. Севрук цепко держался за свои цековские должности даже при Горбачеве и рухнул только тогда, когда рухнула КПСС. Перебрался в гостеприимную Беларусь, где и поныне занимается своим привычным делом.

Еще в брежневские времена Москва неожиданно для себя обрела странноватого песновеца, автора не менее странноватого произведения под названием «Москва-Петушки». Звали автора Вениамин Ерофеев, или просто Веничка, как к нему с симпатией обращались друзья и читатели. Мне его книжку дал почитать Адамович, которому она очень понравилась, может потому, что, не порывая с гуманизмом, несла в себе зачатки грядущего постмодернизма. Позже мы узнали, что автор работал на прокладке газопровода, был очень больной человек и дружил с группой московских литераторов, которые издали альманах «Метрополь», получивший скандальную известность.

Однажды Адамович меня удивил, спросив в телефонном разговоре, что такое мениск ? Это был нефилологический термин, и далекий от негуманитарных наук Адамович не должен был им интересоваться. Я же припомнил из физики, что мениск — это криволинейное натяжение поверхности жидкости. В последующем разговоре выяснилось, что в одном из своих интервью, опубликованном, кажется, в «Литературной России», Веничка с большой похвалой отозвался о нас с Адамовичем и сказал, что Адамовичу налил бы при встрече полный стакан, а Быкову — даже с мениском, то есть всклень. Бедный алкаш Веничка, видно, не знал, что Адамович не пьет и «полным стаканом» очень его развеселил. Но все равно моральный жест Венички был куда более приятен нам обоим, чем идеологическая похвала какого-нибудь «литературоведа в штатском».

**В начале** 70-х годов, когда мое литературное реноме пошло на поправку, вновь повернулся ко мне кинематограф.

На Ленинградской киностудии сняли фильм на сюжет «Дожить до рассвета» — фильм неудачный во всех отношениях. Когда начиналась работа над фильмом, я несколько раз побывал на «Ленфильме», поработал с режиссером, но сразу понял, что большого толка не будет. Не тот режиссер. По прежнему опыту я знал, что режиссеру-постановщику необходимы не столько ум и вкус, сколько характер и воля. Умение выбивать и добиваться. Режиссер Виктор Соколов был человек неглупый и честный, но не обладал всем набором необходимых в кинематографе качеств. К тому же у студии не хватало средств, материально-техническая база была ограничена. Вдобавок ко всему подвела погода: прежде времени растаял снег, что для съемок зимней натуры было гибелью. Режиссера отстранили, заканчивать съемки поручили другому, все пошло наперекосяк и завершилось полным фиаско.

В скором времени получил письмо от молодой режиссерши Ларисы Шепитько, в котором она предлагала поста-

вить на студии «Мосфильм» картину по «Сотникову». Посоветовал ей обратиться к этой моей повести наш общий друг Алесь Адамович. И я согласился. Правда, Лариса еще должна была получить добро от руководства студии, киноглавка, отдела культуры ЦК. Но пробивная Лариса была полна надежд и все брала на себя.

Однако далеко не всё заладилось с самого начала. Прежде всего, беспокоил сценарий: кто напишет? Руководство студии возражало против авторства Быкова. Я не стал спорить — пусть сами выбирают сценариста. Выбрали молодого талантливого кинодраматурга и поэта Геннадия Шпаликова, который написал сценарий быстро и хорошо. Но к сценарию были и претензии, что-то в нем хотели по сравнению с повестью изменить. Я не возражал и написал Ларисе, что вообще предоставляю ей полный карт-бланш — делайте, что хотите. Меня вся эта киношная кутерьма давно не привлекала, сыт был ею по горло и хотел только одного, чтобы меня оставили в покое.

В покое, однако, не оставили, возня вокруг сценария продолжалась. Потребовалась моя поддержка как автора повести, и я приезжал в Минск, где Лариса вела переговоры уже с «Беларусьфильмом». Из этих переговоров ничего не вышло: белорусские киновласти не осмеливались вновь связываться с прозой Быкова. Были уже научены. Лариса снова перекинулась на Москву, стала ходатайствовать перед центральными властями. Просила меня приехать.

Я приехал в Москву, и мы с Ларисой договорились встретиться в Доме кино, вместе там пообедать. Народа было немного, разговору никто не мешал. Лариса сказала, что дело дрянь, снимать не дают. Кто не дает? А все! Надо пробиваться к самому Суслову. Я хотел было сказать: ну и пробивайтесь, но она меня опередила: «Надо вдвоем, сейчас я позвоню помощнику Суслова, и поедем!» Я не знал, что ей на это сказать. Дело в том, что еще лет шесть назад я слышал, что в ЦК принято постановление о моем творчестве, подписанное именно Сусловым. А теперь мне к нему ехать. Я в самые мрачные для меня времена никого ни о чем не просил. Пока Лариса ходила звонить, я многое передумал и охвачен был

одним желанием, чтобы все они, там, в сусловском ЦК, обратились в прах, даже вместе с моим «Сотниковым». Я не хотел ни фильма, ни существования самой повести.

Должно быть, Бог услышал мои молитвы. Вернулась Лариса, раздосадованная, разочарованная: «Суслов болен». Слава тебе, Господи, подумал я. С огромным облегчением я уехал домой.

Некоторое время спустя получил от Ларисы прощальное письмо, в котором она извинялась за причиненное мне беспокойство и сообщала, что вынуждена отказаться от замысла, которым жила почти два года. Ну, что ж — отказывается, так отказывается, меня это даже не огорчило. Меньше забот. В то же время мне было жаль Шепитько: столько времени отдала моей повести, с такой доброжелательностью!.. И всё напрасно.

Но я ошибался, Лариса всё же не успокоилась, что-то делала. Прошло еще с полгода и вдруг телеграмма: «Запускаем фильм, создаем группу. Музыку пишет Альфред Шнитке». Что-то завертелось в желанном направлении...

Но я слабо верил в определенность этого нашего самого неопределенного из искусств, ждал отбоя. Отбоя не было. Изредка мне сообщали: снимают за Москвой, в старинном русском городке. Другой натуры не нашли. Западнее Москвы или в Беларуси вся старина загажена силосными башнями да силикатными коробками. Снимали тяжело, в центральной России стояли лютые морозы, кто-то из съемочной группы простудился и умер. На две главные роли Лариса пригласила молодых, малоизвестных актеров — Бориса Плотникова и Владимира Гостюхина. Последний потом сделал определенную карьеру в Беларуси, поддержал режим, за что был им облагодетельствован. А тогда действительно неплохо сыграл роль Рыбака, — должно быть, проявилась родственность душ.

Когда фильм был снят, начались обычные для советского кинематографа треволнения с его сдачей. Бдительные надзиратели из разных органов усмотрели в нем чрезмерность религиозных, христианских мотивов. Этому содействовала в какой-то степени музыка А. Шнитке. Безусловно, это была

замечательная музыка, но ведь и критерии ее понимания тогда были особенные. Власти вообще не признавали Шнитке. То, что через двадцать лет стало несомненной ценностью, тогда воспринималось, как изъян.

Лариса говорила, что и впрямь стремилась к возвышенной религиозности и даже хотела назвать фильм — «Вознесение». В качестве компромисса дала название «Восхождение», близкое по смыслу. Но всё же то, да не то.

Через несколько лет на Берлинском кинофестивале фильму «Восхождение» был присужден главный приз — «Золотой медведь». А в скором времени замечательный режиссер Лариса Шепитько погибла в автомобильной катастрофе. Снимала фильм по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой»; утром усталая возвращалась в Москву, водитель уснул за рулем, машина столкнулась со встречной, и все погибли. Остался вдовцом прекрасный кинорежиссер Элем Климов. (*Впоследствии он снял правдивый фильм «Иди и смотри!» — о белорусских партизанах по сценарию Алеся Адамовича.*)

«Восхождение» — самая лучшая из всех десяти экранизаций моих повестей.

Летом 1983 года мне довелось съездить в Кёльн на писательский конгресс. Советская делегация была небольшая: Сергей Михалков (*руководитель*), Евтушенко, Распутин, Межелайтис, я и еще кто-то. Чудесный город над Рейном, который, как многие другие западногерманские города, поднялся в послевоенные десятилетия из пепла военной разрухи, очаровывал красотой, благоустроенностью и, конечно же, знаменитым Кёльнским собором, неподалеку от которого находился отель, где мы поселились.

Конгресс проводился в зале городской библиотеки. Выступления были довольно жаркие: в мире не забылось и еще не остыло возмущение удушением «Пражской весны» советскими танками. Советские писатели слабо оправдывались, привычно ссылаясь на «подкопы англо-американского империализма». Но самым ярким выступлением было выступление Генриха Бёлля, слушать которого на площади перед

библиотекой собралась огромная толпа. Этот замечательный немецкий писатель, борец с фашизмом и большевистским тоталитаризмом, противник ракетно-ядерного безумия, закончил свою речь цитатой из Шекспира: «Чума на оба ваших дома!», и все слушатели в зале и на площади устроили ему овацию.

К тому времени я уже знал из воспоминаний Бёлля и его автобиографии, что мы с ним по разные стороны фронта воевали в Молдавии и под Яссами, похоже, участвовали в одних боях. Там я, контуженный, вернулся в свой батальон, а Бёлль, симулируя болезнь, добился отправки в тыл — так рознились наши позиции в той войне. В перерыве я подошел к Бёллю и сказал ему о нашей военной общности. Бёлль улыбнулся и сказал, что если не теперь, то позже мы поймем, что нас обоих использовали в грозном деле смертоубийства для целей одинаково преступных сил. Очевидно, он был прав, хотя тогда я не мог полностью с ним согласиться. Всё же я в значительной мере оставался совком, в то время, как нобелевский лауреат Бёлль парил высоко и смотрел на мир Божий иначе — широко и независимо. Во всяком случае, я всегда с огромным интересом читал то немногое из его публицистики, что появлялось на русском языке. Что касается его влияния на европейское сознание, то оно было длительным и неоспоримым. Лишь после его смерти в 1985 году значимость личности Бёлля в Европе потускнела. Но его место в Германии заняли его молодые единомышленники, такие, как, к примеру, Гюнтер Грасс, которые продолжили дело великого немецкого гуманиста.

**Наступил мой юбилей** — подкатил незаметно. Еще недавно был молодой, «начинающий», а уже 50, полстолетия оттопал. Вся молодость позади. Старик...

Очевидно, так или примерно так думают многие в свои 50. Но меня тогда больше волновало другое. В СП сказали, что «есть мнение» юбилей Быкова провести на двух уровнях — республиканском и областном. Это меня совсем унич-

тожило, даже для одного уровня у меня не было ни сил, ни решимости, а тут сразу два. Но ведь — друзья! Друзья жаждали отметить.

Не очень помню, как это происходило в Минске. Кажется, в небольшом зальчике «Мутного ока» собралось с полсотни писательских активистов, от ЦК был Кузьмин. О творчестве юбиляра сделал докладик критик Бугаев. Затем путано (*и пьяновато*) выступил юбиляр — благодарил всех, и друзей, и врагов. По случаю юбилея хотелось быть великодушным. Кузьмин сказал, что вот-вот должен появиться указ о награждении, но в Москве какая-то задержка. Не стали ждать запаздывающий указ и, как только окончились выступления, пошли в ресторан, где и обмыли гипотетическую награду.

В Гродно было хуже. Областное начальство, словно в качестве извинения за причиненные Быкову прежние обиды, решило провести торжество в огромном зале дворца текстильщиков. Пришли представители трудовых коллективов, интеллигенции и немногочисленные друзья юбиляра. Передние скамьи заняло партийное руководство области во главе с новым первым секретарем обкома Клецковым. На подиум посреди сцены поставили, привезенное из театрального реквизита, старомодное, похожее на королевский трон кресло с высокой спинкой и позолоченными финтифлюшками. Это было самое мучительное, что я вынужден был терпеть несколько часов. Я сидел, как на сковородке, с трудом воспринимая льстивые выступления и приветствия и в мыслях проклиная себя за то, что дожил до такого срама. Тогда я уже твердо знал, что принадлежу к тем людям, которым терпеть ругань гораздо легче, чем похвалу. К похвалам я не привык и чувствовал себя ужасно. Особенно стыдно было перед десятками знакомых, которые бог знает что обо мне тогда думали.

Еще через некоторое время на моей новой квартире по улице Свердлова раздался телефонный звонок. Вежливый женский голос сказал, что с товарищем Быковым хочет поговорить начальник областного управления Комитета государственной безопасности. У меня ёкнуло сердце — опять! Оказалось — нет. Поговорить со мной хочет новый начальник, который всего лишь месяц назад приехал в Гродно, много

обо мне слышал (*еще бы!*) и желает познакомиться лично и познакомить со мной коллектив чекистов. Не мог бы товарищ Быков в субботу прийти в комитет и рассказать гродненским чекистам о том, что он написал, над чем работает теперь?

Как было ни противно, пришлось согласиться. И спустя день я сидел за столом президиума перед несколькими десятками в основном молодых людей в форме и в штатском. Мысли мои были банальны: как меняется время! И люди. Даже чекисты. Еще недавно мой друг Ион Друце, не зная моего гродненского адреса, послал мне телеграмму таким образом: «Гродно, КГБ, передать Василю Быкову». Уж эти люди, рассуждал Ион, должны знать, где в Гродно живет Быков. Телеграмма вернулась к Друце с припиской: «Местожительство Быкова не установлено». Может, по этому поводу меня и пригласили? Ан нет!

После выступления и непродолжительной, не очень оживленной беседы с чекистским коллективом у меня состоялся разговор с его руководителем. В обстановке почти гостеприимной, за чашечкой кофе в начальственном кабинете. Начальник сказал, что в предыдущие годы были допущены некоторые ошибки в отношении творческой интеллигенции, в том числе и в Гродно. Теперь эти ошибки надлежит исправить. Чекисты намерены наладить регулярную связь с местными литераторами и в скором времени пригласят к себе Карпюка и Дануту Бичель. Что ж, думал я, может и правильно. А то столько лет не знакомы. Несмотря на все старания Дубовинкина и Хамина.

Буквально через неделю новый начальник управления КГБ по Гродненской области внезапно умер ночью у себя на квартире. Его планы знакомства с местными литераторами повисли в воздухе. А вскоре и вовсе улетучились. Литераторы с областным КГБ так и не познакомились.

**Ко мне в** Гродно приехал мой давний московский друг Лазарь Лазарев. Я встретил его на вокзале, к себе домой повел специально через городской центр — по Ожешко, Со-

ветской, возле приходского костела. Мне хотелось, чтобы он увидел и оценил то, что мне особенно дорого в Гродно — его исконный западный облик. Кажется, он понял мое намерение и одобрил мой выбор местожительства. Конечно, Гродно — не столица, не крупный промышленный или культурный центр, каких в России много, чем обычно хвалятся россияне, — просто уютный уголок, где человек, жаждущий уединения, его найдет. В частности, так думал я. На деле же было не совсем так. Художнику или писателю в наше время невозможно спрятаться, государственная система контроля и надзора нигде не оставляет его в покое — ни в столице, ни в провинции. Ни даже за границей.

Умница Лазарь всё видел и, должно быть, всё понимал. Но он тактично молчал, и я был ему благодарен, что он не говорит мне о необходимости перебраться поближе к столицам, о чем мне прожужжали уши мои друзья — Матуковский, Буравкин и даже Адамович. Во многом они были правы, но я отказывался. Я тогда не мог им сказать, что в Гродно у меня, помимо всего прочего, есть некая сердечная привязанность, которая меня здесь держит.

В тот день, позавтракав, мы долго говорили с Лазарем о литературных делах. Тем более, что он приехал не просто так, а чтобы взять у меня интервью для журнала «Вопросы литературы», в котором работал. Мне было с ним легко и просто, как, может быть, больше ни с кем другим: мы принадлежали к одному поколению, у нас был примерно одинаковый опыт, который мы приобрели на войне. Разве что он отвоевался раньше меня — тяжелое ранение приковало его к госпиталям, в то время, как я продолжал сражаться с немецкими танками. Но он и начал раньше — под Сталинградом, дошел до украинской земли, где мы оба пролили свою кровь. Кроме того, и друзья в литературной среде почти все были у нас общие. Некоторых Лазарь очень любил, иных совсем не любил, но и то и другое чувство проявлял сдержанно.

В тот приезд Лазаря я успел показать гостю два старинных замка, костёлы, церковный собор, полуразрушенную синагогу в квартале былого еврейского гетто. Сводил его и на те места, где когда-то стояла еще одна церковь, взорванная

коммунистами, разрушенные во время войны ратуша и гостиница: хотелось, чтобы Лазарь представил, как всё это когда-то выглядело. И чтобы представил квартал лионских домиков, построенных когда-то для поселившихся в Гродно лионских ткачей и в свое время снесенный.

Съездили мы тогда и в литовские Друскеники, которые много лет были отдохновением для гродненцев, как Версаль для парижан. Вся атмосфера этого курортного городка, особенно его старинные парки, пропахшие душистым ароматом кофе, кафетерии и пленительный своей скромностью музейчик Чюрлёниса развеивали грусть и умиротворяли. (*Коньяк в кафе еще был тот, который пахнул клопами, — отличный армянский коньяк.*)

Неман в Друскениках показался не очень красивым, и я предложил Лазарю поближе познакомиться с Неманом по возвращении в Гродно, где он лучше. Лазарь был неравнодушен к водной стихии, когда-то учился на моряка, воевал в пехоте, а на хлеб зарабатывал литературой. Такая же пестрая, крученая судьба, что и у меня. Но, очевидно, такой она была у всего нашего расстрелянного войной поколения.

Утром поплыли от гродненских мостов вниз по течению — к Пышкам, мимо Меловых гор, Лососянки и дальше до устья Черной Ганьчи. У меня тогда был небольшой моторный катерок марки «Прогресс», на котором я объездил все окрестности вверх и вниз по реке. И теперь с гордостью старожила показывал гостю то, что много раз видел, и восхищался, как и он. Тарахтел на малых оборотах моторчик, мимо проплывали сосновые боры и пойменные луга, песчаные косы и заросшие камышом старицы. Удивленно смотрели на нас с берега неподвижные цапли, а за бортом всплескивали тяжелые рыбины. Вокруг не было ни души. Мы выбрали удобный травянистый бережок, причалили и стали жарить шашлык. Пока над плесом расплывался вкусный дымок, говорили о нашей поганой жизни, одинаковой что в Москве, что в Гродно, за которую когда-то проливали кровь. Но мы хоть выжили, а наши товарищи (*97 из сотни*) давно лежат в братских могилах, разбросанных от Сталинграда до Эльбы. Погибли, так и не узнав, когда окончилась война —

и это им особенно обидно. Может, думают, что мы всё еще воюем? Как тот партизан из анекдота, который вышел из леса и спрашивает у деревенского хлопчика: «Где немцы?» Мальчик говорит: «Какие немцы? Война давно кончилась». Партизан в сердцах выругался: «А я всё поезда под откос пускаю!» Вот так же и мы. Война давно кончилась, а мы всё не можем отвязаться от нее — всё пишем о ней и пишем. Может, это для кого-то нужно? «Да, нужно, — говорит Лазарь. — Пока не прошла боль, надо писать». «Да уж сколько лет нет покоя от этой боли!» — восклицаю. «И не будет, — говорит мой друг. — Это наша пожизненная боль». «Мои знания пессимистичны, но моя воля и надежда оптимистичны», — подумалось мне словами Альберта Швейцера.

Поздно вечером по тихой воде возвращались в город. Неман готовился к ночному отдыху, на обоих берегах и вблизи и далече зажигались огни. Это было мое последнее путешествие по Неману, неожиданное прощание с этой милой рекой, с ее скромной красотой, с самой лучшей рекой из всех известных мне рек Европы и Азии.

**Еще когда** я жил в Гродно, меня поманили театром. Приехал как-то Андрей Макаёнок, который был депутатом Верховного Совета от Гродненского избирательного округа, захотел с нами встретиться. Мы с Карпюком и Данутой водили его в ресторан, заходили к нему в гостиницу. Он у меня и спросил: «Слушай, почему бы тебе не написать пьесу? У тебя такой драматический материал. Напиши. Если что, я помогу...» Потом меня о том же просили купаловцы, режиссер Раевский, и я невольно поддался искушению, стал примериваться к пьесе. Конечно же, это должна была быть драма на тему минувшей войны. Но я всё же не драматург и даже не любитель театра, что, очевидно, и повлияло на работу над пьесой. Когда меня уговорили прочитать свое произведение коллективу Купаловского театра, стало ясно, что шедевра не получилось. Но тут через того же Макаёнка поступило предложение из Москвы, из МХАТА: мхатовцы хотели познакомиться с моей пьесой. Познакомившись, заведующий лите-

ратурной частью театра сообщил, что пьесу необходимо немножко дотянуть, после чего МХАТ может ее поставить. Я взялся дотягивать.

Дотягивание длилось чуть ли не целое лето, я извел килограммы бумаги, которую тогда нужно было «доставать», но мхатовцы обнадеживали — еще немножко!.. Нашли уже и режиссера, молодого и талантливого Володю Салюка. Нашлась и актриса на одну из ролей — жена Салюка, тоже молодая и талантливая. Они приезжали в Гродно, чтобы поработать с автором и помочь ему дотянуть пьесу, которая получила название «Последний шанс». Наконец, всё вроде бы было сделано и меня пригласили во МХАТ на репетицию.

И репетиция, и оформление будущего спектакля мне в целом не понравились; мало радости, судя по всему, доставили они и главному режиссеру Олегу Ефремову. Когда я увидел, как «обыгрываются» образы подпольщиков, которые вылезают на сцену и впрямь из-под пола, понял, что из подобных формалистических метафор реалистический спектакль не получится. Так оно потом и вышло.

На обсуждении, в котором участвовали сплошь заслуженные и маститые маэстро, высказывались по мелочам, а секретарь партбюро театра, знаменитая Ангелина Степанова, заботилась, конечно же, о политическом звучании пьесы, чтобы, не дай Бог, не было перекоса, отхода от партийности и народности. Премьера мне плохо запомнилась, разве что банкетом, на котором приглашенный мною Виктор Астафьев сдержанно сказал: «Столько человеческого горя, а название блатняцкое. Не стыкуется!» Очевидно, он мог бы сказать и резче, но из уважения к автору смолчал.

Вечером я шел в гостиницу с Александром Вампиловым. Этот сибирский драматург в ту пору только всходил на московскую сцену. Лучшая его пьеса — «Утиная охота», которая сделала его знаменитым, но, к сожалению, посмертно, — он трагически погиб, утонул в Байкале. А тогда он был полон планов и замыслов. Запомнились его слова о том, что режиссерам нравятся «темные» пьесы, которые дают возможность как угодно трактовать и ставить. Если в пьесе всё

ясно и реально, это им неинтересно, потому что поверяется критериями реальной жизни. А они не хотят критериев. Это были золотые слова. Мы говорили также о современных актерах и, помню, я пожаловался, что даже самые талантливые современные актеры не в состоянии понять психологию людей военного времени, поэтому не могут избежать фальши. Он с горечью заметил, что они не чувствуют и времени, в которое живут. Особенно столичные актеры. Поэтому им легче играть классику.

После премьеры меня сдержанно поздравляли, поздравляли режиссера-постановщика и главного режиссера, а я решал для себя, что с театром больше связываться не буду. Мне вообще не нравилось это искусство с его чрезмерной условностью (*или наоборот — натуралистичностью*), неестественно громкими голосами актрис, постановочными вывертами. Я думал, что если пьеса стоящая, то лучше прочесть ее в одиночестве и представить себе ее сцены. А театр для тех, кто лишен собственного воображения. Вспоминались вычитанные когда-то у Бунина слова о театре с его неестественностью и фальшью, от которых его «коробило». Но мне говорили: надо еще учитывать непосредственное влияние на зрителя личностей актеров и актрис, их человеческое обаяние. Ну, если говорить об обаянии актрис, тогда другое дело. Но тогда лучше — балет. Недаром начальство из всех искусств предпочитает искусство балета.

За рюмкой мы недолго, но, по-моему, искренне побеседовали с Олегом Ефремовым, который жаловался на свою театральную судьбу. Театр, как, впрочем, и всё советское искусство, придавлен политическим гнетом, режиссер находится в постоянной идеологической зависимости и может проявить себя лишь в области формы. Всё остальное — не в его компетенции. Иногда появляется огромное желание на всё махнуть рукой и... А что за этим «и»? К сожалению, пустота... Я слушал его и думал: и это в Москве, в столице! А как же нам в провинции, в Беларуси с ее мнимым национализмом, которого все боятся? И если у нас еще не полный тупик, то лишь благодаря нашей национальной элите, прежде

всего — горсточке белорусских писателей. В полностью русифицированной, коммунизированной стране они еще не утратили смелости писать на родном языке и держаться за какие-то остатки древней культуры.

**Кто-то из моих** друзей (*кажется, Адамович*) затащил меня на знаменитую тогда Таганку, на прославленный спектакль «Гамлет» с Высоцким в главной роли.

В театре на Таганке многое было не таким, как во МХАТе, начиная с богемного кабинета главного режиссера Юрия Любимова. Стены кабинета были испещрены десятками (*если не сотнями*) автографов знаменитых посетителей, которые состязались здесь в остроумии. Главреж покорял сразу меткостью мыслей и категоричностью суждений. Казалось, для него не существует ни властей, ни авторитетов, а лишь одно великое искусство театра, которому он отдавался самозабвенно. То же было и на сцене, где Высоцкий одержимо фехтовал шпагой, сражаясь с тяжелым суконным занавесом. Ассоциации возникали самые близкие и узнаваемые, несмотря на замшелость темы. А может, дело именно в этой замшелости? Современные ее реалии всё же будут восприниматься иначе? Без необходимых театру иллюзий.

Поздно вечером небольшой компанией пошли в ресторан, надо было отметить знакомство с Таганкой. Инициатором, конечно же, был Адамович. Помню, тогда же познакомился с Юрием Карякиным, который недавно приехал из Праги, где работал в журнале. Разговор, естественно, зашел о театре и современных актерах. Актеры, в целом, барахло, даже в знаменитых театрах. Потому что в театральных училищах всех их учат по одной канонизированной системе. А в училища они попадают или по блату, или по общему конкурсу: кто без ошибок напишет сочинение на тему «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть», тот и поступит. На Западе иначе, говорил Карякин. Знаменитый режиссер Висконти, которому для очередного фильма, который снимался в Алжире, понадобилась молоденькая актриса, зашел в ближай-

шую гимназию и там «высмотрел» девушку. Девушкой этой оказалась Клаудия Кардинале. «Наверное, есть девушки, которые с рождения актрисы — раскованные и талантливые, чего никакими лекциями не воспитаешь, как это пытаются делать у нас. Но еще нужно, чтобы их заметил такой режиссер, как Висконти», — сказал Высоцкий. Когда расходились, он спросил, нельзя ли в Минске немного «подхалтурить», на какой-нибудь картине: он сидит без денег...

«Таганка» уговорила меня попробовать написать пьесу, на этот раз — симбиоз «Сотникова» и «Круглянского моста». Я обещал, учитывая сложность задачи; мне дали помощника, который, насколько помнится, всё и сделал. Приехав на прогон спектакля, я мало что понял из увиденного. Но должен был через день идти с Любимовым в Минкульт, где после обсуждения будут решать судьбу спектакля — разрешат или не разрешат. Там меня ожидало много нового и даже интересного.

Обсуждение проходило в шикарных старосветских апартаментах министерства культуры — с чаепитием, при полном уважительном внимании присутствующих. Обстоятельные выступления ответственных чиновников и их замечания заносились в протокол. Начальник главка восседал мрачной чугунной тумбой, но Юрий Петрович, казалось, не обращал на него ни малейшего внимания. Как, впрочем, и на выступления чиновников. В конце предоставили слово Любимову, который в присущей ему бескомпромиссной манере сказал, что он не мальчик на побегушках у Минкульта и даже у химика Демичева, он режиссер, ставит пьесу уважаемого автора и сделает только то, что сочтет необходимым. А если он чему-то скажет нет, то можете не сомневаться, что мнения своего не изменит, никто не может его заставить. Это его последнее слово.

Мне очень понравилось его выступление, такого решительного деятеля культуры я видел впервые. Кто мог знать тогда, к чему приведет его решительность, чем обернется в его театральной судьбе? Хотя кое-что можно было предвидеть. Скоро он уедет из Москвы. Его лишат советского граж-

данства, он будет скитаться по свету, оставаясь несмотря ни на что верным святому призванию служения искусству, и победителем вернется домой после развала СССР. Но до этого Любимову надо было прожить много лет. В искусстве вообще надо жить долго; тем, кому выпала короткая жизнь, редко удается одержать победу.

Поздней осенью состоялась премьера спектакля, названного «Перекресток» (*«Перакрыжаванне»*). Сценография, выполненная знаменитым художником Боровским, представляла собой несколько выложенных крестом бревен, по которым елозили персонажи пьесы. Я молчал. Театралам же этот антураж нравился.

Спектакль по «Последнему шансу» в Купаловском театре состоялся не скоро. В нем мне запомнилось яркое, даже мощное исполнение роли Мейра старым почтенным артистом Дедюшко. Но, как это нередко бывает, яркая звезда своим светом затмила блеск других. Хотя вина в этом, возможно, лежит и на авторе, который «не справился», не дал необходимого шанса заблестеть и всем остальным. А главное, как я понял, искусство по самой своей природе — дело индивидуальное. Коллективным его сделали жизнь и исторические обстоятельства и уже этим одним поставили под сомнение его, так сказать, метафизическую сущность. Без этой сущности искусство — не искусство, а всего лишь производство развлечений.

Но культурная парадигма меняется. Век индивидуализма, достигнув расцвета, уступает место открытому Юнгом феномену «бессознательного коллективного». Впрочем, это уже не феномен, а общеуравнительный процесс, охвативший страны и континенты. Что ж, культура, как и сама жизнь, в своих проявлениях изменчива, многолика и бесконечна. И в прошлом не всё было просто — сложно и запутанно, как и ныне. Известно, что Твардовский не любил стихи, Бунин и Хемингуэй — театр, Горький ненавидел правду, которой всю жизнь стремился служить Толстой, и породил соцреализм. Должно быть, прав был Бердяев, сказавший, что «культура — это неудача человечества». И уж безусловно прав Гёте: «Меж-

ду двумя взглядами — не истина, а проблема». Поэтому стоит ли дискутировать о культуре? Может, принять за истину «Черный квадрат» Малевича и закрыть проблему?

... Были и еще спектакли по вышеупомянутым и другим пьесам Быкова. Ставил их ленинградский театр на Литейном, московский театр имени Станиславского, русский театр имени Горького в Минске, многие провинциальные театры России, театры Украины, Средней Азии. Но всё это — без участия автора, который с самого начала потерял интерес к искусству театра. А может, интереса никогда и не было. Что поделаешь, каждой вороне свой сук на дереве. На чужой и садиться не стоит.

**Я человек не** музыкальный и из среды композиторов мало кого знал. Ну разве что Оловникова, с которым меня связывали общие воспоминания о войне (*мы оба воевали в Венгрии*), и еще Лученка, которого знали все. Но вот Матуковский познакомил меня с Евгением Глебовым, который написал музыку к балету на сюжет «Альпийской баллады», — говорили, что этот балет с успехом идет в нашем театре оперы и балета.

Балет Глебова мне в целом понравился. Кроме того, просто любопытно было посмотреть, как прозаический первоисточник воплощается на сцене средствами совсем другого искусства. Танцы были поставлены хорошо, гармоничным был дуэт. После спектакля познакомился с автором музыки. Глебов оказался человеком коммуникабельным, острым на язык, ироничным. Особенно, когда затрагивал в разговоре политику или наше белорусское начальство, от которого еще совсем недавно немало натерпелся. Его исключали из Союза композиторов, снимали с работы. Семейные проблемы тоже не обошли его стороной. Но затем политика партии в отношении к интеллигенции немного смягчилась, некоторых стали втягивать в партию. Глебов даже стал депутатом Верховного Совета БССР.

Вступать в партию он не хотел, долго и вяло сопротивлялся, но известно, что вялое сопротивление — не сопро-

тивление. И его вынудили подать заявление. Затем — прием. Затем — утверждение парткомиссией райкома, затем — горкома. Обычно к этой важной процедуре будущие коммунисты обстоятельно готовились, штудировали историю партии. Глебов не готовился, поэтому на все вопросы, которые ему задавали на парткомиссиях, отвечал: «Не знаю». Или пожимал плечами. На одной из комиссий самый въедливый из ее членов и, конечно же, самый заслуженный член партии спросил у Глебова: «Ну, а в каком году произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, вы знаете?» Глебов, глядя ему в глаза, сказал: «Нет, не знаю!» Его ответ вызвал возмущение в зале, и Глебов подумал: ну, может, теперь отлипнут? Однако не отлипли — приняли. К огромной досаде Глебова — у него были другие планы и надежды.

Мы в ту пору часто встречались у него на квартире, в «долларе», как прозвали дом, в котором он жил, или у меня на Танковой. Его жена, Лариса Васильевна, не в пример многим писательским женам, во всем была на стороне мужа и всячески его поддерживала. В этом Женя видел самое большое свое счастье. Так оно и было. Создавал он замечательную музыку, может, и не всегда белорусскую по звучанию, порой космополитическую, любил скандинавов, Грига. Написал музыку к балету «Маленький принц», который был поставлен в Хельсинки, и Глебов ездил туда на премьеру. Во время моего пребывания в Финляндии я встречал финнов, которые помнили тот спектакль и благодаря ему узнали о неведомой им стране — Беларуси.

**Газета французских** коммунистов «Юманите» готовилась к своему ежегодному празднику и приглашала гостей. Должна была приехать и делегация от КПСС, но случилось так, что отношения между двумя компартиями вдруг ухудшились. Делегацию из Москвы сократили до пяти человек, а затем и до двух. А в последний момент решили коммунистов вообще не посылать в Париж. Таким образом из всей делегации остался один беспартийный Быков. Оставили меня, очевидно, потому, что накануне во Франции издали моего «Сот-

никова». Кроме того, присутствие на празднике беспартийного автора не затрагивало ни ту, ни другую сторону.

Перед вылетом надо было получить в министерстве иностранных дел документы и пройти какой-то инструктаж. Документы вручили, а инструктажа я так и не дождался, улетел без определенных обязанностей и определенной цели. В аэропорту Орли меня встретили два сотрудника советского торгового представительства, на квартиру одного из них, Владимира, и отвезли. В дальнейшем Владимир мною и занимался: водил по городу, показывал Триумфальную арку, Эйфелеву башню, дворец Шайё на Трикадеро. По пути зашли в малюсенькое кафе-бистро, где выпили по фужеру пива. Французское пиво я пробовал впервые, и оно меня впечатлило. В сравнении с похожим на помои «Жигулевским» это был божественный нектар! На что-нибудь более основательное у меня не было денег, а мой Владимир, судя по всему, соблюдал режим экономии — собирал на кооперативную квартиру в Москве. Но, как он сказал, желая, должно быть, утешить гостя, угостимся завтра на празднике.

Назавтра отправились в пригородный парк, где роскошествовал воистину праздник, какого я никогда не видел. Это была стихия праздника! Под деревьями огромного парка стояли сотни ларьков, больших и маленьких ш о п о в, в которых булькала, шипела, жарилась всякая вкуснятина. Тысячи людей, в основном молодежь, из всей Франции пировали здесь со вчерашнего дня — всю ночь, разместившись в своих беспорядочно поставленных повсюду палатках. Официальная часть с выступлением генсека ФКП Марше планировалась на следующий день, а сегодня — отдых и продолжение гуляний. Где-то в одном из шопов должны были продавать мою книжку, только что выпущенную издательством «Албин Мишель». Мы долго блуждали по торговым джунглям, пока наконец нашли тот шоп. Среди множества других книг лежали и нераспечатанные пачки моего «Сотникова». Пачки не распечатывали в ожидании кого-то из партийных функционеров. Как только он приехал, ему сразу вручили мою книжку. Функционер углубился в предисловие, прочитав которое что-то буркнул и уехал. Все пачки с «Сотниковым»

стали грузить в автофургон, чтобы куда-то увезти. Я не понимал, что происходит. Мой Владимир сказал: «Пошли отсюда, потом расскажу...»

Оказалось, произошел недосмотр. Предисловие к моей книжке написал Жан Катала, журналист и дипломат, который охладел к компартии и стал критиковать Жоржа Марше. Поэтому ФКП не хочет, чтобы книга с предисловием Катала продавалась на празднике «Юманите». Я эту новость принял спокойно — не хотят, так не хотят, пусть не продают. Мне меньше заботы. Всё равно за книгу мне не заплатят, очевидно, мой гонорар уже пошел на нужды иностранного отдела ЦК КПСС. (*Сколько потом во Франции не выходило моих книг, гонорар всегда присваивался Москвой. Только в последний раз, уже в годы «независимости», атташе по культуре привез мне в Минск немного франков.*)

Мы с Владимиром куда-то шли в веселом муравейнике подвыпившего люда, в дыму от шашлыков, жареных индеек, коптящихся колбас и тьмы всякой прочей горячей вкуснятины. Владимир встретил кого-то огромного и усатого, который бросился нас угощать, и еще больше воодушевился, когда узнал, что я из Москвы. От усатого перешли к другим, от них к следующим и еще к следующим. Довелось отведать шампанского из виноградников Шампани, коньяка из города Коньяк. Вокруг нас оживленно угощались французы: коммунисты и некоммунисты, белые и черные, парни и девушки. В конце дня мы едва добрели до окраины Булонского леса, где жили работники советской торговой миссии.

На следующий день в парке народа было поменьше. Все аллеи и дорожи были усеяны пустыми бутылками, жестянками из-под пива, обрывками упаковочной бумаги, клочьями газет, какими-то тряпками. Среди этого мусора Владимир увидел и подобрал выброшенный кем-то билет члена ФКБ. Отпраздновали и билет стал не нужен, а понадобится, снова вступит, — объяснил Владимир. Это здесь не проблема. Народа прибавилось к обеду, когда не подиуме летней сцены появилось партийное начальство и среди него — кряжистый, черноволосый генсек Жорж Марше. Он произнес речь, которая продолжалась чуть ли не два часа. Перед ним

волновалось море людей. Газеты потом писали, что на митинге было около миллиона человек. Это похоже на правду.

Третий день моего пребывания в Париже планировали посвятить обстоятельному знакомству с городом, музеям. Но вдруг утром примчался на своей машине молодой коллега Владимира и сказал, что меня приглашают в ЦК ФКП. К секретарю ЦК по идеологии.

Вход в бетонно-казематное здание ЦК охранялся жандармами и собственными стражами в униформе, которые куда-то звонили, нажимали на кнопки, двери-ворота открывались, словно проглатывая меня с моим провожатым. Затем долго шли по коридору, стены которого выглядели так, словно их только что возвели, только-только сняли опалубку. Должно быть, это было в модерново-марксистском стиле архитектурного примитивизма. Зато кабинет секретаря ЦК выглядел довольно уютно. Немолодой уже, смуглый человек с худым и нервным лицом сразу, ни о чем, насколько помнится, меня не спросив, начал монолог, который закончил только к концу приема. Переводчик смог пересказать мне разве что половину, но и из этой половины я мало что понял. Понятна была только одна фраза, которая несколько раз повторялась: «Передайте Михаилу Андреевичу...» Какому Михаилу Андреевичу? Нашему художнику Савицкому? И только в самом конце я понял, что секретарь ЦК ФКП имел в виду своего московского коллегу — товарища Суслова. Но при чем здесь я? Я что, чай с Сусловым пью по утрам?

Прощаясь, темпераментный француз встал и дружески протянул мне руку. Что мне ему сказать? Оревуар? Гуд бай? Ауфидерзеен? И я сказал: «Да пабачэння!» Вряд ли он когда-нибудь слышал эту нашу фразу.

Из ЦК уехали уже с новым гидом-переводчиком, который рассказал нам, что по происхождению он молдавский еврей, много лет был президентом различных фирм, принадлежавших ФКП, зарабатывал для партии деньги. Большие деньги! А теперь он бедняк, пенсия маленькая, большей в компартии не выслужил. Трудовому люду во Франции живется трудно, цены высокие, а зарплата низкая. В магазинах

полно товаров, но магазины пустуют: у покупателей нет денег. Я сказал ему, что у нас то же самое, хотя и наоборот: денег у людей густо, зато с товарами пусто. Так что мы с вами в одинаковом положении. Гиду-коммунисту это мое сравнение не очень понравилось.

Гид свозил меня в новый парижский район Деманш — образец модерново-стеклянной архитектуры, показал парламент, знаменитый Дом Инвалидов, где похоронен Наполеон. Побывали и в Булонском лесу, где среди деревьев бродили наркоманы и спали на скамейках клошары. По дороге заехали на Монпарнас, зашли в знаменитый ресторан искусствоведа Льва Доминика, который держал русскую кухню. Хозяин угостил нас настоящей русской водкой в темной бутылке с красной сургучной печаткой на головке. Неподалеку от ресторана сохранилась арка, бывшие городские ворота, медная табличка на них сообщает, что с этого места в 1791 году началась Великая французская революция — после того, как власти запретили доставлять в Париж вино. (*А мы привыкли думать, что та революция произошла по другой причине. Как всё же важно докопаться до первоисточников!*)

Вечером французская компартия презентовала «московскому гостю» спектакль в знаменитом театре-кабаре «Мулен-Руж». Сидя за маленьким столиком, я с любопытством разглядывал голых красавиц в аквариуме на сцене. Они кувыркались и ныряли, как настоящие русалки. Их игры комментировал с огромного экрана президент Франции Жискар д'Эстен, а японские туристы дружно хлопали в ладоши.

Чуть ли не весь свой последний день в Париже бродил по божественным анфиладам Лувра, пока не закружилась голова и стали подкашиваться ноги. Очевидно, так же, как нельзя слишком напиваться и объедаться даже деликатесами, нельзя за один день проглотить всё то, что наработано культурой не одного столетия. Тем более такой мастеровитой и трудолюбивой бабушкой — европейской культурой. На Лувр не хватит ни дня, ни недели, ни месяца. В нем надо провести годы, может быть, даже жизнь. Но наша жизнь принадлежит другому, к огромному, запоздалому сожалению...

В Латинском квартале еще можно было увидеть следы недавнего молодежного бунта, стычек с полицией, клочья прокламаций на стенах домов. Мотив отчуждения от современного общества звучал в студенческих выступлениях, вдохновленных радикальными лозунгами кумиров молодежи. Режиссер Антониони призывал молодых полностью опустошиться, вытрясти из себя всё старое, чтобы оно не отравляло новое, затеплившееся в их душах. В унисон ему вещал французский коммунист Роже Гароди: нужно с предельной силой выразить неприятие существующего порядка вещей, отчужденность от него, даже, не называя причин. Это представлялось чрезмерно революционным, хотя у того же Гароди были и здравые высказывания, например, против эпического романа, который издавна культивировался в литературе соцреализма. В этом смысле с ним был согласен Твардовский и другие «новомирцы», которые отдавали предпочтение короткой повести.

Впоследствии мне посчастливилось еще не раз побывать в Париже, первоначальная свежесть впечатлений утрачивалась. Но в тот первый раз я был опьянен его дворцами, роскошными бульварами со старыми узловатыми каштанами, узенькими улочками, маленькими кафе на тротуарах. Непринужденность парижан, приветливая улыбчивость женщин очаровывали. Ну а знаменитый Монмартр был укором нам, не уберегшим свою прекрасную старину, хотя не требовалось ни больших денег, ни особых трудов, чтобы ее сохранить. Только немного уважения к себе и своей культуре. Если бы не войны, не революционное одурение, нашими Монмартрами могли бы стать многие наши города с их древней архитектурой (*Полоцк, Витебск, Новогрудок*), с их церквями и костелами, узенькими улочками, с неповторимыми фасадами зданий. Ну а художников у нас всегда было не меньше, чем в Париже. Правда, мы их не уважали, мы им выкручивали руки, заставляли делать то, чего они не хотели делать. Шагал уехал от нас сюда, в Париж, в эту мекку художников, и мировую славу завоевал здесь, а не у нас. У нас его упорно не признавали, даже в восьмидесятые годы советская власть

с помощью официозных художников клеветала на него, потому что он не наш, не коммунист, буржуазный художник, к тому же еврей.

Да, он не наш! Шагал принадлежит Вселенной, к которой, к несчастью, не хотим принадлежать мы. Не прокляты ли мы Богом за нашу глупость?

Невеселые мысли-размышления охватывали меня в небе над Европой, когда я летел домой, и я записал в своем дневнике вещие слова великого француза: «Я продолжаю думать, что в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю, что нечто в нем всё же имеет смысл». Альбер Камю...

**Ко дню рождения** Солженицына я отправил Александру Исаевичу свои поздравления и вскоре получил ответное письмо.

В то время отношения между интеллигенцией и властями продолжали ухудшаться, но Александр Исаевич писал, что всё будет хорошо, что он смотрит в будущее с оптимизмом. Это конечно, обнадеживало.

И действительно, осенью Шведская академия присудила Солженицыну Нобелевскую премию, с чем я и некоторые мои минские друзья его сердечно поздравили. Позже он прислал еще несколько писем.

Выехать на Запад Солженицын не мог, поэтому решено было вручить ему премию в посольстве Швеции в Москве. Лауреат прислал мне приглашение на церемонию вручения. Но власти этого стерпеть не могли и принимали свои дьявольские меры. В печати и на телевидении началась травля Солженицына, его пытались скомпрометировать как писателя и гражданина, ставили под сомнение его фронтовое прошлое, объявили предателем, полицаем, власовцем. Его преследовали по месту жительства, и какое-то время он жил на дачах своих знакомых под Москвой, в гараже Ростроповича, затем укрылся в Москве. За его друзей и знакомых тоже взялись, требуя от них выступлений против «власовца». Газеты печатали письма, подписанные видными представителями

интеллигенции, в которых клеймили Солженицына и Сахарова, обращения трудовых коллективов с требованием суровой кары изменникам.

В это время я получил в Гродно открытку из Москвы от какого-то неизвестного мне югослава, который писал, что хочет приехать в Гродно и встретиться со мной по важному делу. Что ж, я уважал югославов и стал ждать. Но накануне его приезда мне позвонили из областного управления КГБ, где я недавно выступал, и сказали, что встречу с гостем лучше всего провести в гостинице. Они закажут номер и всё обеспечат. Мне это совсем не поправилось, я уже знал, какие бывают гости из-за рубежа, и в день приезда югослава ушел из дому, предупредив сына, что если мне позвонят, сказать, что меня нет и не будет. Тем более, что я не обязывался принять гостя лично. Но куда мне самому податься? День был дождливый, на природе не погуляешь. И я поехал за Нёман, к Дануте, где и пробыл до вечера. Югослав уехал. А назавтра мне позвонили из КГБ, упрекали, что я их подвел.

Охота на определенных писателей продолжалась, и я уехал в Москву. Там какое-то время обретался у Гриши Куренева. Цековцы и кагэбисты искала меня в Гродно и в Минске, в Москве им было меня не найти. А некоторые москвичи сбегали в то время в другие города. Бакланов, например, больше недели прожил инкогнито в Ленинграде у режиссера Хейфица. Бакланова тоже упорно разыскивали. Чтобы использовать в своих целях и тем запачкать.

Но сколько ни прячься, а рано или поздно надо возвращаться домой. Вернулся и я. Прятался в собственном доме, как преступник. А через несколько дней позвонили из Минска с предложением съездить на встречу с читателями в Могилев. Я подумал, что это кстати — повод исчезнуть из Гродно, и приехал в Минск. В Могилев большой писательской группой во главе с Шамякиным поехали автобусом.

Одна из встреч была на главном предприятии Могилева — на капролактамовом комбинате. Побродив по цехам, зашли в кабинет директора, где он стал рассказывать нам об успехах комбината. Где-то в середине его рассказа двери в кабинет открываются, и элегантно одетый мужчина спраши-

вает: «Кто здесь Быков? Его срочно вызывает Минск». Я испугался: не случилась ли какая-то беда дома? Вышел из кабинета, спрашиваю: «Где меня вызывают?» Оказалось, надо ехать в обком партии, к прямому проводу. Машина уже ждет. Предчувствуя скверное, пошел к машине.

В безлюдном кабинете первого секретаря (*был выходной*) почему-то долго не ладилось с телефоном, должно быть, соединялись с разными абонентами. Наконец, дали трубку, и я услышал голос одного из тогдашних белорусских цековцев. Он вежливо и тихо сказал, что в ЦК КПСС поступило письмо выдающихся деятелей культуры, в котором они решительно осуждают подрывную деятельность Сахарова и Солженицына. От Беларуси письмо подписал Мележ, надо, чтобы была и подпись Быкова. Я сказал, что не читал письмо, поэтому подписать его не могу. Он сказал, что это, конечно, мое дело, но он считает своим долгом предупредить меня о возможных последствиях. Я, не попрощавшись, положил трубку и вышел из кабинета.

Та же машина отвезла меня на комбинат, но писатели оттуда уже уехали. До гостиницы добирался самоходом. А когда добрался, почти все мои коллеги сидели у телевизора, смотрели программу «Время». Дикторша как раз в момент моего появления читала текст письма в «Правду», в котором группа советских писателей осуждала Сахарова и Солженицына. С особо значительной интонацией стала произносить фамилии подписантов. И среди них прозвучала моя фамилия. Мои коллеги оживились, стали оглядываться на меня. Иван Чигринов молча, но выразительно, пожал руку. Остальные помрачнели, нахмурились. Я был растерян и подавлен...

В том же настроении приехал в Минск. Всё думал, что делать? От одного из осведомленных чиновников ЦК узнал, что всё решилось в Москве, в ЦК КПСС, белорусскому ЦК лишь поручили передать мне о необходимости моей подписи, что и было сделано с опозданием.

Через день вернулся в Гродно. Карпюк был возмущен, выслушав мою историю. Сказал, что надо писать. Куда? Всюду. Всем. Я позвонил в Москву Сергею Залыгину, чья подпись тоже стояла под письмом. Сергей Павлович сказал, что,

к сожалению, не может говорить на эту тему по телефону, — неплохо было бы, если бы я приехал в Москву. Я быстро собрался и поехал.

Залыгина застал дома, он чувствовал себя не лучшим образом и тихим голосом рассказал, что и как: всё это — грандиозная провокация, устроенная Шауро и прочими. Писателей по одному вызывали в ЦК и там буквально выкручивали руки, добиваясь подписи. Верные партийной дисциплине писатели-коммунисты вынуждены были подписать. Залыгин же, сославшись на свою беспартийность, попытался отказаться. Тогда перед ним поставили вопрос: «С кем вы? С нами или с ними? Те двое скоро окажутся на скамье подсудимых, как бы и вас к ним не присоединили». Залыгин лишь недавно перебрался в Москву, получил неплохую квартиру, был полон литературных планов, перед ним открывалась перспектива (*впоследствии он стал главным редактором «Нового мира»*), а тут такой зверский выбор. И он подписал. «Но ведь я не подписывал! — сказал я. — Откуда подпись?» «Ну так ты же в провинции. В провинции всё проще. И страшнее», — сказал Залыгин, который всего лишь месяц назад вырвался из сибирской провинции.

Я остался ночевать у Залыгиных, и мы разговаривали допоздна. Думали. Решили, что утром надо позвонить Солженицыну, чтобы попросить у него прощения и всё объяснить. Это прежде всего. С утра стали обзванивать знакомых, которые могли знать, где Александр Исаевич. Кто-то дал нам телефон Ростроповича, у которого Солженицын жил какое-то время, но этот телефон не отвечал. Не отвечал и московский телефон будущей жены Солженицына, а автоответчиков тогда не было. Кто-то из общих знакомых сказал, что Александр Исаевич уехал. По-видимому, за рубеж. Здесь его не найти. Тогда я написал письмо в ЦК КПСС (*Залыгин мне помогал*) и решил вручить его лично. Но ни в один подъезд на Старой площади меня не впустили. Пришлось отнести письмо на почту, отправить заказным. Ответа на него я не получил.

Пошел в редакцию журнала, где работал Лазарь, — что он скажет? В редакции разговаривать не стали, вышли на

улицу, но и там, разговаривая, всё время оглядывались. Мудрый Лазарь меня успокоил: «Не суетись, не оправдывайся, никому ничего не объясняй. Те, кто тебя знает, и так всё понимают, а тем, кто не знает, не объяснишь. Пусть думают, что хотят».

Тем не менее объяснять пришлось — и тогда, и потом. Некоторые слушали молча. Некоторые возмущались. Я чувствовал себя виноватым. Но что можно было сделать.

Солженицына выдворили из страны. Увидиться с ним и повиниться так и не довелось. Было тяжело и неловко. Я проклинал тех, кто учинил всё это бесчеловечное негодяйство...

Много лет спустя один ответственный работник ЦК КПСС в порыве откровенности объяснил мне, что они мою подпись поставили ради моего спасения. Иначе они вынуждены были бы отправить меня вслед за Солженицыным.

**В довольно** драматическом и богемном писательском быту немалую проблему создавал алкоголь. Частые поездки, хождение в гости, заседания и съезды почти никогда не обходились без дружеских застолий, нередко длительных и чрезмерных. Не всегда они заканчивались мирно — иногда вспыхивали свары, что стоило нервов...

Первым почувствовал неладное в моей жизни Алексей Карпюк, который бросился спасать меня не напрямую, а издалека. Однажды съездил в Минск и устроил скандал тамошним моим друзьям за то, что они якобы спаивают Быкова. Тогда это меня возмутило, и я поругался с Карпюком. Но теперь, с высоты прожитых лет вижу, что трезвенник Карпюк был прав. Хотя его принципиальная трезвость, ежедневная гимнастика и вообще любовь к физкультуре жизнь ему не продлили. На человека всегда найдется какая-нибудь пакость — не рак, так начальство, которое не хуже любой болезни умеет вогнать человека в гроб. А что до водки, то кто ее не пил? Как говорила мои земляки — тот не пьет, у кого денег нет. Незаметно образовался определенный имидж Быкова, разумеется, не самый лучший, и я сознательно не

разрушал его. Прежде всего в глазах начальства, благодаря моему имиджу кое-что мне прощалось.

Бывая в Москве, наведывался к Куреневу и у него познакомился с его другом, психиатром Володей, который заведовал отделением в психиатрической больнице, не так давно лечил генерала Григоренко и еще некоторых диссидентов. Однажды Володя, когда мы с Куреневым были у него в гостях, предложил нам познакомиться с его пациентами. Больница находилась рядом с Володиным домом, и мы пошли знакомиться с психами: нам с Куреневым это было в диковинку.

Это было ужасное зрелище. Один из больных, лежа на кровати, сокрушался, что не выполняется план вывоза древесины — только что он звонил в дальний лесхоз. Я спросил у доктора: разве больной может отсюда позвонить. Да нет, говорит доктор, это ему только кажется. Он — секретарь обкома по промышленности и свихнулся на плане, всё руководит его выполнением. А вот тот здоровенный детина, который ест за столом кашу, — выпускник школы КГБ, его должны были послать на задание, и тут он заболел. Подозревают, что симулирует, просто струсил. А третий — вон тот, который лежит на кровати и смотрит на нас, предложил Суслову проект реформирования правительства. Суслов его сюда и прислал. Куренев спросил: «А что, они действительно больные?» Доктор с улыбкой сказал: «Здоровее нас с вами».

Это, по всей вероятности, было правдой. А тот психиатр в скором времени исчез. Может, поплатился за свою доверчивость, а, может, еще что-то... Мы с Куреневым попытались его разыскать, но Куренев неожиданно умер.

Я понял, что в моей жизни надо что-то менять. Тем более, что сыновья мои уже выросли и избрали свой путь. Старший, Сергей, окончил военное училище в Полтаве и служил в Лейпциге. Стал отцом: у него родился сын, тоже Сережка. Младший, Василь, работал врачом в Гродно, увлекался рыбалкой. У меня с сыновьями были нормальные отношения. Плохо лишь то, что в силу сложившихся независимо от меня жизненных обстоятельств я не смог создать условия для на-

ционального воспитания сыновей, и хлопцы выросли под влиянием космополитической по сути городской среды. Жены их тоже были не белоруски: у одного — русская, у другого украинка.

Очень жаль было покидать Гродно, который стал для меня родным, но я должен был перебраться в Минск. Какое-то время жил в гостиницах, что во всех отношениях было не очень удобно. И Андрей Макаёнок, с которым я как-то похорошему сблизился, позвонил в ЦК Кузьмину. Тот отреагировал сразу: позвал к себе, расспросил, что и как. Узнав, что мне необходимо жилье, вспомнил, что сам когда-то агитировал меня переехать в Минск, чтобы я мог избавиться от гнетущего внимания областных боссов. В Минске, говорил, всё же легче будет дышать. Тогда я отказался, а теперь сам прошусь. Александр Трифонович повел меня к Аксенову, который без лишних разговоров снял трубку и куда-то позвонил. Через день я получил ордер на квартиру, правда, недостроенную, на Танковой, где живу и поныне. В хлопотах, связанных с новосельем, мне немало помог отзывчивый Микола Матуковский со своим услужливым шофером Петей. Матуковский свозил меня к министру торговли, который помог приобрести мебель для новой квартиры (*иначе было невозможно*), перевозил некоторые мои вещи из Гродно.

Как-то вечером, когда я самотужно собирал-свинчивал ту мебель, пришел знакомиться со мной полковник Сульянов. Еще будучи слушателем Военной академии в Москве, он прочел мои книги и проникся симпатией к автору. В скором времени Анатолий Константинович стал генералом, писателем и одарил меня преданной и сердечной дружбой.

В Минск я привез новую повесть — «Пойти и не вернуться», последнее, что написалось в трудном и благословенном Гродно. Повесть выросла из рассказа на «вечную тему» — о сложности любви. Особенно в переломный или конфликтный период жизни, когда от любви до ненависти воистину один шаг. Алексей Карпюк, прочитав повесть, не одобрил ее, даже советовал не печатать, и я не понимал, почему. Понял, когда было слишком поздно. А тогда моими чувствами владели другие дела.

В теплом солнечном мае 1978 года ко мне в Минск из Гродно приехала Ирина Суворова, с которой мы долго по доброму дружили, работая в газете.

С Ириной я познакомился, когда она была студенткой отделения журналистики БГУ и приезжала в Гродно на практику. Вскоре после того я во второй раз очутился в армии, уехал на Дальний Восток, а Ирина, окончив учебу, вышла замуж, родила сына Сережку и почти до самой пенсии проработала в «Гродненской правде». Там я ее и застал, вернувшись из армии. Ирина одной из первых в редакции оценила мои литературные опыты, обнаружив отменные знания и совершенный литературный вкус. Потом она стала моей машинисткой-первопечатницей и первым критиком моих произведений. Я был ей благодарен за всё, и эта благодарность постепенно переросла в постоянное чувство. Чувство это приобрело особый характер, когда я попал в черную полосу литературно-политических издевательств, когда гродненское начальство и многие мои коллеги-писатели и журналисты стали проявлять ко мне неприязнь. Ирина стояла на своем, поддерживала меня и верила в мою счастливую литературную судьбу, хотя с каждым годом испытаний становилось всё больше. Важно еще и то, что только мы с ней были в редакции беспартийные. Когда остальные шли заседать на своих ритуальных партсобраниях, мы отправлялись на природу, которую Ирина любила с неугомонностью горожанки.

Приближаясь к пенсионному возрасту, Ирина ничего не ждала, ни на что не рассчитывала, и внешне оставалась почти прежней девочкой-подростком, равнодушной к жизненным благам, — Гаврошиком, как она сама себя называла. Это было правдой, ~~в чем я смог~~ убедиться позже: она долго оставалась бескорыстной, по-молодому неугомонной. Хотя годы, как известно, не щадят никого. Тем более женщину.

**Как-то в начале** весны, в самую для нас голодную пору, ко мне в Минск приехал Владимир Богомолов с женой. Моя Ирина бросилась в магазины и, хорошо набегавшись, раздо-

была только килограмм польских картофельных клёцок. Тем и угощали бы гостей, если бы те, отправляясь в братскую Беларусь, не запаслись продуктами в Москве.

С Богомоловым было не так легко, как с другими. Правда, его Раиса в этом смысле не создавала проблем, была весела и разговорчива, зато ее муж!.. Владимир никогда не снимал маску мрачно-обиженного выражения, держался отчужденно и говорил обо всем очень серьезно. Он был подробно информирован об уголовных делах дочери Брежнева Галины, о ее торговле бриллиантами, знал множество подробностей из жизни писательских и кагэбистских верхов. Меня иногда удивляло, откуда этот писатель, который неделями сидит за рабочим столом, так много знает о том, о чем не пишут в газетах. В то же время он не хотел никаких контактов с моими минскими друзьями, кроме Миколы Матуковского, с которым я его и познакомил. Когда мы вечером гуляли по улицам, Богомолов рассказал о себе, о том, как сидел во Львовской тюрьме, где своими наручниками расквасил голову начальнику тюрьмы. На войне он был разведчиком, после войны ездил по Германии и, наделенный необычайной зрительной памятью, фиксировал всё, что требовалось зафиксировать. В Германии и погорел, заступился перед гэбистами за товарища и оказался в тюрьме. Но он победил и теперь полностью реабилитирован. Пишет роман. О чем? Увидите, когда он появится в «Новом мире».

Пообщаться с новым человеком ко мне заглядывал всегда любопытный к людям Алесь Адамович, мы подолгу разговаривали на разные темы, о войне и нынешнем дне. Особенно о том, что происходит в Москве. Суждения и оценки Богомолова нам нравились, постепенно он стал нашим другом, может быть, самым близким среди москвичей. Приезжая в Москву, мы бывали у него дома, особенно часто на новой его квартире, которую он получил в престижном доме в Безбожном переулке.

Однажды летом он приехал с Раисой на Нарочь. Районное начальство встретило его гостеприимно, поселило в отдельном рыбацком домике на берегу озера. Мы с Матуковским туда к нему приехали, поплескались в чудесной воде,

поговорили по душам. Местный рыбхоз обеспечил нас рыбой, и мы сварили отменную тройную юшку. (*Когда всё было готово, Богомолов мрачно заявил, что рыбу не любит, утром даже протер мокрой тряпкой всю мебель, чтобы и запаха рыбы не осталось.*) Вечером он, не сдерживая себя, разговорился у костра, вовсю честил Брежнева и его окружение. О белорусском руководстве, правда, не сказал ничего. Первый секретарь райкома, который сидел с нами у костра, внимательно слушал Богомолова и молчал — не возражал, и не соглашался. Это было не совсем обычным для партийного руководителя. Хотя, чего на свете не бывает...

«Новый мир» в двух номерах напечатал роман Богомолова «В августе сорок четвертого». В печати сперва наступила определенная пауза, официальная критика словно взяла тайм-аут. Я прочитал роман без восторга. Неплохо написанный, со множеством специфических деталей, он, однако, заключал в себе едва припрятанную апологетику определенных органов. Правда, я не стал говорить автору всего, что думал о романе, сказал лишь, что, по-моему, его «Зося» лучше. Но автор был человеком догадливым и что-то в моих словах почувствовал. Адамович же с его нетерпимостью ко всякого рода литературным хитростям, чем бы они не маскировались, прямо сказал Богомолову, что его роман — тот же «Щит и меч» Кожевникова, разве что лучше написан. Богомолов обиделся, обругал Адамовича и порвал с ним отношения. Мои отношения с Владимиром еще сохранялись какое-то время, но становились всё более натянутыми. Очевидно, для того, чтобы как-то оправдаться. Богомолов рассказывал о своей борьбе с генералами КГБ за право напечатать роман и издать его отдельной книжкой. Но почему нужно было бороться? Тут автор явно кривил душой, генералы КГБ в конце концов разрешили издать его «Август» и даже попытались выдвинуть его на Государственную (*или Ленинскую?*) премию. Но к чести автора следует отнести то, что он воспротивился кагэбистскому выдвижению. Как он сказал, ему нужны деньги, а не слава. Роман был многократно переиздан в российской провинции и в соцстранах (*кроме Польши*), им заинтересовалось кино, и деньги автор полу-

чил. Этот его роман о славных «чистильщиках» в постмодернистскую эпоху стал культовым в популярном жанре чекистского детектива.

Однако Бог ему судья, каждый играет на скрипке жизни, как умеет. Стоит ли в него стрелять?

Правда, после «Августа» на протяжении чуть ли не четверти столетия Богомолов не напечатал ничего. Говорят, всё пишет.

Что ж, в час добрый!

**Общество дружбы** с зарубежными странами собирало туристическую группу на Кубу. Первым в эту группу был записан Микола Матуковский, который, конечно же, не мог не вспомнить о друзьях и позвонил мне. Сказал, что едут Геннадий, Нил, еще кто-то из писателей: «Может, и ты поедешь?» Я согласился. Хотя далекий путь за океан и казался страшноватым, но чего не сделаешь за компанию? Правда, в последний момент Геннадий с Нилом отказались, а мне отказываться было неловко, не хотелось подводить Матуковского.

Группа собралась немалая — человек двадцать минчан, почти поровну мужчин и женщин; из всей группы я почти никого не знал. Перелет был долгий и тяжелый. Самолеты аэрофлота, как всегда, загружались «под завязку», чтобы ни одно место не пустовало. А располагались места таким образом, что свободного пространства между ними не было, кресла стояли впритык, и сидящий впереди оказывался почти на коленях у сидящего сзади. При дальних перелетах это невыносимо.

Летели с промежуточной посадкой в Рабате (*Марокко*), где была дозаправка. Из самолета всех вывели в тесный закуток аэропорта, где нельзя было ни сесть, ни пройтись, долго томились в духоте, ожидая, когда нам дадут по бутылочке кока-колы. Вооруженные автоматами люди в высоких тюрбанах обеспечивали нашу безопасность — сказано было, от марокканской оппозиции. На самом деле похоже было на то, что от контактов с тамошними бедуинами, чтобы они не набрались от нас коммунизма.

Гавана встретила непривычной жарой и строгим таможенным досмотром. Особенно строгим был запрет на продукты питания, например, на колбасу. Но колбаса у нас на родине была тогда дефицитом, так что бдительность революционных таможенников не принесла им желанного улова. Из аэропорта нас с Матуковским отвез к себе знакомый Миколы, генерал, который служил в Гаване советником по милицейским делам. Он занимал покинутую буржуазным владельцем виллу — огромную, шикарную и запущенную. За стаканом вина генерал рассказывал о своей жизни, радостного в которой, однако, было немного. Мы привезли генералу гостинец — несколько буханок черного хлеба, о котором Матуковский говорил мне в самолете, что генерал этому хлебу будет страшно рад. Кажется, он и впрямь был рад...

Группу поселили в отеле, чуть ли не самом шикарном в Гаване, неподалеку от знаменитой набережной. Но в отеле, как повсюду на Кубе, на всем лежала печать запустения, заброшенности — следствие безразличия временных хозяев, дорвавшихся до чужого добра, захваченного незаконно. Еще в Москве нам обменяли на кубинские песо довольно большую по тем временам сумму (*400 рублей*), выдали тархеты — карточки, только по которым и можно было что-нибудь купить. Но покупать было нечего. Бытовые товары продавались только по внутренним карточкам на сумму не выше 600 песо. Частной торговли не было.

Начались организованные поездки по Гаване, посещение исторических мест, связанных с героическими поступками команданте Фиделя и его славных соратников Че Гевары и Рауля Кастро. В музее нам показали заспиртованные пальцы Че, который, как известно, погиб в Колумбии, где делал революцию. Но команданте Фидель отомстит за гибель своего великого соратника, заверили нас. Съездили в Залив Свиней, где отважный команданте выстрелил по интервентам из советской самоходки, которая там и осталась на вечном приколе. Затем нам показали болото, которое кишело крокодилами, но оно не очень напугало наших женщин: они сказали, что на родине достаточно насмотрелись на других крокодилов — двуногих. На комфортабельных

испанских автобусах с мягкими креслами и кондиционерами отправились на другой конец острова, в побратавшийся с Беларусью Камагуэй. Природа и даже дорога, построенная во времена диктатуры ненавистного Батисты, были великолепны. Вокруг роскошествовали пальмы, под которыми паслись стада буйволов с белыми птицами на спинах. Поодаль стояли сооруженные из пальмовых веток хижины аборигенов, мулатов и чернокожих, которые держались подальше от туристов (по приказу властей). Небольшие городки, через которые мы проезжали, имели ярко выраженный испанский облик — архитектурой, тесными улочками, множеством костелов. Когда автобус останавливался, нас тотчас окружала детвора — рус, дай! Давали всё, что у кого было под рукой — от значков до авторучек. Всё жадно расхватывалось. Матуковский еще дома запасся с этой целью карандашами, которые и раздавал в десятки нетерпеливо протянутых рук. У магазинов наблюдали знакомую картину — терпеливые очереди женщин. Видели давку за пластмассовыми тазиками, которые тоже отпускались по карточкам, так же, как и два метра черной и два метра белой ткани на год.

Для определения уровня жизни слово бедность было бы не точным, более точное — нищета. В ней и жили в ожидании окончательной победы социализма.

Всей продукцией сельского хозяйства распоряжалось государство — в руках производителей не оставалось ничего. Выращенный в хозяйствах скот, кур и яйца надо было полностью сдать государству, которое потом строго нормированно выделяло часть продукции производителем. Утаить что-либо было невозможно, за этим следили так называемые комитеты защиты революции, сформированные властями из бедняков и заслуженных революционеров.

Как я уже говорил, для того чтобы отоварить карточки, требовались 600 песо — карточки отоваривались только в пределах этой суммы, лишние деньги можно было выбросить в мусорную корзину. А на предприятиях, как и в Советском Союзе, внедряли социалистическое соревнование, которое и на Кубе всё ширилось и ширилось, и за перевыполнение планов платили. Эту плату можно было увидеть на

улицах, когда вместе с сухими пальмовыми листьями ветер гнал по мостовой заработанные сверх плана песо.

В Гаване у нас состоялся разговор с одним кубинским писателем, который писал и издавал романы на революционную тему. Работал писатель каким-то клерком в хозяйственном учреждении, писал исключительно в свободное время, гонорар за его произведения ему не платили. Мы спросили, какой тогда смысл писать? Опустив голову, писатель грустно сказал: «Это мой революционный долг».

Образцово-показательная школа-интернат, в которую нас однажды привезли, всех поразила. Мы приехали днем, когда, как мы полагали, дети будут на уроках. Но в больших модерновых корпусах посреди широких плантаций цитрусовых было тихо и безлюдно. Двухъярусные, безупречно застеленные кровати, выстроенные под линеечку игрушки и учебники очень мне напомнили незабываемый порядок солдатской казармы. Даже дневальный стоял у дверей. Впечатление казармы подтвердилось, когда на школьный двор примаршировал с плантаций первый отряд учеников во главе с учителем. Никакого шума, никакой ребячьей толкотни, никаких выкриков и даже громких разговоров. Звучали только команды. После обеда один шустрый двенадцатилетний мальчик продемонстрировал нам завидное умение собирать и разбирать автомат Калашникова. А другой мальчик сделал это с завязанными глазами. Действительно, лихо! Но зачем?

Вот об этом зачем и разгорелся в нашей туристской группе, в которой было несколько учителей, диспут. Одни говорили, что это правильно, нечего распускать молодежь, потому что отсюда пьянство и всё прочее. Хорошо, что в этой школе царит метод Макаренко, который у нас, к сожалению, забросили. Другие возражали, что метод Сухомлинского лучше — больше свободы и уважения к личности ребенка. Оппоненты с ними не соглашались: свободы и так сверх меры, вон до чего она довела! Посмотрите на наших писателей, хотя бы на того же Солженицына! Но тут кто-то, очевидно, самый умный из нас, сказал, что всё это не предмет для дискуссии на Кубе, здесь свои порядки и не нам в них вмешиваться. Может он потому так сказал, что к наше-

му разговору бдительно прислушивались наши гиды, которые когда-то учились в университете имени Лумумбы и понимали по-русски.

Микола Матуковский тогда работал в «Известиях», на Кубе мы встретились с его коллегой, спецкором газеты в Гаване. Он предложил нам съездить к старшему брату Фиделя — Рамону, который неподалеку от Гаваны руководил аграрным комплексом. Перед поездкой заспорили, брать или не брать с собой бутылку «Московской», последнюю из наших запасов. Прикупить водки или чего другого из алкоголя мы не могли, хотя деньги у нас были. Но кончились тархеты — карточки для туристов. Микола сказал: «Что, у брата Фиделя не найдется для гостей рюмки водки?» Но его коллега мягко посоветовал: «Возьмите».

Подъезжая к комплексу, увидели на ананасовых плантациях множество людей, занятых тем, что у нас называется борьбой с сорняками. Мы спросили, где находится офис предприятия и где мы можем увидеть его шефа господина Рамона Кастро? Нам показали на крышу здания, которая просвечивалась сквозь пальмы, а шеф — вот он, чистит канаву. И правда, неподалеку на обочине дороги ловко орудовал широким мачете плотный мужчина со знакомым бородатым лицом — это и был старший брат команданте Рамон. Мы подошли, заговорили, но он сказал, что пока занят, окончит работу часа через три, тогда и примет нас в конторе. Мы стали ждать.

Бродили по не очнь-то ухоженной плантации, потом отдышались под пальмами от жары и наконец пошли в контору. Господин Рамон отдал распоряжение, и услужливые креолки принесли подносы с курятиной, хозяин предложил угощаться. Алкоголя не было никакого, и Матуковский достал нашу «Московскую», которую разлили в дюжину фужерчиков (*за столом оказались еще какие-то люди*). Рамон сказал, что в их быту алкоголь не принят, и тут же выпил один за другим два фужера. Потом он рассказывал, что в революции не участвовал, зарабатывал деньги для братьев, которые пооканчивали университеты и теперь руководят Кубой. Он же простой латифундист — двоих революционеров для се-

мьи достаточно. Со времени победы революции ни одного дня не был в отпуске. Никаких привилегий у него нет, работает наравне со всеми, а спрашивают с него больше, чем со всех, потому что он — брат команданте. Мы посочувствовали обделенному брату, напомнив библейское: Бог не ровно делит. Утешили этим господина Рамона да и себя тоже.

В городе-побратиме Камагуэе нам устроили чуть ли не царский прием — с ромом и богатой закуской, после чего отправили на городской митинг, проводившийся по какому-то важному поводу. Впрочем, как нам сказали, митинги тут проводятся чуть ли не каждую неделю и необязательно по какому-нибудь поводу. Митинг продолжался с полуночи до утра, всё это время выступал с речью один человек — шеф провинции, дородный мужчина с толстой шеей, который, подражая, очевидно, своему начальству, широко жестикулировал руками, кому-то грозил кулаками, кого-то успокаивал. Время от времени он что-то наливал себе из графинчика, пристроенного на полочке в тумбе трибуны. Никто не расходился — толпа молча и покорно слушала. Мы из вежливости терпеливо подремывали в сторонке.

На прощальном приеме в Гаване с короткой речью от нашей делегации выступил Микола Матуковский. Эту свою речь на испанском языке он старательно подготовил еще в Минске. Один из наших кубинских гидов, сидевший рядом со мной, сказал: «Вот уж не думал, что ваш белорусский язык так похож на испанский». Микола, когда я потом передал ему эти слова, очень обиделся: сам он придерживался несколько иного мнения.

То паломничество по Кубе было в целом дискомфортным (*я сильно простудился в тропиках, к тому же мы отравились консервами*), но в чем-то и полезным. Мы убедились, что и впрямь существует знаменитый остров Свободы, но убедились и в том, что гримасы социализма в условиях авторитарного режима ужасны. Бедолаге всегда приятно увидеть, что кому-то еще хуже, чем ему. Но вряд ли тогда понимали свое положение кубинцы, которые жили одним — надеждой. Убаюканные многочасовыми митингами, прославляющими революцию, они все чего-то ждали. Пройдут годы,

и, ничего не дождавшись, они рванутся через залив в ненавистный капиталистический город Майями, где найдут условия для жизни. Не на своей — на чужой земле.

**Осенью на девяностом** году жизни в деревне Волча под Ушачами умерла мама.

Последние ее годы, как и у многих других матерей, были омрачены бытовой неустроенностью, психологической несовместимостью с близкими. Где и с кем жить — она решала на протяжении многих лет своей старости, да так и не решила. Конечно, лучше всего было бы жить в своей хатке, умереть в своей постели. Но в своей хатке одна она жить не могла. Правда, неподалеку жил ее сын, мой младший брат Николай, можно было бы перебраться к нему. Но там была невестка, с которой маме было не очень душевно. А дочь, моя сестра Валя, запоздало вышла к тому времени замуж за разведенного механизатора из деревни Волча. Он был мужик довольно шумный, к тому же часто выпивал, мама не смогла к нему привыкнуть. В город к старшему сыну — ко мне — у нее и в мыслях не было перебираться. Страшно было на старости лет. Мама за всю свою жизнь дальше Ушачей нигде не бывала, даже в больницу никуда никогда не ездила. Когда сломала шейку бедра, месяца три лежала без врачебной помощи, пока не зажило само. Вообще все болезни переносила на ногах, не ложась в постель, одолевая хвори без лекарств.

Помню, когда я был еще совсем хлопчик, у мамы появилось на лице рожистое воспаление. Отец привозил к ней фельдшера, но тот не помог. Тогда мама, измучившись, однажды говорит отцу: «Отвези ты меня к знахарке». Отец не соглашается: «Что тебе знахарка, если доктор не помог?» Но маме очень больно, мучает ее «рожа», и как-то в заснеженный день отец запрягает коня в сани и везет маму к знахарке. Мы, дети, ждем, когда они вернутся. И вот под вечер возвращаются, и я сразу спрашиваю: «Ну как, мама, полегчало тебе?» А она тихонько так отвечает: «Полегчало, сынок». И действительно, знахарка помогла, мама поправилась.

Но приходит смертный час, когда ничто и никто не поможет.

Мама прожила много годочков и в одну из ночей незаметно отошла...

Альбер Камю свой последний роман посвятил матери, которая не могла его прочесть, потому что была неграмотная, что, однако, не мешало ей гордиться своим замечательным сыном. Моя мама тоже не прочла ни одной моей строчки по той же причине — была неграмотная. Отец был грамотный, но к тому времени, когда сын стал печататься, ничего прочесть не мог, потому что без очков не видел, а очков у него не было. Просил кого-нибудь почитать ему вслух рассказ сына, как сам когда-то читал мне, маленькому, «Гой» Михася Лынькова. Сравнивал и говорил, что у Лынькова было написано лучше — интересней.

Маму хоронили в теплый солнечный день бабьего лета. Заместитель председателя райисполкома дал машину и даже организовал небольшенький оркестрик. На такие похороны собралось немало людей. Гроб повезла через Ушачи на бычковское кладбище, где мама и легла рядом с мужем. Жаль, что там места больше нету — дальше овраг. Брата Миколу, который умер недавно, похоронили на другом конце кладбища...

Очень много тяжелого и даже безысходного связано у меня с моей малой родиной, куда, однако, ездил чуть ли не каждый год. Пока живы были родители. После их смерти тоже ездил, но всякий раз, возвращаясь оттуда, говорил себе: «Ну, это была последняя поездка, больше не поеду». Но проходило время, наступало лето (*или весна, или осень*) и ехал снова. И снова говорил себе: «Ну, теперь это окончательно в последний раз». Совсем мало радости обретал я там, а печали — сверх меры. Но в этом, должно быть, и состоит горькая сладость жизни... А, может, и ее естественный смысл.

**В Несвижском замке**, где в последнее время был дом отдыха, умер Аркадий Кулешов.

Словно предчувствуя свой близкий конец, он много писал, опубликовал несколько интересных поэм. Как нередко

бывает у писателей, напоследок старался наверстать то, что было упущено ранее. И, наверно, работал сверх всякой меры: сердце не выдержало. Ушел вслед за своим другом Александром Твардовским.

Поскольку его избирательный округ оказался не представленным в Верховном Совете, «наверху» решили, что на это место следует выдвинуть Быкова. И вскоре мне уже пришлось готовиться к встрече с избирателями. Депутатство, вообще говоря, было для меня не в новинку, года два я представлял в областном совете жителей Турца. Помню, как тогда перед выборами председатель колхоза посадил меня в свою «Ниву» и повез в поле. Оно было чудесное, колосья стояли стеной.

Остановив машину, он спросил: «Ты когда-нибудь пил в жите?» Я сказал, что нет. «Тогда выпьем!» Достал из багажника бутылку шампанского и ловко выстрелил пробкой в ржаной клин. Мы выпили по два стакана и поехали дальше. Дорога пошла через овсяное поле. И снова остановка. «Ты когда-нибудь пил в овсе? Не пил?.. Так выпьем!» На этот раз пробка полетела в овес. А после по очереди — в кукурузу, ячмень и свеклу... Последний «выстрел» из последней бутылки было доверено сделать мне — в бурные волны батьки-Немана. После этого мы и поехали на предвыборное собрание в Турец.

Но то было летом, а зимой ведь в поле не выедешь.

Из Толочина прислали райкомовскую «Волгу», на которой меня повезли в городок, где я никогда не бывал. Районное начальство встретило приветливо, повздыхало по безвременно ушедшему Кулешову и повезло в холодный клуб, где собрались избиратели. Познакомив их с моей биографией, хозяева района выразили уверенность, что писатель Василь Быков будет представлять округ не хуже, чем умерший Кулешов. Затем участники собрания должны были дать свои наказы будущему депутату. Наступило неловкое молчание. Наконец, один пожилой механизатор вышел вперед и сказал примерно следующее: «Какие у нас могут быть товарищу писателю наказы? Если бы это был, скажем, министр строительства, мы бы попросили его достроить наши мастерские.

Если бы министр шоссейных дорог, — напомнили бы, что мост через речку скоро провалится. Министру образования сказали бы: школа у нас прогнила, снег через стены летит, надо что-то делать... А какой разговор с писателем? Пусть живет, пишет, меньше болеет...»

Мое выступление было коротким: я уже понял значение своего будущего депутатства и цену моему писательству в глазах этих усталых, ежившихся от холода людей.

Ночью мы выехали из Толочина на трех машинах. Остановились в придорожном березнячке, проворные шоферы быстро разожгли костерок из сухих дровишек, припасенных в багажниках. Прямо на снег поставили пару ящиков с бутылками. Завязался разговор, зазвенели чарки, зазвучали тосты — за партию, за ее ленинский ЦК во главе с Леонидом Ильичом. Но эта, так сказать, официальная часть продолжалась недолго. Дальше пошли анекдоты и, как водится в мужской компании, поговорили о бабах. Еще и спели на прощанье. Кажется, «Ручники». Поздно ночью вернулся я на свою Танковую в Минске. Насчет результатов выборов не было никаких сомнений.

Это депутатство оказалось недолгим, оно не повлекло за собой забот и проблем. Даже побывать у своих избирателей в Толочине во второй раз мне не довелось — окончился срок созыва, предстоял новый, с очередными выборами.

Но баллотировался я уже в родных местах — в Ушачах. Там пришлось и поездить, и не однажды повстречаться с людьми, и попить водки с не менее гостеприимными хозяевами района. Проблемы, и весьма серьезные, возникали в каждом колхозе, в каждом селе и прежде всего в райцентре. Нужно было заниматься и школами, и мастерскими, и коровниками, и свинарниками, добывать удобрения и стройматериалы. Всего не хватало — требовалось найти, достать, выбить. Для этой цели депутаты имели блокноты со специальным грифом. На листках из этих блокнотов они писали просьбы, требования, бесконечные обращения в министерства и ведомства, в прокуратуры и суды. Писал и я. Честно говоря, польза от той писанины была невелика. Наиболее

опытные и пробивные депутаты старались решать все дела с помощью личных контактов, во время сессий. Но подступиться к влиятельным деятелям было почти невозможно. Кроме того, в перерывах они уединялись в особых помещениях, куда нашего брата не очень-то пускали. Ходить же по начальственным кабинетам было не в моем характере. Поэтому, как депутат я сумел сделать в родных местах совсем немного. Не смог добиться того, чтобы главную улицу в Ушачах заасфальтировали. Не сумел заставить местные власти построить школу на родине Петруся Бровки. Огромных усилий стоило мне асфальтовое покрытие трех километров дороги от Кубличей до Бычков, по которой и сейчас летом и зимой ездят на велосипедах мои земляки. А вот до отцовской хаты асфальт так и не дотянули, и последние метры до сих пор тонут в грязи. Но что и когда у нас завершали ладом?

Зато посчастливилось мне раза два замечательно попировать на природе. Однажды — на берегу лесного озера Супонец, которое любила моя мама и к которому в мои детские годы не было доступа (*межа!*). А во второй раз — в весенних сумерках над озерной гладью Вечалья, так вдохновенно воспетого Рыгором Бородулиным.

Мое третье депутатство началось в Турове. Оно запомнилось трудной борьбой за паромную переправу через Припять (*мост тогда только строился*), шумными собраниями избирателей и долгими (*пятилетними*) хлопотами, связанными со строительством больницы. Строить ее начинали по инициативе главного врача Волкова. Но от непрерывно возникавших трудностей и отчаянной нервотрепки он надорвался и вскоре умер. Нелегко пришлось и мне, депутату, пытавшемуся ему помочь. Но в то время сделать что-то иначе и по-иному не было никакой возможности. Всё делалось на грани абсурда. В конце концов больницу всё-таки построили, и я тешил себя мыслью, что есть в ней и мой кирпич — частица моих трудов и усилий. Пусть хорошо лечат там несчастных туровцев, посыпанных чернобыльскими радионуклидами!

**Интересно отметить**, что едва я стал депутатом, как сразу объявились мои давние приятели, дальние родичи, позабытые земляки. Посыпались письма, начали раздаваться телефонные звонки. Мне признавались во всегдашней приязни, глубоком уважении, даже любви и... заваливали просьбами. О чем только ни просили! От квартир и автомобилей до должностей и повышения зарплаты. И были очень разочарованы, и обижались, когда я отказывал. В ответ на мои объяснения, что не могу устроить сына или дочку в институт, не могу помочь переехать из Ушачей в Минск, мне с укором говорили: «Ну как же?.. Ты ведь такой известный... просто не хочешь...» А один не очень близкий родственник приехал как-то ко мне домой с бутылкой и, когда она была выпита, попросил одолжить ему... миллион рублей. Я сказали, что не только не имею таких денег, но и в глаза не видел столь большую сумму. «Какой же ты тогда писатель?» — искренне недоумевал мой случайный гость. «Страшное это дело — потеря неизвестности», — как писал когда-то умный американец Джон Стейнбек.

Денег, хоть и не слишком много, всё-таки собралось у меня на сберегательной книжке, мои повести и рассказы издавались и в Минске, и в Москве. Но за эти деньги ничего и нигде нельзя было приобрести. Когда я захотел сделать подарок жене ко дню рождения, Матуковский повел меня к знакомому директору универмага. И мне позволено было купить прямо на складе какую-то дешевую кофточку. А зимние шапки, к примеру, продавались лишь по особому списку, который составлялся в министерстве торговли. Билеты на самолет или на поезд я приобретал в специальной депутатской кассе, причем не только для себя, но и при случае для друзей и знакомых. В этом была несомненная выгода депутатства. Больше не припомню никакой. Все, сколько-нибудь существенные вопросы решались с помощью связей и личных знакомств, по всесильному блату. Писатели в Минске и в Москве (*да и повсюду*) заводили знакомства с продавцами и продавщицами, директорами и партийными секретарями, которые и были настоящими хозяевами жизни. На депутатов

же никто не обращал внимания. К ним за помощью шли те, кто не имел возможности обратиться ни к кому другому.

Сессии Верховного Совета (*два раза в году*) проходили чинно и спокойно. Доклады носили чисто формальный характер, прения не вызывали никаких эмоций. Депутаты дремали, читали газеты; писатели (*Панченко, Лужанин, Гилевич*) писали стихи. Вел заседания председатель Верховного Совета Иван Шамякин. Он не имел возможности подремать за столом президиума, хотя было видно, как хотелось ему всхрапнуть. Команды, которые Шамякин подавал сидевшим в зале, были заранее написаны на бумажках, которые приносила ему из-за кулис секретарь Чагина. Председательствующему оставалось лишь озвучивать их. Однажды, руководя голосованием по какому-то вопросу, он в силу выработавшегося автоматизма прочитал подряд: «Кто за, кто против, воздержавшихся нет — единогласно!» В зале раздался смех, потому что никто еще не успел поднять руки. Но чуть позже всё-таки подняли, и заседание продолжалось, как ни в чем не бывало.

Я по обыкновению высиживал в зале лишь до первого перерыва. Сидеть дальше не хватало ни духу, ни сил. И как только слышал звонок, призывающий депутатов идти в зал, выходил из здания. По дороге меня догоняли два других неслуха — художник Савицкий и скульптор Аникейчик. Пройдет совсем немного лет и Аникейчик безвременно умрет, а Савицкий резко изменит свое отношение к неизменному по существу режиму, станет его апологетом. Точно так же, как театральный деятель депутат Н. Еременко, который на самом пике перестройки заявил, что, отвергая позицию белорусских националистов, был, остается и умрет коммунистом. И действительно, остался им до конца. Мол, смотрите: слово большевика — твердое слово.

**Новый замысел**, как всегда, вызревал среди будничных дел и событий, не имевших прямого отношения к литературе. В подсознании, однако, шла своя работа — покамест еще

невыразительная, очерченная недостаточно четко, но обещавшая рано или поздно проясниться и приобрести более или менее отчетливую форму. Произойти это могло совершенно неожиданно...

Ранней осенью мы с Ириной поехали в Пицунду, в писательский Дом творчества. У меня обострилась астма, и поэтому морской климат Ялты, куда мы ездили прежде, явно не подходил мне. А в Пицунде, говорили, был реликтовый сосновый бор, целебный для легочников.

Поначалу Дом творчества меня разочаровал — огромный жилой корпус, шум и суета в обширной — на сотни мест — столовой. Множество людей, среди которых можно было найти всего два-три знакомых. Но, к счастью, нашлись. Посреди них, немногочисленных, — милый Володя Короткевич и его жена Валя. Интересно было узнать, что Валя, между прочим, моя землячка, ее отец был родом из Вотьковичей — через луг от моего села — и что девичья фамилия ее — Вотькович. Хотя родилась она в другом месте и мало знала наш приозерный край.

В домах творчества, которых было много в Союзе, писатели не только работали, но и знакомились друг с другом, находили новых друзей, пили. Особенно, если собиралась хорошая компания.

Такой компании мы не собрали (*кроме нас, в Доме творчества жили Спринчан с сыном и Алесь Савицкий, но они больше сидели за столами, и мы их не беспокоили*).

Погода стояла хорошая, море было спокойным. И Володя как-то сказал, что на следующее утро он решил выйти с рыбаками в море. По этому случаю требовалось немедленно раздобыть водки. Выйти в море — это, конечно, здорово, но где взять водку, если ее нет в продаже? Оставалось идти в поселок к теткам-абхазкам, у которых водилось спиртное.

Отправились вчетвером — мы с Володей и наши жены. Володя шел туда не впервые и знал дорогу. Издалека еще на месте стихийно возникающего по временам базарчика мы увидели верблюдицу Нелю. Ну, раз тут Неля, значит, где-то неподалеку надо искать ее хозяйку тетку Марию, уж у нее разживемся! Так и произошло. Без всяких проблем. Правда,

злая верблюдица несколько раз плюнула на женщин, которых почему-то не любила. Зато Мария достала из-под полы две бутылки с мутноватой жидкостью и вручила их нам. Обрадованные, мы сразу же двинулись домой. На веранде кое-кто из коллег попытался «расколоть» нас, особенно Володю. Но он держался твердо и лег спать трезвым.

На рассвете новоявленный рыбак исчез, предупредив Валю, что перед вечером вернется. Но не вернулся ни вечером, ни ночью, ни на следующее утро. Мы не на шутку встревожились. Нас успокаивали: дескать, после двух бутылок ничего с ним не может случиться. Но ведь к двум можно добавить еще и еще... Вернулся Володя лишь на третий день — мокрый, отощавший, но бодрый и веселый. В руках у него были даже кое-какие трофеи — маленькие морские коньки, которыми он щедро одарил женщин. «А где же рыба?» — поинтересовались мы. «Рыба тянется ко дну, не поймаешь ни одну!» — был рифмованный ответ.

Я и сейчас не убежден, что Володя выходил с рыбаками в море. Но несколько дней он жил этим морским приключением, очень красочно и подробно рассказывал о том, как их рыбацкий баркас во время шторма чуть не выбросило на скалы. Но рулевой (*конечно, то был Короткевич*) вовремя повернул штурвал и таким образом спас утлую посудину и всех, кто находился в ней. Слушая Володю, испуганные женщины только ойкали — а вдруг бы утонул? «Этого не могло случиться, — уверенно отвечал рассказчик, — потому что я — автор незаконченного произведения, которое опекают боги».

Этот живописный рассказ напомнил мне другой, услышанный когда-то от Короткевича в Минске. Я встретил его на улице с забинтованной и висящей на перевязи рукой. В чем дело? «Понимаешь, старый, — сказал он мне, — такая история приключилась. Иду я вчера по этой улице и вижу: два здоровенных амбала бьют девчонку. Ну как мне с моим шляхетским воспитанием такое стерпеть? Бросился я на них, раскидал, как щенков. Правда, и мне перепало — сломали руку. А, черт с ней — срастется! Зато девчонку спас. И красивую девчонку!..»

Рассказ был живой, эмоциональный. Трудно было не поверить. Однако чуть позже узнаю: пьяный Короткевич упал с лестницы и сломал руку...

Если бы от кого-нибудь другого услышал я нечто подобное, — пожалуй бы возмутился. Но Короткевич не возмущал. На него нельзя было обижаться. Наверно, дело тут в его личности, в его неуемном воображении. Всё, что делал и говорил Володя было органично для него. А фантазии вызывали лишь улыбку.

После «выхода в море» Короткевич несколько дней не приходил в столовую. Валя говорила, что, не отрываясь, пишет. Он действительно писал — торопился закончить свой приключенческий роман, посвященный жене. А едва вновь появился за обеденным столом, как сразу встал вопрос, где достать бутылку чачи? Базарчик в поселке милиция к тому времени уже прикрыла. На утоптанной площадке высилась лишь злюка Неля, но хозяйки ее не было видно. На поиски чачи следовало отправляться куда-то еще. Мы решили идти в соседнее, хотя и неблизкое, село. По дороге Володя, трезвый и угрюмый, говорил про опостылевшее — литературу. Рассказывал, как совсем недавно в издательстве «Мастацкая літаратура» готовили к печати его роман «Каласы пад сярпом тваім». Как друзья-собутыльники не захотели или не решились помочь. И он один на один сражался со знаменитым издательским боссом Матузовым. И всё-таки победил. Роман вышел в свет.

Где теперь этот Матузов? Исчез, сгинул, никто и слова не скажет о нем, не вспомнит. А роман останется в литературе, как остался в истории его герой великий Калиновский. Ибо роман — от Бога, а редактор — порождение дьявола.

Короткевич разделял мои давние и нынешние литературные взгляды и заботы, твердо верил в то, что литература наша будет жить в народе, пока будет жив народ.

Но народ может и не жить, если сам этого не захочет, спохватившись, добавлял он. Я не возражал. В моем подсознании всё отчетливее возникал сюжет нового произведения. Через несколько дней, сидя в уютной лоджии нашего номера, я написал первую фразу: «Корова щипала траву».

**Наверное, правда,** что уже на генетическом уровне женщина устойчивее мужчины и в дальнейшем — в процессе нелегкого существования — меньше поддается воздействию среды, сохраняет свою самость. Это особенно ощущается в конфликтные моменты, когда нужно защитить себя, семью, детей. А то и мужа. У мужчины нет такой твердости и решимости, ибо слишком много всесильных обстоятельств, влияющих на него, — власти, партии, военная служба, которые подчиняют, ломают, ставят на колени. Очевидно всё это и сформировало современный, не слишком привлекательный архетип белорусского мужика в жизни и в литературе, — бедной, покладистой, боязливой личности. Того, который по присловью красть боится, работать ленится, просить стыдится. Не случайно отважные в течение четырех военных лет партизаны в мирное время утратили всю свою отвагу и давали помыкать собою каждому, кто этого хотел. В том числе и женщинам, которые за войну стали куда разумнее и решительнее.

Некоторые спрашивают, почему в военные годы белорусские партизаны оказались такими храбрыми? Где набрались они этой храбрости в обезбоженной, колхозной, полуголодной стране? А всё там же. Всё оттуда пришло — из 30-х годов, в результате советской дрессировки голодом, истреблением и страхом. Когда крестьянству уже нечего было терять, разве что жизнь — свою последнюю собственность. Да и ее не очень-то жалели, такой она стала нестерпимой. Именно эта ситуация послужила психологическим источником многих, удивительных, на первый взгляд, поступков, в том числе тех, которые сейчас называют подвигами.

Мы с Короткевичем говорили о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя никого загонять в угол — ни друга, ни врага. А между тем белорусское крестьянство в 30-е годы, лишенное земли и воли, оказалось именно таким — загнанным. От голодной смерти его спасли огороды — сорок соток дедовской земли, которые кормили. Немцы загнали белорусскую беду еще глубже. Что было делать крестьянам? Что делает собака или волк, попав в безвыходное положение? Бросается на людей. Белорусы бросились на немцев. От отчаянья. Вот они — истоки белорусской партизанки!

Если бы оккупанты были поумнее, если бы вернули людям землю и их собственность, — белорусы, быть может, вели б себя иначе по отношению к ним. Скажем, как литовцы, латыши или эстонцы. Как украинцы, наконец. Пахали бы землю, растили детей и плевали на бандитскую партизанку. То, что рядом уничтожали евреев, крестьян не очень-то беспокоило, лишь бы их не трогали! А ведь тронули. Да еще как! В этом немцам очень помогли партизаны — дали основание для всякого рода акций. И запылали хаты, пролилась кровь. В этом деле Гитлер и Сталин были сообщниками. То, что недоделал Сталин в 30-е годы, жестоко завершил Гитлер в начале 40-х. Беларусь лежала в руинах. Эпопея возрождения была долгой и трудной.

Да, никого нельзя загонять в угол: выйдет себе дороже. А вот мою Степаниду загнали. Простая деревенская тетка, она не хотела терять жизнь, отчаянно цеплялась за нее и впервые стала проявлять волю в неравной борьбе. Но было уже поздно... В этом ее трагедия.

А если бы не опоздала? У Степаниды ведь вообще не было своего времени, она, как и всё вокруг, выпала из естественного хода времен, оказалась на грани небытия. Несколько лет или недель драматического балансирования на этой грани и — конец, всё погибло. Возродится ли вновь?

Короткевич был не согласен с этим моим фатальным взглядом, он хотел надеяться. И, как мог, сам цеплялся за жизнь. Да не удержался. Потому что был человеком без времени, потому что родился или слишком рано, или, наоборот, слишком поздно, и не вовремя стал писателем. Несовременным. Несовременный человек не может долго жить...

В те годы, чтобы достигнуть успеха в литературе, совсем недостаточно было иметь литературный талант — нужны были «общественное лицо», а еще лучше — руководящая должность, невозможные без «членства» в партии. Именно поэтому наши «молодые талантливые», еще учась в университете, вступали в партию, а по окончании учебы охотно (*или нет*) шли в сексоты. Чтоб остаться в столице, устраивались в редакции. Впрочем, служебная карьера мало зависела от литературного таланта, он скорее затруднял

продвижение «наверх». В большинстве случаев литературные маэстро, осыпанные регалиями, наделенные почетными званиями и ответственными должностями, были посредственными писателями, что нисколько не мешало им руководить собратьями по перу. Писательство было делом не только рискованным, но и весьма ненадежным, как ненадежен был и сам метод соцреализма. Зато должность — литературная или, предпочтительнее, партийная — кормила, давала всякого рода привилегии, обеспечивала комфортабельным жильем и соответствующим ей почетом.

Володя Короткевич не имел к должностям никакого отношения. Он не был ни коммунистом (*даже рядовым*), ни редактором. И ему не оставалось ничего другого, как писать «несовременные» исторические романы да пить водку. Печатали его после бесконечных, временами глупых и невежественных, придирок (*видимо, боясь белорусского «страшилища» — национализма*), но запретить ему пить не могли.

И, живя в Доме творчества, Володя то ходил на море, то в поселок за чачей. Я же несколько недель сидел в лоджии и писал на шатучем дюралевом столике. Короткевич говорил, что ненавидит такие столики, где б они ни были, — хоть в комнате, хоть в кофейне, что они — дьявольское изобретение. На таком столике, утверждал он, ничего путного не напишешь. Ему для работы необходимы были солидный дубовый стол, пачка хорошей бумаги и свежая, тщательно отглаженная сорочка. Тогда у него появлялось вдохновение, которое всегда приносило обильные плоды.

Как-то он снова пропал на некоторое время, а когда вернулся, мы его просто не узнали. У него был какой-то прямотаки нездешний вид — изможденное лицо, мутный взгляд. Едва стало смеркаться, пожаловался, что внизу, в кустах, сидит змей и внимательно следит за ним: «Идем, покажу...» Я зашел в угловой номер, в котором жили они с Валей, и Володя опасливо ткнул пальцем вниз: «Вот, вот... смотри... Выглядывает! Нет, спрятался. Ну, подожди, я тебя!» «Володя, брось! — сказал я с болью. — Ложись лучше спать!» «Нет, спать я не буду, — отвечал он. — Я его подстерегу... всё равно...»

Валя плакала. Мне было очень не по себе...

А в конце нашего пребывания в Доме творчества мы поехали на экскурсию в Сухуми. Там Володя прежде всего потянул всех в обезьянник. Был оживлен, весел, полон детского восхищения проворными и ловкими существами, которые сидели, лазали, прыгали с ветки на ветку, нисколько не обращая внимания на рассматривавших их посетителей.

Ему очень понравилась одна небольшая симпатичная обезьянка, которая, встретившись с ним взглядом, смело прыгнула навстречу и протянула Володе ладошку с тоненькими черными пальчиками. «Смотрите, какое чудо! — с восторгом закричал он. — Она же лучше людей! Сколько в ней доброты и доверия!» Он положил в темную ладошку мандарин, и обезьянка с радостным визгом взлетела высоко на дерево.

В кофейне, которая попалась на проспекте под пальмами, было только кислое прохладное вино. Володя брезгливо морщился, но пил его полный ярких и радостных впечатлений.

Короткевич с женой уехали из Пицунды раньше нас. Мы проводили их к автобусу. Но выпить на прощанье было нечего.

Какова же была наша радость, когда вскоре получили из Минска телеграфный перевод на довольно крупную сумму и небольшую посылку! Помню, мы шли с почты и всю дорогу старались угадать, что это прислал нам Володя? В посылке оказалась бутылка молдавского коньяка, который в Беларуси еще можно было «достать». Ну — Божеская душа, милый Володя!

Счастливые деньки промелькнули быстро, и вскоре близкую нам семью постигла большая беда. По настоянию врачей Валя попала в Боровляны. Я возил к ней Володю на свидания. Сам оставался в машине, а он шел в корпус. Возвращался оттуда удрученный и молчаливый, тайком вытирал глаза. Он любил жену...

Когда она умерла, помнится, не плакал. Лишь после похорон советовался со мною, как ему жить дальше...

Незадолго до своей смерти Володя стал как-то особенно внимательно относиться к тем, кого уважал, с кем дру-

жил. Часто звонил мне, а если меня не было дома, подолгу разговаривал с Ириной. Здоровье его ухудшалось, но он както не слишком серьезно относился к этому. Ему всё труднее было писать, и он шел к друзьям. Словно предчувствуя неизбежное, старался побольше бывать на природе, с которой в скором времени Володе предстояло слиться навсегда. Поездка на любимую Припять стала для него последней...

Смерть Володи оплакивала вся Беларусь, которая будет долго помнить его. Такие, как Короткевич, часто не рождаются.

**Дописывал повесть** уже в Минске, на Танковой, — всю осень и начало зимы. Не скажу, чтоб она давалась мне очень трудно — материал знакомый, частично пережитый мной самим. В особенности относившийся к 30-м годам. Цепкая детская память сохранила многие драмы и черты быта того, поистине чрезвычайного времени. Что касается военных лет, то и в сценах, связанных с ними, мог многое себе представить, хотя и не жил на оккупированной территории. Этого, слава Богу, испытать мне не довелось. Я избежал не только опасности, но не получил определенной метки в своей биографии. Людям, имевшим ее, долго не давали забыть прошлое.

Повесть свою писал последовательно, кроме вставного сюжетного куска, который оказался словно бы ядром ореха, — его я сделал позднее. Ядро это было очень важно для развития темы, ибо именно оно как раз и несло в себе главный идейный знак — знак национальной беды. Мало было коллективизации, так еще и оккупация. Это и предопределило жизнь и судьбу реликтовых хуторян Степаниды и Петрока. Степанида инстинктивно чувствовала, откуда всё время подступает к ним беда, — то был мост. Она очень хотела его уничтожить, чтобы окончательно обособиться, отъединиться от мира и его напастей. Это для хуторян-белорусов было важнее всего. Однако осуществить свое желание никогда и никому не удавалось, несмотря на многочисленные попытки. Бомба Степаниды предназначалась для другого...

Аккуратно перепечатанный экземпляр повести я отнес в «Полымя», очередным редактором которого стал в ту пору Кастусь Киреенко, человек с ограниченными способностями, но с определенными амбициями. У меня с ним не было никаких отношений, и иметь их не очень хотелось. Как, впрочем, и со всей редакцией этого журнала. Отнес я рукопись рано утром, когда в редакции никого, кроме корректоров, не было, и попросил передать главному. Через некоторое время он позвонил сам, сказал, что рукопись получил и ее будет читать Пташников. Тот при случайной встрече с похвалой отозвался о том, как напечатан текст — чисто, без помарок, не то, что у некоторых других. На этом редакционные разговоры и кончились. Я был благодарен им обоим, ибо счел это наилучшим вариантом отношений между двумя антиподами — автором и издателем. В скором времени повесть была напечатана.

С публикацией всех прежних повестей (*до «Знака беды» включительно*) у меня возникало немало серьезных проблем. О политической стерильности этих произведений заботились не только редакторат, не только цензура, но и КГБ. Даже во времена Горбачева. Бывший пресс-атташе генсека Андрей Грачев в своей книге «М. С. Горбачев» пишет: «Отвечая на заседании Политбюро В. Чебрикову (*тогдашний руководитель КГБ.* — В. Б.), который возражал против публикации повести Василя Быкова «Знак беды», бдительно разглядев в ней «подкоп под коллективизацию», Горбачев шумел: «Да, перекосы будут. Всё поплывет в потоке, который возникнет. Будут и пена, и сор, но всё это знак весны, обновления, спутники демократизации. А ее маховик надо раскручивать, не следует бояться...»

Таким образом, моя повесть была для руководителя КГБ «знаком беды», а для Горбачева — всё же «знаком весны». Кажется, ошибались оба.

Свой перевод «Знака беды» я отдал в московский журнал «Дружба народов». Вскоре меня срочно вызвали в редакцию. Редактор Сергей Баруздин высказал общие претензии, но детализировать их не стал: очень спешил на какое-то заседание (*видимо, в ЦК*). Сказал, что всё остальное выска-

жет его заместитель Леонид Теракопян. Тот сделал это не слишком категорически, но подробно и доказательно, ну, конечно, имели место перегибы, нарушения, но коллективизация была необходима, ибо раздробленное частновладельческое сельское хозяйство не способно было... и т.д. Кое-что пришлось вычеркнуть, опустить, заменить банальностями. Но я уже знал: если на первом этапе редактирования в чем-нибудь уступишь (*вот тут — всего три-четыре места*), то на следующем этапе мест этих будет уже пять-восемь, а затем и десять-пятнадцать. Особенно в Главлите. Так получилось и на этот раз. Чтобы окончательно всё подчистить, из редакции в Минск был прислан опытный литературный правщик, с которым мы чистили повесть в четыре руки. Считалось, что правился только стиль, хотя работа наша имела к нему мало отношения — дело было в политике. Притом в политике вчерашнего дня, минувших десятилетий, которая всё еще многое определяла в нашей жизни. «А что если «Знак беды» назвать романом?» — пришла мне в голову неожиданная мысль. На это мой правщик ответил просто: «Тогда с ним придется возиться вдвое больше, ибо другой жанр». И я подумал: пусть уж остается в жанре повести.

А в издательстве «Молодая гвардия», которое тоже собиралось издать «Знак» отдельной книгой, ситуация сложилась еще хуже. Уже изрядно подчищенную для предыдущих публикаций повесть внезапно вернул Главлит. Судя по всему, произошло это вследствие того, что Главлит стал курировать мой старый «друг» Владимир Севрук, с каждым годом приобретавший всё больший вес в аппарате ЦК. Очевидно, с подачи Севрука повесть моя попала на стол ко «второму лицу в государстве», тогдашнему секретарю ЦК Лигачеву. Как известно, новая метла всегда метет чисто. В данном случае вместе с сельским хозяйством «подмела» она и литературу. В издательстве разразился скандал, и заведующую отделом Зою Яхонтову отрядили в Минск — уламывать автора. Хорошая эта женщина приехала ко мне на Танковую и рассказала о полученном ею задании. В общем требовалось сделать, на первый взгляд, немного: «Снять вот здесь, здесь и здесь. А также, если можно, от сих до сих...» и

т.д. Я искренне хотел помочь этой женщине (*которая скоро должна была уходить на пенсию*). Ведь известно, каждый редактор — тот же сапер: однажды ошибся — и пиши пропало. Я черкал, выбрасывал, но логика произведения протестовала, приходилось что-то восстанавливать, мы нервничали и спорили. В конце концов вытравили слишком уж конфликтную сцену раскулачивания, еще кое-что. Цензоры, конечно, превосходно понимали, где был «знак беды», и очень старались, чтоб этого не понял читатель. Чтобы всё спрятать в строго засекреченных фондах, начисто вычеркнув из литературы. Но не в их власти было вычеркнуть это из жизни, ибо, как говорили древние греки, — даже боги не в силах переиначить прошлое. Оно выше настоящего, так как уже неподвластно никому.

Но большевики, однако, старались подчинить себе и его.

**Это стремление** в еще более драматической форме я почувствовал, когда М. Пташук снял по моей повести одноименный фильм. Поначалу всё как будто шло хорошо, почти приемлемо, насколько тогда вообще могла быть приемлема советская кинолента. Пташук как-то умудрился сдать картину без больших потерь, и ее отправили на кинофабрику в Киев делать копии для проката. Распустили съемочную группу, прекратили финансирование. И вдруг Пташука срочно вызвал заведующий отделом культуры ЦК КПБ Иван Иванович Антонович. Вместе с ним был вытребован и автор. Антонович в нервном тоне заявил нам, что фильм необходимо в срочном порядке переделать. Но Пташук сразу и решительно возразил — невозможно и некому. «Вы понимаете, — продолжал напирать Антонович, — это указание второго лица в государстве...» «А я не могу и не буду!» — твердо отвечал Пташук. «Тогда вам не работать на киностудии!..» — «Ну что ж, у меня есть водительские права, пойду крутить баранку». Антонович еще долго пытался уломать его, апеллировал ко мне. Безрезультатно. Нужно отдать должное режиссеру: он стоял, как скала.

В то время в Москве многое стремительно менялось. «Второе лицо в государстве» перестало им быть. Антонович пошел на повышение и уехал из Беларуси — ему уже было не до картины Пташука и Быкова. На горизонте замаячила серьезная угроза для КПСС в лице Горбачева и Ельцина. Несомненно, что появление у власти сначала одного, затем другого, а также умного Александра Яковлева, значительно смягчило культурный климат в стране. Начало изменяться и отношение к недавним диссидентам. Я не был диссидентом в полном значении этого слова, но всё равно почувствовал: что-то меняется.

Так, Союз писателей Беларуси выдвинул «Знак беды» на соискание Ленинской премии. Этому в немалой степени способствовала личная инициатива Нила Гилевича, который с недавних пор стал первым секретарем Союза (*после многолетнего секретарства Ивана Шамякина*). Прежде такое выдвижение было бы просто невозможно, так как Иван Петрович, получив дюжину орденов за литературу, не мог еще добиться для себя этой весьма престижной премии. Таким образом Быкова выдвинули как бы в обход законной очереди. Москва поддержала это выдвижение: пусть мол, для приличия в немалом списке номинантов будет и один белорус. Но совершенно неожиданно в результате тайного голосования в комитете по премиям большинство голосов получил именно он. Мнение членов комитета, как мне рассказали позднее, склонил на мою сторону известный и уважаемый русский композитор Георгий Свиридов. Он высказался примерно так: «Я люблю русскую культуру и русскую литературу, но еще больше — истину. А в данном случае истина состоит в том, что повесть «Знак беды» — лучшая среди других». Это всё и решило. Лауреатом стал Быков.

**Литературные премии**, как бы к ним ни относиться, могли быть оправданы тем, что венчали творческие усилия авторов, создавших те или иные произведения. Иным был принцип награждения всякого рода знаками отличия (*а их за*

*годы советской власти, в особенности к концу правления Леонида Ильича, перевалило за сотню*). На каждом предприятии, в учреждении, даже в колхозе трудно было найти человека, который не имел хотя бы одного ордена, а тем более медали. Кое у кого — от министров до доярок — были целые созвездия. Не составляли исключения и писатели. Так у уважаемого Максима Танка только орденов Ленина было больше, чем у маршала Конева, и немногим меньше, чем у маршала Жукова. Хотя Евгений Иванович, как писал Карпюк, за всю войну не сделал ни одного выстрела.

К своему 60-летию я получил звание Героя Социалистического Труда.

Этого, откровенно говоря, никак не ожидал. Награда сначала удивила, а позже смутила меня. Инстинктивно почувствовал, что пользы от нее будет немного, а хлопот не оберешься, да и как бы не было беды. В дальнейшем мои предчувствия в значительной мере оправдались.

У друзей, однако, было другое мнение. Одни искренне радовались, другие считали наиболее приемлемым вариантом (*всё же лучше, чем получил бы кто-нибудь иной!*), некоторые завидовали — не без того. Всё, как у людей. Эта награда приравняла меня к моим коллегам — Ивану Шамякину, Максиму Танку, Петрусю Бровке. А также к длинному ряду пронырливых председателей колхозов, пробивных директоров предприятий-«ящиков», передовых механизаторов и доярок. Было бы разумнее, на мой взгляд, если бы золотую звезду получил тот, кто ее очень добивался, или тот, кто более плодотворно работал в литературе. Мне казалось: здесь какая-то ошибка... Правда, друзья и жена говорили, что это за талант. Но ведь если он у меня и был, то далеко не апологетический к наградившему меня режиму. И режим знал это.

Может, всё дело в том, что действительно менялось время. Медленно, с натугой, но менялось, уступая место новому — новым людям, новой политике. Первым секретарем ЦК КПБ стал Слюньков. В Москве всё большую силу набирал молодой перспективный Горбачев, который фактически стал руководителем государства. Мне передавали, что на одной из встреч с Горбачевым Слюньков спросил, что он дума-

ет по поводу того, чтобы дать Быкову Золотую звезду. Тот согласился. Всё было сделано довольно быстро, но, как всегда, втайне. Лишь подписав указ, Громыко прислал поздравление новорожденному герою.

Вскоре после этого у меня состоялся разговор со Слюньковым. Первый секретарь ЦК КПБ, кажется, располагал временем и был в хорошем настроении. Интересовался литературой и литераторами, тем, как они чувствуют себя в сложных и изменчивых условиях современности. Ответ мой был кратким. К своим собратьям по перу я всегда относился уважительно, они заслуживали этого. Много ли найдется в мире писателей, которые работают в языковом вакууме, когда вокруг не слышно родного слова, а белорусский язык сохранился лишь как рудимент и рискует скоро стать подобием санскрита или латыни? Тем не менее наши поэты и прозаики продолжают писать свои романы и поэмы, лирику и эпос всё на том же родном белорусском. Хотя издаваться с каждым годом становится всё труднее. И жить не легче.

Хозяин республики в общем не возражал. Перед ним на столе высилась довольно большая стопка каких-то книг, которую он в конце разговора пододвинул ближе ко мне.

«Вот — Нил Гилевич, за два года издал десять книжек!» — «Что ж, человек пишет, ну и его печатают, — сказал я. — Это же не краденое...» — «Да, но другие такой возможности не имеют...» Тут уж я не знал, что ответить — не стоять же за уравниловку? Подоплека этого разговора была в том, что заведующий отделом пропаганды ЦК Савелий Павлов давно и настойчиво вел подкоп под Союз писателей. Пройдет еще некоторое время и Нил Гилевич организует его приём в Союз, полагая, видимо, что таким образом ослабит враждебность Павлова по отношению к себе и национальной литературе. Этого не произошло.

Муторное дело — юбилей. Он приносит уйму хлопот и забирает массу жизненных сил. Но дарит и несомненную радость: радость долгожданных встреч о друзьями, у которых возникает причина приехать, повидаться, ну, и, может, попировать — в меру своих возможностей. Конечно же, не так, как я, пригласив в Минск добрых людей, сам свалился перед

банкетом с сердечным приступом, и друзьям вместо участия в пиршестве пришлось меня спасать. А я так мечтал побыть тогда с милым Юрой Карякиным, с Игорем Дедковым, который примчался в Минск из своей Костромы. С Юрой мы хоть немного коньяку выпили в «Минске», а дорогого мне Игоря Александровича я услышал в полуобморочном состоянии, ожидая «скорую». Тогда спасали меня Сульянов и Законников: делали массаж сердца. Вызвали из дома Ирину. «Что с тобой, Василька?» — тревожно выдохнула она с порога. А Игорь, стоявший рядом, в ответ на чью-то неуместную реплику негромким голосом произнес: «Это потому, что любит...» Его незабываемый голос до сих пор продолжает звучать в моей памяти.

В этот раз я тоже пригласил гостей. И был очень рад приезду моих давних друзей — москвича Лазаря Лазарева с милой Наей, неугомонного Залыгина, с которым мы недавно пережили одну и ту же беду, осетина Нафи Джусойты, моего единомышленника и одногодка. Из Ленинграда прилетел Даниил Гранин, из Вильны — литовский златоуст Петкявичус, который на торжестве повеселил всех метким присловьем насчет того, что колбаса должна быть длинной, а речь — короткой. Раньше всех, пожалуй, появился из Молдовы шутливый Василь Василаке. Ну, а мои белорусские друзья были рады вместе со мной встретить и приветить гостей. Алесь Адамович сразу же начал опекать их, рядом были Буравкин, Козько, Матуковский. Куда-то, правда, пропал Рыгорка Бородулин. Но вскоре и он объявился. Алексей Карпюк на вечере в Купаловском театре, словно в укор тем, кто, раскрывая роскошные папки, читал лежавшие в них поздравительные адреса, вручил юбиляру фанерные крылья — для высокого полета. Я был тронут этим оригинальным подарком старого, много испытавшего друга.

Однако самое интересное и яркое ожидало нас на второй день и было связано с поездкой в легендарный и экзотический край — Полесье, которую подготовил мой молодой друг, известный писатель Виктор Козько.

Выехали мы — гости и минчане, некоторые с женами, — рано утром, на двух автобусах. На границе Житковичского

района, от которого я тогда был депутатом Верховного Совета, нас тепло и радостно встретили. Из районного центра мы направились в древний Туров. Приехав туда, сразу же взобрались на исторический холм. А в самом городке шумела цыганская свадьба с чубатым женихом и огнеглазой невестой. Всех приворожила красавица-Припять, на которой нас уже ожидало речное судно. И мы поплыли на нем куда-то вверх по течению. Куда — знал лишь свой человек в здешних местах Витя Козько. Остановились у песчаного берега. Там уже призывно дымился костерок, в ведерке варились раки. Они пришлись очень кстати к холодному пиву, бутылки охлаждали в воде. Гости и туровцы от души повеселились, а затем началось купанье. Жена бывшего моряка Лазарева, Ная, храбро переплыла Припять — туда и обратно. Настроение было радостным, но почему-то временами подступала грусть. Не от воспоминаний ли? А может, от смутного предчувствия трагической судьбы этой чудесной полесской реки, посыпанной вскоре чернобыльским пеплом?

Перед вечером Витя Козько не упустил случая свозить всех нас на свою Вильчу с прибрежными дубами, которые он много лет так упорно оберегал. Дубы были действительно прекрасные, вековые, многие из них широко раскинули свои кроны в пойме между рекой и селом.

Мне кажется, то были последние счастливые дни и часы в моей совсем еще не клонившейся к закату жизни. Очень скоро всё это ушло навсегда.

**Мне позвонили** из Союза писателей, секретарша сказала, что пришли какие-то немцы, которые хотели встретиться с кем-нибудь из руководства. Но, поскольку никого из руководителей Союза нет, они просят о встрече с Быковым. Что было делать? Оставил свои дела, положил в кейс бутылку коньяку и поехал на улицу Фрунзе.

В вестибюле меня ожидала довольно большая группа немцев (*человек 12*). Я сразу повел их в конференц-зал. Один из них, который более или менее сносно говорил по-русски, объяснил, что мои собеседники — священники и прихожане

немецкой евангелической церкви, что они представляют Aktion Suhnezeichen — организацию, которая заботится о жертвах нацизма во всем мире, в том числе и в Беларуси. Он сказал также, что в Германии читают мои книги и уважают Быкова, писателя-пацифиста, сторонника дружбы между немецким и белорусским народами. «Что ж, они не ошибаются, — ответил я. — Вражда — это не по мне, я за дружбу со всеми народами, в том числе, конечно же, и с немецким. По этому поводу прошу выпить за белорусским столом по чарочке грузинского коньяку».

Так началось мое знакомство с немецкой пацифистской организацией, которое счастливо продолжается и по сегодняшний день.

Разные люди были в той первой группе — священники и студенты, два-три ветерана минувшей войны. Один с протезом вместо правой руки. Он рассказал, как в 43-м году лежал в госпитале в Минске, и там ему ампутировали руку. У другого ветерана был церковный приход в Кройцберге — одном из районов Западного Берлина. Поэт Кристоф Хойбнер, молодой, чернявый, больше похожий на итальянца, чем на немца, занимался административными вопросами в этой самой Акции. Все члены группы по-настоящему заинтересовали меня, я почувствовал, что они совсем не похожи на тех фашистов, которые были памятны с войны. И чувство это не обмануло меня.

Через некоторое время в Дом дружбы и культурных связей, который возглавлял Арсений Ваницкий, приехала красивая элегантная дама, Хельга Сибаи, договариваться о конкретном сотрудничестве Акции с Беларусью. Было достигнуто соглашение об уходе за памятниками жертвам фашизма (*Хатынь*), об участии немецких волонтеров в лечении наших психических больных (*Новинки*), о присмотре за малышами в некоторых детских садах. Соглашение не осталось на бумаге. Уже перед весной приехала большая группа парней и девушек, полных желания поработать в Хатыни. Ее привез Хойбнер. После того как работа была завершена, в гостинице состоялась встреча, на которой меня попросили рассказать о Беларуси, о войне и немного о литературе. Это было

до перестройки, когда многие советские люди еще смотрели на немцев как на врагов, даже в Академии наук кое-кто во время визитов иностранцев запирался в туалете, чтобы не встретиться. Пожалуй, один Дом дружбы и его руководитель Арсений Ваницкий смело шли на контакты и даже добивались их расширения, для этого не раз приглашали и меня. Потребовалось немало времени и немало сдвигов в массовом сознании, чтобы возникли широкие связи со всеми странами. В налаживании этих связей активно участвовал Союз художников и очень несмело — Союз писателей. Гости приезжали из Германии, приглашали наших людей к себе. Ездили, разумеется, за их счет: у нас вечно не хватало средств.

Однажды меня пригласили в Западный Берлин на форум, связанный с годовщиной захвата власти Гитлером. В том, что форум этот будет антифашистским, у меня не было никаких сомнений, я уже знал отношение Акции к недавнему прошлому Германии. Но, естественно, не мог знать всего. Насколько широко, к примеру, популярны антифашистские идеи среди жителей Западного Берлина.

Массовое собрание это должно было проходить в огромном зале технического университета. Задолго до начала, назначенного на 18 часов, там не осталось ни одного свободного места — пришедшие стояли в проходах и вдоль стен. Руководителем (*медиатором*) форума стал мой друг Кристоф Хойбнер, и я впервые смог по-настоящему оценить его организаторские и шоуменские способности. В течение шести часов он неутомимо и умело направлял ход интернационального собрания, в котором выступления ветеранов-антифашистов, гостей из всех стран Европы, чередовались с выступлениями вокально-музыкальных групп, в том числе чудесной группы и хора из Израиля. Мне также довелось выступить там. Я рассказал, как был воспринят приход Гитлера к власти в Беларуси, что принес он с собою в дальнейшем, рассказал о наших жертвах, о наших партизанах. Зал аплодировал стоя.

После этого форума я еще не раз посещал Западный Берлин, вплоть до разрушения Берлинском стены. С каждой поездкой были связаны свои проблемы. Прежде всего — транс-

портные. Город почти всё время находился в жесткой блокаде. Аэропорт «Шенефельд», как известно, находится в его восточной части, принадлежавшей ГДР, поездом попасть тоже было невозможно. Приходилось обращаться в советское посольство, просить помощи. Но посольские работники совсем не заинтересованы были в моих поездках. Вследствие этого я с чемоданами тащился пешком. А тут еще правила перехода стены-границы всё время усложнялись, и иногда меня с пропускного пункта возвращали назад. Однажды — правда, уже в годы перестройки — нас с Анатолием Кудравцом почти нелегально перевезла жена Хойбнера — храбрая француженка Мишель. Вернуться же после трех-пяти дней гостевания в Западном Берлине было еще труднее: никакой транспорт в восточную часть города не ходил. Тогда перед отъездом я шел к советскому консулу Быкову и просил дать машину. Возможно то, что мы оказались однофамильцами, сыграло известную роль, но консул благоприятно отзывался на мои просьбы, и на следующее утро меня привозили в аэропорт «Шенефельд». Впоследствии, однако, Быкова перевели в Москву, где он умер, не дожив до сорока лет. Больше в генеральное консульство я не обращался.

Обычно мы с Кудравцом поселялись в западноберлинской гостинице «Богота» — недорогом и нешикарном отельчике, который находился почти на Курфюрстендамм, которая вела к Кудаму с его известным храмом, напоминающим о трагедии минувшей войны, — Гедахнискирхе. Отельчик этот со временем мне очень понравился: удобным было месторасположение, хорошим — обслуживание. Приезжая несколько раз подряд, ты уже становился здесь другом или по крайней мере добрым знакомым, тебя узнавали и радостно улыбались при встрече. Именно тогда мне вспомнилось давнее свидетельство Хемингуэя, который писал, что стоит при отъезде дать испанцу-портье несколько долларов, как в следующий раз, будь это через год или через три, если ты вернешься, тебя узнают и примут как лучшего друга. Здесь, в «Боготе», мы не давали ни одного доллара (*их просто не было*), но нас действительно узнавали и привечали. И не испанцы, а немцы. Это ведь тоже кое-что значило.

В день приезда или на следующий день начинались встречи — в бюро Акции, находившемся около вокзала, в клубах — с молодежью, со студентами Свободного немецкого университета. Встречались и с активистами этой пацифистской организации в Кройцберге и в некоторых других районах города. Иногда, особенно вначале моего сотрудничества с Акцией, я принимал участие в деятельности руководства евангелической церкви на Ванзее, в чудесном зеленом пригороде Западного Берлина. Даже выступал как-то на протестантском молитвенном собрании, а после вместе с уважаемым епископом Шарфом любовался белорусскими танцами в зеленом театре.

**В Западном Берлине** были организованы мои встречи с читателями. Однажды встретился со студентами Свободного университета. В небольшом кафе, уставленном дюралевыми столиками, собралось человек 50 студентов. Сидели, пили пиво и колу, я что-то рассказывал, отвечал на вопросы. Был и такой: «Что такое Беларусь? Где она находится? В Сибири или поближе?» Один молодой человек, изрядно поддатый, набросился на меня с бранью: «Почему вы ввели танки в Прагу?» Я пытался что-то объяснить, но парень не унимался. Тогда из-за столика поднялся здоровенный юноша, настоящий атлет, взял скандалиста за шиворот и выставил за дверь.

Когда встреча закончилась, я поинтересовался, кто он, тот здоровила? Оказалось, американец из Оклахомы. Он не за советские танки, но не любит пьянчуг и наркоманов.

А в другой раз, в городском районе Кройцберг, ко мне подошел хромой, пожилой уже человека и на ломаном русском языке спросил, как теперь живется белорусам в Мозыре и Пуховичах? Оказалось, он знаком со многими белорусскими городами и деревнями — воевал на нашей земле. Что с ногой? Ранение. Операцию сделали в плену, оперировала «арту-юде». Плохо прооперировала, на всю жизнь остался инвалидом. Но он не в обиде — ни на «юде», ни на Гитлера, каждый делал свое дело. Важно, чтобы делать его профессио-

онально. К сожалению, профессионализма теперь не хватает очень многим. «Странная философия», — подумал я. И спросил, чем занимается уважаемый ветеран, какая у него профессия? Он сказал, что теперь — на пенсии, а до того был школьным учителем. Преподавал математику. В том числе высшую.

Все немцы, с которыми я познакомился и подружился, очень уважительно относились к белорусскому народу, искренне сочувствовали ему в беде, которую он изведал в результате гитлеровского нашествия. О страданиях, испытанных им в годы власти большевиков, о чем я рассказывал без утайки, высказываться воздерживались, но я чувствовал, что и в этом они на моей стороне. Языковой барьер преодолевался более или менее успешно. Так, в разговорах с Хойбнером мы пользовались довольно сложной «трасянкой» из трех языков — русского, немецкого и польского. В других случаях переводчицей служила Ирма, студентка, приехавшая в Западный Берлин из Риги. Эта девушка была умна, образованна, неплохо ориентировалась в немецкой истории и политике, она посвятила меня во многие их особенности и тайны. Несколько позже Ирма вышла замуж, родила ребенка и, к сожалению, перестала сотрудничать с Акцией. Переводить стала наша землячка из Минска — Лена Пренц, которая училась в Берлине.

Мои немецкие друзья познакомили меня с некоторыми весьма любопытными текстами, к которым я не имел доступа на родине. В книге одного из ранних сотрудников Гитлера Раушнинга, который записывал для истории высказывания фюрера, я сразу обратил внимание на такой пассаж: «Между нами и большевиками больше сходства, чем различия. Я дал распоряжение, чтобы бывших коммунистов беспрепятственно принимали в нашу партию». Весьма характерным показалось мне и другое свидетельство — доктора Ламмерса, тоже одного из гитлеровских приближенных. «Национал-социализм, — говорил Гитлер, — это то, чем мог стать марксизм, если бы освободился от своей абсурдной искусственной связи с демократическим устройством. Революционное учение — вот секрет новой стратегии. Я учился у большевиков. Я не боюсь говорить об этом».

Несомненно, и Сталин учился у фашистов. Некоторое время они действовали согласованно, пока не вступили в жестокое единоборство. Как пишет свидетель, на этот раз близкий к Сталину, тот, когда узнал о самоубийстве Гитлера, стоя у окна своего кремлевского кабинета, раздумчиво произнес: «Доигрался подлюга! А сколько славных дел мы могли бы совершить вместе...»

К счастью, не совершили! Не всё в мире было разделено между красными и коричневыми, оставался свободный мир, который и стер с карты коричневую половину. Красная пока еще оставалась.

После объединения Германии финансовые дела Акции стали ухудшаться, бюро вынуждено было переехать в самый дешевый район Берлина. Но организация упорно не хотела отказываться от сотрудничества с Востоком, в том числе с Беларусью. Каждый год присылала волонтеров-альтернативщиков. Молодые люди месяцами работали санитарами в Новинках и Боровлянах, изучали язык — к сожалению, преимущественно русский. Один только молодой человек очень удивил меня в Берлине, когда сказал десяток белорусских слов, которым научила его пожилая санитарка в Боровлянах. Руководил волонтерами всё тот же Кристоф Хойбнер. Вот только стихов он стал писать меньше: работа и повседневные заботы отвлекали от поэзии. Кристоф часто бывал в Беларуси и Польше, стал шефом немецкого культурного центра в Освенциме. А жил он в старом фешенебельном районе Западного Берлина. В его доме хозяйничала жена — красавица-француженка Мишель и подрастали два славных паренька, которые уже в школьные годы свободно говорили по-французски и по-английски. Помню, младший Нема, как-то спросил: «Герр Быков, какой марки ваш хунд?» (*То есть, какой породы моя собака.*) Это очень рассмешило меня: в одной фразе прозвучал отголосок соприкосновения разных языков и цивилизаций.

Однажды поздней осенью ехал в Германию на какое-то мероприятие Евангельской церкви. Не дойдя до польско-немецкой границы, поезд неожиданно остановился на какой-то неприметной станции. Проводница объявила, что поезд

дальше не пойдет, в Германии забастовали железнодорожники. В вагонах выключили свет и отключили отопление. Пассажиры стали разбредаться кто куда, искать какой-нибудь другой транспорт. Я остался один в холодном купе, не зная, что мне делать. Прошло, должно быть, часа два. И вдруг слышу знакомый голос: «Где есть Василь Быкофф?» Да это же мой Кристоф! Откуда он взялся в этом польском захолустье? Оказалось, приехал за мной на своей машине из Берлина, узнав, что мой поезд застрял. Мы обнялись, я был приятно удивлен и бесконечно обрадован. Взяли еще одного неприкаянного пассажира — ленинградского ученого, который, как и я, маялся в пустом вагоне, и поехали.

Во Франкфурте-на-Одере подхватили Людмилу Корбут, мою землячку, которая всё из-за той же забастовки не могла добраться до Берлина, где она жила. С Кристофом Людмила была давно знакома, они дружили. Со дня того совместного путешествия в машине Кристофа и я подружился с Людмилой, а затем и моя жена. Людмила хорошо знала немецкий и благодаря этому не раз нас с женой выручала, ходила с нами в эмиграционное ведомство, помогала заполнять всевозможные анкеты. Позже она была нашей гостьей в Виепесдорфе. Жизнь ее сложилась не очень счастливо, и, может, потому она была отзывчива, считала своим долгом помогать людям. Как и ее немецкий друг Кристоф — наш общий лучший друг.

Всякий раз, когда в Минске появлялись немцы, привозимые Хойбнером, возникали трудности с устройством их в гостиницах. Этим занимались мы с Анатолеем Кудравцом (*который успел к тому времени опубликовать в «Немане» несколько переводов его стихотворений*). Гостей иногда устраивали мы сами, в некоторых случаях приходилось обращаться к Ваницкому. Хойбнер и его друзья были довольны. Он, в свою очередь, пригласил нас на несколько выступлений в Берлин и некоторые другие города ФРГ. Мы выступали на молитвенных собраниях евангелистов, давали интервью газетчикам. Я встречался с политиками, депутатами бундестага. Дважды беседовал с нынешним министром обороны, а тогда просто депутатом Шарфингом, был принят премьером земли Нижняя Саксония Шредером. Все они живо

интересовались положением в Беларуси, выражали готовность помочь ей.

Помощь эту получали у нас многие. В особенности, когда речь шла о детях. Сошлюсь на близкий мне пример. Последствия Чернобыля резко сказались на здоровье внучки Анатолия Кудравца, она серьезно заболела. Хельга Сибаи, о которой я уже писал, сделала так, что шестилетняя девочка с матерью смогла поехать на лечение в городок Исни (*земля Альгой*). Это помогло, хотя и не сразу.

В Германии наш милый гид Кристоф Хойбнер старался показать нам разные стороны немецкой (*западной, буржуазной*) жизни, знакомил с тамошней культурой и бытом. Мы с Кудравцом только смотрели и помалкивали. Лишь вечерами, в гостинице, оставаясь наедине, скупо выражали свое удивление и восхищение. Организовать для Кристофа такую же поездку по нашей родине мы не решались — не хотели, чтоб он увидел слишком уж явный контраст. Тогда казалось, что поступаем правильно, поскольку неизвестно было, как отнесся бы он, обнаружив этот контраст, не изменил бы отношения ко всем нам. Хотя, как выяснилось вскоре, он и так всё знал и видел. Но, будучи человеком деликатным, не давал нам этого понять...

Благодаря Хойбнеру мы объездили значительную часть Западной Германии, побывали в Дортмунде, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне. Как-то (*это было уже в конце существования восточногерманского государства*) он неожиданно спросил: «Не хотите ли вы выпить гэдээровского пива?» Мы, понятно, не отказались бы. Но как это сделать? Тогда еще стояла печально-знаменитая Берлинская стена, около которой несла круглосуточную вахту бдительная стража. Тогда Кристоф повез нас в предместье Берлина Ванзее, в котором густые заросли на старом кладбище прикрывали узкий пролом в стене. Мы протолкнулись через него и оказались уже в ГДР, на окраине деревни. Затем нашли гаштет — местный кабачок, где и выпили по кружке восточногерманского пива, расплатившись западногерманскими марками. А когда тем же путем возвращались назад, написали на стене фломастером: «Здесь были два белоруса и один немец». Поставили

дату и втроем расписались. Этого знака белорусско-немецкой дружбы давно нет, как нет и самой стены, и западные немцы свободно ездят на своих «фольксвагенах» в ту деревню, если у них возникает желание выпить именно в ней кружку-другую пива. Что ж, в добрый час!

**Поселившись в** Минске на Танковой, я не сразу познакомился со своими соседями. Прошло некоторое время, пока я узнал, кто живет со мною рядом, на одной площадке. Несколькими этажами выше находились мастерские художников, но я не был знаком с ними. Те живописцы и графики, с которыми встречался прежде, жили в других местах — преимущественно в новом доме на улице Сурганова. Поэтому немного удивился, когда меня вдруг пригласили по телефону зайти в одну из комнат на двенадцатом этаже.

Там была мастерская художника-графика Евгения Кулика, которого я иногда встречал во дворе. Всегда одинокий, болезненный, сгорбленный, он неторопливо шел из магазина или в магазин, вежливо здоровался, но не больше. Разговоров между нами не возникало. А в этот раз он гостеприимно встретил меня, попросил сесть и сказал, что есть дело. Кроме него в мастерской были Микола Купава и еще кто-то незнакомый. Мне сказали, что художники написали письмо в Москву по поводу бедственного положения белорусского языка и теперь собирают подписи под ним.

Я бегло прочитал письмо. Оно не отличалось новизной. Таких писем писалось немало, и всё впустую. Потому что дело ведь совсем не в том, что белорусский язык гибнет сам по себе. Партийное руководство знало об этом не хуже наших интеллигентов. Может быть, даже лучше, чем они, потому что владело всеми фактами и цифрами. Но как оно к этому относилось? Когда интеллигенты плакали, партийцы радовались, так как это было то, к чему направлялись их усилия. А именно — к окончательной победе коммунизма в одной, отдельно взятой стране, с единым языком, единой верой и единым руководством — ленинским ЦК... Важно было только сохранить в секрете широко проводившийся лингво-

цид, не разрушить психологический комфорт высокого начальства в этом вопросе. А тут какая-то горстка художников и писателей лезет со своим письмом...

Об этом, разумеется, знали авторы писем-жалоб в различные партийные инстанции. Потому что писали не в первый раз. Но упорно повторяли свои попытки достучаться до них — ничего другого им не оставалось. А что-то делать было совершенно необходимо. Хотя бы для очистки совести, для того, чтобы показать пример последующим поколениям, которым предстояло идти тем же путем. Чтобы существовал прецедент в прошлом. На какой-нибудь успех в настоящем мог рассчитывать разве что законченный дурак.

Я подписал письмо, через день-другой появились и другие подписи, и художники послали его в Москву — Горбачеву.

Вопросы, связанные с языком, волновали меня всегда. Еще за год до посылки письма напечатал в «Известиях» статью в его защиту, а затем на эту же тему выступил в прямом эфире московского телевидения. Тогда моим коллегой в студии НТВ был известный украинский писатель Владимир Яворивский, и мы вдвоем обращались к российской интеллигенции с призывом помочь нам защитить национальные святыни. Призывы эти, к сожалению, не были услышаны.

Те же вопросы остро ставил не я один. Так, Зенон Позняк опубликовал в эстонском журнале «Радуга» аргументированную статью, посвященную лингвоциду в Беларуси. Эта тема громко звучала в статьях и выступлениях Нила Гилевича, Рыгора Бородулина, Анатоля Вертинского и других наших писателей. Но письмо, о котором идет речь, впервые было адресовано непосредственно генеральному секретарю ЦК КПСС.

Ни на что не надеясь, мы всё-таки с нетерпением ждали ответа. Одни даже начали высказываться насчет того, что теперь, мол, язык узаконят, заставят руководство говорить по-белорусски, другие не могли сдержать кривых усмешек. Кое-кто считал, что если бы Машеров не погиб, он вернул бы родной язык в конституцию БССР. Но как он мог сделать это, если сам его оттуда исключил? Да и вообще неизвестно, знал ли он хоть одно белорусское слово?

Как раз в это время в Минске гостила группа космонавтов. Тогда же в столицу приехал старый Пономаренко. На встречу с ними в дом, что в Войсковом переулке, были приглашены деятели культуры, позвали и меня. Я несколько удивился — зачем? Космос меня никогда не увлекал, я знал лишь немногих космонавтов. Но на встречу всё-таки пошел. Там были Климук, Коваленок, Терешкова с дочкой, еще кто-то. Гостей, как положено, посадили на почетные места за столом. Начались тосты и разговоры. Через некоторое время чинный порядок встречи был нарушен, участники сами собой разделились на группы «по интересам». На одном конце стола космонавты, окруженные восхищенными дамами, выдавали соленые анекдоты, а на другом — что-то тихим голосом рассказывал Пантелеймон Кондратьевич. Я прислушался. Похоже, в который раз озвучивалась старая басня о том, как он, Пономаренко, ордера на арест белорусских писателей заменил у Сталина на ордена для них. По его словам, сделать это было довольно сложно и небезопасно: сам вынужден был тайно добираться до Москвы через Слуцк и Бобруйск, долго добиваться приема у Сталина. Тот якобы спас от Берии славу белорусской литературы — Янку Купалу, Коласа, Бровку с Глебкой. Рассказ старого партийного босса имел успех. Кто-то тут же предложил тост за здоровье Пантелеймона Кондратьевича. После этой встречи в газетах был воспроизведен рассказ Пономаренко, расписан его «героический поступок». О нем не раз упоминал в своих выступлениях Борис Саченко (*он вскоре напечатает статью, в которой сообщит о том, что «незавязанные шнурки», а не кагэбисты виноваты в гибели Янки Купалы*). Пономаренко при жизни становился благороднейшим лицом белорусской истории.

Прошло не так уж много времени, и наступило отрезвление, и померкла героическая аура, созданная вокруг Пономаренко. «Ученый крот» откопал в бездонном партархиве засекреченные ранее письма тогдашнего партийного вождя Сталину. В них белорусский гаулейтер слезно просил разрешения как можно скорее арестовать националистов и врагов народа Янку Купалу, Якуба Коласа и еще некоторых других

вредителей, «мешавших успешному строительству социализма в БССР». Почему Сталин не удовлетворил эту просьбу — неведомо. Но вряд ли в этом есть хоть какая-то заслуга Пономаренко.

Как известно, бумажка в современной бумажной цивилизации — большая сила. Не горят не только рукописи — не горят порою и доносы. Это, несомненно, способствует выявлению истины, к чему стремится литература. По крайней мере — должна стремиться.

Между тем ответа на письмо, посланное в ЦК КПСС, не было довольно долго. Как вдруг — новость: из Москвы приехала комиссия разбираться с проблемами языка в Беларуси. И очень скоро нас начали вызывать по одному и секретно (*как тогда было принято*) в особый кабинет, находившийся в здании ЦК. Там сидели два надутых чиновника со Старой площади и приткнувшийся к ним Иван Антонович. Разговор с самого начала сводился к тому, что подписанты не разобрались в поднятом ими вопросе, частные факты (*«фактики»*) посчитали типичными, в результате чего написали неправду, возвели поклеп на партийную политику в Беларуси. В действительности же белорусский язык в республике функционирует нормально и успешно развивается, общие тиражи газет, печатающихся на этом языке, в сравнении с прошлой пятилеткой увеличился на ... процентов, 80 процентов всех школ — белорусскоязычные. «Да нет же ни одной белорусской школы!» — не выдержал я. Чиновник, выкладывавший мне всё это, сразу же умолк. Видно, не привык, чтоб ему возражали, тем более, чтоб перебивали его. Помолчав, сказал, что на следующий день они поедут по областям и на месте познакомятся, как обстоят дела с языком.

Через несколько дней меня вновь вызвали в ЦК. На этот раз Антоновича в кабинете не было, за столом сидели лишь москвичи. Один из них бодро сообщил мне, что на Гродненщине они зашли в первую попавшуюся по дороге школу, и школа эта оказалась целиком белорусской. «Какая это школа? — поинтересовался я. — Наверно, в Гудевичах?» Чиновник в замешательстве уставился на меня: «А вы откуда знаете? Кто вам сказал?» — «Кому же неизвестно, где

у нас белорусская школа напоказ? В Гудевичах! Там и учитель такой есть — Белокоз, белорусский энтузиаст...» Мои собеседники заглянули в свои записи — да, действительно, Белокоз...

Мне показалось, что я им что-то испортил — благоприятное впечатление, что ли? Или я ошибался? Ведь разыгрываемый ими спектакль вряд ли можно было чем-нибудь испортить...

Как и следовало ожидать, письмо наше осталось без последствий, в языковой проблеме ничего существенно не изменилось. Борьба за ее решение давно уже приобрела хронический характер. Она то разгоралась, то затухала, не принося сколько-нибудь ощутимых результатов. Но на этот раз хоть никого из подписантов не посадили, не уволили с работы. Чувствовалось, приближаются новые времена, и это вселяло надежду.

**Летом, после** Купалья, появилась возможность поехать в Италию. Как я мог не воспользоваться такой возможностью? Со времени давней поездки в Рим страна эта была для меня желанным солнечным праздником. Приглашала мэрия города Терни, столицы провинции Умбрия. Ехать предстояло втроем. Кроме меня, в нашу группу входили Дейнеко из Товарищества дружбы и известный уже Иван Иванович Антонович из ЦК.

В накаленном летним зноем аэропорту имени Микеланджело нас ожидал живой и разговорчивый итальянец Джорджио, который на новенькой «Альфа-Ромео» повез нашу группу в Терни.

Летняя Италия даже через стекла мчащегося автомобиля выглядела чудесно, сказочно. По новой автостраде Джорджио гнал машину со скоростью 120 километров в час. Мимо проносились придорожные деревья и купы кустов с белыми и желтыми цветами. Вдали величественно проплывали хвойные зонты пиний. На склонах опаленных горячим солнцем гор вырастали старинные городки с добротными каменными домами, католическими храмами, древние замки, обса-

женные кипарисами виллы. Терни, современный индустриальный город, показался нам менее привлекательным, зато водопад на его окраине, знаменитый Каскадо, оживлявший весь окрестный пейзаж, был несомненной городской достопримечательностью.

Из центра провинции мы с Джорджио поехали на его родину — в курортное местечко Педилюка. Извилистая дорога долго петляла среди белых скал, пока, наконец, ни привела к поселочку, который прилепился к крутому склону на берегу горного озера. Выше по склону можно было разглядеть развалины какого-то замка, а на другом берегу виднелась скульптура Мадонны, словно выраставшая из зеленого холма. Вся эта красота отражалась в тихой озерной воде.

Мы поселились в придорожном мотеле, и Джорджио Бергамини начал возить нас теперь уже на собственном стареньком дизеле, который, увы, слишком часто выходил из строя. То потечет вода из радиатора, то лопнет шина... Мы съездили в Терпи, а оттуда — в усадьбу его приятеля-художника. Тамошний дом, гордо именовавшийся студией, был просто старой мельницей, приспособленной для жилья и работы. Внутри по каменному полу тёк чистый и прохладный ручей. Старый отец художника угощал нас вином и рассказывал, как работает сын. Выяснилось, что по профессии он металлург, а искусство — его хобби. Затем мы съездили в горную деревушку Палина, из которой открывался великолепный вид на широкую, затянутую сизой дымкой долину. Эта деревушка в минувшую войну была партизанской базой, и ее жители очень хотели бы подружиться с белорусскими партизанами.

В Терни довелось присутствовать на открытии белорусской художественной выставки. Это было постыдное зрелище. Полотна 40—50-х годов на темы подъема льняной тресты или заключения договора о соцсоревновании, портреты передовиков производства, развешенные в маленьком зальчике, производили гнетущее впечатление на редких посетителей. Действительно, показывать такие картины в Италии, стране высокого классического искусства, было для организаторов выставки проявлением величайшей самонадеяннос-

ти. Вероятно, даже они понимали это. Поэтому, когда выставка закрылась, о ней словно забыли, и полотна оказались по существу бесхозными. На родину их доставил всё тот же Джорджио — по собственной инициативе и за свой счет.

Одно из воскресений мы провели во Флоренции. Это была, наверно, самая незабываемая моя поездка. Я увидел подлинную статую Давида на площади перед собором, в котором когда-то встречались герои бессмертного Данте. А во всемирно известной галерее Уффици не сумел сдержать слез перед полотнами Сандро Боттичелли, с которыми по репродукциям был знаком еще в дни моей трудной юности. Полные впечатлений, мы в ближайшей траттории выпили по паре бокалов кьянти, которое с тех пор полюбилось мне на всю жизнь.

Джорджио был для нас и шофером, и гидом, и заботливым хозяином. Этот итальянец стал для меня верным многолетним другом. Почти каждый год после нашей первой встречи приезжал он в Минск — то со спортсменами, то с туристами, то с ветеранами-партизанами. Оказался он и советником итальянской фирмы, занимавшейся реконструкцией автодороги Брест—Москва. Я помог ему наладить сотрудничество с Товариществом дружбы, и Арсений Ваницкий не однажды принимал Джорджио и беседовал с ним за чашечкой кофе. Характерно, что вот с Антоновичем во время нашей поездки в Италию отношения у них были очень напряженными, они почти непрерывно спорили. Дело в том, что Джорджио был итальянским коммунистом, а Антонович, естественно, советским. Это, по-видимому, и являлось причиной часто возникавших конфликтов: всё-таки итальянские коммунисты были иной породы, чем наши.

Мой итальянский друг старался поддержать меня и материально в ту пору, когда у нас разразился политико-экономический кризис, когда с магазинных полок исчезли и продукты, и водка. Звонит как-то Джорджио из минского мотеля: приезжай, мол, за гостинцем, только обязательно на машине. По дороге я всё думал: какой это может быть гостинец, если для его перевозки требуется автомобиль? Оказалось, то был целый ящик кьянти, который Джорджио спрятал под

сиденьем своего микроавтобуса. Я удивился: «Как же ты провез?» Мой друг громко рассмеялся: «Итальяно — буно контрабандисто!» Что ж, спасибо тебе, опытный контрабандисто, мы часто вспоминали тебя, когда пили твое чудесное кьянти!

Был случай, когда и я выручил его — в меру моих возможностей. Он считает, что даже больше.

Его сын-подросток попал в мотоциклетную аварию и сломал ногу. Итальянские врачи срастили ее, но после этого нога стала короче другой, здоровой. Требовалась новая операция, которую согласился сделать очень известный в ту пору доктор Илизаров из Кургана. Джорджио повез сына туда, не имея там ни одной знакомой души, не зная языка. Такой энергичный и разворотливый, он почувствовал себя беспомощным. В довершение всего Джорджио обворовали. Без документов и денег он попал в милицию. И тогда вспомнил про Минск и Быкова.

И вот поздно ночью в моей квартире раздается телефонный звонок. Милицейский полковник из далекого сибирского города интересуется, действительно ли я писатель Быков, о котором он недавно читал в газетах? А получив подтверждение, спрашивает: знаю ли я итальянца по фамилии Бергамини, задержанного в Кургане? Понятно, что я постарался наилучшим образом аттестовать курганским милиционерам моего итальянского друга. В конце концов ему удалось достойно выйти из незавидного положения, в котором он оказался не по своей вине. Сына Джорджио оперировали успешно, и я за это горячо поблагодарил доктора Илизарова. А сын моего друга — Стефано — вскоре лихо отплясывал на собственной свадьбе.

Как я уже писал, Джорджио был частым гостем Беларуси и сразу появлялся у меня на Танковой. Как-то приехал с семьей — женой Анной и дочкой Симоной, привозил и своих друзей из Терни, и ветеранов из Палина. Конечно, приглашал и меня с Ириной приехать в Италию — отдохнуть, искупаться в Адриатическом море, на берегу которого у Анны имелось какое-то жилье. Мы были благодарны нашему милому итальянцу, но не поехали. Не поехали и тогда, когда

предстояло получить награду от президента Италии, а также премию имени св. Валентина. Неловко было выступать в роли бедного родственника, который надеется на щедрое гостеприимство хозяина. Тем более, что хозяин и сам не из числа богатеев... Гость почти всегда был беден и заботился о том, чтобы не потерять остатки чести, — то последнее, что еще имел.

**С середины** 80-х годов мои книги довольно часто издавались в Союзе; несколько реже — в Беларуси. Гонорары в рублях были стандартными. Разве что мне как лауреату платили немного больше. Так, за книгу прозы страниц на 500 мог купить «Жигули». Только вот покупать не то что машину, а многое из того, что было необходимо, не представлялось возможности. Товары, пользовавшиеся спросом, тем более повышенным, свободно не продавались. Чтобы их приобрести, приходилось обращаться к властям (*главным образом — партийным*) или иметь блат в торговых организациях. Правда, Союз писателей обладал некоторыми привилегиями, которые давали возможность его членам покупать, к примеру, автомобили или пыжиковые шапки. Деньги в обществе, организованном и существовавшем на основе планово-распределительного принципа, имели второстепенное значение. Но личные потребности людей входили в противоречие с этим принципом, возникали и проявлялись независимо от государственных установлений. Помню, внезапно и удивляюще возрос спрос на книги (*словно в предчувствии скорого прощания с книжной цивилизацией*), популярное издание можно было достать лишь по знакомству, таким же путем добывались и подписки на классиков. Западные интеллектуалы тогда завидовали нам, ибо в Европе престиж литературы упал уже очень низко в результате решительного наступления аудиовизуальной культуры, и книга буквально на глазах теряла свою духовную и информационную ценность.

Но произведения наших писателей на Западе еще продолжали издавать. Особенно в социалистических странах. Только в ГДР в переводе на немецкий язык вышло полтора

десятка моих книг, немного меньше — в ФРГ, Франции, Италии. Но получить гонорары за них было непросто. Заключение договоров на издание и выплату авторских вознаграждений полностью взяло на себя государство в лице специально созданной организации «Союзкнига». Были определены ставки налога с гонораров. Ставки эти составляли 70 процентов, плюс 30 процентов комиссионных в пользу «Союзкниги». Такая гибкая система давала возможность вообще не платить за некоторые издания (*например, «идейно вредные»*) и целиком присваивать то, что должен был получить автор. Эти средства шли, как стало известно позже, на финансирование заграничных отделений советской разведки, которая в то время уже начала испытывать денежные затруднения. С авторами у нас расплачивались чеками, на которые можно было приобретать товары в специальных магазинах с ласковым названием «Березка». Люди старшего поколения, вероятно, помнят еще эти стыдливо запрятанные в тихих переулках магазинчики, в загадочных витринах которых виднелись рекламные плакаты «Интуриста» с русскими красавицами в кокошниках. Там действительно было что покупать, в особенности, если хватало чеков. Но авторы изданий, выходивших за рубежом, получали их до смешного мало — 50 рублей за книгу, и это считалось еще хорошо. А то платили и по 40, 20 и даже 10 рублей за издание. И всё — по закону, и жаловаться было не принято. Большой «законник» Богомолов попробовал судиться с организациями, обиравшими писателей, и высудил 15 рублей-чеков за пухлый роман, изданный в Чехословакии.

Однако кое-где в соцстранах издатели нарушали советские законы и печатали книги, не заключая официальных договоров, почти пиратским способом. И в случае приезда автора в страну к моменту выхода его произведения, полностью выплачивали ему гонорар, удерживая лишь внутренний налог. Но такая практика продолжалась недолго. Ее категорически запретили. За «нарушение правил валютных операций» у нас карали весьма строго. Наследники нобелевского лауреата Б. Пастернака оказались в тюрьме, так как отважились получить какие-то деньги за зарубежное издание произведе-

ний покойного поэта. С теми, кто пытался обходить установленные правила, боролись теми же методами, что и с валютчиками-фарцовщиками...

У меня в Париже была на выходе третья книга прозы, и знакомая сотрудница издательства Люся Катала прислала мне приглашение от его имени. Я сразу же начал оформлять документы для поездки — объективку, характеристики, анкеты, визы, справку о состоянии здоровья. Договорился с издателями, что приеду в первой декаде октября, как раз к моменту, когда книга выйдет в свет, чтоб успеть получить гонорар. Постарался всё сделать как можно быстрее и прилетел в Париж вовремя. В аэропорту «Де Голль» меня встречала заботливая Люся (*кстати, наша землячка, из Бобруйска*). Она повезла меня в Латинский квартал, где был заказан номер в отеле. По дороге сообщила мне «приятную» новость: вчера в издательстве появился парижский уполномоченный «Союзкниги» и забрал мой гонорар. Остаток его, принадлежащий мне, я смогу получить в Москве.

Всё сразу стало ясно. Неделю в Париже прожил на франки, которые для карманных расходов презентовало мне издательство. Трехтысячный гонорар пошел на финансирование милой разведки, что очень «утешило» автора. Искренне сочувствуя мне, издательство и друзья окружили меня повышенной заботой и вниманием — повели в знаменитую «Р о т о н д у», угощали там морскими ежиками. Вечером ко мне в отель заехал Ефим Эткинд и повез на квартиру, хозяином которой был Катала. Там состоялся дружеский разговор с известными эмигрантами Виктором Некрасовым, Андреем Синявским и Марией Васильевной Розановой. Синявский выглядел довольно бодрым и, как когда-то Камю, на всё и всем говорил НЕТ, что меня несколько удивило. У Виктора Платоновича вид был болезненный, жить ему оставалось недолго...

Люсина подруга Ирина Сокологорская назавтра свозила меня в Барбизон, деревню, излюбленную импрессионистами, а также на широко известное кладбище Сен-Женевьев де-Буа, знакомство с которым до конца дня наполнило меня глубоким пессимизмом. Муж Ирины был в то время дека-

ном Сорбонны, и он дал мне возможность выступить с лекцией в Восточном университете, где изучались все языки народов, живущих в Советском Союзе. Кроме белорусского. Я спросил: почему? Мне сказали: нет интересующихся. Этот язык в Париже не знает никто. Вот так сюрприз! Но почему, собственно, сюрприз, поостыв, подумал я. Почему белорусский язык должны знать в Париже, если его не желают знать в Минске?

Диктат Москвы в области издательской политики распространялся очень далеко, нередко касался даже мелочей. Вспоминается такой эпизод. Во время поездки делегации Союза писателей в Софию, кое-кто из ее членов должен был получить гонорар. С выплатой его болгары почему-то тянули, и только в последний день повели нас в бухгалтерию. Там, как бы между прочим, показали нам полученную из Москвы телеграмму, сколько следует заплатить каждому из авторов в процентах: Сырокомскому — 60, Ахмадулиной — 90, Вознесенскому — 75, Быкову — 15. Почему именно так — было непонятно. Ясность наступила лишь после того, как получили деньги: всем выдали примерно по 200 левов, независимо от жанра и размера публикаций. В этом была святая социалистическая справедливость, как шутили москвичи.

Тогда же в Пловдиве у меня случился первый сердечный приступ, и я почувствовал себя очень плохо. К счастью, рядом были друзья. Спасал меня мой одногодок, замечательный поэт Костя Ваншенкин. Отвлекала от грустных мыслей Белла Ахмадулина. С их помощью я кое-как оклемался, хотя и пришлось полежать в болгарском госпитале.

**Строил в Ждановичах** дачу и думал: буду писать! На втором этаже, в уютном уголке. Глядя то на березки, что высятся над крышей, то на розы во дворе.

Но не писалось мне там. Всё мешало — и разговоры соседок, и собачий лай, и колготня крикливых ребятишек. Да еще радио, доносившееся со стороны близкой дороги. В конце лета решил: поеду в Ниду. Все очень расхваливали это курортное местечко на берегу залива, рядом с желтыми дю-

нами. Кроме путевок, которые достал в литовском литфонде, требовалось еще получить специальное разрешение, так как Нида находилась в пограничной зоне, и без необходимых штампов в паспортах ехать туда было нельзя. Мне рассказали, что кто-то решил рвануть, не оформив разрешения. Его вернули и привезли в Калининград как нарушителя пограничного режима. Известно же, наши границы — всегда на замке. Даже от самих себя.

Чтобы получить право на проезд в Ниду, пришлось несколько раз ходить в соответствующее учреждение. Но я то попадал в неприемные часы, то приходил рано, то слишком поздно. То начальник был на профзанятиях, то на докладе у своего начальства. Наконец, всё-таки удалось попасть к нему, и штампы были поставлены. Ставил он их с таким сожалением, словно терял половину своей зарплаты.

В Ниду мы поехали с Рыгором Бородулиным на моей «Волге». Он сел рядом со мною, Ирина устроилась на заднем сиденье. Рыгор был очень рад, что вырвался из опостылевшего Минска, что целый месяц сможет писать стихи, не отрывая времени у работы и сна, в нормальных творческих условиях. Он что-то рассказывал, шутил, сыпал пословицами и поговорками, его живой ум был, как всегда, подвижным и острым. Это, как известно, не чисто белорусская черта. Может, частично латышская, полученная в наследство от отца, который был наполовину латышом. Слушать Рыгора — наслаждение. Даже если это не поэтические экспромты и стихи, а всего лишь остроумная проза.

Кажется, именно она тогда меня и подвела.

Заслушавшись Рыгора, я где-то за Ошмянами начал не очень ловко выруливать на магистральную дорогу. Было туманное слякотное утро, стекла в машине всё время запотевали. Переднее протирали «дворники», а боковые оставались матовыми. Перед левым поворотом только мельком взглянул направо и — повернул. Но сразу же ужаснулся: рядом, почти впритирку, неизвестно откуда возникла машина, обогнала мою и резко затормозила. Чтоб не врезаться в нее, я тоже затормозил. Из машины выскочил разъяренный водитель и, ругаясь, начал вытаскивать меня из салона. Мои пассажиры,

ничего не понимая, стали кричать. Рыгор выбежал на дорогу, Ирина требовала от нападающего объяснить, в чем дело. Что мы сделали не так? Я-то, конечно, знал, что сделал и чего заслуживаю. Хорошо, что тот водитель, хоть и ехал быстро, не растерялся, а не то покатились бы обе наши машины под откос. (*Любопытно, что на том же скрещении дорог годом позже попал в аварию мой гродненский друг Борис Клейн и полгода проходил на костылях. Проклятое место!*)

Больше дорожных происшествий не было, хотя поджилки у меня долго еще дрожали.

Тот случай послужил серьезным уроком. Я понял: опасность поджидает автомобилиста не только на дороге или городской улице, но порой и в салоне машины, если что-то его хоть на миг отвлечет.

Из опыта знаю: во всех отношениях лучше ездить одному, без пассажиров, если, разумеется, это возможно. Гродненский художник Пушков согласился как-то подвезти соседа и перевернулся с ним около Друскеников. В результате несколько лет пришлось платить соседу за инвалидность, причиненную аварией.

Года через два после этого происшествия, на другой уже машине, я в Минске не смог избежать столкновения (*снова не пропустил!*), и на перекрестке самосвал крепко вмазал мне в правый борт. К счастью, в машине, кроме меня, никого больше не было.

Чтоб избежать аварии (*по собственной вине*), нужно не только выполнять все правила движения, иметь исправную технику и быть трезвым. Необходимы еще крепкие нервы, умение в любой ситуации оставаться спокойным. Не выходить из себя, даже если в твою машину врежется самосвал. У меня таких качеств, к сожалению, нет, и потому не считаю себя хорошим шофером, хоть и просидел за рулем немало лет.

В дальнейшем я, правда, много ездил с Рыгором, привык к его дорожным монологам и реагировал на них, не отвлекаясь. В чем-то он даже успокаивал меня — прежде всего, доброжелательной, дружеской настроенностью, что так важно для водителя. А жена, почти всегда бывшая со мной, просто помогала вести машину — предупреждала, подска-

зывала, напоминала. Разве что не крутила «баранку». Но однажды, когда я небрежно поставил машину на косогоре и та покатилась к недалекой речке, Ирине пришлось ее спасать. Догнала, открыла дверцу и, ухватившись за рычаг тормоза, не дала скатиться в воду с довольно крутого берега.

С некоторой гордостью могу сказать — никогда не садился за руль пьяным. И даже на следующий день после вечерней выпивки. Больше всего боялся не аварии (*статистика, говорят, свидетельствует — трезвые попадают в аварию чаще, чем пьяные*), — боялся встречи с инспектором. Представлял, что сказали бы мои недоброжелатели, если бы услышали, что Быков «попался пьяный за рулем». Очень не хотелось дать им повод для злорадства.

За четверть века я отдал автомобилю едва ли не больше сил и эмоций, чем литературе. Причина этого, очевидно, в запоздалом приходе к нам такого всемирно распространенного явления, как автомобилизация. В то время, как жители Европы и Америки уже давным-давно освоили и машины, и дороги, мы лишь начали приобщаться к этому. Несколько десятилетий наш человек за рулем считался автолюбителем, и отношение к нему в обществе было соответствующим. Помню, в Болгарии я как-то спросил писателя Косту Странджева, везшего меня из Пловдива в Софию, которая это у него машина — наверно, первая? «Нет, уже пятая!» — ответил он. А у меня тогда еще не было и первой.

Чтобы приобрести эту первую (*популярные в то время «Жигули»*), пришлось обращаться в облисполком, долго ждать да и покупать со скандалом: машина эта, как мне сказали, была предназначена для отправки в какой-то район. Да, поздно я стал автовладельцем, зато изучил машину досконально, как никто из тех, кто имел ее еще в юные годы. В поездке по Парижу заговорил с Ириной Сокологорской о какой-то детали в моторе ее автомобиля, она лишь пожала плечами — мол, не знаю, я никогда не открываю капот. «А как же ты ездишь?» — «Да очень просто. Если что-то выходит из строя, — звоню в гараж, оттуда приезжают ребята и всё приводят в порядок. А я — заплатила и поехала... Итак сорок лет...»

А вот у нас так не бывает. У нас за несовершенную технику, плохие дороги, пьяных соседей-водителей платят нервами и жизнью. Мой милый автомобильный друг Алесь Ставер ездил на изношенной машине с неисправным двигателем, без надежных тормозов и стал жертвой дорожного происшествия. Осталась рукопись его партизанского романа, который не издан до сих пор.

На собственном опыте я постиг простую истину: если ты сам себе не поможешь, тебе не поможет никто. Она открылась мне в результате близкого знакомства с работой нашего славного советского автосервиса, с которым я, как и многие другие «автолюбители», не раз вынужден был иметь дело. Отношения с ним не приносили ничего, кроме неприятностей и разочарования. Если не хуже. Так, генерал Сульянов поставил на несколько минут свою «Волгу» около минского бассейна, и она исчезла. Ее искали длительное время, Сульянов ходил к министру, нанимал экстрасенса. Но опытные люди спросили: машину ремонтировал? Ключи отдавал? Вот там и ищи!.. Очень похоже на правду, — наш автосервис уже тогда был бандитским.

Но, чтобы решить, как поступить в том или ином случае, нужно для начала хоть что-то знать. Рекомендации доброхотов-советчиков стоит слушать всегда, но не всегда ими пользоваться. Вернее всего обращаться к технической литературе. Из всего множества книг и брошюр, приобретенных мною, самая надежная — она же самая элементарная — была инструкция, которую получил вместе с машиной. В ней содержалось, если не всё, то самое необходимое. А вот в «Автосервисе» не было и этого.

В литовский дом творчества в Ниде путь лежал через Клайпеду, а оттуда — на пароме до Куршской косы. Уже издалека мы увидели поднимавшиеся за густым хвойным лесом песчаные горы-дюны. На окраине небольшого поселка показались домики, построенные в модернистском стиле, бросился в глаза массивный фронтон столовой. Дальше над хвойными зарослями поднимался столб морского маяка. Это и была Нида.

Там я писал повесть «В тумане». Рыгорка в доме напротив читал Платонова и писал стихи. По вечерам мы встречались и протоптанной дорожкой шли к берегу моря. А днем около этой дорожки Ирина собирала рыжики, которые потом солила. Получалась чудесная закусь. Жаль только, что Рыгор не брал в рот ни капли — набрался в свое время на всю жизнь. Он между прочим был уверен, что поэт, не получивший алкогольной закалки, — неважнецкий поэт. Примеров тому масса, и самый красноречивый — современная белорусская поэзия, которая, по его мнению, дрянь. А всё потому, что поэты не пьют. Повступали в партию и теперь боятся получить выговор. А при такой боязни, какие же могут быть стихи?

То была святая правда. Изо всех знакомых трезвенников мы уважали лишь одного (*и то не поэта*) — Алеся Адамовича, который тем не менее не однажды твердо обещал начать пить. Да так и не собрался заела политика. А то жил бы и сегодня.

Сюжет «Тумана» сложился у меня давно. Мысль о безысходности человеческого существования прочно сидела в моем сознании и время от времени требовала реализации. Некоторые из тех, с кем я делился своим замыслом, говорили: пессимизм, фатализм, разные упадочнические влияния. Может, и так. Но сколько в человеческой жизни существует конфликтов — с самим собой, или с обществом, которые разрешить невозможно. И не только в ситуации, когда добро противостоит злу. Но и тогда, когда, как писал Гегель, конфликт возникает в отношениях правого с правым. Это уже трагедия. Если серьезно вникнуть в обстоятельства, то вся жизнь человеческая — трагедия. Ибо все чувствуют себя правыми. И никто не считает себя виноватым.

Рыгор хвалил Платонова, я же читал его неохотно. Очень ненатурально, непривычный язык, нарочито усиленная патология характеров. По этой же причине мне многое не нравится и у Достоевского. Быть может, я в большей степени романтик, чем это представляется моим читателям и критикам. Если не в своих произведениях, то в читательских предпочтениях. «Дон Кихот» — вот моя книга. Выбор этот у

меня с детства, но ведь все мы — из детства. Не из университета же.

Близость Рыгора помогала мне. Для него жить — это писать стихи. Думать стихами. Говорить стихами. Этого не может лишить его никакая сила. Остроты Рыгора общеизвестны. Острословие — двигатель его поэзии. В оценке людей у него существует лишь две краски — черная и белая. Может, это и упрощенный подход, зато в общем верный. Или то, или другое... Да, не христианский, а целиком языческий принцип. Но естественному человеку — Рыгору — язычество по душе. И мне кажется, после всего, пережитого нами, он прав.

**Я сидел** на даче и вместо того, чтобы поливать свои розы, писал какую-то статью. В последнее время не давали покоя газеты и журналы, иногда радио и теле, — всем понадобились статьи о перестройке. Должно быть, перестройщиков-профессионалов у них не хватало, и они вспомнили о любителе Быкове. Еще недавно избегали упоминать мое имя, теперь же напромилуй Бог просили: напиши хоть что-нибудь. Я и писал, а их работнички редактировали, бывало, что и дописывали, и переписывали так, как им было нужно. Сколько раз я зарекался не иметь с ними дела, но они были квалифицированные настыры и умели добиваться своего. И Быков в очередной раз вынужден был писать.

Я сидел на рукописью, когда пришла наша милая соседка по даче Валентина Николаевна Мильто, сказала, что вчера произошла какая-то катастрофа на Украине. Запад очень встревожен. Катастроф у нас всегда хватало, хотя о них и не сообщали, чтобы не портить настроение трудящимся, не вызывать панику. И я не тревожился — продолжал свою писанину. Но слухов о случившейся беде становилось всё больше, что-то прозвучало по Би-би-си. Под вечер стало известно, что именно случилось — взорвался атомный реактор в Чернобыле. Но ведь это на Украине, чего нам бояться?

В белорусском ЦК, когда туда позвонил кто-то из дачников, так и сказали. Но вот на свою дачу в нашем поселке

приехал Василий Борисович Нестеренко, директор ядерного центра в Соснах, и мы узнали, что он несколько часов назад прилетел из Москвы и первым делом помчался в ЦК: «Надо бить тревогу, принимать меры. Радионуклиды уже засыпают Беларусь — приборы регистрируют опасные дозы». Руководство ЦК его успокаивало — ничего страшного. Нестеренко, однако, не унимался: бросался во все инстанции, он понимал, чем это грозит народу. Но что он мог сделать? Что вообще можно было сделать? Кузьмин, которому я позвонил, сказал, что надо принимать йод. Несколько капель на чайную ложечку сахара. Других средств от атомной радиации в стране не было...

Вечером из Кисловодска позвонил Адамович — он выезжает. Я сказал, чтобы он не спешил, пусть хоть один белорус убережется от радиации — ради чистоты генофонда. Нам уже не уберечься. Тем не менее Адамович приехал. Сразу побежал в ЦК, где его тоже, как и всех, кто туда обращался, пытались успокоить. Как успокаивали самого Горбачева, заверяли, что чернобыльский атом ничем белорусам не угрожает. Горбачев даже поставил белорусов в пример украинцам, которые запаниковали и просили денег. Белорусы ничего не просили.

Адамович встретился с Нестеренко и узнал от него, что в действительности наше дело — дрянь. Главное, нет приборов, чтобы измерять уровень радиации, нет никаких других средств. И Адамович помчался в Москву, к Горбачеву — спасать белорусскую нацию. Горбачев был глубоко встревожен и растерян — кому верить? Партийному руководству Беларуси, которое уверяет, что всё нормально, ученым, которые сохраняют завидную невозмутимость, или «паникеру» Адамовичу? Всё же он поверил дилетанту Адамовичу, которому удалось с помощью Горбачева выбить какое-то количество дозиметров. Генсек нутром почувствовал, чья правда, и кто его обманывает. Впрочем, вполне возможно, что Горбачев боялся правды и хотел быть обманутым, да и сам себя обманывал.

На выходные, поскольку в Москве никакого начальства в выходной день не найти, Адамович приехал домой. В го-

родских условиях встретиться было невозможно, наши квартиры давно прослушивались, и мы договорились махнуть на природу. Поехали в сторону Ивенца, на Ислочь, расположились на берегу. Пока наши жены, Ирина и Вера, готовили обед, мы с Сашей пошли прогуляться по лесу. Саша был очень озабочен, даже подавлен тем, что случилось. А главное — замшелой глухотой руководства, которое заботилось об одном — как можно дальше спрятать от народа правду о грозившей ему беде. Чтобы народ сидел тихо и помаленьку, незаметно помирал, не тревожа начальство. Мы тогда мало знали о радиации, больше других знал Адамович, который наслушался о ней в Москве. Многое ему рассказал Нестеренко и другие ученые, с которыми он был знаком. Лучше всех понимал, что такое чернобыльский взрыв, академик Легасов. Он сказал Алесю, что атомные станции типа Чернобыльской скоро начнут взрываться одна за другой — Курская, Смоленская, Ленинградская... Спасения от этого в условиях советской системы академик не видел и, должно быть, это явилось причиной его самоубийства. Адамович был очень встревожен и сказал мне тогда, на Ислочи, что наступило время, когда надо бить в набат, спасать человечество. Он уже давно, целый ряд лет бил в набат: спасал мир от ракетно-ядерного безумия, теперь надо было спасать его от «мирного» атома. Мы должны как можно чаще выступать в печати, по телевидению, просто разговаривать с людьми, объяснять, на что обрекает их советское руководство во главе с испытанным ленинским авангардом. Горбачев, похоже, начинает что-то понимать, но он один, к тому же находится в плотном кольце чекистов, для которых не существует ничего, кроме их уродливой идеи — тотальной власти над обществом на базе марксизма-ленинизма. Ради чистоты этой идеи и незыблемости своей власти они готовы пожертвовать человечеством.

Тогда же Саша рассказал мне, как его вербовали в сексоты, когда он окончил университет, и как он выкручивался. А недавно узнал, что вербовка выпускников была вовсе не выборочной, на что намекали вербовщики (*мы вас уважаем и только вам предлагаем*), а поголовной. Завербовать пыта-

лись всех, чтобы каждый был у них в кармане. Учитывали, что позже, когда человек сделает карьеру, чего-то добьется, завербовать его будет труднее. Так что вербовали с прицелом на будущее: сексоты нужны всюду, именно они, а вовсе не члены партии являются главной опорой режима. И хотя все коммунисты, должно быть, либо потенциальные, либо действующие сексоты, всё же не все сексоты — коммунисты, немало среди них и беспартийных. Это сплоченный и разветвленный клан, который, однако, превосходит все известные в истории тайные кланы, в том числе и масонский. Колхозник из полеводческой бригады такой же сексот с кличкой, как и министр или профессор, и вынужден, как и они, верно служить своему «куму» до самой смерти. Госбезопасность развода не дает, заметил когда-то Сократ Янович.

Я тогда спросил у Саши: как же нам относиться к некоторым друзьям, в отношении которых можно с уверенностью предположить, что они — т а м? Что сексоты. Саша сказал печально: «В принципе — это неразрешимая проблема. Это всё равно как смертная казнь. Что лучше — убить всех, чтобы среди них не пропустить ни одного преступника, или всех помиловать, чтобы не покарать ни одного невиновного? Здесь нет позитивного решения, в любом случае останется шанс на ошибку, и на надежду тоже».

О, эта проклятая человеческая надежда, мать дураков, как метко определил ее Максим Гарецкий. Ее отлично научились использовать все — от Гитлера до Сталина! Несчастным говорили, что ведут их в баню, и там убивали смертоносным газом, говорили, что приговаривают к десяти годам без права переписки, и везли на расстрел в Куропаты. Строили тюрьму народов, а говорили — коммунистическое общество и внушали надежду на светлое будущее человечества. А теперь, после Чернобыля, чем мы утешимся? Период распада плутония — сто тысяч лет!.. Да и вообще... Адамович рассказал, к какому выводу пришел недавно Макс Борн: даже если удастся предупредить нуклеарную катастрофу, ничего, кроме мрака, человечество в будущем не ждет. Вот что натворили наука, технический прогресс и коммунизм вместе с капитализмом в конце технологического XX века.

«Милый, мудрый Саша, какую тяжелую правду ты говоришь! И как нам жить, зная эту твою правду?» — растерянно думал я.

**Издательство** «Мастацкая літаратура» выпустило несколько томов моего Собрания сочинений. Подошла очередь двух последних, и я сдал в редакцию рукопись «Мертвым не больно». Эта повесть отдельной книгой в Беларуси не выходила (*в России тоже*), упоминание о ней запрещалось. За этим бдительно следил сам куратор советской цензуры, заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС.

Но время вроде бы изменилось. С момента первой, журнальной, публикации повести прошло более двадцати лет, и издательство решило, что в Собрании сочинений повесть можно напечатать. Тем более, о чем уведомил меня директор издательства Михаил Федорович Дубенецкий, она значилась в каталоге и на книжной ярмарке собрала немало контрактов. ЦК КПБ в лице А. Т. Кузьмина тоже не возражал против ее издания. Республиканский главлит поставил свой штамп, и рукопись была отправлена на полиграфкомбинат.

Но издатели и их единомышленники, очевидно, не учли одного обстоятельства — бдительности внутренних сексотов. И по их инициативе в Минск из московского главлита пришел приказ эту повесть Быкова не издавать. Об этом мне сообщил Дубенецкий и сказал, что он послал в Москву телеграмму на имя тов. Зимянина, в которой решительно протестует против произвола главлита. «Всё же, — сказал Дубенецкий, — и Зимянин и Севрук — наши земляки, должны же они посочувствовать своим людям!»

Бедный, наивный, несмотря на свой партийный опыт, Михаил Федорович, на что он надеялся! Я рассказал ему об одном случае на войне, когда полицай расстреливал группу своих земляков, среди которых был его двоюродный брат. Полицай был добрый человек, и оказал брату милость — подстелил ему в могилу свежих еловых лапок. Всё же брат... Дубенецкий мне не поверил, сказал: «Вот увидите, они свой приказ отменят. Будем ждать ответа».

Вместо ответа он вскоре дождался вызова в ЦК, строгого выговора и затем — отставки. Немного позже с этим заботливым заступником белорусской литературы случился инфаркт, после которого он в скором времени оказался на Северном кладбище.

Но тогда приключения со злополучной повестью продолжались. После Дубенецкого Кузьмин пригласил в ЦК меня и сказал, что в повести надо что-то переделать, хотя бы для приличия поменять какие-то слова, что ли? Это позволит сообщить в Москву, что автор основательно переработал произведение. Я немного удивился наивности Александра Трифоновича, но сделал то, о чем он просил — немного почистил стиль. И правда, повесть в таком виде (*давно уже изувеченная многочисленными редакторскими вмешательствами*) была напечатана в последнем томе моего Собрания сочинений. На этот раз Севрук не смог добиться своего и отступил, — решил отыграться на другом.

Однажды пришел ко мне Адамович и говорит, что написал письмо Горбачеву — я должен его прочесть. Это была жалоба генсеку на его подчиненного Севрука, который давно превратился в злого духа белорусской литературы, в частности в отношении писателей Быкова и Адамовича. В письме приводился ряд случаев, когда Севрук приказывал редакторам журналов и директорам издательств не печатать этих литераторов, снимать с журнальных страниц их произведения, статьи из газет и даже приказал не пускать Адамовича в зарубежные поездки. «Ты подпишешь?» — спросил Алесь. Я высказал сомнение в пользе такого обращения к партийному начальству, сказал, что никогда этим людям ни на что не жаловался. Но подписал. Чего за компанию не сделаешь?..

Из Москвы долго не было никакого ответа, но вдруг обоих подписантов вызвал к себе Кузьмин. Он зачитал нам часть текста из бумаги, полученной им из аппарата ЦК КПСС. Сообщалось, что по поводу жалобы двух литераторов ЦК КПСС провел тщательное расследование деятельности тов. Севрука В. Е., и выяснил, что ни один факт, инкриминируемый тов. Севруку авторами письма, не подтверждается. Директора издательств и редакторы журналов показали, что тов. Сев-

рук не допускал по отношению к ним никакого диктата и что их требования к писателю Адамовичу предъявлялись по их собственной инициативе. В заключение секретарю ЦК КПБ предписывалось принять меры воздействия на клеветников, которые допустили неадекватные выпады против ответственного работника ЦК КПСС. Адамович слушал, и лицо его покрывалось красными пятнами, я же испытывал злорадство — будешь знать, как жаловаться! Закончив чтение, Кузьмин улыбнулся: «Ну что мне с вами делать? Будь вы члены партии, поставил бы вопрос об исключении, а так... Передам в профсоюзную организацию!» Сказал, и искренне рассмеялся. Мы тоже засмеялись.

Не знаю, писал ли Адамович в ЦК еще, я об этой истории почти забыл. Но как бы там ни было, Севрук всё же вылетел из ЦК и очутился... в кресле заместителя главного редактора «Известий». Потом работал еще где-то, пока не стал доверенным советником правительства РБ.

**В стране** стало происходить нечто необычное, невозможное никогда раньше. Многие газеты, даже «Правда», писали о необходимости перестройки, о бесперспективности советской экономики. Я опубликовал несколько статей в «Известиях» (*стараниями Матуковского*), в «Звяздзе» и даже в «Советской Белоруссии». Главным образом о нашем недавнем прошлом. «Комсомольская правда» поместила мою статью в защиту духовных ценностей. Это был мой ответ на публикацию воинствующего безбожника профессора Кривелева. Теперь я не стал бы писать такую статью, но что поделаешь — слово не воробей... Тогда казалось, что церковь будет на стороне демократии, потому что Христос в сущности был демократом. Однако вышло иначе. Очень скоро православная церковь и коммунисты довольно гармонично объединились — их объединила имперская идея, которая стала причиной разрушения религиозных иллюзий в постсоветском обществе.

Старая советская идеология упрямо не сдавала своих позиций. Когда Элем Климов снял по сценарию Адамовича

неплохой фильм о партизанском движении (*«Иди и смотри!»*), чиновники от кинематографа резко воспротивились. И если фильм еще как-то поддерживал Кузьмин, то отдел культуры ЦК во главе с Антоновичем был против. Когда Кузьмин организовал обсуждение фильма общественностью, на которое были приглашены бывшие партизаны и другие ветераны войны, а также некоторые писатели, всё определилось. Мы с Сульяновым выступили в поддержку фильма, Антонович — с осуждением, и с того момента резко разошелся с Адамовичем.

Этот разрыв не был неожиданностью для обоих. В отношении Адамовича к тому времени сложилась в Беларуси определенная оппозиция, особенно в среде молодых националов. Причина была простая — Адамович свою прозу писал по-русски, хотя литературоведческие работы и критику — по-белорусски. Как-то он опубликовал (*кажется, в «ЛіМе»*) дискуссионную статью о необходимости повышения интеллектуальных достоинств белорусской прозы, которая, по мнению автора, слишком засиделась у национального «костерка». Это вызвало негодование молодых, подогретое определенными людьми из ЦК. Наконец и руководство Союза писателей оказалось в рядах противников Адамовича, что стало для него совсем нестерпимым и подготовило его отъезд в Москву, где он был избран директором института киноискусства. Очень многие радовались его отъезду, мне же стало совсем сиротливо без Саши. Хотя он и звонил из Москвы, изредка приезжал в Минск, где оставалась его семья — жена Вера и дочь Наташа. Но уже было ясно, что в Минск он не вернется — к огромному сожалению его друзей, которые очень его любили. Когда-то один из них, Наум Кислик, сказал о Саша: «Если б он пил, ему бы цены не было». Это была высшая оценка Адамовича пьющей компанией. Но в Минске ему давно стало тесно и душно, впрочем, как и в Москве, откуда он в свое время сбежал в тот же Минск. Должно быть, человеку такой совести и такого таланта нигде на свете нет места. В Минске он продержался столько лет лишь благодаря поддержке Кузьмина, которого вопреки многому ценил и даже любил. Кажется, это было взаимно.

В начале перестройки писатели стали чаще выезжать за рубеж — на разные конгрессы, конференции и встречи, разумеется, за счет приглашающей стороны. Своих карманных денег у нас почти не было, нам выделяли 30 % от суммы суточных, — мелочь, с которой стыдно заходить в кафе. И вот однажды в Германию отправилась большая группа писателей, в которую включили меня и Адамовича, чему я особенно обрадовался. После длительного «карантина» в Минске Саша чувствовал себя свободно и раскованно, всегда был в центре внимания, что-то рассказывал, спорил, шутил. На встречах с читателями непременно брал слово и выступал очень ярко, умно, организаторы встречи и публика проникались к нему симпатией. На одной из встреч, кажется, в Киле, произошел любопытный эпизод. Аудитория была молодежная, задавали много вопросов. Один молодой человек спросил, правда ли, что московская молодежь не злоупотребляет наркотиками, зато много читает? Саша, отвечая на вопрос, сказал: «Смотря что читать. Иные книги лучше не читать, а заняться чем-либо более веселым. Потому что большинство книг у нас — соцреализм». А на вопрос молодой феминистки, как он относится к феминизму, Саша сказал, что не может его поддерживать, потому что ему рассказали, как некая феминистка, когда мужчина пропустил ее впереди себя в дверь, правом этим воспользовалась, но затем обернулась и влепила оказавшему ей любезность мужчине пощечину. Потому что она за равноправие, а он, пропустив ее впереди себя, унизил ее женское достоинство!.. В зале начался гвалт, феминистки повыскакивали с мест, бросились к сцене, и мы с Адамовичем вынуждены были спасаться бегством через черный ход. И до самого отеля за нами гнались разъяренные феминистки вместе со своими кавалерами. В отеле я сказал Саше, что на такие шоу больше с ним не пойду: не хочу приносить себя в жертву подобной публике...

**Главным редактором** «ЛіМа» в ту пору был Анатоль Вертинский, он стремился сделать писательскую газету активным борцом за перестройку, напечатал ряд смелых и глу-

боких статей на политические темы и о положении с белорусским языком. Однажды он позвонил мне и попросил об одной услуге. Дело заключалось в том, что два автора — Зенон Позняк и Леонид Шмыгалев — принесли ему статью о найденных под Минском захоронениях жертв НКВД. Чтобы напечатать статью, нужен «поплавок» — коротенькое предисловие кого-либо из авторитетных писателей. Таковым ему представляется Василь Быков.

С Зеноном Позняком я не был знаком, знал только, что он пишет книги по краеведению и является автором очень хорошей статьи о языке, напечатанной в русскоязычном эстонском журнале «Радуга». В тот же день мне позвонил сам Позняк, и мы встретились возле знаменитой в Минске тюрьмы — Пищаловского замка. Позняк выглядел старше своих неполных пятидесяти лет, был сдержан и приветлив. Он передал мне рукопись статьи, которую я прочел дома и написал коротенькую врезку. Предвидя, конечно, какой переполох начнется после публикации.

Так и произошло. Но в отличие от прежних времен теперь и другая сторона могла постоять за свои принципы. А принципы эти были основаны на фактах, полностью разоблачающих чекистское прошлое. Публикацию «ЛіМа» подхватили некоторые российские СМИ, польская «Газета выборча», а затем другие зарубежные газеты.

Правительство Беларуси вынуждено было как-то реагировать и создало комиссию по расследованию, надеясь с ее помощью всё как-нибудь утаить. В комиссию вошли высокопоставленные государственные чиновники, генеральный прокурор, председатель КГБ, некоторые писатели-депутаты и художники. Председателем комиссии была назначена Нина Мазай, вице-премьер правительства. Решили начать с поиска документов в архивах КГБ.

И вот председатель КГБ генерал Ширковский, в кабинете которого мы собрались, с горечью сообщает, что ничего нет. Все документы сгорели во время войны, уничтожены немецко-фашистскими захватчиками Из своих рук он показал нам несколько папок заведенных на кого-то дел, какие-то бумаги, из которых ничего нельзя было понять. Когда рас-

стреляли, кого, кто и где — ничего не поймешь! На обложке — шифр дела и какая-то закорючка: подпись энкавэдиста, которую не разобрать. Умели шифровать, ничего не скажешь...

Зато на месте захоронений дело выглядело иначе. Группа солдат раскапывала могилы. Работа велась по всем правилам археологических раскопок, руководил раскопками Позняк, перетирая в пальцах каждый комочек земли, замерял раскопы и зарисовывал их. Очень скоро набралась груда человеческих костей, черепа с дырочкой от пули в затылке, остатки обуви, множество гильз от наганов. Другая группа людей обошла окрестные деревни, собрала свидетельства очевидцев, которые рассказали, как здесь в 30-е годы расстреливали. На вопрос, не было ли здесь расстрелов во время войны, все опрошенные отвечали одинаково: немцы расстреливали в другом месте — в Тростенце. (*Это, однако, не помешало другой комиссии, созданной через шесть лет, утверждать, что здесь, в урочище Куропаты, немцы расстреляли гамбургских евреев.*) Но тогда официальные власти, в том числе и генпрокурор с председателем КГБ, вынуждены были признать факт преступления НКВД. Об этом они даже издали в Москве книгу. В общем, всё было изучено, доказано, и комиссия составила соответствующий акт. Название заброшенного урочища на окраине Минска — Куропаты — стало жертвенным символом Беларуси.

Чтобы этот символ сделать зримым, надо было создать памятник или хотя бы памятный знак. За это взялась специальная комиссия во главе с народным художником Беларуси В. Шаранговичем. Но благоприятный момент был упущен — приближался коммунистический реванш. А комиссия и особенно ее председатель никак не могли решиться выбрать из немалого числа проектов приемлемый для воплощения в материале и заволокитили дело. Когда в Минск приезжал президент Клинтон, Позняк свозил его в Куропаты, и по инициативе Клинтона там соорудили знак — мраморную скамейку, которую неоднократно пытались разбить, поставленный общественностью крест то и дело валили, — режим делал всё, чтобы стереть из памяти людей преступление боль-

шевиков. Теперь там строят кольцевую дорогу, чтобы преступление навеки закатать под асфальт.

**Но в те** годы идея справедливости и осуждения сталинских репрессий еще была сильна, особенно среди национальной интеллигенции. По инициативе Зенона Позняка было решено создать специальное товарищество — Белорусский мартиролог с перспективой преобразования его в другую, более радикальную организацию. Потом Позняк скажет, что о ее создании, кроме него, знали Дубенецкий и Быков, но это не совсем так.

Учреждали Мартиролог в Красном костеле, который был тогда Домом кино. На учредительном собрании были многие художники и писатели, в том числе Максим Танк, Нил Гилевич, Анатоль Вертинский, Рыгор Бородулин, Владимир Колесник, Михаил Дубенецкий и другие. Однако и противная сторона неплохо подготовилась к собранию и принимала свои меры. Чтобы занять места в зале и потом никого не впускать, за час до начала привалила толпа гэбистов в штатском, секретари и работники горкома, представители прокуратуры во главе с заместителем генпрокурора Кондрацким. Самым первым пришел инструктор ЦК Бузук, который, судя по всему, получил задание сорвать собрание.

Я тоже пришел немного раньше и заглянул в кабинет директора Дома кино, где стал очевидцем того, как Бузук сцепился с Позняком по поводу предстоящего собрания. Позняк дал цековцу хороший отлуп, и я подумал: «Твердый характер! Побольше бы таких Беларуси».

Зал был полон, занял свои места президиум. Вести собрание взялся, насколько помнится, Дубенецкий. Предстояло избрать руководящие органы Мартиролога, стали называть кандидатуры в их состав, и тут начался шум. Особенно зашумели, когда приступили к выборам председателя. Наклонившись ко мне, Дубенецкий сказал: «Сейчас посыпятся предложения выбрать Быкова». Этого я допустить не мог и попросил слово: «Предлагаю кандидатуру Позняка!» В зале еще больше зашумели, раздались выкрики тех, кто пришел

сюда с намерением сорвать собрание. Что-то бубнил против Позняка прокурор, истерически кричала с места дамочка — секретарь горкома. Дубенецкий с трибуны объявил голосование по кандидатурам. Когда дошла очередь до кандидатуры Позняка, к Дубенецкому подскочил Бузук и стал спихивать его с трибуны. Зал возмущенно загудел. Тогда я встал из-за стола и предложил продолжить голосование. «Кто за? Кто против? Единогласно!» — объявил я, благо, научился этой процедуре на сессиях Верховного Совета. На этом всё кончилось. Председателем Мартиролога стал Зенон Позняк.

И тогда кто-то (*не помню кто*) предложил: считать только что избранный комитет Мартиролога — оргкомитетом Народного фронта. Зал оглушительно зааплодировал, эти аплодисменты приняли за знак согласия. Оппоненты были в ярости, сообразив, что просчитались. Но уже ничего нельзя было изменить, протокол собрания писался без них. Как и история Беларуси. Во всяком случае мы так думали и поздравляли друг друга с победой.

Но то, что произошло в Красном костеле, не было окончательной победой, не было даже половиной победы. Назавтра меня позвал председатель Верховного Совета Г. Тарazевич. С некоторых пор мы были в хороших отношениях. Еще весной я обращался к нему с просьбой о реабилитации ряда деятелей культуры. До того на совещании в ЦК мы обращались к Е. Соколову насчет реабилитации А. Гаруна и Цишки Гартного, но Соколов сказал, что, к сожалению, нет соответствующих документов. Потом я в частном разговоре со вторым секретарем ЦК Игруновым повторил просьбу, но тоже безрезультатно. Таразевич сказал: «Составьте список и подайте мне вместе с просьбой о помиловании этих лиц, чтобы был предлог затребовать их дела». Я обзвонил все творческие союзы, театры, консерваторию — собрал 55 фамилий репрессированных и отнес список в Верховный Совет. И через пару месяцев был издан указ, подписанный Таразевичем, о реабилитации всех, кроме Алехновича, уголовное дело которого находилось в Литве, где он погиб.

На этот раз Таразевич выглядел очень озабоченным и встретил меня вопросом: «Что это вы провозгласили в Крас-

ном костеле? Это же политическая партия. Это подсудное дело, прокуратура начинает расследование».

Вечеров я, Позняк и Дубенецкий встретились в сквере. Дубенецкий предложил мне возглавить оргкомитет Народного фронта, но я отказался. Хорошо бы, если бы его возглавил Позняк, но он уже задействован в Мартирологе. Народный фронт, таким образом, оставался без председателя.

Спустя день ко мне домой пришли Василь Яковенко и Алесь Емельянов. Алесь работал литконсультантом в СП и был известен тем, что признался, как его вербовали в осведомители КГБ. По его словам, он отказался, но писательская общественность подвергла его остракизму, хотя непонятно было, за что: за то, что его вербовали, или за то, что он отказался?

Обоих привела ко мне одна забота — кто станет лидером БНФ? Уговаривали меня, но я твердо отказался: я не хотел да и не чувствовал морального права взять на себя такую миссию. В конце нашего разговора я сказал Василю: «А почему бы тебе не возглавить?» Он сказал, что подумает. И назавтра, перед самым заседанием оргкомитета сообщил, что согласен.

На важное организационное заседание пришли секретарь горкома П. Кравченко и руководитель СП Нил Гилевич. Оба выступили резко против создания БНФ. Гилевич глубокомысленно доказывал, что такая организация, как Народный фронт, подходит для народов Балтии, но не для Беларуси. Белорусский народ такую организацию не примет. (*Сегодня можно сказать, что Гилевич во многом был прав.*) Кравченко доказывал то же самое. Как вчера было договорено, я предложил избрать председателем БНФ Василя Яковенко, и присутствующие проголосовали «за». Позняка на том собрании не было.

Но через день-два Позняк узнал, кого выбрали, и оргкомитет созвали вновь и провели перевыборы. Председателем всё же стал Позняк. Произошло это без меня, я по какой-то причине на повторных выборах отсутствовал. Конечно, я считал, что кандидатура Позняка во всех отношениях предпочтительнее кандидатуры Яковенко. И если я не предложил кан-

дидатуру Позняка на первом заседании, то лишь потому, что он уже возглавлял Мартиролог. Теперь его на этом посту заменила Майя Кляшторная, дочь уничтоженного НКВД белорусского писателя и сама бывшая узница ГУЛАГа.

Эти события произошли накануне Дзядоў — нашего национального праздника. Предполагалось, что БНФ примет в нем участие. Но было решено, что поскольку Дзяды — праздник религиозный, то участие в нем — личное дело каждого. Я тогда загрипповал и на кладбище не пошел. А именно там развернулись трагические для минчан события. Когда тысячи людей двинулись от станции метро к Восточному кладбищу, их уже ждали шеренги войск и милиции — с «воронками», спецавтобусами и даже с водометами. Людей стали разгонять, избивать, травили их газом из портативных баллончиков. Брызнули в лицо Позняку, который шел во главе колонны. Но Позняк не отступился. Он направил шествие на окраину, в сторону Куропат. Однако и там дорогу колонне перегородили войска. Тогда Позняк повернул колонну в поле. И в чистом поле под снегопадом с хмурого неба состоялся молебен. Над морем людей реял бел-красно-белый стяг. Выступали ораторы и среди них писатель Владимир Орлов.

Во время шествия и молебна, когда он закончился, множество людей были схвачены, избиты и отправлены в милицейские участки.

Утром я связался с московским журналом «Огонёк», редактором которого тогда был В. Коротич, — журнал в ту пору был самым радикальным печатным органом страны. Редакция мне ответила, что пришлет в Минск спецкора, но хорошо бы дать материал об инциденте незамедлительно, в номер. Ночью я написал статью, продиктовал ее в редакцию по телефону, и она сразу же появилась в «Огоньке». Статья называлась — «Дубинки вместо перестройки». Это был первый материал о подавлении национально-освободительного движения в Беларуси.

Скандал произошел мощный. ЦК КПБ во главе с Соколовым разъяренно принимал меры. Руководство Беларуси прежде всего принялось всячески опровергать сам факт полицейской расправы над мирной демонстрацией. (*Милиция*

*никого не избивала, не травила «черемухой». Мятеж националистов против советской власти удалось подавить мирными средствами.*)

Меня вызвал Соколов и обрабатывал примерно теми же аргументами. Я ему говорю о насилии со стороны правоохранительных органов, а он мне доказывает, что фактов насилия нет. И ссылается при этом на заключение комиссии, которая расследовала инцидент. А в комиссии, говорит, были такие уважаемые люди, как художник-академик Савицкий, писатель-лауреат Нил Гилевич, мы не можем им не верить. Многие журналисты доказывали обратное, но их обвиняли во лжи. Евгений Будинас даже заснял побоище на видеопленку, но начальство всё равно твердило, что газ не применялся. (*Комиссия взвесила баллончики «черемухи», которые были на вооружения МВД — ни капли не израсходовано!*) Вернувшись от Соколова, я написал письмо Горбачеву, в котором рассказал о варварском бесчинстве властей в Беларуси и взывал к справедливости.

Ответа от Горбачева, конечно же, я не получил — получил вызов на совещание творческой интеллигенции, которое готовилось на Старой площади в ЦК КПСС. Там в сравнительно небольшом зале собрался чуть ли не весь творческий актив страны, было много знакомых литераторов. На сцене за столом президиума восседало всё политбюро во главе с Горбачевым. Он взял слово, стал что-то вещать, и Михаил Шатров, который сидел рядом со мной, тихонечко так сказал: «Послушать бы, что ты скажешь, когда они запрут тебя послом куда-нибудь в Монголию». И вдруг слышу — Горбачев обращается ко мне: «Василь Быков, как могло случится, что белорусы выступили против советской власти? Спокойный, дисциплинированный народ... Непонятно».

Я стал что-то объяснять, рассказал о жестокости милиции, которая избивала и травила газом женщин и детей, сказал, что люди шли на кладбище, где похоронены знаменитые белорусы, в том числе и Машеров. Горбачев недоуменно пожимал плечами. А напротив в первом ряду сидел главный организатор расправы Е. Соколов и молчал. Стали выступать словоохотливые артисты и писатели, говорить о перестрой-

ке. Под конец, стоя в проходе, заговорил Виктор Астафьев, который очень резко осудил белорусских коммунистов за «зверство в отношении к самому, может, спокойному из всех славянских народов», и потребовал расследовать преступление, учиненное на Дзяды. Я был глубоко благодарен моему русскому другу и горячо обнял его. Виктор Петрович был одним из тех, кто мог сказать, что хотел и кому хотел. Он был человеком чести и отваги, свойственным подлинному народному заступнику.

Забегая вперед, замечу, что разговор с Горбачевым о событиях на Дзяды имел продолжение. Когда в Кремле шло заседание совета старейшин (*после выборов народных депутатов СССР*), Горбачев в перерыве подошел ко мне и спросил, как там теперь в Беларуси? Начальство утихомирилось? Я стал рассказывать, но тут к нам подскочили любопытные с широкими ушами, и Горбачев прервал беседу. Сказал, что поговорим потом. Но потом уже не наступило. Настало другое потом, когда Горбачеву уже было не до Беларуси...

Шло выдвижение кандидатов в Верховный Совет БССР. Окончательному утверждению кандидатур предшествовала придирчивая «селекция» — обсуждение на так называемых собраниях избирателей. Представители «общественности» дотошно обсуждали каждую кандидатуру и «резали» неугодных. Во главу угла ставилась политическая ориентация кандидатов. А «представители общественности» были тщательно отобраны.

В Дом культуры, что неподалеку от станции метро «Московская», на «смотрины» дюжины кандидатов пришли по наущению горкома комсомола несколько сот студентов Института физкультуры. Они были очень активны, дружно голосовали за кандидатов-коммунистов и «зарезали» интеллигентов. Еще до голосования по утверждению кандидатур отклонили многих. Но под конец, видно, устали — горло заболело кричать как «за», так и «против». Поэтому собрание, когда очередь дошла до кандидата, чья фамилия начиналась с одной из последних букв алфавита, из-за чего его представили в самом конце, слабо выразило свою реакцию неприятия интеллигентов. Этим кандидатом был С.С. Шушкевич,

для которого то собрание явилось его блестящим политическим стартом.

**Прошло немного** времени, я стал писать очередную повесть, но вынужден был то и дело прерываться: не было отбоя от журналистов, своих и приезжих. В Минск зачастили корреспонденты из Варшавы, из Праги, из немецкого «Шпигеля», а московские газетчики, казалось, вообще не выезжали из Беларуси. Давать интервью — дело неблагодарное во всех отношениях, потому что далеко не всегда есть возможность проконтролировать окончательный текст, в котором непременно найдутся неточности, а то и ошибки, и потом бывает более чем досадно. А тут еще коммунисты попрекают долларами, — будто за интервью кто-то платит.

В те дни неожиданно, даже без предварительного звонка, ко мне явился Анатоль Бутевич, который тогда работал в ЦК, и ошеломил с порога: надо ехать в Москву. Вот билет, через три часа за мной придет машина — и в аэропорт. Полетите в Америку. С Горбачевым. Почему с Горбачевым — этого Бутевич не знал. Сказал только: «Команда из ЦК КПСС. Советую поторопиться».

Что ж, ради такого случая можно было и поторопиться. Я быстренько собрался и полетел. В Москве в аэропорту меня встретила консультант СП по белорусской литературе Галя Грибовская и отвезла на Старую площадь. Там меня стремительно провели по каким-то кабинетам, написали-подписали надлежащие бумаги, выдали документами деньги. Валюты в кассе не оказалось, и какая-то бухгалтерша достала из сумочки свои 200 долларов и отдала мне. С тем и поехал в аэропорт Внуково.

В небольшом уютном зальчике правительственного аэропорта собрались все, кому надлежало сопровождать Горбачева на его встречу с Рейганом. Там я увидел некоторых знакомых и среди них писателей Игоря Дедкова и Владимира Карпова, режиссера Марка Захарова, грузина Тенгиза Абуладзе, цековца Наиля Бикенина, журналиста Андрея Грачева

и других. Горбачев с Раисой Максимовной и своей охраной летели другим самолетом.

Перелет был долгий, с двумя посадками — в Англии и Канаде. Чуть ли не все в самолете были знакомы друг с другом, садились кто где хотел и активно общались. Ко мне подсел какой-то человек, которого я не знал, очень словоохотливый и компанейский, стал расспрашивать, какая политика проводится в Беларуси и сам много говорил на темы перестройки. Потом я спрашивал, кто этот человек, но никто из моих знакомых не смог мне ответить. В Нью-Йорке тот человек исчез, и больше я его не видел.

Первую ночь в Америке провел в тесной угловой комнатенке белорусского представительства в ООН, куда меня поселил сотрудник представительства Лев Максимов. Он сказал, что в этой комнате жили многие белорусские писатели, приезжавшие на сессии ООН. Затем меня перевели в отель, где разместилась наша делегация. Об этом позаботился Игорь Дедков, чтобы мы могли побыть вместе. В том отеле наши номера были рядом. Нашими соседями были Андрей Грачев и академик Олег Богомолов. Первый день, вернее остаток дня, оказался свободным, и мы пошли бродить по городу, который видели впервые. Пятая авеню, окрестности Центрального парка, Бродвей... Прежде всего поражали высоченные стеклянные здания Нью-Йорка. Днем улицы покрывала тень, а ночью они были залиты ярким электрическим светом — это выглядело неестественно после темной и пустынной ночной Москвы. Здесь же до утра толпилось многолюдье, звучала разноязыкая речь, доносился привычный русский мат, — наши не сдерживались, думая, что никто их не поймет.

Пока шеф общался с Рейганом, мы участвовали в пресс-конференциях, ради чего, как я понял, нас и привезли в Нью-Йорк. Вел пресс-конференции пресс-атташе делегации Андрей Грачев. На хорошем английском языке он объяснял журналистам всех цветов кожи основы новой политики Горбачева, мы уточняли детали и отвечали на вопросы. Интерес к нам со стороны журналистов был огромный, вопросов за-

давали много. Не на все мы могли ответить, особенно на те, которые касались экономики или финансов. Ну, а что касалось культуры и литературы, всё освещал Игорь Дедков. Его ответы порой озадачивали. Потому что он весьма сомневался в перестройке, которая осуществляется под руководством коммунистической партии.

Первую встречу с Горбачевым на американском континенте я пропустил вместе с Владимиром Карповым: мы с ним бродили по Нью-Йорку. Поздно вечером заблудились и не знали, как добраться до нашего отеля. Взяли такси. Сев в машину, я спросил у коллеги: «А на каком языке мы будем разговаривать с водителем?» А шофёр говорит: «На русском, товарищи, на русском!» Оказалось, он из Ленинграда, несколько лет назад приехал в гости к сыну, у которого здесь был неплохой бизнес, но сын вдруг прогорел, и теперь, чтобы как-то спасти сына от окончательного банкротства, отец по восемнадцать часов в сутки крутит баранку — зарабатывает деньги. Мы посочувствовали старику.

В один из последних дней нашего пребывания в Нью-Йорке меня включили в группу экономистов, которая должна была встретиться с представителями американских деловых кругов. Своих коллег экономистов я в отеле не нашел, решил, что увижу их на месте встречи, в Институте восточных связей, или как он там называется? Приехал туда загодя, ждал возле ворот, да никого не дождался. Вынужден был идти один: приближалось время встречи.

Вошел в шикарное здание, по широкой, покрытой ковром лестнице меня провели на второй этаж, где в холле за круглым столом уже собралось около дюжины пожилых американцев, — все одеты с иголочки, в «тройках», при галстуках или «бабочках». Некоторые с палочками в руках. По очереди представились, всем я пожал старческие, похожие на птичьи лапки пальчики. Начался ланч, что-то мы ели, выпили немного вина, которое наливал лакей. Пока были заняты ланчем, все молчали. А как только ланч окончился, все стали смотреть на гостя. Гость же чувствовал себя довольно скверно, потому что коллег всё не было. А о чем говорить с этими старичками, я не знал.

Закурив свои сигары, «старички» поинтересовались, какую фирму представляет гость? Немного подумав, я сказал, что моя фирма называется — Союз писателей. Хозяева упорно взирали друг на друга, один из них полистал какие-то лежавшие перед ним каталоги, но, должно быть, названной фирмы в них не нашел. Но больше не спрашивал. Я стал что-то говорить о важности установления экономических связей между нашими странами, меня сосредоточенно слушали, хотя за столом уже воцарилась неловкость. Я же всё еще ждал появления своих экономистов — специалистов из министерств и ведомств, но их по-прежнему не было. После довольно продолжительной паузы один из американцев, самый, наверное, старый из присутствующих, спросил: «А каким образом наши бизнесмены смогут получать доходы от своего бизнеса в вашей стране? Не может ли сэр Быков назвать соответствующий банк?» Сэр Быков в ответ на вопрос только пожал худыми плечами. Тогда старшинствующий за столом поднял бокал с вином и предложил выпить за здоровье президента Горбачева. Все выпили и встали из-за стола. Мой визит в деловые крути Америки был завершен.

Вечером в отеле я спросил у Дедкова: «Как это понимать? Почему советские экономисты проигнорировали встречу?» Игорь Александрович, который лучше меня ориентировался в большой политике, только усмехнулся: «А о чем бы они там говорили? Что они вообще могут сказать американским капиталистам? Да и не за этим они сюда приехали...»

Очевидно, и впрямь — не за этим...

Умнейший, честнейший Игорь Александрович! Это была моя предпоследняя встреча с ним. Последняя состоялась спустя какое-то время в Москве. После сессии Верховного Совета мы вечером поехали с ним к Лазарю Лазареву. У Лазаря немного выпили. Дедков уже жил в Москве, работал в журнале «Свободная мысль» (*бывший журнал «Коммунист»*). Он активно работал, написал и издал книгу о моем творчестве, часто печатался в московских литературных журналах. Но в тот вечер настроение его мне не понравилось: он был мрачен, чем-то угнетен. Поздно ночью я отвез его на такси

домой, мы коротко попрощались у подъезда и больше уже не увиделись. Игорь Александрович вскоре умер от неизлечимой болезни...

А тогда в Америке мы вместе были на приеме в ООН, пообщались с Михаилом Сергеевичем и Раисой Максимовной; за фуршетом я спросил у Александра Николаевича Яковлева, почему он перестал заниматься вопросами культуры, опекуном которой был в ЦК, на что он ответил просто: «Коммунопатриоты выжили». Как потом стало известно, он сказал правду. Коммунопатриоты могли выжить кого угодно, даже члена политбюро, — такая у них была сила.

Ночью меня разбудил Игорь Дедков: всех наших, живших в отеле, срочно вызывают в советское представительство в ООН, куда прибывает и Горбачев. Мы быстро оделись и пошли — представительство находилось неподалеку. Там у ворот уже собрались все члены делегации, но в здание никого не впускали, ждали, пока подвезут «раму», необходимую для обеспечения безопасности Горбачева. Абсурдность этой меры была очевидной — кто или что угрожает его безопасности? И мы недоумевали, гадая, какая причина заставила Горбачева поднимать всех нас среди ночи? Что случилось? «А вы не знаете, что случается дома, когда хозяин в отъезде?» — сказал многоопытный журналист-международник Валентин Зорин. Мы похолодели. Я испугался так, как давно уже не пугался — неужели путч? Словно услышав мои мысли, Дедков тихо и растерянно сказал: «Неужели они осмелились».

Но тогда они еще не осмеливались, путч ждал своего часа, причина возвращения была в другом. О ней сказал Горбачев, выйдя к нам: «В Армении беда, растрясло всю республику, утром вылетаем».

А у нас на утро была назначена встреча с деловой элитой Нью-Йорка.

Мы не знали, как быть. И тут академик Олег Богомолов сказал, что неловко подводить солидных людей, которые ради нас собираются в отеле «Роджеро» — Астория, надо ехать и всё провести в темпе. Так и поступили. Но там, в этом роскошном отеле, рассевшись за столики с ланчем, чувствовали себя как на иголках, слушая неторопливые суждения стари-

ков-миллионеров. Время подпирало. Мы с Богомоловым и редактором «Известий» Лаптевым сидели в самом дальнем углу и, заметив, что некоторые из наших один за другим стали исчезать, тоже встали и стали пробираться к выходу из холла через множество столиков. Дальний угол нас подвел! Когда, наконец, вышли из отеля, оказалось, что автобусы уже умчались в аэропорт. Стали бегать в поисках такси. К счастью, Богомолов увидел машину знакомого журналиста, который и отвез нас в аэропорт «Кеннеди». Мы едва успели на самолет. А вот Владимир Карпов не успел, прибежал, когда самолет уже выруливал на взлетную полосу, и Герою Советского Союза Карпову пришлось кричать и махать руками, чтобы его заметили. Его заметили, и сам Горбачев дал команду приостановить взлет и взять на борт отставшего пассажира. Войдя в салон, Карпов стал громко ругать такую организацию визита. Все молчали. Все были огорчены, что важный визит, в сущности, сорвался. В самый раз было бы выпить, но алкоголя в самолете не было. Горбачев проповедовал трезвость и сражался с пьянками. Зато когда прилетели в Москву, в аэропорту «Внуково» нашелся и коньяк и еще кое-что. Там мы хорошо расслабились. Под утро Олег Тимофеевич Богомолов отвез меня в «Шереметьево-1», откуда я улетел в Минск.

Та поездка была, пожалуй, самой неприятной из всех моих поездок за рубеж. Конечно, многое можно списать на ужасную катастрофу в Армении, но не всё. Я увидел тогда окружение инициатора перестройки и сильно засомневался, что эти люди к ней стремятся. Им и так было неплохо. А может, даже и лучше по сравнению с тем временем, которое наступило. Один из них, самый тогда льстивый и верный соратник, потом назовет Горбачева «ангелом тьмы» и бросится прилагать отчаянные усилия, чтобы возродить то, что было внезапно отброшено историей.

**А в Минске** тогда началась беспокойная, взбаламученная жизнь. Партийная пресса, телевидение, а также партийные органы всех уровней набросились на новое националь-

но-демократическое движение. Обвинения были самые страшные. Бэнээфовцев называли фашистами, немецкими прихвостнями, полицаями. Национальный бел-красно-белый флаг тоже объявили фашистским, изо дня в день вопили, что именно под этим флагом немцы вместе с полицаями расстреливали евреев. О Позняке говорилось, что он был полицаем (*это о человеке 1945 года рождения!*), что отец его тоже был полицай, а не красноармеец, который погиб на фронте. Позняк, однако, сохранял спокойствие и твердость, не бросался с опровержениями, а неутомимо сплачивал под знаменем БНФ национальный актив. Его соратниками с самого начала стали: Михаил Дубенецкий, известные историки М. Ткачев и А. Грицкевич, ученый-физик профессор Ю. Ходыко, педагоги В. Вечерка, Ю. Сивчик, искусствоведы В. Чуйко и В. Трегубович, а также художники Г. Ващенко, М. Купава, А. Марочкин, Е. Кулик, журналист С. Наумчик и его жена Галя. Писателей в новом движении было немного: я, Рыгор Бородулин, Артур Вольский. И всё. Большинство писателей дистанцировались от БНФ. Позже многие из них вошли в Товарищество белорусского языка, либеральную организацию, созданную с согласия властей Нилом Гилевичем.

Зимой стали готовить съезд БНФ, чтобы узаконить Фронт, сделать его легитимным. Провести съезд в Минске было невозможно, и нас выручили литовские друзья, — помогли организационно, предоставили удобное помещение. К сожалению, я в том съезде не участвовал — подоспела давно запланированная поездка в Испанию. Международное писательское сообщество запланировало конгресс в Севилье, и я должен был там выступать с докладом. Была еще одна причина, которая вынудила меня отправиться не в Вильнюс, а в Севилью: предложение одной издательской фирмы издать мое Собрание сочинений с включением в него всего мною написанного, в том числе и запрещенного в Советском Союзе. Я подготовил рукописи, собрал черновики — такое было условие. Отправить это почтой было невозможно, а провезти через границу в своем багаже я мог, пользуясь своей депутатской неприкосновенностью на таможне. Издательство дало мне несколько своих зарубежных адресов, в том

числе и в Мадриде. Прибыв в Мадрид, я тотчас запаковал рукописи в почтовую бандероль и отправил ее по мадридскому адресу фирмы. И — навсегда. Ни слова в ответ не получил. Позже пытался узнать что-нибудь об этой фирме, но никаких следов ее не нашел. Так всё и пропало. (*Может, когда-нибудь отыщется в бездонных архивах КГБ, ФСБ, ФАПСИ и т.д.*)

До Севильи несколько дней пробыл в Мадриде. Все европейские города, в общем, чем-то одинаковы — архитектурой, благоустроенностью. Вместе с тем у каждого свой облик, свои особенности — в планировке, озеленении, не говоря уже о музеях. Мадридский Прадо ошеломлял, как и все подобные хранилища многовековой культуры Европы. Не то, что галерея Пикассо, посетителей в которой было негусто. Да и выглядела она чересчур модерново — даже для Пикассо. Знаменитая его «Герника» тем не менее заслуженно стала символом неприятия мировой бойни, нависавшей над Европой в годы создания картины.

Но, пожалуй, самое огромное впечатление на меня произвел Мемориал, до которого полчаса езды от Мадрида автомобилем.

Еще издали виден водруженный на скале громадный католический крест, под которым в недрах скалы находится Мемориал — огромный зал-усыпальня, разделенный на две половины. По одну сторону обрели вечный покой республиканцы, по другую — франкисты. Посреди зала возвышается гранитное надгробие Франко. Мемориал — его идея, объединившая всех павших во время гражданской войны испанцев, — и врагов Франко, и его сторонников. Это явилось замечательным воплощением христианского постулата, что перед Богом все равны. Смерть объединяет. Постулат, который, к великому сожалению, у нас давно на задворках сознания даже в среде собственной нации, не говоря уж об отношении к другим нациям, к бывшим врагам. Если в Европе построены сотни мемориалов, бережно сохраняются все могилы наших солдат, жертв Второй мировой войны, то на нашей земле от захоронений немецких солдат не осталось и следа. Всё сровняли с землей, разрушили памятники

на волне гнева и ненависти к оккупантам, что было естественно во время войны и в первое послевоенное время, но, однако, не затухло по сей день. И сегодня наши ветераны готовы на всё, только бы не разрешить немцам за свой счет восстановить память о немецких жертвах на земле Беларуси. В то же время гуманитарную помощь от немцев хотят получать регулярно. Такая мораль.

Севилья с зелеными в феврале газонами и вечнозелеными пальмами приятно дохнула на нас весной, удивила апельсиновыми деревьями на улицах. Желтые плоды на деревьях, однако, оказались горькими. Мы посетили бывшую табачную фабрику, на которой работала когда-то бессмертная Кармен, а теперь стоял неумолчный гомон студентов Севильского университета.

На одно из утренних заседаний конгресса я не пошел, плохо в тот день себя чувствовал, лежал в номере на кровати и стал невольным свидетелем того, как в соседней комнате обыскивают чемоданы моего товарища, московского литератора. Делали это два наших земляка, приехавших в Севилью из Мадрида. Несправедливо было бы винить испанцев, если из чемоданов что-то пропало. А может, не пропало — прибавилось, что могло обернуться еще большими неприятностями.

Когда улетали домой, встретил в мадридском аэропорту Олега Ефремова, который возвращался в Москву с гастролей. Выглядел он неважно, смотрел на всё с глубоким пессимизмом, не ждал ничего хорошего для культуры. Это казалось странным на фоне эйфории, охватившей Москву под влиянием перестройки. Но Ефремов был человек мудрый, трудно было ему не поверить.

Вернулся в Минск и сразу очутился в водовороте политической борьбы, которая вовсю разворачивалась в белорусской столице. БНФ, как только был создан, стал апеллировать к народу, звал его на улицы. Народ не очень охотно реагировал на пламенные призывы Позняка, но всё же собирался, хотя и негусто, на митинги, слушал ораторов. Позняк ставил крайне радикальные цели, которые у одних вызывали сомнение, других пугали именно своим радикализмом.

Часто заседал сойм БНФ, в заседаниях которого мы с Бородулиным старались регулярно участвовать. Рыгор выступал коротко, но всегда содержательно и остро. Надлежащих условий для политической работы не было, у сойма не было своего помещения и он собирался где придется — в школах, в музеях, иногда в Доме литератора, пока он принадлежал писателям. Из Дома литератора хоронили Михася Ткачева, который умер от последствий жестокого избиения в одном из райцентров. А незадолго до этого он съездил в Гродно на похороны Алексея Карпюка. Алексей умер летом от рака желудка, в тяжких страданиях. Еще и это — вдобавок к другим страданиям в его жизни!.. В последние его годы старые коммунисты в который раз нанесли ему душевную травму — обвинили в газетах в том, что он оболгал коллективизацию, в грязных выражениях оскорбили писателя. Карпюк подал на них в суд за клевету и выиграл процесс, взыскав с обидчиков денежное возмещение за моральный ущерб — один рубль. Его противники только похихикали: сарказм Карпюка до них не дошел... Вскоре они научились взыскивать за «оскорбление чести и достоинства» миллионы, которые перечисляли на нужды детских садов. Сами уже нахапали, самим стало не нужно.

**Согласно новым,** перестроечным законам началось выдвижение кандидатов на съезд народных депутатов СССР. Из Москвы были спущены квоты, в том числе и в СП БССР. В Доме литератора провели собрание, которое вел Нил Гилевич, назначенный председателем местной избирательной комиссии. А это означало, что он не имеет права выдвигать кандидатов в депутаты. Это огорчило не только его, но и меня, потому что я почувствовал, кого выдвинут, и не знал, как из этого выкрутиться.

Получилось примерно так, как я и предвидел: несколько человек один за другим предложили кандидатуру Быкова. Я выступил с самоотводом. Самоотвод поставили на голосование и отклонили. Я снова не согласился. И всё началось по новой: Быкова, Быкова!.. Один лишь Домашевич, должно

быть, понял меня, сказал: «Ну что вы прицепились? Человек не хочет, уже немолод, нездоров...» Домашевича никто не слушал, так же, как и меня. На том и разошлись.

На другой день рано утром позвонил Анатоль Вертинский, который тогда был главным редактором «ЛіМа». Он чуть ли не с отчаянием сказал, что не знает, как ему быть. «В газету надо давать сообщение о результатах голосования по выдвижению кандидата в депутаты. Передо мной лежит протокол собрания, в нем написано: выдвинут Быков. А ты не согласился. Так что мне делать?» — взывал ко мне Анатоль.

Я уважал Вертинского, был с ним в дружеских отношениях и, усмирив душу, вынужден был согласиться. Ради «ЛіМа», ради его редактора, а не ради собрания, которое насильно выдвинуло меня на мучение...

Протокол собрания ушел в Москву, в Союз писателей СССР, куда такие же протоколы поступали из писательских организаций всех союзных республик и автономных областей. А поскольку выборы должны были проводиться в том же Союзе писателей СССР по спущенной ему квоте — 10 депутатов, то во всесоюзном СП надлежало выбрать 10 кандидатур из всех поступивших. И я думал—надеялся, что, может, там я не пройду, пройдут другие. Но этого не случилось — прошел и там. И вот Быков стал одним из десяти народных депутатов от всесоюзной писательской организации. Алесь Адамович тоже им стал, но от Союза кинематографистов. То, что был избран Адамович, несколько меня обрадовало — всё же свой человек будет рядом. Не один я в этом сборище номенклатуры из всей страны — только от Беларуси около ста!.. И немного утешало, что я — от творческой организации. Думалось, слава Богу, не придется сидеть среди э т и х, с которыми насиделся за десять лет в Верховном Совете БССР. Но я ошибался. В зале всех рассадили по алфавиту и территориальному принципу. Адамович оказался среди депутатов от Москвы, а я, естественно, среди депутатов от Беларуси. Моими соседями оказались председатель Брестского облисполкома, мастер молодечненского завода, председатель колхоза Бядуля, председатель КГБ Балу-

ев. Позади сидели председатель Совмина В. Кебич, первый секретарь ЦК КПБ Е. Соколов. Та еще компания!

Предстояло избрание руководящих органов съезда народных депутатов СССР и состава различных его комиссий. Для утверждения белорусских кандидатур в эти органы в Минске собрали всех депутатов от Беларуси, вел заседание Малафеев. Выбирали открытым голосованием. Услышав свое имя, я тотчас заявил о самоотводе, который был отклонен. Лишь генерал Чумаков и еще несколько человек проголосовали против Быкова, и я не знал, что о них думать — то ли они мои друзья, то ли недруги.

Продолжение следовало в Москве. В зале Президиума Верховного Совета собрался совет старейшин, на котором присутствовали и мы с Адамовичем. Мы сидели в амфитеатре, на задних скамьях, и наблюдали, как Горбачев и Лукьянов шушукаются, обсуждая кандидатуры. Я послал Горбачеву записку о самоотводе. Горбачев зачитал ее вслух и поднял меня с места: «Почему вы отказываетесь?» Я сказал, это здоровье не позволяет. Горбачев развел руками: «Ну вот, популярный писатель, а не хочет. Ну что ж...» Отложил мою записку в сторону и вычеркнул меня из списка кандидатов.

Адамович, напротив, хотел, чтобы его избрали, но напрасно. Его кандидатура даже не предлагалась. Было заметно, что он немного переживает, что ему досадно — он был человеком большого общественного темперамента. Но так уж у нас заведено: кто хочет, тому не дают, а кто не хочет, того заставляют. Этот большевистский принцип не удалось нарушить и Горбачеву. Когда стали распределять депутатов по комиссиям было предложено подавать заявки — кто куда желает. Я не подал никакой заявки, решил по-солдатски «сачконуть». Адамович же подал заявку сразу в две комиссии, надеясь, что в какую-нибудь да введут. К сожалению, его не ввели ни в одну из комиссий, а меня, не спросясь, избрали в комиссию по обороне и государственной безопасности. Потом я высказал свое неудовольствие Лукьянову, который занимался составом комиссий, на что он ответил: «Но ведь вы же пишете об армии и КНБ!» Так я влип. Адамович насмеш-

ливо мне сказал: «Кого ты думал перехитрить?» А я рассказал ему старую байку про одесского бомжа, который, слоняясь по порту, искал какую-нибудь работу. Видит, на мостике океанского лайнера стоит красавец капитан, и бомж кричит ему: «Эй, кэп, тебе помощник не нужен?» — «Нет, не нужен». — «А боцман?» — «Тоже нет». — «А кок?» — «И кок не нужен». — «Ну твое счастье, падло, а то я бы тебе наработал!..» Я не одесский бомж, но на коммунистического кэпа работать тоже не собирался...

Началась бурная, бестолковая, но во многом драматическая деятельность на съездах народных депутатов. Депутатов было великое множество из всех республик Советского Союза. Больше всего — из среднеазиатских республик, и меньше — из Прибалтики и с Кавказа. Рассаживались в зале только на предписанных каждому местах, в перерывах кучковались возле своих партийных лидеров — первых секретарей ЦК союзных республик. Они были режиссерами съездовского действа, назначали выступающих, давали указания, что говорить. Рядом с белорусской делегацией целый гектар площади огромного зала занимала делегация Узбекистана, и мне любопытно было наблюдать за ее поведением. Там было несколько дирижеров, в том числе одна женщина, которые не только натаскивали выступающих, но и подавали реплики, выкрикивали, зачинали аплодисменты. Очень сплоченная была делегация.

Политический накал в зале для неопытного человека часто был невыносимым. Например, для таких людей, как Сахаров, Афанасьев и даже Собчак. Когда Сахаров говорил об Афганистане, отключали микрофоны, пытались согнать его с трибуны нарочитыми аплодисментами — «захлопывали». Зато когда выступил генерал Родионов, который устроил известную кровавую баню в Тбилиси, его проводили с трибуны бурной овацией, половина зала встала. Я тогда отчетливо понял, что попал явно не туда, что надо отсюда как-то рвать когти.

Алесь Адамович наоборот — был полон энергии и полемического азарта, готов был выступать по любому поводу. Часто это ему удавалось, потому что он сидел в первом ряду,

как раз перед трибуной. Однажды выступил очень резко, предупредил Горбачева об опасности, которая исходит от его генеральского окружения. За эту речь Алесю досталось от депутатов писателей, российских коммунопатриотов. Печально, что к ним (*поначалу молча*) присоединились и некоторые белорусские деятели культуры, например, депутат Михаил Савицкий. Я попытался поговорить с Валентином Распутиным, с которым был в хороших отношениях, но быстро понял, что между нами — бездна. Эти люди не видели и не признали ничего, кроме своей любимой матушки-России. Ну да ладно — это русские, а как же другие?..

Пробным камнем новой политики Горбачева стала национальная проблема (*Грузия, Армения. Азербайджан, Центральная Азия, Прибалтика*). Даже мало осведомленному человеку было понятно, что народы этих стран рвутся к свободе и независимости, что им осточертела тюрьма под названием СССР. Имперцы этого не понимали. Я тогда контактировал с прибалтами — эстонцами и литовцами, которые взяли отчетливый курс на независимость и стали последовательно ее добиваться. Прежде всего — важно было признать незаконность секретных протоколов, которые прилагались к известному пакту Риббентропа—Молотова. Но сперва надо было найти эти протоколы. Советские дипломаты и кагэбэшники твердили, что никаких протоколов нет и не было, что это выдумка Запада. Усилиями демократов была создана специальная комиссия во главе с Ландсбергисом, в которую ввели и меня. Нам предстояло доказать, что опубликованные на Западе копии протоколов не фальшивка, что копии сделаны с подлинных документов. Доказать это было непросто. Академик Фалин с трибуны съезда не уставал уверять, что никаких протоколов в природе не существует. Большинство ему верило. Но большинство недооценило настойчивость прибалтов, в частности Ландсбергиса с его бульдожьей хваткой. Этот литовский профессор музыки в ходе нескольких заседаний доказал, что фальсификаторством занимается не Запад, а министерство иностранных дел СССР. Руководство страны продолжало упорно отстаивать свой обман, что некоторое время спустя привело к кровавым столкновениям в

Вильнюсе, Риге, да и в Закавказье. Пролилась кровь, о чем сурово предупреждал Горбачева неукротимый Алесь Адамович, который из активного сторонника Михаила Сергеевича превратился в его противника. Впрочем, как и вся межрегиональная депутатская группа Афанасьева—Попова.

В перерыве между заседаниями мне довелось встретиться и побеседовать с Андреем Сахаровым. Это произошло в буфете. К стойке буфета выстроилась длинная очередь депутатов, в которой стоял и я. В дверях появился Сахаров и явно растерялся, увидев такую большую очередь, не знал, куда ему стать. Большинство стоявших в очереди депутатов относились к нему враждебно, еще час назад они пытались согнать его с трибуны. Я подошел к Сахарову, предложил ему свое место. Он поблагодарил, но в очередь не стал. Мы отошли в сторонку, заговорили. Андрей Дмитриевич сказал, что читал мои книги и хотя сам в войне не участвовал, не сомневается в их достоверности, потому что доверяет реакции на них такой читательницы, как Елена Бонэр, его жена — она фронтовичка, была тяжело ранена. Что касается моральной ценности книг, то она бесспорна. Я рассказал академику историю о том, как от писателей добивались подписей под письмом против его и Солженицына, сказал, что поддерживаю его сегодняшнее выступление о преступлениях советских войск в Афганистане, — в том выступлении Сахаров привел эпизод, когда советские летчики пытались разбомбить своих, чтобы те не попали в плен. Это вызвало бурю протеста в зале, ветеран-инвалид выступил с гневной отповедью, дескать такого факта не было, потому что не могло быть никогда.

Это был мой первый и последний разговор с этим человеком. Ночью Сахаров скоропостижно скончался в своей квартире, а через два дня депутаты ехали автобусами его хоронить. Я оказался в автобусе, в который села группа генералов и маршал Ахрамеев. Словно забыв, что едут на похороны, генералы вели себя довольно оживленно, маршал шутил. Кто мог тогда предвидеть, что пройдет немного времени и маршал Ахрамеев повесится в собственном кабинете? Такие вот две смерти. Уровняют ли они покойных?

В зале заседаний среди белорусской делегации съезда народных депутатов возник конфликт, причиной которого был и я. Потребовалось провести довыборы депутатов в состав Верховного Совета. Демократически настроенная часть белорусской делегации стремилась провести кого-либо из своих — Шушкевича или Добровольского. Но делом озаботился Е. Соколов, он провел голосование по «упрощенной» схеме — в зале, с мест, поднятием руки. Подсчет голосов поручил гэбисту Балуеву. Я сразу поднял руку против всех остальных, но, конечно, остался в проигрыше, выбрали коммунистов. Тут я не сдержался и, очевидно, чрезмерно резко, а то и оскорбительно отбрил Соколова. Ленинградский следователь Иванов, который сидел неподалеку и наблюдал эту сцену, сказал мне: «Смело вы, однако!» Может, и смело, но по-дурацки и без пользы, всё равно ничего не добился. А главное, себе во вред, — наглотался потом таблеток...

На заседания комиссии, в которую меня ввели, я не ездил. Присылали повестку — специальный курьер стучал в дверь ночью, часа в четыре, вручал конверт, требовал расписаться в получении, после чего я ту бумажку выбрасывал в мусорную корзину. Но однажды на очередном съезде в конце дневного заседания пришлось принять участие в работе комиссии. Она заседала в роскошном зале Кремлевского дворца. Я пришел с опозданием, но лучше бы не приходил вовсе. Это был ужас, которого еще не бывало. Во всяком случае в зале заседаний съезда народных депутатов. Заседание комиссии вел ее председатель, товарищ в штатском, но я знал, что он — генерал-полковник. Остальные члены комиссии тоже были генералы — вооруженных сил и КГБ, а еще — цековцы и республиканские партийные лидеры. Страсти были накалены, лица у всех присутствующих раскраснелись. Очередной оратор доказывал, что политика Горбачева — предательская, что он препятствует достройке «авианесущих крейсеров, позарез необходимых армии и флоту». Оратора поддерживали репликами с мест. Затем начались прения, в ходе которых все выступавшие тоже говорили о предательстве Горбачева, который «продал Россию и гробит партию». Потом стали обсуждать «гнусный поклёп» журналиста Ко-

ротича, который «написал в своем журнале «Огонёк», будто в Советской Армии существует какая-то дедовщина. Преклонных лет полковник чуть не плакал от обиды за «нашу рабоче-крестьянскую армию, победившую злейшего врага — немецкий фашизм, которая...» И так далее, и так далее... Его дружно поддерживали. Прозвучало предложение вызвать на сессию Коротича и «пропесочить его, чтобы десятому заказал, как клеветать на доблестную рабоче-крестьянскую...» Я больше не мог терпеть всё это и вышел.

В дальнейшем я в комиссию не являлся. Я не хотел иметь ничего общего с преступной политикой очевидного коммунистического реванша, который задолго до известного путча обнаруживал себя, готовился теми, кто оказался перед лицом реальной угрозы потерять свою безраздельную власть. Я понимал Адамовича, который вместе с другими интеллигентами осуждал Горбачева, но я не мог не посочувствовать Михаилу Сергеевичу.

Горбачев оказался в зверинце, который сам же по недомыслию или намеренно раздразнил и, видно, уже не знал, как с ним справиться.

**Рыгор Бородулин**, как всегда переполненный разными (*не только поэтическими*) идеями, задумал сделать фильм о моей «малой родине». Когда всё было согласовано с киностудией «Беларусьфильм», мы на микроавтобусе студии поехали в Ушачи.

Дорога через Плещеницы и Бегомль была мне издавна знакома, я любил подступавшие к ней сосновые боры и холмы, тенистый лесной проселок через Березинский заповедник. Пожалуй, дорога и была самым приятным в том путешествии, потому что остальное... Остальное было слишком живо связано с тяжелыми воспоминаниями детства, угнетало картинами отмирания и запустения памятных околиц. Это бередило душу, изматывало нервы. Всё, что для других, сторонних, было деталью, фоном будущего фильма, для меня было болью. И я, может, не согласился бы на всю эту затею,

если бы хитрец Рыгор не поманил меня любимым моим озерцом. Запланированы были съемки на озере, и я поехал.

По дороге заехали в Волчу за моей сестрой Валей, которая уже знала о приезде киношников и ждала нас. Валя вышла замуж в Волчу за колхозного механизатора Шурку, неплохого, в общем, человека, у которого, однако, был один недостаток — всё тот же... Детей у них не было, и сестричка достаточно натерпелась в своем браке с Шуркой-Сашкой, который из-за своего известного недостатка-пристрастия умер совсем еще не старым. Вдовица осталась одна в хате, с котом и огородом, только им и занималась с первых вешних дней до поздней осени. С огорода и жила.

Посадили Валю в автобус и поехали в Бычки. Наш двор зарос репейником и крапивой, сиротливо выглядела заколоченная родная хата. Помню, как ее строили, помню ее новой, помню, как радовала она отца и маму, и нас, детей.

Но прошло не так уж много времени, и хата скособочилась, вросла чуть не по самые окна в землю и стоит с продырявленной крышей и сгнившим крылечком. Осталась только одна радость — два посаженных отцом дерева, дуб и клен, которые с каждым годом становятся всё выше и вознеслись высоко над хатой.

На крыльце хаты киношники заставили меня принимать необходимые им позы, отвечать на вопросы, которые задавал, оставаясь человеком «за кадром», редактор и режиссер фильма Володя Халип. Затем поехали на озеро, съехать к которому по холмистому спуску было немалым риском. Но как-то съехали. А там на удобном пригорочке, который я любил с детства, развели костерок, стали ладить возле него ученый разговор. Очень я не любил эти постановочные разговоры, когда надо демонстрировать свое глубокомыслие или лирическое состояние души. И то и другое, по-моему, лучше держать при себе, а если уж доверять, то бумаге. Сестрица сидела рядом и слушала, дивясь киношной «премудрости», переживая за наше с ней общее прошлое. Когда всё закончили, Володя Халип бухнулся в озеро и, к моему восхищению, переплыл его туда и обратно без отдыха. Такое я видел впер-

вые. Никто так бесстрашно не переплывал наше озеро: может, не было настоящих пловцов, а может, пугала глубина. Старики говорили, что озеро очень глубокое. Впрочем, ничего удивительного: Володя вырос на озере. На своем.

Вернулись в деревню, и, пока мой брат Микола со своей женой Тоней готовили угощение, я прошелся по безлюдной, заросшей травой улице. Родная моя, бедная и несчастная вёсочка, она доживала свои последние дни. Только в двух соседних хатах еще обретались люди, остальные были заколочены, да и тех осталось несколько. Зияла разбитыми окнами хата Головачей, куда я некогда любил приходить к Володе Головачу, не стало хаты дядьки Василя, хаты умершего от чахотки богатыря Куца. Но увидел и справное хозяйство — неплохо обосновался на своем подворье младший брат моего друга Коли, Семён, заботливый и работящий крестьянин. В хате Миши, который долгое время был директором школы, жила-доживала свой век его вдовая сестра, дочь которой убило молнией. В соседнем селе обитаемых хат было побольше, но я уже забыл имена их хозяев. Помню только Василя Паршенка, киномеханика, который жил за сельским кладбищем.

Окрестности тоже изменились. В мой любимый зеленый овраг было не пробраться, настолько он зарос олешником; исчезла, став ненужной людям, и наша криничка. Кустарник и олешники всё больше завоевывали, былые деревенские угодья подступали к самым огородам. Наглухо позарастали полевые дорожки, а те, что остались, были беспощадно изувечены огромными колесами и стальными гусеницами автотракторной техники. Хорошо, что в свои депутатские годы я добился, чтобы заасфальтировали главную дорогу. Но военные не дали заасфальтировать ответвление с магистральной дороги на Кубличи: там у них начиналась маневровая авторакетная трасса, которую надо было прятать от НАТО. Теперь нет ни трассы, ни ракет, но нет и человеческой дороги.

Мой брат Микола, который прожил тут всю жизнь, работая в колхозе, дождался, наконец, пенсии, чему был несказанно рад. Никто его больше не гнал на принудительную работу, можно было поковыряться на подворье, возле хаты, что

брат очень любил. Плёл из проволоки сетки для ограды, в соседних кустарниках заготавливал дрова. В хлеву похрюкивал кабанчик, паслась неподалеку коровенка. Пенсия была маленькая, но платили ее регулярно, хлеб раз в неделю привозилаавтолавка. Что еще нужно? Такой жизни никогда не было в деревне, и пенсионерам казалось, что они наконец дожили до коммунизма, который обещали большевики. Было бы только здоровье. Но как раз здоровья-то и не хватало, здоровье без остатка отняла колхозная барщина. Не долго радовался своей вольной жизни на пенсии и мой Микола...

Да, наступила пора утрат, всё ближе подступал час вечной разлуки. Меньше и меньше оставалось родственников, друзей и даже знакомых. Рыгор и вовсе остался один — последними ушли его тетушка, ласковая и хлебосольная (*стоящий мужчина или нестоящий, она определяла по извечной крестьянской шкале: едок — не едок. Не знаю, как Рыгор, а я у нее оказался в числе неедоков*), за ней ушел дядька Петрок, последний из Гришиной родни, не очень старательный сторож Гришиного отчего дома в Ушачах, в котором чуть ли не каждую зиму хозяйничали местные ворюги.

В одну из моих последних поездок на родину родилась идея-сюжет повести «Облава».

Знакомый из Кублич рассказал мне о случае, который произошел в 30-е годы, когда у нас проводилась коллективизация — раскулачивание, высылки, аресты. Некий крестьянин был сослан с семьей под Архангельск, там настрадался, похоронил жену и малолетнюю дочку и решал бежать домой. Удивительно, но это ему удалось. Со многими приключениями-испытаниями, одолев тысячу километров, он добрался до родной усадьбы и сладко в одиночестве поплакал. Но на том и кончилось счастье возвращения. В дороге его никто не знал, а тут узнал первый же повстречавшийся на рассвете сосед. И к исходу дня за ним стали охотиться, устроили облаву, в которой (*вот драма!*) вынужден был принять участие его сын, который в свое время отрекся от отца и вступил в партию. Отец утопился в болоте. И с чем же остался жить его сын? Не с тем ли, что всю жизнь носил в себе Александр Твардовский? Это ведь он оказался в подобной

ситуации, когда однажды в Смоленске, где Твардовский, тогда молодой поэт, жил и работал в редакции газеты, к нему в редакцию пришел его отец, бежавший из ссылки. И сын сказал ему: «Возвращался бы ты лучше туда, откуда пришел...» Люди нового времени вряд ли поймут всю глубину истоков пожизненной драмы прославленного поэта и его несчастного отца.

Ночью, по дороге в Минск, сидя в микроавтобусе меж умаянных съемками и дорогой киношников, я всё время думал о том давнем случае. А вернувшись домой быстро написал «Облаву».

**Зенон Позняк** стремился утвердить в БНФ строгую партийную дисциплину, учет и всё прочее, присущее постоянно действующей политической организации. Нельзя было более двух раз пропустить заседания сойма, на всех членов БНФ завели учетные карточки. Это, наверное, было необходимо, потому что министерство юстиции строго следило за соблюдением формальностей, чтобы, чуть что не так, придраться и запретить Фронт. Оформления его структуры и признания прав Позняк добился при яростном сопротивлении властей, а оно было яростным даже в относительно либеральные времена Шушкевича.

Конечно, суровый ригоризм Позняка нравился далеко не всем фронтовцам. Несомненно, честные и умные хлопцы, в большинстве интеллигенты, собравшись вместе, нередко заявляли о несогласии с лидером. Это несогласие касалось в основном тактики; стратегия ни у кого не вызывала сомнения, потому что стратегией была сама Беларусь, которой все они были преданы. Я любил и уважал их всех — всегда философски-рассудительно настроенного Юрия Ходыко, весельчака Валентина Голубева, неугомонного Вячеслава Сивчика, красноречивого Винцука Вечерку, по-деловому сосредоточенного Сергея Наумчика. Несколько позже к ним присоединился очень интеллигентный парень Лявон Борщевский. Славные были возле них и девчата, хотя, в силу женс-

кого характера, не всегда ладившие одна с другой. Но все рассудительные и образованные.

Аналитические способности Позняка казались безграничными. Похоже, он знал про Беларусь всё — и про современную, и историческую, слушать его суждения о ней можно было часами, хотя он и не отличался особым красноречием. Но это был человек, на всю жизнь заболевший Беларусью. Я очень ценил это его качество, и даже когда не во всём был с ним согласен, когда мне не всё нравилось в его максимах, не хотел перечить. Я не чувствовал за собой права возражать человеку, одержимому великой идеей.

Правда, Адамович, встретившись во время одного из своих приездов в Минск с Позняком, сказал мне, что этот человек действительно может претендовать на лидерство в Беларуси, единственный его недостаток — одержимость. Нехорошо быть одержимым, тем более — идеей. Самые благородные идеи терпят крах именно из-за одержимости и провозвестников. В принципе я был с этим согласен, но не в отношении Позняка. Я полагал, что аполитичной, кроткой Беларуси необходим именно такой лидер. Только такой способен разбудить нацию, которая многое проспала за века своей истории.

Эта моя расположенность к Позняку укрепилась, когда однажды, включив телевизор, увидел крупным планом его лицо аскета, решительные лица его соратников и услышал, как лидер БНФ назвал коммунистическую партию бандой тиранов и убийц, самой кровавой в нашей истории. Это его выступление в прямом эфире белорусского телевидения, так же, как некоторые его газетные публикации, поначалу вызвало шок в обществе, не привыкшем к таким пассажам.

Тем не менее то же общество в скором времени избрало Зенона Станиславовича депутатом Верховного Совета. Тогда это еще было возможно. Наряду с Позняком в Верховный Совет была избрана довольно большая группа членов БНФ, которая составила ядро парламентской оппозиции, сумевшей потом добиться многого в деле завоевания независимости страны. Успехи оппозиции и ее лидера обнадеживали и вдохновляли национально мыслящих белорусов, согревали душу.

К сожалению, в своей газетно-митинговой риторике Позняк не всегда следовал политической логике и не смог избежать крайностей в определениях, особенно России и русских. Всегда очень чувствительные ко всему, что касается их национального достоинства, некоторые из них использовали позняковские инвективы для оправдания своих нападок на БНФ. При этом замалчивались другие высказывания Позняка. Так, когда его в одной из телепередач спросили, какую политику по отношению к русским он будет проводить, если станет президентом, кандидат в президенты Зенон Позняк сказал: «Такую, чтобы русским на Беларуси жилось лучше, чем в России». Что ж, риторично, но предельно ясно, в русле оптимального подхода к решению болезненной межнациональной проблемы.

Наверное, в первоначальный период становления суверенитета, еще шаткого, не стоило затрагивать сложный вопрос люстрации и особенно пенсий бывшей партийной и военной номенклатуры. С течением времени это можно было бы сделать тихо, без политического ажиотажа, так, как в Чехии и Польше.

С Позняком было нелегко многим. Будучи человеком одержимым, он такой же одержимости ждал и от других, прежде всего от своих соратников. А у них — у каждого — был свой характер, отличный от характера Позняка. А главное, все они по своим убеждениям были демократы, демократам же, как известно, метафизически не свойственно единомыслие. Там, где соберутся хотя бы два демократа, начинаются расхождения и полемика.

Самоотверженность — психологически тяжелое дело. Тут приемлем только собственный добровольный выбор, подталкивать к которому никто не имеет права. Даже большевики во время войны это понимали и считали, что сотни Матросовых совершили свой подвиг добровольно (*хотя это, конечно, сомнительно*). Но важно, что постулат добровольности и они не оспаривали. Христианский, кстати, постулат.

Характер Позняка, его одержимость и создали для него проблему на очередном съезде БНФ. Отставки лидера добивались некоторые из его соратников. Я был вынужден выс-

тупить с просьбой не ставить этот вопрос, понять, что пока альтернативы Позняку в БНФ нет. Меня послушались, хотя, возможно, я ошибался. Единство Фронта сохранилось, но это было формальное единство, и не случайно позже Фронт всё равно раскололся...

Бэнээфовцев, особенно ветеранов этого движения, с пренебрежением называют романтиками. Это не совсем так, хотя доля правды в этом определении есть. В какой-то степени романтиком был и Позняк. Плохо не это, а то, что со временем благородная в принципе идея возрождения приобрела в глазах общества другой оттенок, стала восприниматься как стремление к архаике — не всегда понятной, а потому и неприемлемой для современного, чрезмерно прагматичного белоруса.

Белорусский народ в своей массе в конце XX века был озабочен не столько проблемой возрождения, сколько проблемой выживания. Хоть как-нибудь, пусть с большевистским рылом, только бы не превратиться в мертвеца, что, в общем, было реальной угрозой. По сути шел процесс умирания (*во всех смыслах*), и важно было сохраниться, удержаться на краю гибели, а не преклонить колени перед многовековой давности величием Великого княжества Литовского. Народ это осознал инстинктивно и поэтому на первых президентских выборах в массе своей не пошел за Позняком и БНФ с их виртуальным национал-демократизмом, архаизацией и без того не слишком упорядоченного языка — возвращением к грамматике Тарашкевича. Со времен Тарашкевича очень многое изменилось в мире, в том числе и в белорусском языке, с чем прагматичный политик обязан был считаться. Народ пошел за жестким, напористым, прагматичным директором совхоза, идеи которого были просты, и до конца понятны. Он бросился к России выколачивать хлеб, бензин, газ, без которых невозможно было не только «возрождаться», но и пережить зиму. Конечно, очень многие понимали, чувствовали, что это лишает Беларусь суверенитета, уводит от демократии. Но какая польза от демократии, если плачут голодные дети? Но лидеры БНФ, будучи, несомненно, демократами, не поняли, что демократия — это не

справедливость, а арифметика, что национальное будущее теперь определяют цифры, а не идеи, какими бы прекрасными они не были.

Высокими национальными идеями была озабочена национальная элита, нация же имела перед собой элементарную практическую цель — выжить.

**Я разговаривал** со многими писателями, в большинстве моими друзьями, о желательности вступлении их в БНФ. Но безрезультатно — у писателей было другое мнение о Позняке. Они вообще хотели держаться подальше от политики. Только Бородулин да Вольский добросовестно участвовали в работе сойма. Гилевич обособился в созданном им Товариществе белорусского языка, Буравкина сняли с поста руководителя радио и телевидения и отправили на дипломатическую работу в Америку. Для меня это было ощутимой потерей на долгие годы. Я любил Геннадия за его чуткость и внимание к друзьям, неравнодушное отношение к болезненным общественным проблемам.

Он всегда по-доброму относился ко мне; оказавшись в Нью-Йорке, время от времени звонил, присылал лекарства, приглашал приехать на встречу с белорусской диаспорой. Но я не решился: стало ухудшаться здоровье, да так, что однажды «скорая помощь» отвезла меня в реанимацию.

Еще один раз удалось в ту пору съездить в Ушачи — с Бородулиным и еще одним нашим земляком, Сергеем Законниковым, который свозил нас в свою родную деревню, где познакомил со своими родителями, бывшими сельскими учителями. Сережа был хороший сын, трепетно относился к своим старикам; он добился определенных успехов на службе и в литературе, но родители не спешили переезжать к сыну в большой город и жили в обустроенной собственными руками хатке на берегу озера. Надо заметить, что наших стариков издавна привлекали озера, и если появлялась возможность выбирать, где жить, селились поближе к воде. Вода успокаивала, врачевала душу и продлевала жизнь. Это старики хорошо знали.

Как всегда, о самых важных событиях узнавал по «Панасонику», которой включал обычно поздно вечером или рано утром. В то время глушить уже перестали, слышимость была неплохая, не то, что некогда. Хотя слушали и раньше, сквозь вой и скрежет глушилок, зарубежные станции были единственным источником свободной информации. Я так пристрастился к «Свободе», что, если была возможность, не пропускал ни одной ее передачи. И не только о политике и текущих событиях, но и научные и литературные передачи, исторические обзоры. «Свобода» многих просветила, так же, как Би-би-си и «Голос Америки». Выступления культурологов В. Вейдле, Ф. Сартори, В. Гольдберга, журналистов белорусской редакции «Свободы» Язэпа Борейко, Ларисы Верес и других внесли, думаю, немалый вклад в формирование духовности граждан порабощенной страны.

Еще в начале перестройки я прочел рукопись книги белорусского журналиста Александра Лукашука, она мне понравилась и я написал к ней небольшое предисловие, с которым книжка и вышла в свет. С тех пор у нас с Лукашуком установились дружеские отношения, а позже, когда он стал директором белорусской службы радио «Свобода», и тесное сотрудничество. Он и мой коллега по БНФ Сергей Наумчик приняли добросердечное участие в моей судьбе, когда я, оказавшись за рубежом, переехал из Германии, где жил долгое время, в Прагу. Но это произошло годы спустя со дня первой встречи с Александром Лукашуком.

Именно по белорусской «Свободе» я услышал нечто невероятное — внезапно, находясь в отпуске, заболел Горбачев, а в Москве произошли события, очень похожие на путч.

Советское телевидение прервало запланированные передачи, показывало классический балет, а затем на экране появились какие-то малоизвестные персоны и объявили о создании ГКЧП. Это вызвало недоумение и тревогу. Что происходит?

Ближайшие дни, полные политического драматизма, показали, что происходит скверное, что коммунисты решили убрать Горбачева, изменить курс партии. Но каким будет новый? Оказалось, ничего нового — это была попытка вер-

нуться к прежнему курсу, привычному и испытанному, хорошо известному всему миру с октября 1917 года. С того времени он, в сущности, никогда не менялся, приобрел устойчивые видовые черты. И первым, кто решился и впрямь его изменить, был Горбачев. Но его замыслам не суждено было сбыться...

Судя по всему, перестройка «накрылась», а с ней — отчаянная и неумелая попытка реформировать его партию. Но если это не удалось генсеку, то кому же тогда может удаться? Жизнь показала, что эта партия вообще не реформируема. Она может либо существовать в прежнем, созданном Лениным виде, либо погибнуть.

Я очень жалел, что в те дни в Минске не было Адамовича, который стал просто необходим, и не мне одному.

Зенон при встрече охарактеризовал последние события немного иначе, чем они представлялись мне. Он сказал, что это хорошо. Лишь ускорит их агонию. Смерть придет изнутри. Но мы не должны ждать, пока это произойдет, надо выхватить из пламени то, что нам принадлежит — нашу свободу. Потому что их свободу уже ничто не спасет.

Это были разумные слова, но как добиться осуществления их на деле?

Белорусские руководство (*председатель Верховного Совета А. Дементей*), разумеется, выступило в поддержку ГКЧП. Для коммунистической номенклатура здесь не было проблемы выбора, эта номенклатура всегда настроена на власть и тотчас отворачивается от нее, когда та перестает быть властью. А Горбачев явно утрачивал властные функции, и белорусские руководители спешили от него отречься, чтобы прилепиться к другим. В то время — к организатору путча Крючкову и его всемогущему ведомству.

А в Москве, между тем, на авансцену политической борьбы выходил Б. Ельцин, которого избрали председателем Верховного Совета России. Этого руководителя я мало знал, хотя на съездах народных депутатов и на телеэкране он фигурировал довольно часто. Визуально это была внушительная фигура, стандартный партийный лидер с красивым седым чубом и незлобивым взглядом. Но его предыдущая деятельность

мало чем отличалась от деятельности ему подобных — такой же, как они, номенклатурщик областного масштаба. Вряд ли он мог, думалось, всерьез пойти против партии, в которой сделал немалую карьеру. Дальнейшие события, однако, показали, что такие мысли были частично ошибочными, в Москве события по воле истории развивались непредсказуемо. Ельцин выступил против партии, но на полдороги остановился, судя по всему — испугался. За себя, за семью или за партию — теперь уже не имеет значения. Как нередко бывает в политике, полиативы загубили большие возможности. Что до России, то в ней всё перемешали: коммунизм с капитализмом, свободу с неволей, тиранию с демократией. Как сказали бы ныне — политика Ельцина обнаружила свой полный непрофессионализм.

Алесь Адамович, который в последнее время отошел от Горбачева, сказал, что надо поддерживать Ельцина — он поведет страну дальше, чем Горбачев. Но куда дальше? Из того тупика, в котором оказался СССР, не было выхода. Разве что повернуть назад. Но история, к сожалению или к счастью, не может дать задний ход.

Но в России хоть что-то менялось. А у нас?

У нас по-прежнему верховодили коммунисты, сидели на своих местах Дементей, партбосс Соколов и его двойник Малафеев. В затылок им нетерпеливо дышали молодые — еще более агрессивные и циничные, из нижних эшелонов власти. На что было надеяться?

Меня продолжали терзать медиа, московские и местные, словно не знали, к кому еще можно обратиться за интервью. Кое-где появились неясные намеки на меня как возможного лидера нации — это надо было прекратить! В «Народной газете» я напечатал статью, в которой ясно и недвусмысленно показал, кто в Беларуси является настоящим лидером. Четко определил свое отношение к Позняку и остановил тем самым определенные закидоны в сторону Быкова. Я не лидер и не «совесть нации», я простой, уставший от жизни белорус, у которого есть только одна цель — остаться честным. Хочется еще, правда, дожить до свободы, но это, очевидно,

напрасная надежда. Моему поколению, как и многим предшествующим, свободы не увидеть... Может — следующему...

В последующих событиях бурно чередовались оптимизм с отчаянием, надежды с разочарованиями. Бывали моменты, когда казалось, что наша долгожданная истина уже рядом, еще два-три усилия, и мы получим то, о чем белорусы мечтали столетиями. Но утром оказывалось, что ночью всё переменилось, и нашу надежду отбросили в позавчерашний день. Всё надо было начинать сначала. Но кто же виноват? Одни говорили: Москва, она не дает дышать зависимым от нее народам и одержимая имперской идеей, никогда не согласится с независимостью Беларуси. Другие полагали, что всё дело в отношении к нам Запада, ему дороже отношения с имперской Москвой, чем с неоперившейся Беларусью. И чуть ли не все были согласны с тем, что в нашей беде больше всего виноваты мы сами, потому что не осознали ценность свободы и независимости.

Увы, правы были все.

Национализм как общественно-политическое явление стал в наше время многоликим, разнообразным, в определенной степени презираемым и отвергнутым общественным сознанием. Причиной тому стала практика воплощения идей национализма в Европе XX века — национализм был скомпрометирован немецким нацизмом, итальянским фашизмом, многими другими мелкими радикальными движениями.

Вместе с тем едва ли не все государства Европы (*и не только Европы*) образовались в прошлом на базе национализма. Именно национализм создал необходимую форму организации общества — государство, которое, как писал Н. Бердяев, существует «не для того, чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы не дать ему окончательно превратиться в ад». В основе национализма — врожденный эгоизм, черта, свойственная каждому живому существу. Горе тому организму, в котором эта черта выражена недостаточно сильно, как плохо и то, если она выражена чрезмерно. Национализм как внутренний фактор организации общества издавна называется патриотизмом, а распространяющий свои

претензии на остальной мир есть шовинизм или империализм. Знаменитый философ Ричард Пайпс делит современный национализм на два варианта: эксклюзивный (*агрессивный*) и инклюзивный (*умеренный*); русский национализм он относит к первому варианту, а белорусский просто не замечает. Должно быть, характер каждого национализма определяется ментальностью нации, ее политическими устремлениями в данный исторический момент. Русский национализм нашел свое наиболее полное воплощение в большевистском империализме, немецкий — в агрессивном нацизме. А что такое белорусский национализм?

Общепринятая дефиниция национализма плохо согласуется с его белорусской ипостасью, которая отлична от общепринятой, имеет другое национально-политическое содержание. Современный белорусский национализм выражен слабо и, на мой взгляд, обществу не достает даже той меры внутреннего эгоизма, который необходим для элементарной самоидентификации нации. Можно говорить лишь о зародышах национального, запоздалых и квёлых, которые не только не угрожают другим народам и национальностям, но и недостаточны для национального самоутверждения белорусов.

В конце XX века характер национализма в Европе очень изменился, потребность в нем для цивилизованных стран отпала. Но для тех, кто в силу разных причин опоздал в своем становлении в качестве самоутвердившейся нации, он попрежнему остается злободневным. Именно национализм, подчеркивает Фрэнсис Фукияма, наиболее поспособствовал освобождению народов Восточной Европы от коммунистической диктатуры. Не либерализм, не демократия, а именно национализм!

И там, где процесс освобождения от коммунизма завершен, появилась возможность перехода к демократическому либерализму, а там, где не завершен, задержан реакционными силами, роль национализма остается прежней. В определенных условиях только национализм способен сплотить всё общество на пути к демократии. В то же время он может мирно и гармонично уживаться с либерализмом, утвержда-

ет Фукияма — «современный адвокат национализма» и вместе с тем убежденный сторонник либерализма.

Когда-то Алесь Адамович сказал, что при засилии дегенеративной власти и в силу ограниченности природных ресурсов Беларуси надо выработать очень значительную (*великую!*) идею, которая помогла бы ей войти в семью цивилизованных народов. Это — правда. Национальная идея — важнейшее условие прогресса, и даже физического присутствия в мире. Россия, к примеру, пришла к упадку потому, что изжила свою имперскую идею и теперь стоит перед проблемой выработки новой.

А что касается Беларуси, то у нее есть идея, очень важная и сверхактуальная — идея свободы и независимости. Идея классическая, осуществления которой давно добились многие страны мира, построили на ней свою национальную судьбу. А белорусы всё еще дискутируют, стоит ли этого добиваться? Враги белорусчины, разумеется, доказывают, что не стоит, есть идея получше — «интеграция» с Россией, всё тот же русский плен, но он дает хлеб. (*И бензин, и газ, и промтовары.*) Почти по Библии: завоюйте нас, но накормите нас. А еще утверждают, что Беларусь не может существовать независимо в этом хищном мире, где всё решается силой. Но ведь другие европейские страны с куда меньшим народонаселением и территорией существуют и живут неплохо. И никто не посягает на независимость и свободу маленькой Швейцарии, или Австрии, или Венгрии, или Дании. Даже крохотные Люксембург и Андорра процветают. Общепризнанным гарантом стабильности такого положения вещей в современном мире является Америка с ее экономическим могуществом и традиционным демократизмом.

Народы, которые в начале третьего от Рождества Христова тысячелетия не усвоили эту истину, рискуют не усвоить ее никогда. И навек остаться рабами — прежде всего рабами собственного невежества и лени.

**В Минск приехал** Евгений Евтушенко. Целью его визита было объединение Союзов писателей — российского с

белорусским. У нас к этому отнеслись по-разному, кто-то был за, кто-то — против. Дело в том, что наш СП никогда не был консолидирован политически, разве что казался таким. Состоявший из писателей разных поколений, он нес в себе все родовые отметины прошлых десятилетий — старые члены Союза были наиболее консервативны, многие были целиком ангажированы режимом, сервильны по отношению к власти. Постепенно Союз пополнялся молодыми, которое не всё из недавнего прошлого принимали. Но была одна позиция, которая объединяла всех, независимо от политических симпатий каждого — отношение к национальному языку. Язык погибал, а ведь это был сук, на котором держалась вся культура. Писатели не могли быть к этому равнодушны, и многие инициативы извне рассматривали в свете последствий для языка. Россияне в этом смысле, к сожалению, не были нашими единомышленниками.

Кроме того, в России за годы перестройки всплыло на поверхность немало такого, чего нельзя было не испугаться, чего не было даже при большевистском режиме. Недавние апологеты интернационализма превращались в фанатичных охранителей собственной культуры от других народов, которые «объедали Россию». Демократия никак не могла стать на ноги, в то же время национал-большевизм стал беспрепятственно распространяться по ее интеллектуальным просторам. Как всегда, вольготно расцветал антисемитизм, особенно на юге и востоке России. Быть вместе в одном Союзе с российскими писателями-демократами было бы неплохо, но... Где гарантия устойчивости их демократизма? Мог ли ее гарантировать даже такой убежденный антикоммунист, как Евгений Евтушенко?

Я уважал Евгения Александровича, восхищался, как многие, его поэзией, которая стала знаковой в диссидентском противостоянии сталинщине и брежневщине. У нас с ним было несколько совместных поездок по стране и за рубеж, в этих поездках мы подружились. Помню, как однажды ночью в Ереване мы попали на армянскую свадьбу, где Евтушенко произнес тост в честь мирного сосуществования армянского и турецкого народов, за что мы оба едва не поплатились. На

практике это означало — не лезь со своим уставом в чужой монастырь.

Когда вернулись в гостиницу и, продолжая откровенный разговор, вошли в номер Евтушенко, я предостерегающе показал на потолок, мол — умолкнем. Женя засмеялся: «Зачем? Пусть запишут каждое наше слово — понадобится потомкам!» Он был прав. Пройдет какое-то время, совсем недолгое, и мы убедимся, что не только рукописи не горят, но и устное слово остается. В том числе и спрятанное в секретных отделах КГБ.

Обсуждение на президиуме СП предложения Евтушенко прошло вяло, никакого решения не было принято. Хотя большинство с идеей объединения союзов не согласилось, я тогда был склонен к тому, чтобы объединиться. Но время показало правоту большинства. В скором времени СП СССР распался на несколько писательских союзов, некоторые из них заняли откровенно антидемократическую, проимперскую позицию. В такой ситуации лучше было сохранять нейтралитет и формальную независимость.

Позже было еще несколько попыток объединиться с определенными российскими писательскими группировками, но и эти попытки разбились о нерушимость нашей независимости. Это тот редкий случай, когда политическая индеферентность пошла на пользу. Правда, выдержав нажим извне, белорусский СП не смог противостоять внутренней ползучей силе разрушения. Вскоре он утратил свое имущество, скромные финансовые средства и пришел в упадок организационно.

Но Бог не покидает праведников, а судьба порой дает им птичий хвостик надежды.

В мире давно существовал ПЭН-КЛУБ (поэзия, эссеистика, новеллистика) — международная писательская организация, которую советские писатели не признавали, считая ее буржуазной. Но времена менялись, молотобоец-история ковала свою логику. А логика истории приводит к неожиданным результатам. Часть российских писателей обособилась от коммунопатриотических СП и создала Российский ПЭН-ЦЕНТР. Его тогдашний руководитель Анатолий Рыба-

ков по поручению международного ПЭНа позвонил мне в Минск и сообщил о предложении создать Белорусский ПЭН-ЦЕНТР. Была оговорена первоначальная квота — 20 литераторов, не состоящих на службе в органах власти и в коммунистической партии.

Я посоветовался с Бородулиным, Рязановым, Некляевым и еще некоторыми литераторами. Мы составили небольшой список и провели первое собрание в Красном костеле, на котором в соответствии с Уставом международного ПЭНа приняли свой, избрали руководство. Первым президентом Белорусского ПЭН-ЦЕНТРА стал Рыгор Бородулин, секретарем (*впоследствии вице-президентом*) — Карлос Шерман. Новая писательская организация в то время не имела ни помещения, ни денег, всё надо было добывать.

Естественно, ПЭН не стал обращаться к властям, а стал прежде всего завоевывать популярность. Завоевать ее публикациями своих произведений мы не могли, спонсоры не спешили раскошеливаться на наши публикации — надо было контактировать с как можно большим числом народа. Начались наши выступления — в столичных клубах и с выездом на периферию. Поэты читали стихи, прозаики вели дискуссии на политические и культурологические темы. Интерес национально мыслящей публики был тогда огромный. Беларусь была готова к возрождению — никто не предполагал, что готовность эта скоро угаснет. Руководство ПЭНа в лице Карлоса Шермана наладило плодотворное сотрудничество с международными гуманитарными организациями, с Белорусским Фондом Сороса и взаимодействовало с ним вплоть до того дня, когда власти выгнали Фонд из нашей страны.

Деятельность ПЭНа в значительной степени была ограничена уставным требованием быть вне политики, но члены организации научились его как-то обходить. Наша литература традиционно была связана с политикой прочной пуповиной, и это неплохо. Другое дело, какая политика? ПЭН-ЦЕНТР в своей деятельности стремился проводить национально-демократическую политику, направленную прежде всего на завоевание свободы и независимости страны, а

также стал соучредителем такой важной правозащитной организации, как Белорусский Хельсинский комитет, в котором члены ПЭП-ЦЕНТРА поначалу заняли ключевые посты.

Необходимо отметить, что ПЭН-ЦЕНТРУ за десять лет существования удалось избежать раскола (*в этом он чуть ли не единственный среди других демократических организаций, что делает ему честь*), сохранить единство, в пять раз увеличить свой состав. В тяжелых условиях национального кризиса он продолжает консолидировать значительную часть белорусских писателей.

**Свобода** — наибольшая ценность, данная каждому живому существу с момента рождения. Всё живое и пользуется этой физической свободой, насколько это возможно в сложнейшем, запутанном мире жизнедеятельности организмов. Только человек является исключением. Чтобы в полной мере почувствовать необходимость свободы, ему суждено пройти через хитросплетенный лабиринт жизни, а то и остаться в одном из его тупиков. И там привыкнуть к безвыходности, зачахнуть, утратить врожденный инстинкт свободы, адаптироваться к несвободе ради элементарной цели биологического существования. Стать частицей толпы, электората — таким, как все. Но как быть тому, кто выпадает из массы себе подобных, если и он — творец, которой действует согласно внутренним импульсам самовыражения? Как ему преодолеть грубую зависимость от социума, который неизменно нивелирует его дар, данный ему Богом? Или, может, не надо ничего преодолевать, а подладиться, приспособиться, чтобы избежать конфликта с обществом? Десятки лет в наших ушах звучала невольничья максима: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Действительно, нельзя: не дадут, не позволят. Те, от кого ты зависишь, вдохновляются не обманчивой идеей человеческой свободы, а реальной потребностью своей власти и силы. И сила у них немалая, потому что они — всегда гурт.

Может, и впрямь: для того чтобы выжить, стоит сбиться в гурт, в стаю, как это делают многие животные в дикой при-

роде. Шансы выжить увеличиваются еще больше, если у человеческого гурта появляется идея — не важно какая, плохая или хорошая. Иногда идеей становится инстинкт нации или класса, или какой-нибудь политической банды, и тогда мир сталкивается с имперской, пролетарской, нацистской идеями, которые всегда жаждут крови. Большой крови требуют и так называемые популистские идеи, которые редко осуществляются. Как и святая идея свободы.

Но нужна ли художнику любая другая идея, если его душа уже захвачена идеей правды и красоты? Иному места нет, ибо он — индивидуалист. Всё значительное в искусстве и в литературе испокон века создается на основе индивидуализма. Попытки организованного художественного творчества (*тем более литературного*) всегда терпели фиаско. Творцы — единоличники, они создают штучный товар. Творческий альянс двоих, даже если они оба гении, невероятен. Только порознь. Даже если оба единомышленники, единоверцы, однопартийцы. Коллективный элемент в искусстве имеет несомненно деструктивный характер.

Правда, наше время — особенное, лицемерное и жестокое, а для искусства — разрушительное по самой своей сути, только мы еще не совсем это осознали. Очевидно, теперь в первую очередь надо думать не о расцвете, а о том, как уберечь и сохранить то лучшее в национальной и мировое культуре, что так брутально разрушается нашим временем. Наверное, сделать это сообща легче. Но ведь и разрушать легче сообща — всё сразу... Это обходится властям дешевле. И проще, когда «сообща», подчинить себе людские души. Отсюда — колхозы и ГУЛАГ, чтобы всех без остатка сгрести в одну кучу. И творцов тоже — в «творческие союзы», в «творческую» неволю, где должный порядок поддерживался руками самих же творцов из числа наиболее расторопных коллаборантов. Согласно принципу: сами пишете, сами себя и сажайте.

Кажется, наша литература помаленьку выкарабкивается из того интеллектуального ГУЛАГа, из которого еще предстоит выбраться нации.

Свобода рабочих и крестьян требует, как говорят, много инвестиций, которых у государства нет. Литературе же не очень нужны инвестиции, но ей нужна — свобода. Однако интеллектуальная свобода стоит еще дороже, чем свобода пользования землей. Впрочем, если говорить о Беларуси, то итог одинаковый — крестьяне не имеют земли, писатели не имеют свободы. Хотя бы свободы для языка. Хотя бы права на мягкий знак, чтобы язык, который во рту, не корчился от неестественного, варварского произношения слов, требующих мягкого знака. Воистину, язык, как сказал Генрих Бёлль, — последняя опора свободы.

Торжествует неодолимая сила несвободы, с которой нация свыклась, с которой породнилась, отступать от которой рискованно. Как должны относиться к этому творцы? Томас Венцлова, например, пишет, что величайший патриотизм в том, чтобы сражаться с комплексами своей нации. А ведь это сказано о литовцах, далеко не самой закомплексованной нации, но это — правда и, очевидно, относится ко всем нациям без исключения.

Можно понять наших коллег, российских демократов, которые недавно пережили то же, что и мы, и теперь устремились к манящей, труднодостижимой свободе. В объединении с Беларусью они видят дополнительный шанс добиться свободы, руководствуясь в своем намерении всё той же логикой — сообща легче. Но старая чешская пословица гласит: не запускай мельницу, если у тебя нет сил ее остановить. Есть ли у наших российских коллег силы, чтобы достойно распорядиться хотя бы собственной свободой, пусть относительной? Не является ли и для них и для нас более реальным риск потерять всё? Где гарантия того, что их нынешняя свобода завоевана полностью и навсегда? Очень это сомнительно в стране, где не прекращаются позорные войны, всюду льется кровь, уничтожается свобода слова, а главной государственной идеей становится всё тот же национал-империализм.

Должно быть, свой путь к свободе каждому суждено пройти отдельно. И, наверное, не только для человека, но и

для страны индивидуализм — не самый худший путь. Может, не наилучший, но и не наихудший, — в основе коллективной свободы лежит свобода индивидуальная. Что до меня, то мой логос определенно пессимистический, хотя моя душа жаждет оптимизма. Как когда-то писала великая Леся Украинка: «Без надії такі сподіваюсь...»

*Март 2002 г.*
*Франкфурт-на-Майне*

## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Долг перевести эту книгу на русский язык на меня возложил Василь Быков.

26 мая 2003 года я был у него дома — в последний раз при его жизни. Кто мог знать, что в последний!.. В марте, в Праге, он перенес тяжелую хирургическую операцию, после которой в скором времени вернулся на родину, и теперь ему предстоял курс лечения в Боровлянах. В тот день он был бодр, оживлен, даже весел, и у всех его близких и друзей была надежда, что лечение пройдет успешно, что всё обойдется. За это мы даже выпили с ним по рюмочке...

Я пришел к нему не только в гости, но и по делу. Еще в Праге, куда я приезжал в канун его операции, он попросил меня сделать перевод «Долгой дороги домой», сказал, что надеется на меня. Может, потому, что у меня уже был некоторый опыт работы над переводами его произведений: когда-то я перевел для журнала «Неман» несколько его рассказов, в 1990 году перевел повесть «Облава» для журнала «Новый мир».

Эти переводы его устраивали, чем не могу не похвастаться: угодить Быкову переводчикам было трудно, не случайно почти все свои повести для российских журналов и издательств он переводил сам. Поэтому мне особенно дорого его доверие, его выбор переводчика своей последней книги. Он знал, что она — последняя, хотя и бодрился... В тот день, 26 мая, он и вручил мне книгу со своей дарственной надписью и тетрадь дополнений — свыше тридцати вставок, пометил на страницах книги, куда эти вставки надо вмонтировать.

В том дарственном автографе на титульной странице «Долгой дороги домой» он дал мне определенный карт-бланш, право быть в какой-то мере хозяином переводимого текста. Написал: «...Валянціну Тарасу гэты рабочы экземпляр, які ён ператворыць у іншы выгляд». Ператворыць — это

значит, перевоссоздаст, представит в другом облике. Однако следует сразу оговориться, что перевоссоздание — это не отсебятина, не переделка авторского текста. При всей свободе переводчика, перевод должен быть адекватным, сохранять особенности, манеру, стиль автора средствами другого языка. Хотя, естественно, другой язык в то же время и преображает оригинал, просто потому, что у него другая стихия. С другой фонетикой, грамматикой, фразеологией, со своими идиомами и внутренними законами.

Кстати, когда кто-то начинает доказывать, что белорусский и русский языки почти ничем не отличаются один от другого, — «один народ, одна культура, один язык», — мне это слышать смешно. Как переводчик белорусской прозы и поэзии я за полвека своей работы над переводами, как говорится, в муках творчества убедился в уникальности белорусского языка, в его самостоятельной мощи и самобытной красоте. Нередко семь потов с тебя сойдет, пока найдешь русский адекват того или иного белорусского слова, образного выражения, идиомы.

Утверждение, что, мол, русский и белорусский языки являют собой один язык — злонамеренная брехня проимперских «интеграторов», как доморощенных, так и российских. Об этом мы не раз говорили с Василем Владимировичем, который отлично знал предмет, сам, как уже было сказано, переводил свою прозу на русский.

Работа над переводом была горькой: я приступил к ней сразу после похорон Василя, с острой болью утраты, которая долго не давала сосредоточиться. И еще эта работа была специфически трудной. Почему — об этом надо сказать особо.

«Долгая дорога домой» написана смертельно больным человеком, который знал, или догадывался, о своей болезни и у него, очевидно, не было времени не то, что на отделку текста, но даже на перечитывание написанного. Поэтому в тексте оригинала встречаются стилистические и грамматические огрехи, неясные формулировки, когда та или иная мысль выражена приблизительно, недостаточно четко.

Кроме того, при написании книги у автора не было под рукой его архивов, записных книжек и дневников, по кото-

рым он мог бы сверить даты, имена, названия, уточнить последовательность тех или иных событий, — ведь книга писалась не дома, а за рубежом, куда писатель вынужден был на долгое время уехать, чтобы избавиться от атмосферы ненависти и лжи, которую создала вокруг него казенная официозная пресса, радио и телевидение.

Не было под рукой и справочного материала, домашней рабочей библиотеки — он даже не мог сверить цитаты из книг авторов, на которых ссылался для подтверждения той или иной своей мысли.

Поэтому в книге почти нигде не приводятся даты — время подается автором цельным массивом, отчасти потому, что он так его и воспринимает, отчасти потому, что даты забылись. Многие люди, о которых Быков рассказывает или упоминает, названы только по фамилиям, потому что забылись имена, или наоборот — только по именам, потому что не помнит фамилий.

Все это — и сверка цитат, и персоналии, и восстановление дат — в будущем работа для литературоведов и историков, которые снабдят последующие издания книги справочным аппаратом, комментариями, уточнениями и т.д. Я же не литературовед и не историк — моей задачей был перевод текста, который есть в книге.

Что касается отдельных неясных формулировок, то я, естественно, не имел права додумывать за автора, и лишь в тех случаях, когда та или иная его мысль несмотря на приблизительную выраженность вполне понятна, позволял себе придать ей при переводе более точную форму. Но совсем уж неясных формулировок в книге почти нет.

О стилистических и грамматических огрехах. Здесь я тоже не имел права слишком уж наводить лоск на автора, улучшать его слог. Но перевод есть перевод. И я не мог согласиться с теми близкими к Быкову людьми, которые считали, что следует сохранить и огрехи, отдельные грамматические и стилистические несуразности.

Перевод в любом случае не может быть дословным, буквальным, такой перевод могла бы сделать и знающая белорусский язык машинистка. То есть, она могла бы сделать

подстрочник. Но подстрочник — лишь исходный материал для собственно перевода. Литературного, художественного. Чего и хотел от меня Василь. И поскольку у меня было время подумать над каждой фразой, стилистические и грамматические огрехи я устранил. Как это, несомненно, сделал бы сам автор, если бы...

*Валентин Тарас*

**ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ**
КАЖДАЯ **ПЯТАЯ** КНИГА РОССИИ

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ «Буква»

**МОСКВА:**

- м. «Бибирево», ул. Пришвина, 22, ТЦ «Александр Ленд», этаж 0.
- м. «Варшавская», Чонгарский б-р, 18а, т. 110-89-55
- м. «Домодедовская», ТК «Твой Дом», 23-й км МКАД, т. 727-16-15
- м. «Крылатское», Осенний б-р, 18, корп. 1, т. 413-24-34, доб. 31
- м. «Кузьминки», Волгоградский пр., 132, т. 172-18-97
- м. «Новые Черемушки», ТК «Черемушки», ул. Профсоюзная, 56, 4-й этаж, пав. 4а-09, т. 739-63-52
- м. «Павелецкая», ул. Татарская, 14, т. 959-20-95
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, 17, стр. 1, т. 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, 52/2, т. 306-18-91
- м. «Петровско-Разумовская», ТК «XL», Дмитровское ш., 89, т. 783-97-08
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр., 76, корп. 1, 3-й этаж, т. 781-40-76
- м. «Сокольники», ул. Стромынка, 14/1, т. 268-14-55
- м. «Сходненская», ТЦ «Вэйпарк», 71-й км МКАД, 2-й этаж, т. 741-46-05
- м. «Таганская», Б. Факельный пер., 3, стр. 2, т. 911-21-07
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., 15, корп. 1, т. 977-74-44
- м. «Царицыно», ул. Луганская, 7, корп. 1, т. 322-28-22
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, 10/12, стр. 1
- м. «Преображенская площадь», Большая Черкизовская, 2, корп. 1, т. 161-43-11

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
107140, Москва, а/я 140, тел. (095) 744-29-17

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Приобретайте в Интернете на сайте www.ozon.ru
Издательская группа АСТ
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Справки по телефону:
(095) 215-01-01, факс 215-51-10
E-mail: astpab@aha.ru http://www.ast.ru

**МЫ ИЗДАЕМ НАСТОЯЩИЕ КНИГИ**

*Литературно-художественное издание*

**БЫКОВ ВАСИЛЬ**

# ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Воспоминания. Мемуары

**Перевод Валентина Тараса**

*Ответственный за выпуск В. Н. Волкова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 01.06.05.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 23,52. Тираж 4000 экз. Заказ 1505.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 93.
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман,
д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Открытое акционерное общество
«Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
220600, Минск, ул. Красная, 23.

Мемуары

# Василь БЫКОВ

Василь Быков (1924-2003) – прозаик, драматург, киносценарист, литературный критик, публицист, общественный деятель. Народный писатель Беларуси, президент Белорусского ПЭН-Центра, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и БССР, многих престижных литературных премий. Творческая судьба В.Быкова – непревзойденный образец гражданского мужества, нонконформизма, стоицизма. В советской литературе он явился первооткрывателем так называемой окопной правды о войне.

Писатель – несомненный лидер мировой «военной» прозы второй половины XX века. Эта книга – воспоминания писателя о пережитом почти за 80 лет его богатой событиями жизни. Василь Быков рассказывает о наиболее ярких страницах своей биографии, дает оценку общественно-политическим и культурным процессам, которые происходили на его глазах.

ISBN 5-17-032152-X

9 785170 321520